

М
о
с
к
в
а

Москва

12
1962

12
1962

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

ГОД ИЗДАНИЯ
ШЕСТОЙ

Москва

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР И МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Е. Е. ПОПОВКИН, *глав-
ный редактор*, Б. С. ЕВ-
ГЕНЬЕВ, А. А. ЦЫГУ-
ЛЕВ, В. Л. КУЛЕМИН,

*заместители главного
редактора*, А. Н. ВА-
СИЛЬЕВ (*отдел публи-
цистики*), Е. Ф. КНИ-
ПОВИЧ, Е. В. ЛЕВА-
КОВСКАЯ (*отдел про-
зы*), Е. Ю. МАЛЫЦЕВ,
Л. В. НИКУЛИН,
Ю. С. СЕМЕНОВ (*отдел
очерка*), С. А. САВЕЛЬ-
ЕВ, *ответственный секре-
тарь*, М. А. ШОЛОХОВ.

Художественный редактор
Н. И. БОБКОВА, технический
редактор Г. Ю. ДУБМАН

Адрес редакции:

Москва, Г-2, Арбат, 20
Телефоны: Г 1-78-01,
Г 1-31-65, Г 1-06-86

Рукописи объемом меньше
печатного листа не возвра-
щаются

Подписка на журнал при-
нимается во всех учрежде-
ниях Министерства связи

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

ПРИНЯТО
ЕДИНОГЛАСНО
В ПОЧТОВОМ ВАГОНЕ

ПОСЛАНИЕ
часы

ПРОЗЫ
МАША
ПОИСКИ

ПОВЕРНУТЬ
ШТУРВАЛ!

1962 · 12

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Арк. Васильев. ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. Киносценарий	5
Лев Овалов. ИСТОРИЯ ОДНОЙ СУДЬБЫ. Роман (Окончание)	39
Вадим Белоцерковский. В ПОЧТОВОМ ВАГОНЕ. Повесть	103

СТИХИ

Николай Рыленков. СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ	3
Михаил Львов. ВРЕМЯ. (Из новой книги стихов)	37
Игорь Кобзев. В НОЧНОЙ МОСКВЕ.— СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ	102
Яков Белинский. ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК	156
Семен Данилов. АМЕРИКАНСКИЕ МАТРОСЫ. Перевод с якутского Р. Морана	183

НА РУБЕЖАХ ДВАДЦАТИЛЕТЬЯ

В. Жигалин. ИНДУСТРИЯ СТОЛИЦЫ	157
--	-----

ЖИВОЕ ПРОШЛОЕ

И. Исаков. ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ	163
--	-----

СТРАНЫ И ЛЮДИ

В. Дмитриев. ПОВЕРНУТЬ ШТУРВАЛ! Западногерманские заметки	171
--	-----

ИСКУССТВО

Борис Волгин. КАНОНАМ ВОПРЕКИ	184
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Александр Борщаговский. ПОИСКИ МОЛОДОЙ ПРОЗЫ	193
Ярослав Смеляков. МОЛОДАЯ ПОЭЗИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ	212

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «МОСКВА» за 1962 год	224
---	-----

На вклейках:

НАШИ СОВРЕМЕННОКИ. С 6-й выставки произведений членов Академии художеств СССР.

СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ

* * *

Слух музыканта, зренье живописца
И память следопыта нам нужны,
Когда велим мы в слове воплотиться
Всему, что нам дарят цветы и птицы,
Обвалы гроз и клады тишины.

Нс от листа не оторвется слово,
Под радугой строка не запоет
Без искорки того огня живого,
Что все в душе преображает снова,
Неповторимый смысл всему дает.

* * *

Мне чужд холодный пафос одописца,
Пускай в строфе как льдинка, тает грусть.
От радости, от горя ли не спится —
В себя поглубже вникнуть я стремлюсь.

Я знаю, сроки времени жестоки
И мы не смеем забывать о них...
О, если б мог извлечь я все уроки
Из радостей и горестей моих!

ПО ПУТИ В ТЕЛАВИ

Я готов трудиться, не лениться,
Чтоб вместил мой стих все грани скал,
Тех, что нам Георгий Леонидзе
По пути в Телави показал.

Все сады долины Алазанской,
Где вином и медом пахнет зной,
Где стоял я, очарован сказкой,
Доброй сказкой щедрости земной.

Если ж стих не выдержит нагрузки,
Разобьется у подножья скал,
Я в молчанье поклонюсь по-русски
Тем, кто эту землю обживал!

* * *

Знаю сам, что нет мне дела,
И не спрашиваю я,
С кем весь вечер ты сидела
На обрыве у ручья.

Просто я под звезды вышел,
Что-то грустно стало мне,
Просто голос твой услышал
В зазвеневшей тишине.

Оглянулся я, как будто
Вспыхнул свет и вновь погас.
Пела песню ты кому-то,
Ту, что пела мне не раз.

Я узнал в словах знакомых,
В полном свежести краю

Горечь трав, дурман черемух,
Всю беду-тоску мою.

И не дрогнул голос чистый,
Серебристый голос твой,
И бежал я, как мальчишка,
Чтоб не слышать песни той.

Знаю я, что нет мне дела,
И не спрашиваю я,
С кем весь вечер ты сидела
На обрыве у ручья.

Я ушел от горькой смуты,
Все равно по чьей вине,
Но скажи мне: как ему ты
Можешь петь, что пела мне?

ДРУГУ

По памятным местам
бродя в краю родном,
Мы юности своей,
наверно, не найдем.
Но тем душевной мы
теперь поем о ней
В отзывчивой тиши
осенних росстаней.

МЕТЕЛИЦА

Ворожит метелица,
Стынут облака.
На морозе мелется
Хрусткая мука.
Мелется и стелется
Над моей строкой.
До волшебной мельницы
Мне подать рукой.

Встану в свете месяца,
Там, где следу нет:

— Отворись мне, мельница,
Сказка детских лет.

Мельница-крутельница
Вертит жернова.
Ей смолоть безделица
Все мои слова.

Но лишь то, что смелется,
Может хлебом стать.
Порошит метелица,
Ворожит опять.

ПРОСТАЯ ИСТИНА

Да, истина проста,
но надо убедиться
Нам в простоте ее
на опыте крутом,

А в жизни каждый день
та самая страница
Где, что ни напиши,
уж не сотрешь
потом.



Арк. Васильев

ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

КИНОСЦЕНАРИЙ

Высокая круглая вешалка. На ней головные уборы: генеральская фуражка, соломенная шляпа, кепка, дамская шляпка, милицейская фуражка.

Приемная районного комитета Коммунистической партии Советского Союза. На стульях, расставленных у стен, сидят люди, ожидающие вызова:

молоденькая девушка, курносенькая, с большими, почти детскими глазами;

парень лет двадцати трех, со счетной линейкой в кармане;

женщина лет тридцати, одетая с большим вкусом. У нее красивое, спокойное лицо, в руке белые перчатки. Только по тому, как женщина теребит перчатки, видно, что она волнуется;

две девушки в одинаковых платьях с комсомольскими значками — видно, верные подружки с одной фабрики.

Андрей Воронин и Надя.

Надя шепнула Андрею:

— Волнуешься?

Андрей закрыл глаза, отрицательно покачал головой. Погладил Надину руку. Помолчал и также шепотом ответил:

— Очень...

Из комнаты комиссии вышел молодой милиционер. Осмотрел всех

присутствующих и строевым шагом подошел к вешалке. Снял генеральскую фуражку, ловко накинул ее на голову, пошел к двери, сказав на прощанье: «Будьте здоровы, граждане». Парень со счетной линейкой остановил его:

— Я бы, товарищ Абрамов, на вашем месте не торопился уходить. — Милиционер с недоумением смотрит на парня. А тот продолжает: — Могут привлечь за превышение власти. Фуражечка не по чину...

Милиционер сдернул фуражку, осторожно на носках подошел к вешалке, бережно повесил генеральскую фуражку, снял свою и так, держа ее в руке, снова на носках пошел к двери.

Парень со счетной линейкой снисходительно спросил:

— В кандидаты принимались?

— Так точно.

Открылась дверь.

— Товарищ Воронин Андрей Михайлович! Пожалуйста.

Андрей вскочил. За ним Надя. Поцеловала Андрея в щеку. Она, вероятно, думала, что сделала это незаметно, украдкой. Но заметили все. Подружки в одинаковых платьях переглянулись, улыбнулись. Одна счастливо — видно, и у нее за стенами райкома есть друг. Вторая — чуть печально. Парень со счетной

линейкой пожал плечами: поцелуй в райкоме? Как это можно?

Комната, где заседает комиссия. Портрет В. И. Ленина. Вокруг длинного стола старые коммунисты:

председатель — совершенно седая женщина с умным, волевым лицом; генерал, тоже седой. На груди много орденских ленточек, звезда Героя Советского Союза;

несколько мужчин в штатском, две женщины — все пожилые люди.

Андрей Воронин остановился у двери, негромко сказал:

— Здравствуйте!

Председатель из-под очков посмотрела на него и дружелюбно ответила:

— Здравствуйте, товарищ Воронин. Проходите, садитесь.

Андрей сел на другом конце стола напротив председателя, положил на стол руки и тут же торопливо убрал их, опустил на колени. На него внимательно смотрят члены комиссии: кто он, этот человек, желающий вступить в партию коммунистов? Как он себя поведет сейчас, в этот необычный, неповторимый день в жизни?

Члена комиссии Татьяничева Андрей знает больше других — она докладчик по его вопросу. Татьяничева ободряюще улыбнулась Андрею, он чуть-чуть, глазами, поблагодарил ее за поддержку.

Председатель. Слушается

заявление Воронина Андрея Михайловича о приеме в кандидаты в члены Коммунистической партии Советского Союза. Докладывает член внештатной комиссии райкома товарищ Татьяничева Клавдия Степановна

Татьяничева встала и, держа в руках папку с документами, говорит:

— Воронин, Андрей Михайлович.

Член комиссии. Андрей Михайлович? Сын Михаила Николаевича, того, что когда-то в облисполкоме был?

Татьяничева. Да, да... русский. член ВЛКСМ с 1950 года по настоящее время, окончил машиностроительный институт, инженер. По отзывам первичной парторганизации и рекомендующих хороший, одаренный специалист, автор двух серьезных изобретений. К товарищам по работе относится хорошо, с уважением. Ведет большую общественную работу: член редколлегии заводской многотиражной газеты, агитатор на избирательном участке, дружинник. Активно участвует в семинаре по эстетике. На собрании первичной парторганизации сборочного цеха двадцать шестого июня принят в кандидаты партии единогласно: за — девяносто шесть человек, против — ни одного. Партком также принял единогласно. Комиссия решение парткома поддерживает.

Председатель. Кто рекомендует?

Татьяничева. Иван Семенович Шагов, член КПСС с 1944 года, Афанасий Петрович Лукин, член партии с 1941 года, и Николай Иванович Еленин, член КПСС с 1928 года...

Генерал. Это какой Еленин? С машиностроительного?

Татьяничева. Он.

Генерал. Боевой офицер. Почти всю войну вместе проводил.

Член комиссии. Ну прямо ангел, только без крылышек. Рассказал бы биографию.

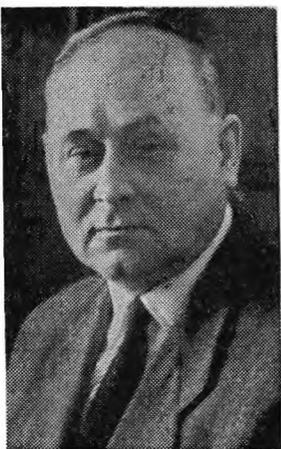
Второй член комис-

Пьеса: «Арсений», поставленная в 1940 году, была первым произведением Аркадия Николаевича Васильева. Затем появилась пьеса «Гордиев узел».

Писателем создана трилогия «Есть такая партия!», в которую вошли романы «Смело, товарищи, в ногу», «Генеральная репетиция» и «Есть такая партия!»

Для детей Арк. Васильевым написаны рассказы о М. В. Фрунзе.

Неоднократно издавались сборники сатирических рассказов Арк. Васильева. В № 1 и 2 журнала «Москва» за 1961 год был опубликован роман-фельетон «Понедельник — день тяжелый», вышедший затем отдельным изданием.



сии. А чего ему рассказывать? Родился, жил с папой и мамой, учился — вот и вся биография.

Генерал. Почему вы за него говорите? Он нам сам расскажет.

Председатель. Андрей Михайлович, расскажите вашу биографию. Основные моменты...

Член комиссии. Кто папа, кто мама. Одним словом, как положено. Поняли?

Андрей встал.

— Понял.

Немного помолчал, видно, вспоминая, выбирал самое главное, о чем надо сейчас рассказать старым коммунистам, особенно председателю, которая так ободряюще смотрела на него. И членам комиссии, и генералу...

— Я родился в Москве, в декабре 1935 года. Про отца расскажу позднее. Сначала о матери. Я мать не помню. Совсем не помню. Дело в том, что тридцатого апреля тысяча девятьсот тридцать седьмого года...

Коридор густонаселенной коммунальной квартиры. Он весь заставлен шкафами, чемоданами, ящиками. На стенах висят велосипеды, корыта, тазы. У телефона объявление: «Сегодня по телефону дежурит Анна Аркадьевна».

Около двери в ванную двое мужчин с полотенцами на шее и мыльницами в руках. Один, высокий, с худым лицом, стучит в дверь:

— Нельзя ли ускорить ваше омовение!

Второй, невысокий толстяк, равнодушно говорит:

— Это, наверно, Ольга Николаевна. До тех пор, пока умывальник от санузла не отделят, все время будем мучиться. Татьяне Львовне давно пора это понять.

Первый яростно барабанит в дверь:

— Заканчивайте! Татьяна Львовна не ответственный съемщик, а сплошное недоразумение.

Из ванной выходит Михаил Воронин. В руке у него бритвенный прибор на шее полотенце. Он боком проискивается между собеседниками.

Высокий, задыхаясь от гнева, кричит:

— Это вы? Безобразие! Живете без прописки и ведете себя, как князь Голицын В ванной бреетесь.

Воронин пробирается коридором. Звонок телефона. Из комнаты выходит Анна Аркадьевна. Она очень хороша собой. Особенно хороши глаза — большие, ясные, и сердечная улыбка. Анна снимает трубку.

— Слушаю. Ивана Максимовича? Сейчас.

Воронин стоит в коридоре. Он не может пройти в свою комнату — не разойтись. Анна Аркадьевна говорит Михаилу:

— Стукните Ивану Максимовичу...

Михаил стукнул, подождал. Еще раз стукнул.

— Не отвечает.

Анна Аркадьевна (по телефону). Его нет. (К Воронину). Вам, джентльмен, опять попало.

— Немного.

Анна открыла дверь. Видна ее небольшая комната. Анна за руку втянула Михаила в комнату.

— Иначе не разойдемся.

Анна и Михаил в комнате.

— Где развлекаетесь вечером?

— У своих. А вы?

— Все зависит от начальства. Возможно, буду у подножья трибуны стенографировать торжественное заседание, посвященное 1 Мая. Сейчас все стенографируется. А наш Григорий Иванович заставляет записывать все его речи. Потом сидит до рассвета и вносит поправки. Все словно с ума посходили. А вы мне сегодня нравитесь...

— Только сегодня?

— Вам этого мало?

Звонок телефона. Анна уходит.

Михаил Воронин деловито осматривает комнату.

На стене портрет молодого летчика. Михаил подошел к портрету ближе, увидел два кубика на петлицах.

Вошла Анна.

— Господи, опять звонят. Нет, видно, ошиблась. В дни дежурства мне все время слышатся звонки.

И все Ивана Максимовича. И все женщины. Завидный жених. Что вы так изучаете?

— Кто это?

— Муж. Мой покойный муж.

Звонок телефона.

— О господи!

Анна у телефона.

— Спасибо, Милка! Не надо записывать? Слава богу! Если бы ты знала, как я рада.

Михаил вышел из комнаты.

— Куда, джентльмен?

— Извините, пора к родственникам.

Михаил в соседней комнате по-вязывает перед зеркалом галстук. Здесь же Сергей, его товарищ, хозяин этой комнаты.

Сергей. Ты к Зине?

Михаил. Конечно... У нас три счастливых дня. Ее соседка уезжает к предкам. Побудем вместе и, самое главное, — без ассистентов.

Сергей. А ты, оказывается, бабник. Несмотря на жену и сына, непрочь и к молодой вдове...

Михаил. Я только сейчас узнал, что она была замужем.

Сергей. Два дня. На третий день его не стало.

Михаил. Не может быть!

Сергей. На этом свете все может быть. Кстати, может случиться, что тебе после праздников придется искать другое место для ночлега.

Михаил. Мешаю?

Сергей. Ты — осел. Просто вчера приходил управдом и предупредил. Я тебе говорил — не надо бриться в ванной общего пользования. А сегодня приходил участковый. Интересовался.

Михаил. Это понятно. Перед праздником. К сожалению, твоя улица — правительственная трасса.

Сергей. Тем более. Когда твоя жена получает диплом?

Михаил. Через месяц. И мы уедем. Уедем на Волгу, нам надо продержаться самое большее три недели.

Сергей. Ты сказал — месяц?

Михаил. Минус праздники.

Сергей. Самое опасное — праздники!

Михаил. Самое опасное — перед праздником, значит, сегодня, а я сейчас исчезаю и явлюсь ночью четвертого мая. Я пошел, Сережа. Будь здоров и не волнуйся, я тебя не подведу.

Сергей. Будь здоров... Я все время удивляюсь, как тебя, нигде не прописанного, держат в наркомате.

Михаил. Беру обаянием... И кроме того, начальник отдела кадров наркомата баловался в нашем институте лекциями — плел какую-то чепуху о правильной расстановке кадров. А я был внимателен. Смотрел ему прямо в рот. Будь здоров.

Комната Анны Аркадьевны. Она одна. Сидит в кресле. Задумалась. Звонок телефона. Анна с трубкой в руке:

— Мне всегда грустно в праздники. Куда я пойду? С кем? Нет, спасибо. Лучше посижу дома.

Михаил Воронин в трамвае. В руках свертки и игрушечный мишка. Соседка, пожилая женщина, улыбаясь, говорит:

— Вот обрадуется. Кто у вас — дочка?

— Сын.

— А я думала, дочь.

По улице под веселый марш шагает отряд физкультурников.

На фронтоне большого дома лозунг: «Жить стало лучше, товарищи! Жить стало веселее!»

«Черный ворон» обгоняет трамвай. Машина резко гудит, у соседки Михаила суровее лицо, она молчит и понимающе смотрит на уходящую вперед машину.

Комната в студенческом общежитии, разделенная занавеской. Две кровати, один стол. Комод. Нижний ящик комода выдвинут. В ящике спит Андрюшка. Зина накрывает на стол. Ее соседка Валя рассматривает платье.

— Может, ты сама его в праздники наденешь?

— Бери... Оно мне не нужно. Мы все дни будем дома.

— Спасибо, Зина. Мое никуда не годится, а твое просто прелесть.

Зина увидела на платье комсомольский значок.

— Сними. Мне сегодня выступать. Неудобно — секретарь комсомольской организации, и без значка.

— Спасибо, Зина. Ну, кажется, все. Который час?

— Скоро семь.

Зина сняла с руки часы, подала Вале.

— Форсить так уж форсить.

— А ты?

— Обойдусь.

— Ой, Зина! Ты такая прелесть. Дай я тебя поцелую.

— Тише, сумасшедшая, Андрюшку разбудишь...

Входит Михаил Воронин.

— А вот и я! Здравствуй, мамочка!

Поцеловал Зину, похлопал по плечу Вале, наклонился над Андрюшкой, положил ему в ноги медвежонка.

Валя обняла Зину.

— Я пошла. До свиданья, Миша! Совет да любовь. Утром четвертого явлюсь, если не загуляю.

Ушла.

— Родная моя!

— Миша! Милый!

— Зинка! Целых три дня! Три дня, три дня...

— Тише! Андрюшку разбудишь. Еле уложила.

Зина ставит на стол бутылку. Михаил обнимает жену, целует.

— Господи! И за что я тебя так люблю.

— Выпьешь?

— С удовольствием. Три дня, три дня.

Зина, шутливо, но чувствуется, что это беспокоит ее всерьез:

— Миша, когда мы распишемся? Скоро ехать, а мы все незаконные. Я бы успела диплом на новую фамилию получить. Ты Воронин, Андрюша тоже Воронин, а я Михайлова.

Михаил целует ее.

— Мамочка ты наша дорогая. Когда угодно, хоть завтра.

Михаил и Зина за столом. Воронин наполнил рюмки.

— Твое здоровье, будущий инженер-технолог...

Стук в дверь.

Воронин. Кого еще черти несут?..

Зина. Это, наверное, тетя Вера из кубовой. Войдите!

Входит женщина-комендант. За нею двое работников НКВД. Один помоложе, в форме, второй — в штатском.

Командант остановилась у двери:

— К вам.

Тот, что в штатском, грубо обращается к Зине:

— Вы арестованы.

Зина, испуганно:

— Арестована?

Работник НКВД достал из нагрудного кармана бумажку.

— Вот ордер.

Зина посмотрела на ордер. И с радостью:

— Вы ошиблись. Моя фамилия Михайлова, а тут — Воробьева.

Работник НКВД взял ордер, прочитал, сунул в карман и достал бумажку из другого кармана, посмотрел, подал Зине.

— Теперь верно?

Зина, пораженная, рассматривает ордер. Стараясь улыбнуться, говорит Михаилу:

— Это какое-то недоразумение.

Но улыбка у нее растерянная, жалкая.

Воронин подавлен, молчит, не смотрит на Зину.

Работник НКВД в форме молча стоит возле двери.

Штатский к Михаилу:

— Вы кто?

Воронин испуганно взглядывает на Зину.

Зина, увидев, как муж изменился в лице, торопливо говорит:

— Посторонний. Земляк.

Смотрит на Михаила. Взгляд у Зины спокойный, очень спокойный.

— Горелов! Общитесь!

Работник НКВД в форме ощупывает Михаилу карманы. Штатский, тоном допроса:

— Оружие есть?

Михаил, с необычайной готовностью:

— Нет, нет. Какое у меня может быть...

— Документы?

Михаил торопливо подал паспорт.

Штатский перелистывает паспорт, сурово спрашивает:

— Фамилия?

— Воронин... Михаил Николаевич.

— Место рождения?

— Город Тейково Ивановской области.

— Холост?

— Да...

Михаил, стараясь не смотреть на Зину, шарит в нагрудном кармане.

— Извините, вот еще партбилет.

— А тут, гражданин Воронин, извиняться не надо. Партийный билет это честный документ, если, конечно, вы его по праву носите, на законном, так сказать, основании. Можете идти, земляк... Ну, чего встали? Сказано, идите.

Зина Михаилу:

— До свидания, товарищ Воронин. Я думаю, что это недоразумение. Передайте привет...

Воронин у двери. Работник НКВД говорит:

— Вернись!

Воронин съехался. Со страхом смотрит на штатского. А тот деловито:

— Оставайтесь! Понятым будете.

Горелов выдвигает ящики комода. Зина сидит на стуле около спящего Андрея. Падает на пол будильник. Зина, умоляюще:

— Тише! Ребенка разбудите. У него только два дня как нормальная температура...

Воронин молча стоит у стены рядом с комендантом.

Вещи в беспорядке раскиданы на полу, на столе. Видны детские рубашонки, штанишки. На подоконнике груда распластанных книг.

Штатский последний раз обшаривает глазами комнату: нет ли чего на потолке, на стенах?

— В камере хранения вещи есть?

Зина, вспомнив:

— Есть. Чемодан с зимними вещами.

Штатский взялся за ручки двери.

— Комендант! Понятой! Пошли. Горелов! Смотри тут...

Ушел, кинув подозрительный взгляд на ящик, в котором безмятежно спит Андрюшка.

Зина пытается заговорить с тем, кто в форме:

— За что меня?

Работник НКВД, оставшись наедине с Зиной, добреет. В голосе теплота.

— А я, думаете, знаю? Я, товарищ Михайлова, сам многого не понимаю. Если, возможно, недоразумение, стало быть, разберутся. Только едва ли...

Рывком открывается дверь. На пороге штатский. Он рассержен:

— Сколько раз вам говорить, Горелов, что с арестованными разговаривать воспрещается. Я еще ни разу не слышал, чтобы арестованный заявил, что его взяли правильно. Все говорят — недоразумение, а после — или диверсант, или шпион. Приподнимите ребеночка!

Зина берет Андрюшку на руки. И только тут, когда теплый, сонный Андрюшка доверчиво положил голову на плечо матери, она впервые по-настоящему поняла весь ужас своего положения.

— А как же Андрюша? Можно со мной?

Штатский приказал:

— Горелов! Осмотри ящик. Дай подушку.

Старательно исследуя подушку, штатский официально отвечает Зине:

— С детьми не положено. Если есть близкие родственники — муж, бабушка, — сообщите адрес.

Зина торопливо пишет адрес, подает бумажку Горелову.

— Ради бога не потеряйте, товарищ Горелов!

Штатский поправляет:

— Он вам не товарищ, а гражданин.

— Хорошо, хорошо. Гражданин

Горелов! Позовите сюда тетю Веру из кубовой. Пусть Андрюша пока у нее побудет.

— Товарищ начальник, можно?

— Можно. И вызови транспорт.

Горелов уходит. Штатский садится на стул, вынимает пачку папирос. Лицо у наркомвнудельца совсем другое, обыкновенное, хорошее, человеческое, словно кто-то невидимый снял с него жестокость. Зина, заметив эту перемену, с удивлением смотрит на него и спрашивает:

— Меня скоро освободят? Я так боюсь за Андрюшу. Еле сбили температуру...

Наркомвнуделец молчит.

Входят Горелов, тетя Вера, комендант и Михаил. Зина бросается к Вере:

— Тетя Вера! Милая!

— Не плачь, Зина, не плачь.

Штатский, по-прежнему сухим, официальным тоном:

— Товарищ Горелов! Оформите протокол.

Длинный коридор студенческого общежития. Много дверей направо и налево. По коридору идет Зина с узелком. Впереди Горелов, позади штатский. Чуть поодаль комендант и Воронин. Все двери закрыты, общежитие словно вымерло. В конце коридора двухстворчатые двери, ведущие в вестибюль.

Горелов подержал дверь, пропускающая Зину и штатского. Из вестибюля видно, как с крыши на веревках спускают огромный портрет Сталина. Портрет закрыл окна вестибюля, и в нем стало темно.

Воронин на трамвайной остановке. Он все время оглядывается. Подошел трамвай, Михаил проталкивается через толпу ожидающих, хватается за поручни, едет, стоя на подножке. Молодой человек, сидящий у окна, очевидно знакомый Воронину, кричит:

— Воронин! Куда?

Михаил соскакивает с подножки. По инерции пробегает за трамваем несколько шагов, падает, вскакивает, отряхивает с колен пыль. К нему торопливо идет милиционер.

— Не ушиблись, гражданин?

— Нет, спасибо, спасибо. Все хорошо.

— Сами прыгнули или столкнули?

— Сам... сам...

— Если сам, платите штраф. Самому прыгать нельзя.

Михаил достал бумажник, оглядывается.

— Сколько с меня?

— Десять. Десять рублей. Другой раз не будете. Что это вы так нервничаете, гражданин? Разрешите документики?

— Пожалуйста. Извините, интимная подробность. Еду с девушкой, а на передней площадке законная супруга.

Милиционер понимающе подмигивает.

— Бывает. Получите квитанцию.

Михаил пытается уйти без квитанции.

— Нет, гражданин, без квитанции нельзя. Получите. Положено...

— Премного благодарен.

Коридор студенческого общежития. Все двери закрыты. Из комнаты Зины вышла тетя Вера с горшком. Пройшла и скрылась за поворотом. В коридоре появился Андрюша. Он в одной рубашонке, шлепает босыми ногами по паркету по направлению к вестибюлю.

Приоткрылась дверь с правой стороны и сразу захлопнулась.

Андрюша идет по коридору. Одна за другой открываются двери и тут же захлопываются. И только восьмая или девятая дверь не захлопнулась. Большие мужские руки подняли Андрюшку. Слышен голос:

— Иди, милый, сюда... Иди.

Кабинет работника НКВД Герасимова. Он за письменным столом. В петлицах у него три шпалы. Входит начальник. В петлицах — два ромба.

Герасимов встал.

— А я хотел к вам.

— Что случилось?

Герасимов достал из папки га-

зету, взял за уголки и держит на весу.

— Видите?

— Что?

— Свастику!

— Где?

— На портрете. На дорогом портрете члена Политбюро товарища Кагановича.

— Не вижу. Я и портрета не вижу.

Герасимов поворачивает газету другой стороной.

— Теперь видите?

— Портрет вижу.

— А свастику?

— Не вижу. Не валяйте дурака, Герасимов.

Герасимов с загадочным спокойствием переспрашивает:

— Не видите?

Он расстилает газету на столе, достает из ящика большую лупу.

— А так видите?

— Не вижу. И видеть не хочу. Никто, Герасимов, не читает газеты так, как вы,— на весу. И никто, кроме вас, не читает газеты с лупой.

Герасимов в упор смотрит на начальника.

— Значит, вы ничего не видите, товарищ Ильинский?

— Дай лупу!

Начальник долго рассматривает портрет Кагановича.

— А вы знаете, Герасимов, если присмотреться...

— А вы присмотритесь, товарищ начальник. Это уже не первый раз. Если хотите, то это уже система. Я полагаю — арестовать.

— Кого?

— Редактора. А там посмотрим. Позвольте визу на ордер.

Начальник еще раз взглянул на портрет через лупу. Хмуро посмотрел на подчиненного.

— А еще за ним что-нибудь числится?

— Есть. Антисоветские разговоры. Неоднократно выражал недовольство.

Начальник снова испытующе посмотрел на подчиненного. А у того на лице полная готовность защищать страну от врагов. Начальник вздохнул, сделав вид, что это от

усталости, хотя где-то на самом дне души шевельнулась совесть. Расписался на ордере.

— Исполняйте!

Комната Сергея. В ней Сергей, молодой человек, две девушки. Накрыт стол. Стук. Молодой человек говорит Сергею:

— Если по делу, выпроваживай.

Сергей открыл дверь. В коридоре Михаил.

— Что случилось?

— Можно на твой вопрос не отвечать?

— Твое дело...

— Случилось так, что мне некуда идти.

Звонок телефона. Вышла Анна. Сняла трубку.

— Ивана Максимовича? Его нет.

Михаил, громко:

— Я понимаю, у тебя гости. Ничего, я пойду на вокзал.

Сергей:

— Не валяй дурака! Проходи.

— Не могу. Не хочу тебя стеснять. Ты не волнуйся. Я устроюсь.

— Как тебе не стыдно. Пойдем. Анна Аркадьевна, идемте ко мне. У меня небольшая компания. А вот вам кавалер.

— Ну, если есть кавалер, тогда приду.

Кабинет следователя НКВД Герасимова. В кабинете только один стул, для него самого. Герасимов, по телефону:

— Давайте арестованную!

Прошелся по кабинету. Снял со стола письменный прибор, поставил на сейф. Убрал все бумаги. Стол пуст. Только форменный бланк — «Протокол допроса».

Вошла Зина. За ней конвоир с винтовкой.

— Распишитесь, товарищ уполномоченный.

В кабинете двое: Зина и Герасимов.

Герасимов хмуро посматривает на Зину. Положил большие, тяжелые руки на стол.

— Ну-с, обвиняемая, разговаривать будете?

— Я не обвиняемая, я подследственная.

— Понятно! Сколько в камере пробыли?

— Два часа.

— Быстро научились. Опытная, стало быть.

Встал, подошел к окну. Из окна виден Театральный проезд, Лубянская площадь. Герасимов поманил Зину пальцем:

— Иди сюда, милочка... Иди, иди, не бойся.

Зина у окна. Герасимов объясняет ей:

— Видишь, люди гуляют?

По тротуару, мимо памятника Ивану Федорову, идут москвичи. Их много — обыкновенных, ничем не выделяющихся жителей столицы. Аппарат выхватывает некоторых из них, показывает крупно:

пожилую, видно, очень уставшую женщину;

двух жизнерадостных девушек, беседующих о чем-то веселом;

семью — молодого отца с ребенком на руках, мать с сумкой, из которой торчит бутылочка с соской;

старого рабочего, судя по форме, железнодорожника...

Кабинет Герасимова. Он повторяет свой вопрос:

— Видишь? Так вот, они — подследственные...

Комната Сергея.

Приятель Сергея пытается рассказать анекдот:

— Скажите, какая разница между...

Анна, умоляюще:

— Очень вас прошу — не надо анекдотов. Пожалуйста...

— У меня совершенно невинный. Про неверную жену.

Сергей жестом показывает, что и этот анекдот в присутствии Михаила невозможен.

Михаил Воронин пьет рюмку за рюмкой. Встал. Прислушался.

— Одну минуточку. По-моему, где-то плачет ребенок.

Открыл дверь в коридор. Все

смотрят на Воронина. Сергей успокаивает его.

— Миша! Садись. Анна Аркадьевна! Что же вы за своим кавалером не смотрите?..

Анна включает радиолу. Одна из девиц говорит:

— Малахольный... Как без него хорошо было.

Сергей приложил палец к губам.

— Тихо, Люся!

Слышен веселый фокстрот. Анна и Михаил танцуют.

— А вы, джентльмен, прелестно танцуете...

Михаил молчит.

— Кто вас научил так хорошо? Одно удовольствие.

Михаил молчит.

— Что случилось?

Михаил молчит.

— Что с вами, Михаил Николаевич?

Михаил молчит.

Коридор. Сергей провожает гостей.

— Тише, товарищи, тише...

Уходит приятель Сергея со своей девушкой. В коридоре Сергей и Люся. Сергей целует Люсю и на ее немой вопрос пожимает плечами. Смысл прост: «Ну что я могу поделать, если этот у меня. Куда я его дену?»

Выходит Михаил.

— До свидания, Сережа.

— Куда ты?

— Пойду погуляю.

Люся, счастливо улыбаясь, подает ему руку.

— Блестящая идея. Ночь чудесная.

Михаил в тон ей:

— Превосходная.

Звонок телефона. Из своей комнаты выходит Анна Аркадьевна. Сняла трубку.

— Ивана Максимовича? Нет, еще не пришел.

Повесила трубку. Спросила Михаила:

— Который час?

— Двадцать минут первого.

Анна сняла табличку с объявлением: «Сегодня по телефону дежурит

Анна Аркадьевна». Взяла со шкафа другую. Повесила. «Сегодня по телефону дежурит Слонов И. К.»

— Отмучилась.

Смотрит на Воронина.

— Вам действительно некуда идти?

— А вам какое дело до меня?

Анна изучающе смотрит на Воронина, словно хочет понять: кто же он?

— Идемте ко мне. Хотите чаю? Крепкого...

Комната в наркомате. Несколько письменных столов. На стене календарь. 12 мая 1937 года. Михаил Воронин считает на арифмометре.

Пожилой человек, очевидно начальник этого сектора, говорит:

— Скоро, товарищ Воронин?

— Одну минуточку... Сейчас...

Входит молоденькая девушка.

— Товарищ Воронин Михаил Николаевич здесь?

Воронин испуганно смотрит на девушку.

— Здесь.

— Вас просит зайти начальник отдела кадров товарищ Красильников Петр Лаврентьевич.

— Сейчас?

— Немедленно!

Михаил суетливо выдвигает и задвигает ящики стола. Сотрудники стараются не смотреть на него, усиленно шелкают счетами, пишут. Начальник, сняв очки, смотрит в окно.

Коридор наркомата. Девушка, вызвавшая Воронина, быстро идет по самой середине. За ней, поближе к стене, — Михаил.

Навстречу Валя, подруга Зины по общежитию. В руках у нее сверток.

— Миша!

— Валюша. Тише. Я сейчас. Меня вызвали. Я сейчас... Лучше не сегодня... Подожди меня.

Валя подает ему сверток. Воронин машинально принимает его.

Кабинет начальника отдела кадров. А вот он сам — небольшого роста, с хитрым лисьим лицом. В ру-

ках папка. На папке крупно — «Личное дело».

В кресле перед столом Михаил Воронин. В руках у него сверток.

— Не судился?

— Нет, нет.

— Выговора есть?

— Ни одного.

— Не успел еще? Все, значит, в порядке.

— Как будто все.

— Как насчет выпивок?

— Не увлекаюсь.

— Курица и та... Из родственников в последнее время никто не репрессирован?

Михаил, подумав, отвечает:

— Таких нет...

— Так вот что, товарищ Воронин, мы тут посоветовались. Есть мнение послать тебя на Верхневолжский комбинат. Согласен?

Михаил от волнения не знает, что сказать. Положил сверток на стол.

— Большое спасибо. Я, право, не знаю. Это так неожиданно. Если в отдел главного механика, тогда это интересно... Я там бывал на практике.

— Почему в отдел главного механика? Директором.

— Директором?

— Вот именно. Там все — директор, главный инженер, секретарь парткома, — одним словом, все руководство запуталось во вражеских связях. Предложено двигать молодежь! Вот так. Пойдем к заместителю наркома...

— Но я, право, не знаю.

— Ничего, поможем... Женат?

— Холост. Временно... конечно. Собираюсь вступить в законный брак...

— Жених, следовательно. Ха-ха!

— Просватан. На днях... Оковы Гименея.

— Оковы? Какие еще оковы?

— Собираюсь в загс...

— Пора. А то избалуешься. Квартира у директора там хорошая. Пустая стоит. Так что собирайся со своей, как ее звать-то?

— Анна.

— Иди со своей Анной расписываться и, как говорят, будь здоров.

А лекции мои ты хорошо слушал. Молодец. Пошли.

Они идут по коридору. Воронин еще не понял счастливой перемены в своей судьбе. Он идет, стараясь держаться поближе к стене. Начальник отдела кадров идет по самой середине. С ним почтительно здороваются.

Валя испуганно смотрит на Михаила.

Он жестом дает ей понять: «Не подходи!»

Дверь с табличкой: «Заместитель наркома И. И. Шаронов».

Заместитель наркома, очень приятный пожилой человек с усталым лицом, говорит Михаилу:

— Походите по отделам, по управлениям и, как говорится, с богом... Я надеюсь, что вы справитесь...

Начальник отдела кадров безапелляционно:

— Справится... Недаром мои лекции слушал. Оправдывает ваше доверие, Илья Иванович.

Замнаркома с чуть заметной усмешкой:

— Ну, если он ваши лекции... Давайте постановление. (Замнаркома подписал постановление). Желаю успеха... А доверие оправдывать, товарищ Красильников, надо не мое, а народа, партии.

Красильников и Воронин снова идут по коридору. На этот раз Михаил держится середины.

Кабинет Красильникова. Он самодовольно говорит:

— Порядок... Иди оформляйся.

Михаил у двери. Красильников окликает его:

— Забери свое имущество.

Михаил возвращается, берет со стола сверток. Платье Зины падает на пол.

— Извините.

Воронин поднимает платье, комкает его.

Красильников улыбается.

— Разве так можно! Зачем так подарок мять. Не торопись, заверни как следует.

Воронин заворачивает платье в газету. На пол падают часы. Красильников поднимает их, рассматривает, подает Воронину.

— Молодец. Приятный подарок. Передай привет невесте.

Воронин прячет часы в карман.

— Обязательно. Благодарю.

Коридор наркомата. У стены Валя. Увидела Воронина, бросилась к нему.

— Миша!

Воронин взял ее под руку, отвел подальше.

— Миша! Ты знаешь, Андрюшку тоже забрали. Приехала машина и увезла.

— Тише, Валя, тише...

— Это ужасно, Миша. Ты сходи, поговори.

Из своего кабинета вышел Красильников. Увидел Воронина и Валю и решил, что это и есть невеста Михаила. Подошел, улыбнулся, протянул Вале руку.

— Поздравляю...

Фамильярно ткнул Воронина в плечо.

— Ничего! Губа не дура...

И пошел по середине коридора.

Валя непонимающе смотрит на Воронина.

— С чем он меня поздравил?

— Ну, ошибся человек. Он в день по сто посетителей принимает. Ты куда сейчас?

— В общежитие...

— Иди. Я тут задержусь. А насчет Андрюшки я приму меры. Поговорю.

Валя молча поворачивается и уходит.

Михаил постоял, вынул из кармана Зинины часы, послушал. Часы не идут. Он завел пружину, снова послушал, переставил стрелку, положил часы в карман. Пошел по середине коридора. Походка у него другая: более уверенная.

Улица в небольшом, очень тихом городке. Выбитая мостовая. Пыль.

В тарантасе милиционер. В одной руке у него вожжи. Другой он бережно придерживает Андрюшку,

доверчиво прильнувшего к потрепанному милиционерскому мундиру.

Милиционер остановил лошадь — старую клячу. Крикнул проходившей мимо молодойке:

— Михайловой дом который будет?

— Столб видишь?

— Телеграфный?

— Нет, электрический, как раз у ее дома.

— Спасибо за справочку, красotka. Н-но, милая! Поехали.

Дом Михайловой. Милиционер слез с тарантаса и, ведя за руку Андрюшку, подошел к калитке. Залаял пес. Из окна выглянула пожилая женщина. Вышла на крыльцо.

— Михайлова здесь живет?

— Здесь. Я буду.

— Внука примите...

— Господи! Андрюша! А где же Зина?

— Мое дело, гражданка Михайлова, доставить вам внука. А о дочери я не информирован. Думаю, жива. Справки дают в Москве. На Кузнецком мосту. Соболаволите водички стаканчик?

Мать Зины все поняла. Подхватила внука на руки, понесла в дом.

— Сейчас выйду.

Кляча отгоняет хвостом мух. Милиционер пристроился в холодке на толстом обрубке. Любопытных нет. Только две женщины стоят на другой стороне улицы. День великолепный. По ясному небу плывет отбившееся от стаи облако. Тишина. Мать Зины вышла из дома, подала милиционеру стакан воды на блюде.

— Пейте, пожалуйста!

Милиционер жадно пьет воду. Андрюшка появился на крыльце:

— Дядя!

Милиционер отдал стакан.

— Чистый бальзам. Ключевая или колодезная?

— Колодезная.

— Хороша. Я, пожалуй, поеду. Бывайте здоровы.

Погладил Андрюшку по голове.

— Ничего, не пропадет.

Пошарил в карманах, захотел, видно, что-то подарить Андрюшке. Но ничего не нашел. Еще раз погладил по голове.

— Вырастет.

Сел в тарантас, тронул вожжи.

— Н-но, милая! Извиняюсь, бабушка, совсем запамятовал.

Соскочил, достал из-под сиденья разносную книгу.

— Распишитесь, бабушка. Получила, мол, внука в целости и полной сохранности. Вот карандашик — химический. Простым не положено.

В комнате Анны Аркадьевны беспорядок, обычный перед сборами в дорогу.

— Обстановка там, Аня, сложная...

Вот теперь мы видим Анну. На ней платье Зины.

— А ты знаешь, оно миленькое. Я не люблю ничего из комиссионных магазинов, мне все кажется, что если продают, значит, какое-нибудь несчастье. А это миленькое и очень идет мне.

— Предрассудки. Там мне будет нелегко...

Воронин посмотрел на часы. Во всей его повадке ничего уже не осталось от человека, которого мы видели в первых эпизодах, движения округлые, голос густой — солидный человек, крупный хозяйственник.

— Скоро машина придет. Ты готова?

— Почти...

Анна взяла плащ, сумочку. Села на чемоданы. И вдруг:

— А если я с тобой не поеду?

— Как это так — не поеду?

— А вот так — не поеду, и все. Скажу: «Идите, дорогой Михаил Николаевич, ко всем чертям, на все четыре стороны».

— Ты с ума сошла!

— Напугался, товарищ директор? Я пошутила.

— Хороши шутки. Подъемные на тебя выписаны.

Звонок телефона. Анна не двигается с места. Воронин выходит из комнаты.

Анна одна. Сидит на чемодане. «Может быть, на самом деле, не ехать?» Она смотрит на неуспевший выгореть квадратик обоев, где висел портрет ее мужа. Входит Ми-

хаил. Как ни в чем не бывало, словно не было минутной размолвки, радостно сообщает:

— Приехала!

Посмотрел в глаза Анны, понял ее душевное состояние и поэтому с необычной для него мягкостью попросил:

— Не надо, Аня, не надо. Все будет хорошо.

Анна помолчала. Порылась в сумочке. Глаза у нее тоскливые: «Не будет у тебя, Анна, счастья, не будет». Встала и ответила мужу решительно:

— Поехали.

Река. В лодке Анна и Воронин. Он усиленно гребет.

— Ты устал, Миша. Не торопись. И зачем мы так далеко забрались?

— Подальше от моих дорогих подчиненных. «Товарищ директор!», «Михаил Николаевич!». На языке одно, а в голове другое. Надоело!

— Ты на меня не рассердишься? По-моему, это все тебе нравится. «Товарищ директор...»

Воронин подчалил к берегу. Вылез из лодки, помог жене выбраться на берег. Расстелил пиджак. Сел. Закурил. Многозначительно посмотрел на Анну.

— Все это может очень скоро кончиться, Аннушка. Мое директорство... одним словом, все.

Оглянувшись, встал, обошел вокруг — посмотрел, нет ли кого поблизости, снова сел.

— Все может полететь к чертям.

— Что случилось, Миша?

— Заместитель наркома Шаронов арестован. Позавчера. Взяли прямо в кабинете. Ты понимаешь, что это для нас значит? Если докопаются, что он подписывал приказ обо мне... Только людей подводят, подлецы.

— Может быть, тебе заявить?

— Еще чего-нибудь пришьют... Господи! Ни одного спокойного дня... Того и гляди прихлопнут, как моль, даже мокрого места не останется. Ты смотри не проговорись...

Воронин замолчал. Курит. Анна, тихо:

— Может, вернемся в Москву, пока моя комната не пропала?

— Ты с ума сошла. Надо жить тут. Я понял, как теперь надо жить. Лишнего не говорить. Человеку самой природой отпущено два уха и один язык, мораль ясна — меньше болтать и больше слушать.

— Это же страшно так жить, Миша, с такими принципами.

— У меня сейчас самый главный принцип — уцелеть! Я уцелею, и ты будешь жить, я пропаду, и ты пропадешь.

— Тяжело, Михаил.

— А ты думаешь — мне легко... Тише!

На реке показалась лодка. В ней два рыболова. Они увидели Воронина.

— Товарищу директору! На лодку выехали, подышать...

Воронин в тон им:

— Мозги проветрить...

— Иногда надо...

Титр:

«Шел май 1941 года. Советские люди не знали, что пройдет несколько недель и начнется война. Они работали, учились, радовались, огорчались — просто жили. Люди ездили отдыхать, в гости, в командировки».

Очередь к окошку администратора гостиницы. Над окошком табличка: «Свободных номеров нет». В очереди Валя. Она изменилась, повзрослела.

Появился новый командировочный. Он бесцеремонно пробирается к окошечку.

— Товарищ, вы же видите?

Новенький, не обращая внимания, стучит.

Администратор приоткрыл узенькую щелочку.

— Мест нет!

— У меня бронь. По личному распоряжению товарища Воронина Михаила Николаевича.

Сует в щелочку листочек. Дверца захлопывается.

Администратор выдает новенькому ключи.

— Двести второй. Третий этаж. Новенький с победоносным ви-

дом проходит мимо менее удачливых почлежников.

Валя устроилась на деревянном уютном диване. Спрашивает соседа, судя по обличью, опытного толкача:

— Кто это Воронин?

Тот от удивления даже встал и, обращаясь не столько к Вале, сколько к остальным, с изумлением говорит:

— Вы слышали? Она спрашивает, кто такой Воронин? Девушка, вы что, в первый раз сюда прибыли?

— Впервые.

— Тогда простительно. Воронин, девушка, Михаил Николаевич, если не бог, то во всяком случае его первый заместитель по этой самой области. Стекло — Воронин, пряжа — Воронин, мерный лоскут — Воронин, шифер — Воронин.

Толкач вдохновенно объясняет Вале:

— Заместитель председателя облисполкома по промышленным вопросам — вот что такое товарищ Воронин! И, говорят, не сегодня-завтра будет председателем. А вы, девушка, сюда по какому вопросу, если, конечно, не секрет?

— По искусственному волокну.

— Ну, тогда и вам Воронина не обойти.

Приемная Воронина. Обычная приемная облисполкома. Стол секретаря с множеством телефонов, стулья, на стенах портреты.

В приемной посетители, в том числе толкач, которого мы видели в гостинице. И Валя здесь.

Из кабинета вышел посетитель.

Секретарь, молодой мужчина, подтянутый, вежливый, говорит:

— Следующий!

Квартира Ворониных. Квартира хорошо обставлена, со вкусом. В ней нет мещанского излишества, бронзы, аляповатых картин в багетовых рамах.

Анна почти не изменилась за эти четыре года: стройна, хорошо одета. Она непохожа на стандартных жен областных работников, которых, к сожалению, не в меру ча-

сто изображает на эстраде Мария Миронова.

Анна по телефону:

— Хорошо. Я зайду к Михаилу Николаевичу ровно в два часа и привезу его к вам. Вы правы, ему обязательно нужно новое пальто. Он никак не хочет расстаться со своей шинелью. Ему просто некогда о себе подумать...

На часах в приемной Воронина без десяти минут два. Все посетители отпущены. В приемной только одна Валя да секретарь, добросовестно считающий на счетах.

Из кабинета председателя выходит посетитель.

Секретарь, заглянув для верности в список, приглашает Валю:

— Товарищ Дементьева, пройдите.

Кабинет Воронина. Он за письменным столом. Увидев Валю, встал, подошел к краю стола. Валя совсем близко. Воронин узнал ее. Только на один миг в глазах мелькнуло изумление, но он тотчас овладел собой.

— Прошу... Присаживайтесь. Я вас слушаю...

Валя ведет себя так, словно они никогда не встречались, деловито, кратко излагает цель посещения:

— На вашу фабрику искусственного волокна будут направлены на практику студенты нашего института...

— Я знаю. Мы получили письмо. И уже ответили согласием.

Воронин отвечает, глядя Вале в глаза, словно хочет сказать: «Ну, еще что ты скажешь, милая?»

— Мы ответа не получили.

— Сейчас проверю.

Нажал кнопку. Вошел секретарь.

— Проверьте, когда ушел ответ по поводу студентов-практикантов.

— Два дня назад.

— Спасибо. Вы свободны. Выходит, вы поторопились, товарищ АLEXИНА...

— Дементьева.

— Прошу прощения. Вы поторопились, товарищ Дементьева. Можно было по этому вопросу из Москвы не приезжать, сэкономить государственные средства.

Воронин снова смотрит прямо в глаза Вале: «Ну, говори! Только посмей спросить — я тебе так отведу!»

Валя продолжает:

— Я хотела бы познакомиться с производственным процессом — будет ли он полностью полезен для наших студентов...

— Знакомьтесь. Кто же вам мешает?

— Меня даже не пустили на фабрику. Сказали — производство полусекретное...

— Перестарались. Я распоряжусь. Что еще?

— Нашему институту нужны...

Приемная. Вошла Анна Аркадьевна.

Секретарь идет к ней.

— Михаил Николаевич занят?

— Сейчас освободится. Последний посетитель. Да вы пройдите.

— Неудобно.

— Я могу напомнить...

— Я лучше подожду.

Выходит Валя. За ней Воронин. Он доволен: все обошлось благополучно. Глаза у него сияют.

— Всего хорошего, товарищ Деметьева. Все будет сделано.

Анна, увидев Валу, кричит:

— Валька! Родная! Откуда взялась?

— Господи, Анна... Я только вчера приехала. В командировку. А ты почему здесь?

— Я? Я тут живу. Вот мой муж, познакомься.

— А мы знакомы... Мы уже успели познакомиться. Анна, милая. Как я рада.

Анна не замечает, что Воронин поражен.

— Михаил! Ты только подумай, какая неожиданная встреча. Вальюша, сколько мы лет с тобой не виделись? Десять? Нет, восемь.

— Да, да — восемь, не меньше.

— Миша! Мы с Валей в одной школе учились. Ты где остановилась? В Центральной? Будешь жить у нас.

— Я завтра уезжаю... Твой муж был так любезен и помог мне быстро решить все дела. — И добавляет с

чуть заметной иронией: — Он у тебя очень деловой.

Михаил старается перевести разговор на шуточный тон:

— Я очень благодарен за столь лестный отзыв.

Анна не догадывается ни о чем и шуточно добавляет:

— Чересчур деловой. Иногда даже забывает о моем существовании. Ну хорошо, завтра ты уезжаешь, а сегодня? Сегодня ты у нас...

Квартира Ворониных. Анна и Валя. Анна грустно говорит:

— Вот так и живем. Сытно. Уютно. Тепло. И очень тоскливо. Михаил только на людях бодрячок, а дома больше молчит. Я почти всегда одна. Подруг у меня здесь нет. С женами нижестоящих, как говорит мой муженек, мне дружить не положено. А вышестоящие жены, по той же, видно, причине, меня не признают.

— Шла бы работать. Это, конечно, не средство от всех бед, но все же...

— Пыталась. Муженек не пустил. Что, дескать, люди скажут: «Жена Воронина пошла служить. Это неспроста». Я ему говорю: «Чего ты боишься?» А он мне: «Ничего я не боюсь. Неудобно, и все».

— Тебе виднее. Впрочем, прости...

— Были бы у меня, как у тебя, дети, я бы жила по-другому. Но сначала я не хотела, все думала, а вдруг я уйду от него, потом он не хотел, а теперь все, конечно, не будет у меня детей.

— Возьми в детском доме...

— Я ему как-то об этом сказала... Он даже заикаться начал, побелел весь. Накричал на меня ужасно... Ты, говорит, не знаешь, чьи дети в детских домах, кого туда напихали? Ты меня спроси, где сейчас их родители... В общем, это был странный, страшный разговор.

— Анка! Прости меня. Может быть, мне не надо ничего говорить тебе. Я, наверное, дура, подлая дура. Но у тебя... у тебя может появиться

сын. Слушай, Анка. Только не ругай меня после...

Улица в маленьком городке. Дом Андриюшиной бабушки. Окна заколочены досками крест-накрест. Дорожка к крыльцу этого маленького покосившегося дома заросла травой.

Анна у палисадника. Рядом с ней старик в ватнике. Поодаль несколько школьников слушают, как старик объясняет Анне:

— Мария Тихоновна, царство ей небесное, преставилась в крещение. По новому стилю это получается девятнадцатого января... Померла она легко, в одночасье — вынимала из печи чугунок с картошкой, упала, и все.. Смерть легкая, воздушная...

— А где же внук? Андрюша где?

— Он тогда основательно перепугался. В чем был — выскочил на улицу, а мороз в тот день был лютый.

— Где же он?

— Не знаю, бесценная. Не знаю. Болтали тут, что его в воспитательный дом сдали.

Комната, тесно заставленная канцелярскими столами. Над столами таблички: «Инспектор по дошкольному воспитанию», «Инспектор по опеке». Анна разговаривает с инспектором по опеке:

— Он же здесь, в вашем городе жил. На Кооперативной. У него бабушка в январе умерла...

— У всех бабушки умирают. На Кооперативной жила. Так бы и говорили. У него фамилия другая. Его по бабушке Михайловым звали. Посмотрим.

Инспектор вынул из стола общую тетрадь, неторопливо полистал страницы:

— Сейчас... Нашел. Воронин Андрей, по отчеству Михайлович, рождения 1935 года, круглый сирота, отправлен в Ленинградский детский дом.

— Адрес детского дома у вас можно узнать?

— Почему же нельзя. — Инспектор написал на листочке адрес. — Вот, пожалуйста.

Квартира Ворониных. Анна и Михаил продолжают давно начатый разговор.

— Если ты не можешь написать в Ленинград, я напишу.

— Это все равно. Результат будет один и тот же. Заместитель председателя облисполкома Воронин разыскивает.

— При чем тут заместитель председателя. Отец разыскивает.

— Отец! Но этот отец — заместитель председателя облисполкома и разыскивает своего сына, мать которого враг народа, а вышеупомянутый Воронин в свое время не сообщил в партийную организацию о своей связи. Вот тебе первые строчки из будущего персонального дела Михаила Николаевича Воронина, члена ВКП(б) с 1933 года.

— Неужели, Михаил, тебе твоя должность дороже, чем сын? Я все равно поеду в Ленинград, заберу Андрюшу. Если бы я все знала раньше, если бы я только знала...

— Никуда ты не поедешь.

— Поеду.

— Только попробуй! Ты хочешь, чтобы меня выкинули из партии? Ты этого хочешь?

Анна, не выдержав, кричит:

— Я бы на твоём месте сама ушла. Что у тебя общего с партией? Партмундир!

Воронин даже застыл от удивления.

Потом опомнился и совершенно спокойно сказал:

— Дура... Я тебе этого никогда не прощу...

Ушел, хлопнув дверью.

Анна, по телефону:

— Николай Петрович! У меня к вам большая просьба. Закажите мне билет до Ленинграда. Нет, срочно, если можно, на завтра. Какой сегодня день? Суббота? Да, да, на завтра на дневной поезд. Спасибо.

Вошел Воронин.

— Не сходи с ума. Как тебе не стыдно трепать и себе и мне нервы.

— Уходи, Михаил. Уйди! — И, совсем не владея собой, Анна кричит: — Трус!

Титр:

«1941 год. Воскресенье. 22 июня».

Анна у окна. По радио передают марш. В комнату вошел Воронин.

— Аня, дорогая, сейчас не время сводить личные счеты. Я уезжаю... В облизполком. Проводи меня.

Обнял Анну. Он идет, словно во сне.

Спальня Ленинградского детского дома имени Пушкина. Топится небольшая печка. Чуть поодаль топливо — ножки от стульев, расколотая спинка старинного кресла. Дети спят, укрывшись одеялами, пальто. На кровати, освещенной огнем из печки, — Андрюша. Он перочинным ножом разрезает картофелину, елико можно ровнее. Взял половинки в руки, спрятал за спину.

— В левой или в правой?

Вася медлит, потом решительно:

— В левой!

— Держи.

Едят бережно, откусывая по маленькому кусочку.

— Сегодня опять бомбили.

— Знаю. Тетя Клава говорила, чуть-чуть в их дом не попали.

— Ну уж и чуть-чуть... Целых пять домов от нее.

Вошел воспитатель Шукин.

Дети притихли. Шукин сел к печке, достал из кармана сверток.

Развертывает газету.

Дети смотрят.

Шукин все развертывает.

Дети напряженно смотрят.

Шукин, наконец, достал кусок хлеба. Ест.

Дети смотрят, как он ест: не спеша, старательно разжевывая.

У Шукина остался маленький кусочек.

Дети смотрят на хлеб, не отводя глаз.

Вошла Клава. Шукин торопливо проглотил остаток, скомкал газету, бросил в печь. Вытер губы.

Клава, сурово:

— Товарищ Шукин, вас Иван Митрофанович... — И с укоризной добавила: — Опять при детях?

— Они, дорогая Клавдия Ивановна, спят, а самое главное, я ем

свое, заработанное честным трудом. Я всю ночь разгружал...

Клава ушла. Шукин подошел к тумбочке, увидел выдернутое колечко, торопливо открыл дверку, достал сверток и обнаружил, что одной, самой крупной картофелины нет. Злобно посмотрел на спящих детей. Подошел к койке Васи, рванул с него одеяло. Замахнулся.

— Гаденыш! Вор!

Андрюшка соскочил с койки.

— Не трогайте Васю! Я вас так пырну...

Шукин отошел к своей тумбочке, завернул картошку, положил в карман. Проходя мимо койки Андрюши, бросил:

— Ты у меня еще получишь...

Тесный кабинет заведующего детдомом Ивана Митрофановича Казакова. Он сидит за столом в шапке, стеганке. На окне — толстый слой льда. «Фигасик», сделанный из пузырька с надписью «Клей канцелярский», освещает комнату. Иван Митрофанович перебирает бумажки.

Вошла Клава. Встала около батареи центрального отопления, потрогала по старой привычке — может, теплая — и отошла.

Иван Митрофанович посмотрел на Клаву понимающим взглядом, спросил:

— Как Женья?

— Сегодня, слава богу, нормальная, тридцать шесть и шесть.

— Где Шукин?

— Идет. Я, Иван Митрофанович, как-нибудь его ударю.

— Получишь выговор и будешь перед ним извиняться.

— Ни за что!

Входит Шукин. Подозрительно посмотрел на Клаву.

— Я вас слушаю, Иван Митрофанович.

Казаков говорит медленно, видно, ему трудно дается каждое слово.

— Так вот, товарищи. Завтра из Ленинграда вывозят нашу последнюю группу... — Вынул из кармана бумажку. — Полетят самолетом. Могут взять шестьдесят пять детей и

двух взрослых, а у нас семьдесят детей и двое взрослых...

Щукин поспешно вносит поправку...

— Трое взрослых!

Казаков уточняет:

— Семьдесят детей и двое взрослых.

Клава предлагает:

— Иван Митрофанович! Они же у нас худенькие. Они весят всего ничего. Заберем всех. В крайнем случае я останусь.

— Не о тебе речь, Клава.

Щукин взялся за ручку двери.

— Одну минуточку.

Клава, удивленно:

— Куда это он?

Вошел Щукин с ящиком. Поставил на стол, открыл. Иван Митрофанович догадался, что хочет делать Щукин, и глаза его посуровели. Клава просто удивлена: такое время, а Щукин перебирает какие-то карточки. До того ли сейчас?

Щукин отобрал восемь карточек, положил перед Казаковым. Видна верхняя карточка: Семенов Вася, рожд. 1934 года. Щукин, деловито:

— Этих можно не брать...

Иван Митрофанович все понял, но ему хочется до конца измерить степень подлости Щукина.

— Почему, товарищ Щукин, этих можно не брать? Может, вы объясните.

— А вы взгляните.— Щукин ткнул пальцем в буквы, которые нанесены на Васиной карточке,— «ЧСВН», и разъясняет:— Член семьи врага народа!

Иван Митрофанович придвинул к себе ящик и, вставляя карточки, медленно произнес:

— Дети... все и Клава. А вы останетесь, как настоящий патриот.

Клава положила руку на спинку кресла. Видна морда льва. Такое же кресло пылало в печке.

— Можно, Иван Митрофанович?.. Пусть последнюю ночь в тепле...

Казаков махнул рукой: «Тащи!»

Клава с трудом выволакивает кресло. А оно, словно предчувствуя

свою кончину, не вылезает, застряло в двери.

Ясный зимний день. По улице мчится легковая машина. Рядом с водителем — Михаил Воронин.

У него прекрасный вид — он здоров, крепок. На нем ладно сшитая шинель, фуражка военного образца.

Машина подкатила к солидному зданию. Воронин вышел из машины, коротко бросив шоферу:

— Обедать?

— Так точно, товарищ Воронин. Успел.

— А я еще не успел. Ладно, пообедаю здесь...

— Ваша супруга просила напомнить, чтобы сегодня обедать домой приехали.

— Тогда я сейчас вернусь.

Идет большая группа детей. Среди них Андрей и Вася. Впереди группы с санками Клава. У некоторых детей на плечах лыжи.

Воронин посмотрел на детей и с уважением сказал шоферу:

— Ленинградцы!

И скрылся в подезде.

Дети остановились, наблюдают, как шофер, подняв капот, копается в моторе. Особенно любопытны Андрей и Вася. Они даже пытаются советовать шоферу:

— Продуть надо.

Шофер смеется. Слышен голос Клавы:

— Мальчики! Воронин! Семенов!

Дети побежали. Только Андрей, Вася и еще один курносый паренек никак не могут оторваться. Из калитки выходит Воронин. Он видит, как Клава отчитывает детей, оставшихся возле машины.

— Вы что, оглохли?

Андрюша и Вася со смехом бегут мимо Воронина. Андрюша захватил полную горсть снега, хочет есть.

Клава, возмущенно:

— Андрюша! Брось сию же минутку...

Воронин сел в машину. Машина тронулась, быстро обогнала Клаву,

ведущую за руки веселых Андрюшу и Васю. Шофер кивнул на детей.

— Однофамилец ваш! Боевой!

Машина свернула за угол. С горы на санках катаются дети. Воронин шоферу:

— Давай в гараж. А я немного пройдусь перед обедом.

Вышел из машины. Подошел к Клаве.

Андрюша и Вася на лыжах летят с горы.

Воронин спрашивает Клаву:

— Из какого дома?

— Из Ленинградского имени Пушкина...

— Где живете?

— На Михайловской. В старом корпусе.

— Хорошие ребята.

— Замечательные!

— Шалуны, наверное?

— Да уж не тихони. Особенно вот эта парочка.

— Я вижу, вы их любите.

— А как же их не любить?

Андрюшка повалил Васю на снег. Клава кричит:

— Андрюша! Перестань! Слышишь, перестань!

Михаил Воронин с любопытством смотрит на барахтающихся в снегу мальчиков. Посмотрел и пошел своей обычной солидной походкой.

Большая комната, выгороженная из фабричного корпуса. Толпа женщин. Несколько пожилых мужчин. Есть и девочки-подростки. Слышны голоса:

— Опаздывают!

— Медосмотр, говорят.

— Ужин задержал.

— Как будто мы их сами не покормим.

Открылась дверь. На пороге Клава. Она громко объявляет:

— Лаврентьев Миша!

Выходит мальчик. К нему бросается пожилая женщина.

— Мишенька! Здравствуй, Мишенька.

— Здравствуйте, тетя Наташа.

Клава. Зайцев Володя!

Старик с большой бородой улыбается пареньку:

— Володя!

— Привет, дедушка!

— Фельдман Инна.

Инну Фельдман забирают девочки-подростки. Одна из них, целуя Инну, заговорщически сообщает:

— Ты даже не знаешь, что мы тебе приготовили!

— Что? Катя, скажи!..

Вторая девочка, постарше, укоризненно:

— Не вытерпела, трепуха. Идем, Инночка, идем.

— Воронин Андрюша и Семенов Вася...

Друзей забирает Елена Ивановна Еленина.

— Роденькие вы мои!

Городская улица. Люди ведут за руку детей. Садятся в трамваи, в автобусы. Вожатая трамвая, увидев Еленину с детьми, кричит:

— Не беги! Подожду.

Мальчишки через открытую дверь будки смотрят, как вагоновожатая ведет трамвай. А та, не оборачиваясь, разговаривает с Елениной:

— В понедельник обратно?

— Как всегда...

Комната в квартире Елениных. За столом Андрюша, Вася и Надя Еленина. Ей лет шесть-семь. Елена Ивановна ставит на стол блюдо с вареной картошкой, разливает в чашки молоко...

— Ешьте, ребята, ешьте. А потом рисовать будем...

Надя, запихивая в рот картошку, сообщает:

— Мама! Там письмо...

Еленина рванулась к комоду, взяла письмо и закричала:

— Надя! Это не от папы. Это не его почерк. Господи!

Надя совершенно по-взрослому говорит:

— А ты читай, мама, скорей читай.

Еленина раскрыла треугольник, читает.

— Надя! Милая... Папа наш в госпитале. Ранен.

Надя молча смотрит на мать. Вася деловито замечает:

— Ранен — значит, не убит...

Андрей отнимает у Нади ложку.

— Это моя ложка!

— Нет, моя. Твоя изогнутая.

Еленина, сквозь слезы строго:

— Дети! Не ссорьтесь!

Кабинет председателя облисполкома. Заканчивается заседание президиума. Председатель «подводит итоги»:

— Еще два-три таких мороза, как в январе, и мы заморозим весь город. А на топливном фронте у нас прорыв. Вчера Быков из леспромхоза звонил — в лесу одни бабы, мужиков совсем нет... Да, одни бабы... Придется в лес товарищу Воронину.

Один из членов президиума шепчет другому:

— Воронин-то? Не возражает.

— Попробуй возрази. Павел Николаевич шутить не любит, сразу бронь снимет. Вместо леса можно и на фронт угодить.

Председатель к Воронину:

— Как ты, Михаил Николаевич, на это смотришь? Надо город спасать...

Воронин встал.

— Павел Николаевич поставил вопрос по-государственному. Не будет топлива — город заморозит. Заморозит школы, больницы, учреждения. Что касается меня лично — я готов выполнить любое задание Павла Николаевича. Короче говоря, выеду в лес хоть завтра. Но позвольте. Павел Николаевич, перед отъездом высказать некоторые соображения по экономии топлива...

— Пожалуйста...

— Во-первых, почему город должен отапливать новый вокзал? Там один санпропускник жрет пять кубов в день — в месяц полтораста кубов. Помножьте на зимние месяцы. Заречная баня спалила за два месяца двести пятьдесят кубов, а холод в ней, как на катке. Воруют.

Председатель недовольно брякнул колокольчиком.

— Ближе к делу, товарищ Воронин.

— А это и есть дело, Павел Николаевич! Там сто кубов, в другом месте сто — уже можно школу протопить... И еще. Часть ленинградских детей разместили на Михайловской, в старом фабричном корпусе. Эту прорву не натопишь, из него все выдувает. И детям плохо, и нам плохо — еще расход...

— Что же ты предлагаешь?

— Перевести детей в более теплое помещение.

— Но ты же знаешь — некуда. И, по-моему, там уж не так холодно.

— Я сегодня там был. Собачий холод. А если, как вы говорите, некуда, тогда надо поставить вопрос о перебазировании детей в другой город. Можно к нашим соседям...

— Неудобно. Ленинградские дети, а мы от них вроде отказываемся.

— А если замерзнут? Тогда с нас шкуру снимут...

Квартира Воронина. Анна Аркадьевна укладывает чемодан. Воронин входит с дубленным полушубком в руках.

Анна перечисляет:

— Носков шерстяных две пары. Белья три пары — две обыкновенных, одна шерстяная.

Михаил, бодро:

— Ничего, Аннушка, не замерзну...

Анна ушла.

Воронин примеряет перед зеркалом полушубок, подпоясывается ремнем. В его облике сейчас что-то фронтное. Он даже козыряет сам себе: «Вот так-то, товарищ Воронин!»

И с издевкой над самим собой добавляет: «Будет выполнено, Павел Николаевич! Будет сделано, Павел Николаевич! Так точно, Павел Николаевич!»

Анна вошла в комнату. Воронин не слышит и продолжает разговаривать сам с собой:

— Вы идиот, Павел Николаевич! Коллекционный, Павел Николаевич... Но ничего не поделаешь, Михаил Николаевич, будешь выполнять указания...

Увидел в зеркале Анну. Она с насмешкой смотрит на него.

— Отводишь душу?

Воронин, оправдываясь:

— Если бы ты знала, как мне иногда стыдно идти по улице — здоровый, а не на фронте.

— Ты же мало ходишь... Больше на машине...

— Разве с тобой можно поговорить...

— Какая уж есть...

Воронин, неожиданно:

— Почему ты живешь со мной? Ты так меня не уважаешь.

— Если ты хочешь, уйду...

— Прости меня... Я не хотел тебя обидеть...

Кабинет председателя облисполкома. В кресле Еленина, у Елениной значок депутата Верховного Совета СССР.

Председатель по телефону:

— Придется отменить... Депутат говорит, что это недоразумение. Кто-то неправильно информировал товарища Воронина.

Положил трубку.

— Вот так, товарищ Еленина. Отменим. Дети останутся у нас.

Еленина, сдержанно:

— Спасибо за помощь, Павел Николаевич. И на будущее учтите — ленинградских детей отправлять в другой город ткачихи не позволят. По квартирам разберут.

— Без мужиков своих детей трудно прокормить.

— Прокормим! Весной картошку посадим. Нас, ткачих, ничем не возьмешь...

Московский вокзал в Ленинграде. Под вывеской «Ленинград» полотнища с приветствием: «Вот вы и дома, юные ленинградцы!»

Перрон заполнен людьми. Много женщин, военных. Счастливые, радостные лица. У многих в руках цветы, коробки с конфетами.

Женщина в белой блузке держит игрушечный автомобиль. Объясняет молодому майору:

— Он же вырос. Четыре года! Может, он меня по своей машине узнает.

— И моя выросла...

Вынул из бумажника фотографию девочки.

— Вот такая она у меня... Последний раз видел ее перед самой войной.

Женщина все повторяет:

— Я так волнуюсь, так волнуюсь.

По радио передают:

— Внимание! Поезд с детьми прибывает на второй путь через пять минут. Товарищи ленинградцы! Просим сохранять спокойствие и порядок!

Толпа, как зачарованная, слушает. Мы снова видим женщину в белой блузке. Она объясняет уже не майору, а мужчине в штатском:

— Он же вырос. Четыре года! Может, он меня по своей машине узнает...

Ее слушают внимательно, с улыбками.

Показался поезд.

На перроне тихо. Люди смотрят на паровоз.

Паровоз все ближе.

Люди на перроне замерли. Тишина.

И в этой тишине слышен по радио взволнованный женский голос:

— Дорогие ленинградцы! Товарищи! В родной наш город прибывает поезд с детьми, эвакуированными в грозные дни блокады и голода. Родина сохранила нам наших детей. Поздравляем вас, матери и отцы, братья и сестры. Поздравляем вас, дорогие наши...

Люди бегут по перрону.

Бежит молодой майор.

Бежит мужчина в штатском.

Мелькают окна вагонов. В них дети.

Слышны крики:

— Мама!

— Коля!

— Мама!

— Тоня!

— Оля!

— Мама!

— Папа! Я здесь!

Расталкивает толпу женщина в белой блузке с игрушечным автомобилем в руках.

— Валя! Валя!

С площадки соскакивает мальчик лет двенадцати.

— Мамочка! Мама!..

— Валя! Это ты? Валя? Господи, да какой же ты большой, Валя!

По радио передают:

— Через несколько минут на площади Восстания состоится митинг.

Идут счастливые родители и дети.

Редких встретили отцы и матери, очень редких. Видны больше одни матери или одни отцы.

Из последних трех вагонов выходят дети и строятся парами. В первой паре Андрюша Воронин и Вася Семенов. Рядом с ними Клава.

— Ребятки! Пошли.— И, позабыв про торжественность момента, кричит: — Иван Митрофанович! Мы здесь! Здесь!

Иван Митрофанович, старенький директор детского дома, обнимает, целует Клаву.

— С приездом! Наконец-то! Здорово, орлы!

— Здравствуйте, Иван Митрофанович!

Больше никто их не встречает. Клава и Иван Митрофанович, переговариваясь, идут впереди колонны.

— Как доехали?

— Замечательно.

Женщина в белой блузке кричит: — Смотрите! Смотрите!..

Родители, встретившие своих детей, слышат этот взволнованный голос, останавливаются, оборачиваются и видят колонну. И снова на перроне становится тихо. Женщина в белой блузке поставила своего Валу у стены, схватила паренька из колонны, обняла, заплакала:

— Дай я тебя поцелую! Милый ты мой! — Она сует ему в руки автомобиль.— Это тебе от моего Вали. Тебе...

— Спасибо, тетя, спасибо.

По радио передают:

— Товарищи ленинградцы! Митинг, посвященный прибытию первого поезда с детьми, объявляю открытым...

Молодой майор держит на руках девочку лет восьми. Она объясняет отцу:

— Я уже читать умею. Хочешь, прочитаю? — И нараспев читает: — «Граждане пассажиры!» Хорошо я читаю, папа?

У девочки в руках кукла и плитка шоколада. Майор взял у нее плитку, спустил дочь с рук и передал плитку девочке из колонны. Дочка майора кричит:

— Это Люська! Люська! Приходи ко мне в гости, Люська! — И снова объясняет отцу: — Мы с ней очень дружим, папа...

Первые дети из детского дома вышли на площадь. Вот стоят автобусы с табличками: «Заказной». На ветровом стекле объявление: «Детский дом имени Пушкина».

Андрюша, улыбаясь, говорит Васе:

— За нами! Вот здорово!

Голос по радио:

— Слово имеет Михаил Николаевич Воронин, представитель Верхневолжской области, в которой наши дети благополучно пережили войну.

Михаил Воронин на трибуне.

Андрюша Воронин деловито пинает крышку автобуса: хорошо ли, дескать, накачан воздух.

Михаил Воронин снял шляпу. Он очень волнуется.

Море голов на площади. Все приехали.

— Дорогие товарищи ленинградцы! Я счастлив доложить вам, что первый поезд с вашими детьми прибыл благополучно. Мы привезли вам самое дорогое, самое святое, что есть у человека, — детей. Нашу надежду, нашу радость, наше счастье! Трудящиеся нашей области в тяжелую годину войны, сами испытывая огромные трудности, по-братски приняли ваших детей, делились с ними, что называется, последним куском хлеба...

Эхо доносит: «хлеба».

— Особенно горячо полюбили ваших детей наши славные работники...

У многих на глазах слезы. Украд-

кой смахнул слезу майор, плачет женщина в белой блузке.

Андрюша Воронин улыбается шоферу автобуса, а шофер в пилотке, видно, недавно демобилизованный солдат, жестом приглашает его к себе в кабину.

Михаил Воронин на трибуне. Он следит: куда же исчез Андрюшка?

— Трудящиеся нашей области просили меня передать вам, героические ленинградцы, земной поклон за ваши беспримерные подвиги...

Андрюша Воронин держится за «баранку». На его лице восторг, упоение.

Человек, открывший митинг, троекратно, по-русски, целует Михаила Воронина.

Гремит оркестр.

Набережная Невы около Адмиралтейства. Идут Андрей и Вася. Сейчас это совсем взрослые юноши. Ладные, красивые. Вася иронически:

— Сейчас произойдет трогательная встреча двух балбесов с очаровательной незнакомкой. А почему, собственно говоря, она назначила нам свидание у Петра?

— А я откуда знаю... Все приезжие назначают свидания около Петра.

— Я понимаю. Она хитрая. Хочет издали посмотреть, стоит ли с этими дубами восстанавливать знакомство. Какие приметы?

— В правой руке книжка.

— Будь здоров, Воронин. Здесь каждая вторая с книжкой в правой руке.

Они стоят у памятника Петру, внимательно оглядывая прохожих. Идет девушка без книжки. Вася вежливо окликает:

— Вы Надя?

— Совсем наоборот... Катя.

Андрей, сердито:

— Вася! Перестань!

Идет девушка с книгой. Андрей окликает:

— Надя!

Девушка с усмешкой бросает:

— Старый приемчик, молодые люди...

Вася напевает:

— Уж полночь близится...

По тропинке идет Надя Еленина. Она узнала друзей, заторопилась.

— Мальчики, здравствуйте... Я опоздала?

Вася, любуясь Надей, восхищенно говорит:

— Нет, ты посмотри, ты посмотри... А опаздывать, гражданка Еленина, не полагается... Андрюша, подай ручку... Вот так.

Надя целует Васю и Андрея.

— А вы, мальчики, нисколько не изменились... Выросли немножко.

Кафе. За столиком Надя, Андрей и Вася.

Надя. Он меня чуть-чуть на хронологии не засыпал. Будьте, говорит, добры дополнительно сказать дату Ледового побоища. Слава богу, я знала — пятого, отвечаю, апреля. А он не успокоился. По какому стилю? Все! Отмучилась. Вася, а почему ты не хочешь в институт?

— Я без отрыва. Это вот ему, медалисту, зеленая улица.

Официантка подала еду. Андрей отнял ложку у Нади.

— Это моя ложка!

— Нет, моя. Твоя изогнутая.

Вася, тоном Елены Ивановны:

— Дети! Не ссорьтесь!..

Кабинет председателя приемной комиссии института Щукина. Иван Митрофанович сидит, а Щукин стоит.

— Почему не приняли Андрюшу Воронина? Он способный мальчик. И так хочет учиться.

— А вы разве не знаете, чей он сын?

— Знаю. Но сын за отца не ответчик, товарищ Щукин, так, кажется, сказано?

— Сказано. Что верно, то верно. За отца не отвечает. А за мать? О матери, извините, товарищ Казаков, ничего не сказано...

Иван Митрофанович встал.

— Я знал, что вы большая скотина, Щукин. Но не представлял, что до такой степени.

— За оскорбление должностного лица при исполнении служебных обязанностей будете отвечать по за-

кону, гражданин Казаков. И попутно за то, что доверили воспитательную работу члену семьи врага народа.

Иван Митрофанович гневно бросает от дверей:

— Беги доноси... Скот. Натуральное удобрение!

Надя, Андрей и Вася молча идут по набережной Невы. Около Адмиралтейства Вася подал руку Наде и Андрею и повернул назад к Дворцовому мосту. Надя и Андрей все так же молча идут дальше. Надя взяла Андрея под руку.

Комната в общежитии рабочей молодежи. Несколько коек, тумбочки. Посредине большой стол. Вечер. На койке Андрей с книжкой. Вася за столом пьет чай из блюдечка. Андрей укоризненно:

— Ты не можешь хлебать тише? Как поросенок...

— Барин! Я на лыжах отмахал почти тридцать километров. Пить хочется... А пить чай из блюдечка вкуснее.

Андрей, помолчав, говорит о своем:

— Удивительная вещь тишина. Я никогда не думал, что тишина так нужна человеку. Я ужасно завидую людям, у которых есть своя комната. Своя! Четыре стены, стол, стул, раскладушка и полочка. Я даже согласен без окна. Читай хоть до утра. Так хочется иногда побыть одному.

— Даже без Нади? Без меня?

— Даже без тебя. Одному. Сидеть и думать.

Входит комендант. Андрей, увидев его, вскакивает с койки. Вася невозмутимо пьет чай. Комендант строго:

— Воронин! Опять ты здесь? Сколько тебе говорить?

Вася, насмешливо:

— Где я живу — в женском монастыре или в общежитии рабочей молодежи? Выходит, я даже гостя принять не могу?

— Принимай. Только не этого. Живет без прописки второй месяц. Мне участковый всю голову продолбил. До десяти, пожалуйста, пусть

сидит, а в десять я проверю. Не уйдет, вызову участкового!

Вася, спокойно:

— Уйдет. Задачи мне решит и уйдет. Давай, Андрюша, начнем. Один поезд вышел из пункта А в пункт Б...

Комендант, уходя:

— Пусть он сматывается куда-нибудь в другой пункт. Поскорее.

Андрей начинает связывать книги. Василий наливает полное блюдечко.

— Не торопись. Это тебе Шука гадит. Он сообщил, что ты, не имея педагогического образования, работаешь в детдоме воспитателем. Он тебя не принял в институт. Он сообщил, что ты, не работая на нашем заводе, живешь в нашем общежитии непрописанным. Я сам слышал вчера, как комендант сказал: «Хорошо, товарищ Щукин. Спасибо за информацию». Так что тебе жаловаться надо только на Щуку. Это он твой заклятый друг.

— Мне жаловаться надо только на моих родителей. Родили и бросили, как котенка. Сын врага народа... Попался бы мне мой папаша, я бы ему сказал парочку слов... Если детей народил, так уж держись. Нашел, с кем воевать — с народом. А я вот теперь — мучайся... Теперь и на завод не возьмут, скажут — приговор был, жил в общежитии без прописки...

Входят несколько парней.

— Андрюша! Ты куда?

— Не валяй дурака, Андрей. Мы коменданту такое покажем!

— Что он, очумел, человека на ночь выгонять!

— Мы такую баррикаду возведем — не пройдет!

— Спасибо, братцы. Я бы с удовольствием, но опять участковый придет...

— Да брось ты, оставайся.

Входит Надя.

— Вот и я, мальчишки... Все в порядке, Андрюша. Я договорилась с нашими ребятами. У них в комнате две свободные койки.

— Спасибо, Наденька. Мне одной хватит.

— Поехали, Андрюша...

— Это не выход, Наденька. А что я дальше буду делать?

Вася возится у приемника.

— А ты радуйся, что сегодня будешь спать не в милиции. А завтра будем думать. Мало ли что может завтра случиться.

Вася включает радио.

— Мы вам сейчас на дорогу марш найдем.

И неожиданно голос Левитана:

— Внимание! Говорит Москва.

Передаем Правительственное сообщение о болезни председателя Совета Министров СССР и секретаря ЦК КПСС Иосифа Виссарионовича Сталина. ЦК КПСС и Совет Министров СССР сообщают о постигшем нашу страну несчастье — тяжелой болезни товарища Сталина. В ночь на 2 марта произошло кровоизлияние в мозг...

Андрей тихо говорит:

— Вот это, братцы, беда... А что если он не поправится?

Вася со злостью перебил приятеля:

— Ну, что ты!..

Надя добавляет:

— Как это ужасно... Сталин без сознания.

Номер в гостинице «Октябрьская». Из окон виден Московский вокзал, площадь Восстания, место, где стояла трибуна, с которой Михаил Воронин в 1945 году произносил речь...

Воронин разглагольствует:

— Боже мой! Какое мы время пережили, Аннушка. Кто знал, что Берия такой бандит... Столько горя он принес советским людям. Разве я бы мог даже полгода назад пойти на такой рискованный поступок... Как думаешь, он придет?

— Не волнуйся, придет. Если бы я в восемнадцать лет получила такую записку, — обязательно бы прискакала...

У входа в гостиницу Андрей, Надя и Вася. Вася читает записку: «Андрей! Приходите сегодня в 16.00 в гостиницу «Октябрьская» в номер 206. Ваши друзья расскажут вам о ваших родителях».

Вася — Андрею:

— Смело в бой! Второй этаж.

— Может, не стоит?

— Стоит. По крайней мере узнаешь, кто папа, кто мама. Вдруг какие-нибудь служители религиозного культа, Ксендз, монах или игуменья.

— Тебе все шуточки.

— Не люблю драм. Пошли.

Надя:

— Интересно.

Номер. В нем Воронин и Анна. Стук в дверь. Воронин растерянно смотрит на жену. Анна, уходя в другую комнату:

— Открой! Не волнуйся.

Воронин кричит с места:

— Войдите!

Вошли Андрей, Надя и Вася. Остановились у порога.

Надя узнала Михаила Воронина, удивилась.

Вася, официальным тоном:

— Здравствуйте!

Воронин молча кивает головой.

Вася продолжает в том же тоне:

— Просим извинить за беспокойство. Может, мы ошиблись, но мы получили вот эту странную записку...

Воронин протянул Васе руку.

— Михаил Николаевич...

— Очень приятно. Василий Иванович.

Воронин к Андрею:

— Значит, Андрей это вы?

Андрей:

— Я. А это Надя. Наш друг, Надя.

Вася. Мы, так сказать, при сем присутствуем. Извините, мы вашей беседе не помешаем?

Воронин, очень серьезно:

— Мне бы хотелось поговорить с Андреем сначала наедине.

Вася. Хорошо. Андрюша, мы будем внизу, потребуемся — позови.

— Ну здравствуй, сынок!

— Здравствуйте. Вы мой отец?

— Представь себе — я.

Анна выходит из второй комнаты. Андрей вскочил, настороженно смотрит на Анну.

— Михаил, я выйду. Я скоро вернусь.

Анна ушла. Теперь Воронин го-

ворит с сыном свободнее, проще. Он, видимо, хорошо разработал эту встречу.

— Здравствуй, сынок!

— Здравствуйте. А чем вы докажете, что вы мой отец?

— Хотя бы тем, что ты Воронин Андрей Михайлович, а я Воронин Михаил Николаевич.

— Ворониных много.

— Узнаю черты милого характера. Иди сюда.

Андрей и Воронин стоят против зеркала.

— Ну?

— Похож.— И с неожиданной лаской добавил:— Я очень рад, отец.

— И я рад.

— Как же так получилось? Тебя освободили?

— Откуда?

— Мне все время говорили, что я сын врага народа.

— Это недоразумение... Ошибка.

— Ничего себе ошибка. Я из-за этой ошибки столько мучился. В институт не приняли. А если ты не сидел, тогда почему я в детском доме?

— Все расскажу. Все. Присаживайся, поговорим. Я тебе сначала вкратце, а подробно потом, дома. Ты уже взрослый, сынок, и я надеюсь, поймешь меня правильно. Случается, что люди расходятся. Твоя мать ушла от меня, забрав тебя.

— Куда она уехала?

— В Минск.

— Ты ее обидел?

— Она полюбила другого. Он, видно, не хотел, чтобы она поддерживала связь со мной. Потом я узнал, что она умерла.

— У тебя нет ее фотографии?

— Есть. Только маленькая, с удостоверения.

Андрей смотрит на снимок Зины.

— Я ее такой и представлял. Когда она умерла?

— Перед войной. В конце сорокового года. Я узнал об этом за несколько дней до войны. Тебя отдали в детский дом. Я после войны был в Минске, но там никаких следов— все сгорело. Тебя я нашел случайно. Я тебе на досуге подробно расска-

жу. Ты что-нибудь до детского дома помнишь?

— Смутно припоминаю, как во сне, старушку, но где и когда я с ней жил— не помню. Я знал только одно— маму звали Зиной. А как зовут эту?

— Мою жену? Анна. Анна Аркадьевна. Если бы не она, я, возможно, тебя бы так скоро не нашел. Она молодец. А теперь самое главное— тебе надо собираться домой... Я даже не сказал, где мы живем.

— Где?

— Верхневолжск. Есть такой обласной город. Я там заместителем председателя облисполкома.

— Верхневолжск! Еще бы не знать! Мы там были всю войну.

— Не может быть!

— Детский дом имени Пушкина.

— Ты смотри, какие чудеса! Я топливо для вас заготавливал, картошку... Вот что значит не судьба.

— Надя рассказывала, там у вас восемь институтов.

— А откуда она знает?

— Она из Верхневолжска...

Воронин явно недоволен этим сообщением, но не подает вида.

— Это просто здорово. Как по заказу. Кто ее родители?

— Еленины. Маму зовут Елена Ивановна, я ее помню, а отец был на фронте, Николай Иванович.

— Знаю... Она ткачиха, депутат Верховного Совета. Хорошие люди... Да, институтов восемь. Можно влюбой. Как-нибудь примут.

— У меня медаль.

— Ты у меня молодец.

— Можно, я их позову?

— Зови...

Та же обстановка. Андрей, Надя и Вася собираются уходить. Воронин, заботливо:

— Может, такси вызвать?

Вася, шутливо:

— Не балуйте ребенка, Михаил Николаевич, у него вещей всего ничего, привезем на троллейбусе...

Анна. Только надолго не пропадайте. А вы, Надя, не обижайтесь, что мы Андрюшу увозим.

— Нет, не обижаюсь... А я тоже в Верхневолжский педагогический

институт переведусь. Мама с папой рады будут.

Андрей, ласково:

— Мы скоро вернемся.

Титр:

«Миновало еще три года. Шел июнь 1956».

Бульвар на высоком берегу. Белый пароход на стрежне. Необъятный простор за низким левым берегом. На горизонте зубчатая стена леса.

На скамье Андрей и Вася. Василий очень переменялся, возмужал. Андрей грустно спрашивает:

— Едешь, значит?

— Еду... Пора и за работу.

— Видимся раз в год, а ты торопишься.

— Не могу, Андрюша, ей-богу, не могу. Обещали ордер на комнату... а у нас, знаешь, — не получил вовремя, отдадут этим, как их, молодоженам или реабилитированным... Жди еще полгода. А я, может, сам скоро буду молодоженом... Я тебя сюда не напрасно завел... Поговорить надо.

— О чем?

— О тебе...

— Обо мне? А что обо мне говорить?

— Скажи, Андрей, только откровенно, ты счастлив?

— Я? Я как-то не задумывался над этим. Наверное, счастлив... Что ты хочешь? У меня все есть — дом, отец, ты, Аннушка, друзья. Я — студент. Скоро буду инженером.

— Надя еще есть...

— Надя не в счет. Это моя мука. Я не нужен ей.

— Она тебя любит.

— Нет. Я ее очень, а она меня нет. Давай не будем об этом говорить. Она меня последнее время избегает. Перестала к нам ходить. А сейчас, когда Аннушки нет дома, совсем не бывает.

— Ты ее не спрашивал: почему?

— Спрашивал. Молчит...

— А я тебе скажу. Скучно у вас, Андрей. Нет, даже не скучно, а как-то придавлено все. Неужели ты не замечаешь?

— Замечаю.

— Вот ты говоришь: «Подожди,

не уезжай». В прошлом году тебе не надо было меня уговаривать — еле выгнали, а в этом... Отец у тебя стал какой-то странный. Молчит, нервничает. Была бы Аннушка дома, я бы еще погостил. Когда она из Москвы приедет?

— Дней через пять.

— Жаль...

К пристани подходит местный пароход. Среди сходящих на берег пассажиров — Надя. Вася увидел ее.

— Вон твоя. Откуда она?

— Из пионерского лагеря.

Вася сложил руки рупором:

— Надя!

— Зачем ты ее позвал?

— Выяснить ваши отношения.

— Не сходи с ума. Ты что, хочешь нас поссорить всерьез?

— Ну ладно, не буду. У нас с Таней проще. Я ей сказал: я тебя люблю, а она мне: а я тебя нет. А письма пишет каждый день. Кстати, ты видел, как твой отец утром почтовый ящик открывает?

— Не обращал внимания.

— Он все вынимает сам и уносит к себе — письма, газеты. Сначала даже Танюшкины письма забирал. Подержит у себя, а потом незаметно опять в ящик опустит. У меня такое ощущение, что он чего-то все время ждет.

— Тебе показалось.

— Возможно... Идем, встретим.

Андрей и Вася спускаются по крутой лестнице. Надя поднимается им навстречу.

Андрей, обгоняя Васю:

— Ни слова!

Вася остановился на площадке, поджидает Надю и Андрея.

Надя. Почему он уезжает?

Андрей. По невесте соскучился. Идем к нам.

Надя. Нет, я домой...

Андрей. Васю проводим.

Надя. Я на вокзал приду...

Андрей. А почему к нам не хочешь?

Надя. Я не сказала, что не хочу...

Андрей. Ты на меня сердисься?

Надя. С чего ты взял?

Андрей. Почему ты к нам перестала заходить?..

Надя. Не надо об этом. Сейчас не надо.

Поднялись на площадку к Васе.

Надя — Васе, очень грустно:

— Уезжаешь?

— Всему приходит конец, Наденька.

Вася и Надя идут впереди. Андрей немного отстал. Надя заметила это и спустилась к нему.

— Ты что, Андрюша? Я тебя обидела?

Квартира Ворониных. Чемодан у двери. Воронин в шляпе, — видно, что супруги только вошли в дом.

Анна. Обещали ответить быстро. Если жива...

Воронин. Наверное, это очень жестоко, но я больше всего на свете боюсь одного — звонок, и она появится. Это ужасно, Аня. Столько лет.

— Ничего нельзя поделать, Михаил. Ты обязан принять ее как жену.

— А ты?

— Не обо мне речь, Михаил... Она столько вынесла...

— Все так сложно. Андрюша узнает.

— Надо было рассказать правду.

— Правду! Я давно разучился говорить правду.

— Что я могу тебе посоветовать, учись...

Андрей поднимается по лестнице. Остановился около дверей своей квартиры. Слышит крик отца:

— Зачем ты оставила мой адрес? Могли писать до востребования... Адрес могут сообщить ей самой...

Андрей позвонил. Дверь открыла Анна.

Андрей бросился к ней, обнял.

— Аннушка! Милая! Извини меня! Не встретил — задержался в институте...

Анна с улыбкой смотрит на него.

— В институте?

— Не буду врать. С Наденькой.

— Вот так лучше, Андрюша. Правда — всегда лучше. Дай мне чемодан. Я вам вкусных вещей привезла.

Воронин не слушает, что говорит Анна.

Анна разбирает чемодан.

— Это тебе, Андрюша. Твои любимые.

— Спасибо, Аннушка.

— А это, Миша, тебе вермут.

Воронин не слышит. Андрей удивленно смотрит на отца.

— Папа! Вермут.

Воронин, раздраженно:

— Ну что ты кричишь! Я не глухой.

Уходит. Андрей Анне:

— Аннушка, что с ним?!

Анна не отвечает.

Квартира Воронина. Он за письменным столом. Входит Андрей.

— Я тебе не помешаю?

— Нет...

— Мне с тобой надо поговорить.

— Садись, поговорим.

— Сегодня три года, как мы живем вместе.

— Неужели три?

— Мне очень трудно все это тебе сказать.

— Трудно, не говори.

— Надо. Надо, иначе будет плохо.

— Кому?

— Всем нам. Тебе, Аннушке, мне. Я был очень счастлив, когда мы стали жить вместе. А сейчас мне кажется, тебе неприятно, что я тут...

— Не говори глупостей!

— Не сердись. Последнее время ты кричишь на Аннушку, на меня. У меня такое ощущение, что ты все время чего-то ждешь, чего-то боишься...

Воронин вскочил, крикнул почти истерически:

— Перестань молоть чепуху!

Немного успокоившись, Воронин продолжает:

— Просто устал. У меня много забот. Сейчас трудно стало работать. Когда-то было гораздо проще: получил команду сверху, сам ско-

мандовал — и все. А сейчас каждая козявка начала рассуждать. Я хочу спать.

— Значит, не хочешь меня слушать?

— Только не сегодня. Я устал.

Квартира Ворониных. Утро. Видно, как почтальон всовывает в щель газеты и письмо.

В передней появляется Воронин. Он в пижаме, волосы всклокочены — только что проснулся. Вынул из ящика газеты. Письмо упало на пол. Конверт фирменный: «Верховный суд СССР». Воронин лихорадочно вскрыл конверт. Читает бумажку:

«Верховный Суд СССР
18 июня 1956 года

№ 02 — ДСП 5623

Справка.

Дана в том, что определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда СССР от 16 июня 1956 года постановление Особого совещания при Народном Комиссаре Внутренних дел СССР от 7 июня 1937 года в отношении Михайловой Зинаиды Константиновны, 1914 года рождения, отменено, и дело о ней за отсутствием состава преступления производством прекращено.

Настоящая справка ввиду смерти З. К. Михайловой высылается ее родственникам.

Зам. председателя Судебной коллегии
по уголовным делам

(А. Зайцев)

Воронин шепотом:

— Аня!

Появилась Анна.

— Что случилось?

— Читай.

Анна читает. Воронин сидит, закрыв лицо ладонями.

Анна повторяет последние слова справки:

— За отсутствием состава преступления. Господи, сколько горя. Успокойся, Миша.

Воронин отнял ладони от лица. Анна видит, что он не расстроен, а обрадован. А говорит он печально:

— Ничего, это пройдет. Сжало сердце...

Из своей комнаты выходит Андрей. Анна не видит его и говорит:

— Ты же рад! Рад! Я же вижу: рад!

Они увидели Андрея. Воронин, ласково:

— Проснулся, сынок!

Андрей, хмуро:

— Как видишь.

Подошел к Анне, поцеловал ее в щеку.

— Доброе утро, Аннушка.

И прошел в ванную. Воронин сердито смотрит на Анну.

Кабинет Воронина в исполкоме. Он за письменным столом. Пять телефонов. В кресле посетитель. Воронин, тем же тоном, каким он разговаривал когда-то:

— Хорошо! Так и быть... Хоть и трудно, но я вам это устрою.

Встал. Встал и посетитель. Воронин протянул руку.

— Вот так. Будьте здоровы. Не волнуйтесь. Я сказал, значит, будет сделано.

— Спасибо, Михаил Николаевич. Большое спасибо.

— Не стоит благодарности. Обязан. Долг. Будьте здоровы.

Он весь олицетворение бодрости, деловитости.

Звонок телефона. Воронин привычным жестом, безошибочно угадав, какой телефон дал о себе знать, снял трубку. Улыбнулся, чувствуете, что звонок ему приятен.

— День добрый, Иван Алексеевич! Живем! Слава богу... Настроение? А какое может быть у меня настроение? Только отличное. Такие перемены! Сердце радуется. Совещание? Очень хорошо. Мне выступить? Благодарю за честь. Обязательно. Всего хорошего. Привет супруге. Спасибо, передам.

Положил трубку. Поправил галстук. Принял деловой, озабоченный вид. Нажал кнопку. Вошел следующий посетитель.

— Здравствуйте, товарищ Озеров! Прошу, садитесь. Чем могу быть полезен?

Площадь в Верхневолжске. У справочного киоска женщина средних лет. Так могла бы выглядеть мать Андрея — Зина.

Получила листочек, спросила девушку:

— Это точно?

Девушка, улыбаясь:

— Не сомневайтесь. Я сама рядом живу...

Женщина идет по городу, останавливает прохожих, спрашивая одно и то же:

— Как пройти на Пушкинскую?

Ей объясняют, и она идет дальше, неторопливо, спокойно, поглядывая на витрины магазинов.

Дом, где живут Воронины. У подъезда женщина посмотрела на справку, обращается к дворнику:

— Квартира пять на каком этаже?

— На третьем. Но он, гражданка, дома не принимает. Пожалуйста в исполком.

— Я не по служебному. По личному.

Дверь с номером «5». Женщина нажала кнопку звонка. Андрей открыл дверь.

— Товарищ Воронин здесь живет?

— Здесь. Но его нет дома.

— А вы кто будете?

— Сын.

— Андрюша?

— Да.

Женщина открыла сумочку. Достала конверт. Подала Андрею.

— Вам письмо. Тебе и твоему отцу.

— От кого?

— Прочитай. Узнаешь.

— Ответ нужен?

— Не думаю.

Андрей достал из конверта листок из ученической тетради в клетку. Карандашом написано:

«Михаил!

Я понимаю, что ты для меня ничего сделать не мог. Но я случайно узнала, что и Андрюшу куда-то увезли. Как ты мог бросить его? Как ты мог? Я схожу с ума, когда думаю о нем.

Умоляю! Найди его и упроси НКВД сообщить мне хотя бы два слова — он жив. Умоляю.

Зина

9 апреля 1938 г.

Я совсем, совсем расклеилась».

Андрей повернул листок.

«Милый мой, родной Андрюшенька!

Ты еще очень маленький и ничего не понимаешь. Вырастешь — поймешь. Только знай, дорогой мой мальчик, твоя мама не преступница и все время думает о тебе.

Обнимаю тебя крепко.

Целую бесчисленное количество раз.

Твоя мама.

9 апреля 1938 г.»

Андрей, пораженный страшной догадкой, спрашивает:

— Это писала моя мама?

— Я исполнила ее просьбу. Она меня очень просила, и я сдержала слово, правда, с опозданием на восемнадцать лет.

Сквер. На скамье женщина и Андрей.

— Вернемся к нам. Отдохните.

— Спасибо. Через час уходит поезд. Твоя мама была великолепным человеком. Ее там все любили.

— Как вы думаете, почему он мне не сказал правду?

— Есть только два слова, Андрюша, которые могут это объяснить: стыд и страх. А вот какое из них, я не знаю.

— Мама так и не узнала обо мне?

— Она мне говорила, что после окончания следствия получила одно письмо от подруги. А от него — ни одного. Твоя мать мне часто рассказывала, что твой отец был понятым, когда ее арестовывали. Ее, видно, это очень мучило.

— А я не знаю, что такое — понятой.

— Как тебе лучше объяснить? Наблюдатель... Нет, не то... Свидетель — тоже не то. Свидетель хоть что-то говорит, а понятой молчит. Смотрит, молчит и подписывает: все, дескать, сделано правильно, больше от него ничего не требуется.

— Когда мама умерла?

— Двенадцатого апреля тысяча девятьсот тридцать восьмого года. В этот день у нас впервые показалось солнце.

Женщина встала.

— Ну, мне пора...

— Екатерина Петровна! Я вас никогда не забуду. Большое вам

спасибо. Я вам напишу. Можно вас спросить? Вы своих нашли?

— Детей нашла. Выросли, совсем большие, вроде тебя. Позаботились добрые люди. До свидания, Андрюша.

— Дайте, я вас поцелую...

Квартира Ворониных. Анна открывает дверь. Входит Андрей.

— Почему ты так поздно?

— Дела были.

В переднюю вошел Воронин.

— Откуда, сынок?

Андрей молча подал отцу письмо матери. Тот прочитал, не спросил, а крикнул:

— Кто тебе это дал?

Анна, поняв, в чем дело, спросила Андрея:

— Можно мне посмотреть?

Андрей, жестко, не глядя на нее:

— Вас это не касается.

И, не сказав больше ни слова, прошел в свою комнату. Щелкнул замок.

Анна дернула ручку двери.

— Андрей! Открой!

Дверь не открывается. Воронин барабанит в дверь.

— Андрей! Открой... Слышишь. Прекрати глупости. Слышишь!

Андрей в своей комнате связывает книги. Уложил их в чемодан, не взяв больше ничего. Снял со стола увеличенный портрет матери. Посмотрел на него и положил поверх книг. Открыл дверь, вышел в переднюю.

Воронин, строго:

— Не устраивай истерики!

— Не кричите на меня!

— Ты как разговариваешь с отцом?

— Вы мне не отец.

Анна пробует удержать Андрея.

— Андрюша.

Андрей у порога. На глазах у него слезы.

— Как вам не стыдно было жить. Понятой!

Андрей на улице. Его догоняет Надя.

— Андрей! Андрюша!

Андрей обернулся.

— Андрей! Ты куда?

— К Васе.

— А как же я? Как я без тебя? Я ж без тебя не могу.

— Наденька... Ты же ничего не знаешь.

— Я все знаю. Я сейчас с Аннушкой по телефону говорила. Ее ты напрасно обидел. Совершенно напрасно. Идем, посидим, поговорим...

Набережная. На скамье Андрей и Надя.

— Это все очень нехорошо. Лучше бы он не нашел меня. Я бы жил и жил, как все, как Вася. Работал, учился. А теперь все плохо — вроде был отец и опять нет. Ты знаешь, когда я был маленький, я думал, что мой отец, наверное, на фронте. Я представлял его героем, почему-то артиллеристом у огромной пушки. Она бьет и бьет по фашистам. А теперь у меня ни отца, ни мечты. Это все нехорошо, стыдно все. Я думал, когда сюда приехал, — хороший у меня отец, сильный, коммунист, все его уважают. А он? Это ужасно. Как жить дальше, Наденька?

— Мой папа часто говорит, — многие были больны. Был такой вирус — страх. Андрюша, милый. Я тебя очень-очень люблю. Идем жить к нам. Папа и мама ждут нас. Они будут рады... Идем...

Квартира Елениных. За столом Николай Иванович, Надя и Андрей. Мать убирает со стола посуду. Ночь. Видно, что разговор идет давно. Николай Иванович продолжает:

— Возможно, дети не судьбы своим родителям. Хотя какие родители и какие дети. Это я, наверное, потому говорю, что сам родитель вот этой, абсолютно взрослой девицы. В твои отношения с отцом я, как и Надя, не вмешиваюсь. Тут дело трудное, тонкое. Но ты ошибаешься, если думаешь, что по твоему отцу можно судить о партии. О ней даже по Сталину уже не судят — а на что уж, казалось...

— Николай Иванович! Вы даже

не представляете, как мне тяжело. Все это узнать, понять...

— Не одному тебе тяжело. А всем нам, думаешь, легко было на двадцатом съезде о Сталине узнать и понять? Я с его именем в бой ходил, солдат в атаку поднимал. А Никите Сергеевичу, ты думаешь, легко было об этом говорить? Всем нелегко. Даже отцу твоему нелегко, хотя он, конечно, не жертва культа, а скорее баловень... А партия жила и будет жить. Ты еще сам в нее попросишься...

Комната, где заседает приемная комиссия райкома КПСС. Андрей Воронин заканчивает свой рассказ. С последнего эпизода в квартире Елениных он очень изменился, возмужал.

— Я прошу принять меня в партию. Партия для меня все. С того памятного вечера прошло четыре года. Я много думал. Я люблю жизнь. Я люблю свою Родину, люблю наш город. Я люблю наш завод. Я хочу много работать, хочу изобретать. Поверьте мне — если надо, я отдам за все это свою жизнь. Когда я писал заявление, я видел свою

мать — честную коммунистку, я видел Ивана Митрофановича — умного, доброго, я видел Клаву, готовую поделиться с товарищем всем, что у нее есть, я видел моих друзей по детскому дому и институту. Я вспоминал моего верного друга Васю, я видел Елену Ивановну Еленину, забиравшую меня в войну из детского дома погостить, поесть досыта вареной картошки, я видел моих рекомандателей и в первую очередь Николая Ивановича Еленина. Это и есть коммунисты. И я партию такой и представляю: сильные, смелые, добрые люди. Я хочу быть рядом с ними, учиться у них. Я сказал все.

Председатель. Будут еще вопросы к товарищу Воронину? Нет? Есть предложение голосовать. Кто за то, чтобы товарища Воронина Андрея Михайловича рекомендовать бюро райкома КПСС в кандидаты в члены Коммунистической партии Советского Союза? Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Принято единогласно... Все, товарищ Воронин, поздравляю вас...

Андрей, растроганно:

— Спасибо!



ВРЕМЯ

* * *



Я пою это время,
Я пою эти дни,
Я — без славы и премий,
Я, стоявший в тени,
Выбегаю на солнце,
Вырываюсь на свет.
Время быстро несется,
Сверхстремительно, сверх!
Мне бы крылья раскинуть
Над страной
в ширину,
Время взглядом окинуть
С высоты, как страну;
Как страны очертанья —

Мне б эпохи черты
Закрепить начертаньем,
Нанести на листы...
Где леса, где дороги,
Где кусты, где мосты —
Вроде Карты Эпохи
Нанести на листы,
И чтоб не было пятен,
Темных пятен на ней,
Чтобы
всем был понятен
Путь эпохи моей,
Чтобы не был попятен
Путь эпохи моей.

* * *

Сердце страны —
мозг!
Между народами —
мост!
Мира бессменный пост!
Звездный кремлевский тост!
Правды наглядный рост!
Рой ненаглядных звезд!

Красный Космический Кросс
Против угроз и гроз!
Наш неоглядный рост!
Наш
к коммунизму мост —
Это Москва —
мозг,
Это — Отчизны мозг.

* * *

Поэт и царь. Поэт и власть.
Две стороны людского духа.
В одно теченье им не впасть,
Они века враждуют глухо.

Бескровный бой и кровный бой,
Труднее плена и побега,
Но знал народ, но знал любой,
За кем конечная победа.

Бывал преследуем поэт.
Ссылали. Гнали. Выселяли.
Поэты гневные в ответ
Царей в бесславие ссылали.

Бесилось временное зло,
Торжествовало, лютовало,
Оно разгневанно и зло
Душило все, что бунтовало.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СУДЬБЫ

РОМАН

XLIV

Вот она и осталась одна. Одна и не одна. Рядом были Щетинин, Жуков, Добровольский, Ванюшин. Были работники райкома, все люди неплохие, честные, работающие. Существовала, конечно, коллективная ответственность. И все-таки большое бремя легло на ее плечи.

Она шла плечом к плечу с Тарабриным. Но правофланговым был все-таки он. А теперь ей приходилось вести колонну. А ведь она женщина. Даже слабая женщина. Сможет ли поднять...

На нее обрушилось множество дел. Она и при Тарабрине решала множество вопросов. Решала иногда и за себя, и за Тарабрина. Но почему-то теперь все дела предстали перед ней в ином качестве. Что же изменилось? Мера ответственности.

Прошло несколько дней, и она почувствовала: дела захлестнули ее. Все в ней нуждались. Все требовало согласования с ней, ее одобрения, ее решения. К ней шли со строительством школы, с критической статьей в газете, с планами севооборота, со снабжением детских яслей. Затоваривание книг. Молокопоставки. Квартиры. Пьяницы. Семена. Тротуары...

Она советовала, предлагала, решала. И все-таки она могла ответить на тысячу вопросов, но находился тысяча первый, на который она ответить не успевала. Если не будет людей, из которых каждый сможет что-то решить и сделать в определенной области, думала она, с районом ей не справиться. Ни ей, ни Щетинину, ни Жукову...

В людях, в подборе людей, в воспитании людей заключался смысл партийной работы. Взаимодействие людей, организация этого взаимодействия — вот что должно составлять суть деятельности работников партии.

Необходимо доверять, но важно и уметь определить, на кого можно опереться...

А опереться можно далеко не на всех!

Взять хотя бы тот же план севооборота. Богаткин честно расписывал все из года в год. Он хороший человек, Александр Петрович, но сколько же можно сидеть в канцелярии... Он получал установки из области, получал планы колхозов, сводил все в общий порайонный план, и... Почему-то это устраивало Тарабрина. Каждый год одно и то же по заведен-

ному шаблону. Никаких преобразований. Все очень добросовестно, но блинов из одной добросовестности не напечешь.

Сколько Богаткину лет? Она попросила Клашу навести справку. Батюшки, шестьдесят четвертый!

Анна была не против того, чтобы и в шестьдесят четыре человек работал на полную катушку, но если все нитки смотаны и осталась лишь болванка...

Поспелов тоже спокоен до безразличия. Раньше он был живее, хотя всегда отличался излишней покладистостью с начальством. Куда прикажут, туда и везет. Никогда не поперечит Богаткину.

Апухтин. Пыхтит, а что толку? Запущен совхоз. При том внимании, какое оказывается совхозу, давно бы можно выйти вперед...

Время требовало от людей размаха, знаний, движения. Не все выдерживали взятый темп. Кое-кто отставал. Этим людям почему-то терпели, хотя отстающий человек не может двигать вперед дело...

Людей надо менять. Точнее, не людей, а руководителей. Приходит такое время, когда некоторые руководители не соответствуют, как говорится, возрастающим задачам. Смена кадров — это неизбежность.

Надо найти в себе мужество произвести эту смену. Но на это было очень трудно решиться. Кроме всего прочего, Анна не знала, сколько времени пробудет она на посту первого секретаря. Месяц, два, три... Может быть, лучше подождать до конференции. Новый секретарь пусть и подбирает людей.

Нет, неправильно! Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Если ты убеждена, что для дела полезно сменить Богаткина, зачем проявлять нерешительность? Если ты уверена в себе, разве это по-партийному — ждать...

Трудно решиться, лично ей многие люди чем-то даже милы, она их давно знает, они хорошо относились к Анне...

Но не могла она сбиваться с шага и сбивать с шага других из-за того, что кто-то устал...

С Богаткиным разговор закончился сравнительно легко. Анна пригласила его в райком, он пришел со всеми сводками, с какими-то инструкторскими, весь внимание, весь готовность...

Анна посмотрела в его добрые голубые глаза, и ей стало не по себе.

Она усадила его на диван, села рядом. Так хотелось сказать ему что-нибудь доброе.

— Александр Петрович, вы не устали? — спросила она.

— Нет, — ответил Богаткин удивленно, в райкоме редко задавались такие вопросы. — Время сейчас не отчетное, отсыпаясь...

— Вы меня не поняли, Александр Петрович, — призналась Анна. — Я спрашиваю не о сегодняшнем дне. Я имею в виду... — Она чуть смешалась. — Вы не собираетесь на пенсию?

Богаткин вскинул на Анну глаза...

Они здорово потускнели. Выцвели. Совсем старенький. На щеках морщины, и волосы в морщинах не пробиваются. Полтора десятка лет знакома с ним Анна. Милый человек. Когда она сидела за канцелярским столом, он казался ей неплохим работником. Вместе составляли отчеты. Но что сделал он для колхозов района?

Поймет он ее или не поймет?

— Нежелательно, Анна Андреевна. Я старый агроном. Знаю район. До каждой мелочишки.

Конечно, знает. А что с того?

— А мне думается, пора и отдохнуть.

Богаткин обиженно заморгал.

— Чем я не угодил вам, Анна Андреевна? Я всегда к вам относился...

— Не могло быть лучше, Александр Петрович,— согласилась Анна.— Но ведь годы идут...

— Стар?

— Да.

— Кого же имеете в виду?

— Кого-нибудь из молодых агрономов. Кто будет ездить по колхозам. Читать по ночам книги. Может быть, ломать севообороты. Выступать с лекциями...

— Вы знаете таких?

— Знаю.

— А я не знаю.

— Филиппов из «Ленинского пути».

— Мальчишка.

— Вот и будем с него требовать.

— А с меня нельзя?

— Рука не поднимется.

Неожиданно Богаткин махнул рукой. Как-то вяло так, безнадежно.

— Ваша воля...

Этим ответом он бесповоротно уронил себя в глазах Анны. Вялый человек. Даже постоять за себя не хочет.

— Это не моя воля, это в интересах дела, Александр Петрович. Я помню все доброе, помню ваше отношение. Но ведь работаем мы с вами не для себя. Будем откровенны. Вам не угнаться за Филипповым...

— В конце концов я тоже могу читать лекции,— обиженно произнес Богаткин.

— Вот и читайте,— охотно согласилась Анна.— Читайте в Доме культуры. Мы постараемся устроить вам хорошую пенсию. Но спрос с вас будет другой, и нам легче...

Конечно, он обижен. Анне жалко Богаткина. Но теперь уже невозможно быть агрономом за письменным столом. Агроном, который сам не умеет вырастить хлеб, не может руководить районом...

Труднее с Пospelовым.

С Василием Кузьмичом Анну связывали годы совместной борьбы за подъем колхоза. Анна знала: Пospelов слишком покладист, легко мирится с недостатками, любит угождать начальству, но хозяин он в свое время был крепкий. Чего не отнять, того не отнять. С Анной он иногда спорил, чаще подчинялся, но все это были споры в одной семье, их жизнь, их благосостояние росли на одном поле.

Анна сама позвонила в «Рассвет».

— Василий Кузьмич, вы не выберетесь в город?

Пospelов появился важный, довольный, как-никак делами в районе заправлял теперь свой, мазиловский, рассветовский, можно сказать, выдвигенец. Отсвет райкомовского авторитета падал и на колхоз, все-таки это они воспитали Гончарову, из их колхоза, а не из какого-нибудь другого, выдвинули человека в секретари.

Пospelов приехал довольный, даже слишком довольный, какой-то неуязвимый. Поэтому-то его и надо было освобождать. Все от него отскакивает, как горох от стенки, а руководители теперь нужны беспокойные, которым каждая неудача приносит боль...

— Как ребята, Василий Кузьмич, как семья?

Такое начало не предвещало в разговоре ни облачка. Или что-то нужно от колхоза, или Анна Андреевна затевает какое-нибудь новшество, у нее до сих пор сохранилась этакая юношеская запальчивость в работе. Но Василий Кузьмич заранее решил не сдаваться, Анну Андреевну он уважает, но пора постоять за спокойную жизнь.

— Василий Кузьмич, а ведь «Рассвет» опять стал откатываться.

Что это — упрек? Пospelов не понял.

— Мы твердо стоим,— сказал он уверенно.

— Ничто не стоит на свете. Все движется. Или вперед, или назад.

Василий Кузьмич провел ладонью по бритым щекам.

— Все у нас, Анна Андреевна, движется вперед. Закон развития.

— Но есть и закон старения. Старое старится, а молодое растет. Старость должна уступать дорогу молодости.

Василий Кузьмич еле заметно забеспокоился, потрогал подбородок, одернул пиджак.

— Вы что имеете в виду?

— А ведь похуже будет в этом году баланс у колхоза? — Анна не ответила прямо, все не решалась сказать правду.— Трудно вам, Василий Кузьмич...

— То есть как трудно?

— И вообще, и в частности. Трудно тянуть колхоз. Одышка.

Поспелов вдруг понял. Он порозовел. Поднялась вверх бровь и снова встала на место.

— Это как понимать, Анна Андреевна? — Но он уже все понял.— Считаете, не справляюсь?

Анна выдержала его взгляд.

— Пока еще справляетесь. Но скоро перестанете. Зачем доводить и колхоз и себя до такого состояния?

Поспелов подумал.

— Я ведь, Анна Андреевна, понимаю. Если райком не поддерживает, председатель, конечно, не справится. Но вас не понимаю. Работали вместе, и, кажись, неплохо. Что ж это так?

Анна многое могла сказать: и как спорили они друг с другом, не раз, не два, и с каким завидным спокойствием принимал Поспелов и хорошее и дурное... Но поминать плохое ей не хотелось.

— Пришло время,— просто сказала Анна.— Постарайтесь понять.

— Значит, с ярманки?

— С ярмарки, Василий Кузьмич.

— Да уж чего там... С ярманки!

— Поймите, Василий Кузьмич. Вручную вы косили, может быть, не хуже многих, но смешно махать косой рядом с комбайном.

— Поздновато учиться.

— Вот это я и говорю.

Поспелов прищурился.

— Люди не комбайн, Анна Андреевна. С людьми-то я...

— Любой человек посложнее комбайна, Василий Кузьмич, а человек на комбайне сложнее человека с косой.

Поспелов похлопал ладошкой по столу.

— Подыскали кого?

— Да, есть на примете.

— А нам не нужно чужих,— вдруг резко сказал Поспелов.— Ни я не приму, ни народ. Кого вы нашли? Откуда? Все свыше дают начальников!

— А если с ниже?

— Это как понимать?

Анна вышла из-за стола, подошла к окну, посмотрела на светлую кудрявую травку под окнами.

— Давайте говорить, Василий Кузьмич, начисто. Я всегда уважала вас, но ведь ваши дочки подкованнее вас, вы сами Любой гордитесь. Раньше у кого голос покрепче, тот и фельдфебель, а теперь, чтоб отделанным стать, не только надо уметь стрелять и разобрать автомат до винтика, а и других научить. Никого мы к вам не пошлем, место тому, кто умнее в дому...

Она помолчала, знала, что обидит Поспелова, но была уверена в своей правоте.

— Сама приеду в колхоз, буду рекомендовать Челушкина. У него тоже есть недостатки, но он мало беспокоится о своем положении, о себе. Гриша...— Она поправилась.— Григорий Федорович из тех людей, кто затыкал собой амбразуру. Вы считали, он не годится в кладовщики, а в Кузовлеве он почти агрономом стал...

Большой похвалы ей не высказать! Нашлась бы и другая похвала, более высокая, но не хотелось ни обидеть, ни оскорбить Поспелова. Василий Кузьмич легко шел на тот или иной компромисс. Гусей не любил дразнить. А гусей иногда надо дразнить! Опыт и честность — вот золотое сочетание. Однако из двух этих качеств предпочтение следует отдать честности. Опыт приобретается, а честность — врожденное качество. Конечно, и преступников перевоспитывают, но руководитель с пятнами на совести немислим. Слишком спокоен, снисходителен, податлив Поспелов. Неплохой человек, но не пример, не пример...

— А меня со счетов?

— Нет. Но не будем загроживать дорогу тем, кто нас обгоняет. Хотите меняться? Идите в Кузовлево бригадиром вместо Челушкина! Проявите себя...

Анна угадывала чувства, какие бушевали в Поспелове. Возможно, он горько раскаивается сейчас, что по-хорошему встретил ее в свое время в колхозе. Наверно, многое хотелось ему сказать сейчас, только смелости не хватало.

Он, конечно, ничего не сказал, он даже смотреть не хотел на Анну.

— Подумаю, Анна Андреевна,— сказал он, отводя глаза.

— Я не тороплю вас,— сказала Анна.

— А когда же вы это хотите...— Он не договорил.

— Я повторяю, торопиться некуда,— сказала Анна.— Не горит. Вы сами все подготовьте. Сами привлечите Григория Федоровича, посоветуйтесь с ним лишней раз, поднимите. Не мне вас учить, пусть все идет без обиды...

Они расстались с чувством какой-то неудовлетворенности. Анна чувствовала себя виноватой, Поспелов уходил обиженным. Но ей казалось: он даже сейчас в чем-то ощущал ее правоту.

И уж совсем не получился разговор с Апухтиным. Она тоже позволила ему, пригласила в райком, тот сказал, что приедет. Но не прошло и часа, как Сурож соединили с Пронском. Звонил Волков.

— Привет, Анна Андреевна! Опять повели атаку? Очень прошу, не трогайте Апухтина...

Апухтин прятался за Волкова, как за каменную стену. Он имел, по-видимому, инструкцию при малейшем покушении на свою особу звонить в Пронск.

— Быстро вас информировали! — Анна не пыталась скрыть раздражения.— До каких пор можно его терпеть? Принимать решение без вас не будем, но и терпеть дольше...

— Повремените, Анна Андреевна! — закричал Волков.— Все в свое время. Дайте еще полгода сроку. Я подброшу техники...

— Да уж куда подбрасывать? — возразила Анна.— Всего хватает. Кроме ума и способностей...

Но Волков все-таки отбил Апухтина, он защищал его с удивительным постоянством.

Однако даже те — не такие уж большие — перестановки людей, какие произошли в районе, дали повод к разговорам о том, что Гончарова не щадит кадры. Особенно волновались те, кто чувствовал себя не на месте. В область посыпались жалобы, и Анна с некоторым беспокойством ждала вызова в Пронск.

Лукин, райкомовский шофер, сам предложил Анне ехать в Пронск не поездом, а машиной. Она разбиралась еще в бумагах, когда он зашел в кабинет.

— Звали, Анна Андреевна?

— Хочу попасть к ночному поезду, Лукин. Успеем?

— В Пронск?

— Вызывают.

— А зачем поездом? Только время терять. Иван Степанович всегда машиной до самого Пронска...

Для Анны машина еще не стала неотъемлемым спутником ее жизни, как-то неудобно было ради собственного удобства гнать машину в Пронск, но для Лукина это было обычным делом.

— А когда же тогда выезжать?

— Вам ко скольким?

— К десяти.

— Часиков в пять, полпятого, точно будете к девяти.

— Устанете вы, Лукин...

— Мне не привыкать!

Анна плохо спала ночь, все боялась проспать. За окном только залиловело, как она встала, умылась, принарядилась, все-таки впервые ехала в обком отчитываться за весь район.

Когда выглянула в окно, машина уже стояла у крыльца, она и не заметила, как Лукин подъехал.

Выбежала на крыльцо.

— Я сейчас, Лукин...

Она не привыкла заставлять себя ждать.

Вернулась, надела пальто, взяла папку со всеми сводками по району, обошла детей, поправила на них одеяла. Она не любила расставаться с детьми, но постоянно оставляла их одних — такая уж сложилась у нее судьба.

— Не опоздаем?

— Что вы, Анна Андреевна!

Небо голубело у них на глазах; только выехали за город, оно сразу высветлилось, вольно раскинулось по горизонту. Все вокруг было знакомым и привычным, но не утрачивало от этого своей прелести. Анна любила эти поля и луга, холмы и перелески, любовалась ими с каким-то даже напряжением и не заметила, как заснула.

— Анна Андреевна...— услышала она сквозь сон.— Анна Андреевна...

Это Лукин деликатно будил Анну.

— Анна Андреевна, Пронск.

Они уже ехали по городу.

Анна испуганно взглянула на часы. Четверть десятого! В самый раз...

— К обкому, Лукин!

Анна была приглашена к десяти, в приемную Кострова вошла без четверти десять.

— Здравствуйте, товарищ Гончарова,— приветствовала ее Люся Зеленко, сдержанная девушка, работавшая в секретариате обкома.— Еще без четверти.

Анна кивнула.

— Думала — лучше пораньше...

Через приемную прошел Секачев, помощник Кострова. На ходу поздоровался с Анной, вошел в кабинет. Но пробыл он у Кострова недолго. Едва стенные часы в приемной начали отбивать десять, Люся посмотрела на Анну.

— Заходите, товарищ Гончарова.

Анна вошла в кабинет с последним ударом часов.

Костров сидел за столом. Он поднялся навстречу ей. Протянул руку.

— Здравствуйте, Анна Андреевна. Жду. Садитесь.

Анна осторожно села у стола в кресло.

Право, в Кострове есть что-то симпатичное. Анна не ошиблась, рассматривая его на сессии. Он — простой человек. Вот сидит перед нею и разговаривает, как старый знакомый. А ведь он руководитель целой области, не последний человек в партии...

— Ну, Анна Андреевна, как дела?

О каких делах он спрашивает?

В глазах Кострова мелькают веселые искорки.

Какие у него глаза? В общем приветливые глаза. Серые, с рыжиной. С ним, кажется, легко разговаривать.

— Вы чем интересуетесь, Петр Кузьмич?

— Всем. Вами, Тарабриным, районом. Абсолютно всем. Мы ведь, собственно, почти незнакомы. Вот и давайте знакомиться. Прежде всего о Тарабрине. Рассказывайте, что там с ним случилось.

Костров пылливо, даже слишком пылливо, как-то лукаво смотрел Анне в глаза.

— А что Тарабрин?

Анна не знала — надо ли рассказывать Кострову о том, что произошло на совещании, не хотелось предавать Тарабрина. Да и в общем-то — что произошло? Ничего не произошло. Все погорячились, и только, Тарабрин по обыкновению поднял голос, а другие на этот раз не захотели стерпеть. Незачем посвящать Кострова в эти домашние дразги. Анне почему-то казалось, начини она копаться в происшедшем, начини докапываться до какой-то сути, которая ей самой неясна, она совершит в отношении Тарабрина предательство.

— С чего это Тарабрин у вас заболел?

— Болезнь не спрашивает, Петр Кузьмич.

— А он действительно заболел?

— Тарабрин здесь, в Пронске, в больнице лежит. Вам проще узнать. Спросите врачей...

Костров одобрительно смотрел на собеседницу, ему, видно, нравились ее ответы.

— При чем тут врачи? Врачи что угодно скажут. Меня интересует ваше мнение.

— А что я могу сказать? Все шло нормально, но сами понимаете — аппендицит.

— Ах, аппендицит...

Неужели ему не сообщили, чем болен Тарабрин?

— Сделали ему операцию, вашему Тарабрину, — уже серьезно сказал Костров. — Вовремя у него случился этот аппендицит. А то гнойник мог бы и внутрь прорваться...

Знает Костров что-нибудь о совещании или не знает?

— Ну, ладно, — сказал Костров. — Пусть поправляется. Меня вообще интересует ваше мнение о Тарабрине. Как вы к нему относитесь, Анна Андреевна?

У Анны сложилось как бы два мнения о Тарабрине. Одно, так сказать, официальное, и другое — для себя. Но она не решалась высказать Кострову это свое, личное, внутреннее мнение прежде всего потому, что сама не была до конца уверена в его правильности. Да и Кострова какие-то личные ее впечатления вряд ли интересовали. Ему нужны были не субъективные оценки, а беспристрастное, объективное мнение человека, вот почти уже два года работающего бок о бок с Тарабриным.

— Как вам сказать, Петр Кузьмич... Я считаю, Тарабрин сильный

работник. Опытный. Давно уже на партийной работе. Несколько резок и грубоват...— Анна испугалась, что все-таки начинает критиковать Тарабрина, а это даже неудобно, когда человек лежит в больнице и еще неизвестно, вернется ли он на работу.— Может быть, иногда излишне нервничает,— поправилась она.— Слишком уж привык к людям, к району. Ведь он давно у нас...

— Продолжайте, продолжайте,— поощрил Костров.— Вы правы, людям не надо давать засиживаться.

Анна не согласна с Костровым — она любила, да, любила свой район, в этот район столько уже вложено своего труда,— как можно засидеться там, где работается с сердцем? Наоборот, место это становится все дороже и дороже, это священная привычка; страшно не засидеться, а зазнаться!

Но она не осмелилась поправить Кострова.

— Конечно, засиживаться нехорошо, но я думаю...

— А не думаете ли вы,— перебил Костров,— что Тарабрин сам чувствует, что ему пора менять место?

Анна усмехнулась неожиданно для самой себя; она почему-то почувствовала себя смешливой девчонкой, какой была накануне войны.

— Им овладело беспокойство, охота к перемене мест?

Она нечаянно вспомнила эти строки.

— Это откуда? — спросил Костров.

— Из «Евгения Онегина»...— Анна смутилась и, как школьница, скороговоркой договорила: — Весьма мучительное свойство, немногих добровольный крест.

— А вы читали всего «Онегина»? — заинтересовался Костров.

— Уж после техникума,— призналась Анна.— В техникуме мы только отрывки учили, а вот когда жила в Севастополе, времени много было. Тогда я по-настоящему начала читать.

— А вы, оказывается, поглубже, чем я думал,— признался в свою очередь и Костров.

Какое-то задумчивое, грустное выражение появилось у него на лице, и Анна подумала, что сам Костров «Онегина», вероятно, не очень-то хорошо помнит. Да он, кажется, и не скрывает этого. Она не винила его. Где уж тут до «Онегина»! На плечах такая ответственность. Ночей ведь не спит! Тонет в сводках. Сев. Уборка. Госпоставки. Хлеб. Мясо. Молоко. Лен. «Им овладело беспокойство»...

Но именно цитата из «Онегина» помогла, по-видимому, составить Кострову окончательное суждение о Гончаровой.

— Послушайте, Анна Андреевна, а что вы скажете, если обком будет рекомендовать вас в первые секретари?

Чего угодно Анна ожидала, только не этого. Ее — в первые секретари?

— Справитесь?

Она даже растерялась. Значит, Тарабрин не вернется? Тогда вдвойне хорошо, что она ничего не рассказала о нем Кострову. Все образовывается само по себе. Хочется ли ей стать во главе района? Это было почетное предложение, оно льстило, конечно...

— Мы тут подумали, посоветовались,— продолжал Костров.— И решили выдвинуть вас. Пока будете как бы заменять Тарабрина, а осенью на конференции официально рекомендуем...

И вдруг Анна отчетливо поняла, что она не боится стать первым секретарем. Она любит свой район, любит и знает людей, живущих в районе. Ей хочется, чтобы им было хорошо, она согласна работать для них без сна и отдыха.

— Справитесь?

Костров спрашивает уже во второй раз.

Попробую. Попытаюсь. Постараюсь... Так, кажется, полагается отвечать?

— Справлюсь,— решительно сказала Анна.— Думаю, что справлюсь...

Она не смела, не имела права отказаться. Тебе доверяют, а ты скажешь, что не берешься это доверие оправдать? Она даже испугалась, что Костров почему-либо передумает.

А он был удивлен такой прямоотой. Но она ему понравилась. Анна очень по-женски, интуитивно чувствовала, что нравится Кострову,— не лицом, конечно, не как женщина. Что-то отеческое было в том удовольствии, с каким Костров рассматривал Анну.

Но тут же Костров точно отодвинулся от нее, посуровел и обратился к ней чуть ли не с пристрастием:

— А еще? Я слушаю вас. Еще что вы скажете о себе?

Анна с недоумением посмотрела на Кострова. Что может сказать она о себе? Не излагать же ему свою биографию! Костров знает ее личное дело, вероятно, не хуже ее самой.

— Хочу знать, Анна Андреевна, чем дышите, какие планы, какие у вас мечты.

Он ставил ее в странное положение. Чем она дышит? Кострова, должно быть, занимало ее смущение.

Анна принялась рассказывать о районе. О колхозах. О планах севооборота. О фермах. О городских нуждах. О расширении промкомбината...

Костров молчал. Она вдруг заметила, что Костров ее не слушает. Он смотрел на Анну и одновременно куда-то в себя. Она продолжала говорить о постройке в Сурожье механического завода. И вдруг он прервал ее на полуслове.

— Отлично,— произнес Костров.— Вы, я вижу, знаете жизнь района и представляете себе его будущее...

Что «отлично», Анна так и не поняла.

— Ну что ж,— сказал Костров.— Будем рекомендовать. Но только смотрите, Анна Андреевна, за вами еще уборка. Сумеете собрать урожай — оправдали себя. В конечном итоге это будет решать. Понятно?

Анна опять заглянула ему в глаза, они потускнели к концу разговора, не было в них веселых искр, это были холодные серые глаза, и тут она поняла, что Кострова несколько не интересует, что представляет собою Гончарова, он вызвал Анну не для того, чтобы узнать ее, вызвал для проформы, а может быть, и для того, чтобы она поняла, что значит он сам.

Костров не нуждался в ответе. Он снял трубку телефона, набрал номер.

— Георгий Денисович, у тебя кто? Загляни ко мне.

Косяченко не заставил себя ждать. Анна знала его, они встречались и в Пронске, и в районе.

— Вы знакомы?

Косяченко вопросительно взглянул на Кострова, приветливо поздоровался с Анной.

— Что ж, Георгий Денисович, думаю, мы правильно решили,— сказал Костров.— Товарищ Гончарова, я думаю, справится...

Он встал, давая понять, что разговор с Анной окончен, вышел из-за стола, пожал ей руку и легкой походкой принялся ходить вдоль кабинета.

— Что касается наметок Госплана по текстилю,— заговорил он, обращаясь к Косяченко,— нам придется поспорить...

Он уже не видел и не слышал Анны, его занимали уже другие дела, легкой походкой ходил он по кабинету, и, глядя на его сосредоточенное

упрямое лицо, на крепкую коренастую фигуру, на его быстрые пружинящие шаги, Анна поняла, что Костров уверен в себе, бодр и совершенно здоров.

XLVI

День был удивительно суматошный. Еще накануне вечером позвонили из Пронска, сообщили, что утром в район выедет председатель совнархоза Гнеденко. Этого визита Анна ждала несколько недель и чрезвычайно из-за него нервничала. Вопреки своим правилам она постаралась даже сделать для Гнеденко этот визит возможно более приятным. Позвонила Дормидонтову, попросила приготовить обед. Гнеденко должен был миновать Сурож, Анна рассчитывала встретиться с ним в колхозе «Заря», откуда Гнеденко собирался проследовать в Пряхино.

Дело заключалось в том, что на севере Сурожского района года три назад обнаружили большие залежи бокситов, на их базе предполагалось построить глиноземный завод, но площадь залегания в равной степени захватывала и соседний район, Пряхинский. Гнеденко должен был выбрать место под строительную площадку. В постройке завода на своей территории равно были заинтересованы оба района, строительство экономически укрепляло любой из районов, а прибытие нескольких тысяч кадровых рабочих тоже не могло не сыграть своей положительной роли. Вот Анна и торопилась уговорить Гнеденко остановить выбор на Сурожском районе. Она желала пряхинцам всяческого добра, с секретарем Пряхинского райкома Усольцевым была в наилучших отношениях, но, как говорится, дружба дружбою, а денежки врозь: пока она в Суроже, Сурожский район для нее дороже других.

Анна не терпела заискивания, а тут встретила с Гнеденко такой лисой, столько аргументов выложила в пользу своего района и так умело продолжала выкладывать за обедом аргументы в пользу Сурожа, что Гнеденко сдался, обещал посоветоваться в Пронске еще раз, хотя сам лично склонился уже к тому, что завод надо строить именно в Суроже.

Анна добилась своего, но вернулась с этого свидания с ощущением какой-то досады. Она подумала было, что досадует на себя из-за этого проклятого обеда. Впрочем, обед был как обед. Самый обыкновенный обед, и прошел он, можно сказать, в дружественной и непринужденной обстановке. Гнеденко и два инженера, сопровождавшие председателя совнархоза, долго взвешивали все обстоятельства, связанные с выбором строительной площадки, сверялись с картой, внимательно выслушали доводы Гончаровой, и можно было поручиться, что желательное для Анны решение принято уж никак не из-за красивых глаз секретаря Сурожского райкома. Приглашение отобедать Гнеденко принял, говоря честно, после того, как у него сложилось окончательное суждение. Вместе с Анной и Дормидонтовым он и его инженеры охотно зашли в чайную сельпо, их провели в отдельную комнату «для начальства», подали отлично зажаренного гуся, Гнеденко только ел да похваливал, охотно выпил стопку коньяку, но когда Анна попыталась было за все рассчитаться, решительно запротестовал и вместе со своими инженерами копейка в копейку расплатился за обед.

Так что с обедом все было в общем в порядке. Обед не мог повлиять на решение Гнеденко и был только выражением любезности и внимания со стороны Гончаровой.

Поездкой Анна могла быть вполне довольна. Но чувство досады ее, однако, не покидало.

Она заглянула ненадолго домой, повидала детей и тут же ушла в райком.

Прошла в кабинет, разделась, повесила в гардероб пальто, села за стол.

Работы было много, приближалась районная конференция. Вечера теперь Анна посвящала предстоящему докладу. Не так-то просто отчитаться перед людьми.

Она нажала кнопку звонка. Вероятно, Клаша ушла уже домой. Но Клаша была еще на месте.

— Клашенька, попросите Павла Васильевича и уходите домой.

Семенов был помощником первого секретаря. Он работал с Тарабриным лет пять. Точный, вышколенный работник, на днях он сам напомнил Анне, что пора заняться отчетным докладом. Начерно он составил для Тарабрина немало речей, набил на этом руку. Но Анна отказалась от его помощи. «Я сама, Павел Васильевич. Если что понадобится, скажу...» Надобилось ей, конечно, многое. Сводки, цифры, отчеты. Но к составлению самого отчета Анна Семенова не подпускала. Отчет должен содержать ее мысли...

Семенов вошел, положил перед ней папку.

— Вы интересовались выработкой механизаторов, Анна Андреевна...

Сухой, молчаливый, он испытующе поглядывал на Анну. У Тарабрина были сила, размах, опыт. А эта... Как сказать!

Она отпустила и Семенова. Раскрыла принесенную папку. Просмотрела. Придвинула чистую бумагу. Задумалась...

Странная у нее профессия. В прошлом она агроном. Да, в прошлом. А теперь профессия у нее посложнее. Партийный работник. Раньше эта профессия называлась — профессиональный революционер. Очень сложная и очень трудная профессия. Настоящий человек, честный, идейный, способный, на этой работе — все, никчемный человек — ничто. Счастье, что на этой работе терний больше, чем радостей, не очень-то на нее рвутся никчемные люди, а удержаться на ней и вовсе не удерживаются.

Отчет! Отчет у коммуниста всегда руководство к действию. Анна повернула голову. Вот она — карта ее района. Хлеб. Молоко. Мясо. Лес. Торф. Бокситы. Голубой змейкой вьется, извивается через весь район Сурожь... Ее район! У Ленина, в его дореволюционных работах, этот район упоминается как один из самых отсталых...

Теперь район, конечно, не так уж плох, но сколько еще предстоит сделать, чтобы превратить его в край изобилия и благоденствия.

...Край, где все обильем дышит,
Где реки льются чище серебра...

Анна не помнила, чьи это стихи, но жизнь должна стать именно такой...

Бог ты мой, — подумала она об отчете, — ведь за все, буквально за все приходится отчитываться: за колхозы, за школы, за торфоразработки, за все предприятия города, за всех служащих, за рабочих...

Да кто же она такая? Кто же такой — секретарь райкома? Как будто непосредственно ни за что и не отвечает и, однако, за все в ответе. Вот недавно рассказали ей, одна девчонка обвенчалась в церкви, и как же Анне стало не по себе! Чего-то, значит, недоглядели, райком комсомола недоглядел, она недоглядела...

Однако надобно браться за отчет. Вот сидит она одна. Вокруг тихо. Тишина стоит в кабинете. Надо все увидеть, все взвесить, наметить путь, повести по этому пути людей. Сама она тоже прислушивается к голосу, который ведет ее...

Она одна. И не одна. Наедине со своим районом. С партией. Никогда не одна.

Незаметно приблизился день испытания. День, когда она встанет перед делегатами конференции и будет отчитываться — за себя, за райком, за все население района.

Четыре дня оставалось до конференции. Всего четыре дня. А еще не все ясно. Не одна цифра может еще измениться в отчете. Не все колхозы выполнили план, еще не продан весь лен, то падают, то увеличиваются надои...

До сих пор Анна не знала, с кем ей придется работать, вопрос о втором секретаре оставался открытым, обком медлил кого-либо рекомендовать, и Анна не осмеливалась поторопить секретарей обкома.

За четыре дня до конференции позвонил Косяченко.

— Ну как, Анна Андреевна, никого не подобрали во вторые секретари?

Такого вопроса ей ни разу не задавали, и он несколько огорошил Анну. У нее был на примете человек, но она все ждала — кого предложит обком. На этот раз вопрос был поставлен прямо.

Анна неуверенно произнесла:

— Мы задумывались тут, Георгий Денисович...

Но Косяченко не дал договорить.

— А мы подумали, Анна Андреевна, крепко подумали, — решительно перебил он свою собеседницу. — Нашли для вас мужика. Как за каменной стеной будете...

И тут же сам засмеялся — должно быть, ему понравилось шутливое это выражение.

— Кто да кто? — заинтересовалась Анна.

— Да уж будьте уверены... — Косяченко выждал минуту, интригуя собеседницу. — Щадилов... Слышали?

— Щадилов... Откуда это?

— Да вы его знаете! Второй секретарь из Борска.

Ничего особо хорошего Анна о Щадилове не слыхала, но и возразить ничего не могла.

— Маленечко зазнался у себя в Борске, напартачил с мясом, вот и решили к вам, — объяснил Косяченко.

— А зачем к нам, если напортачил?

— Пусть не зазнается!

— Зачем же...

— Да вы не бойтесь, он крепкий мужик, в случае чего может нажать, при вас в Суроже в самый раз будет...

Она пыталась возразить.

— Если — Щадилов, мы у себя получше найдем...

Голос Косяченко посерьезнел.

— А вы не спорьте, Анна Андреевна, обком все взвесил, а убрать никогда не поздно. На конференцию к вам приедет Узюмов, он и захватит Щадилова...

Косяченко испортил Анне настроение. Она плохо знала Щадилова, но уже одно то, что Щадилова посылали в Сурож в наказание за какие-то провинности, мало ее устраивало. Однако Косяченко говорил столь решительно, что она не осмелилась отвергнуть неожиданно свалившуюся, как снег на голову, кандидатуру.

На следующий день она поделилась новостью с товарищами, никто не выразил ни особой радости, ни недовольства.

Неожиданно в райкоме появился Костров. Его-то Анна уж никак не ожидала.

— Был в Калачеве, у текстильщиков, — объяснил он. — К вам не собирался, но по дороге решил завернуть...

В Калачеве находилось несколько крупных ткацких фабрик, «по дороге» выглядело очень относительно, Калачево стояло в стороне. Однако появлению Кострова Анна обрадовалась.

Костров поинтересовался:

— Отчет готов?

— Читали на бюро, утвердили.

Анна подала Кострову папку с отчетом.

Костров небрежно перелистал несколько страниц.

— Не боитесь?

— Боюсь,— призналась Анна.— Все в порядке, и боюсь.

Костров снисходительно усмехнулся.

— Привыкнете.

Он прошелся вдоль кабинета быстрым своим пружинящим шагом и остановился у окна.

— Ну, а как со вторым секретарем? Устраивает вас Щадилов?

Он, конечно, знал уже о звонке Косяченко. Кострову Анна и подавно не собиралась возражать. Почему-то она чувствовала себя в присутствии Кострова девчонкой. Давно уже и не считала себя, и не была девчонкой, но в присутствии Кострова почему-то терялась — настолько для нее велик был его авторитет. Но и лгать перед ним не хотелось. Конечно, она не могла не считаться с мнением обкома, она подчинится любому решению, но пусть все-таки знают, что она подчиняется, но не принимает это решение душой.

— Нет,— произнесла она почти что с отчаянием.— Не устраивает он меня, Петр Кузьмич!

Костров тут же сел у окна, ему нравилась прямота этой женщины.

— Вы не стесняйтесь,— поощрил он Анну.— Говорите прямо, как думаете. Я для того и заехал, чтобы вы могли высказаться начистоту.

— На что нам Щадилов?— сказала Анна.— В Борске недотянул, а у нас справится? Петр Кузьмич! Я бы партработников, у которых слаб авторитет, не задерживала на партийной работе. Пошлите Щадилова по специальности, а если не знает ничего, пусть поучится.

Костров опять усмехнулся.

— То-то и беда, не недотянул, а перетянул, администрировать любите. Вот мы и надумали его сюда. Вы женщина, характер у вас помягче, Щадилов поможет в случае, если придется нажать...

Анна бросила на Кострова недовольный взгляд.

— А я, думаете, не нажму?

Глаза Кострова смеялись.

— Нажмете?

— Нажму.

— Работать, конечно, вам...— Костров задумался.— А если не Щадилов, кого тогда?

Анна осмелела.

— А вы позвольте нам самим выбрать.

— А кого?

Анна назвала:

— Ксенофонтов.

Костров пытливо смотрел на Анну, он не припоминал, о ком это говорит Гончарова.

— Ксенофонтов?

— Из Сурожской РТС,— пояснила Анна.— Механик и секретарь партийной организации.

— Фамилию будто слышал, а не припоминаю...— Костров прищурился.— Чем он знаменит, этот ваш Ксенофонтов?

— Честностью,— ответила Анна.— Честностью, прямокой.

— Серьезные качества. А вы давно его знаете?

— Пятнадцать лет. Я жила у Ксенофонтовых на квартире, когда приехала в Сурож. Он еще мальчик был.

— А недостатки?

— Резок. Упрям. Нетерпелив...

Костров понимающе кивнул.

— Вызовите-ка сюда вашего Ксенофонтова.

— А может быть, к нему проехать? — предложила Анна.

— И то ладно, — согласился Костров. — Посмотрю, кстати, РТС.

Анна пошла вместе с Костровым к выходу.

— А вы не ходите, — остановил он ее. — Я один, не надо мне представлять Ксенофонтова.

Анна с нетерпением ждала возвращения Кострова. Он отсутствовал около часа. Вернулся серьезный, насупленный. По-хозяйски сел у стола. Молчал. Анна не могла определить, с каким решением он вернулся. Что он высмотрел в мастерских? Она не выдержала.

— Ну как, Петр Кузьмич?

— Дайте-ка его учетную карточку...

Просмотрел карточку.

Спросил:

— Почему предлагаете его в секретари?

— Его весь город знает. Я агроном. А он механик. Полезно и для сельского хозяйства и для промышленности. И уж очень с аппетитом работает.

Костров опять вскинул на Анну глаза.

Переспросил:

— С аппетитом?

Потом поморщился.

— Не понравилась мне РТС. Тесно, станки старые. Надо расширяться...

— Ксенофонтов не раз выступал с этим вопросом. А в райком попадет — нажмет...

Костров еще раз усмехнулся и вдруг согласился:

— Ну что ж, у меня нет возражений. Сегодня сделайте представление, а завтра рассмотрим на бюро...

Он поднялся.

— Как будто не ошиблись. А как сама? Уверены в себе?

Анна смежила веки, покачала головой.

— О себе тоже хотела поговорить.

Костров испытующе взглянул на Анну.

— Колеблетесь?

— Нет. Но боюсь упреков.

Костров разглядывал Анну.

— В чем?

Анна потупилась.

— Вы знаете, Петр Кузьмич... Я уже решила. Не выберут, выгоню мужа. Пьет. Ужасно пьет. Хотела развестись, не позволили. Говорят, перевоспитывай. Других за такие же проступки я исключаю из партии. А своего... ни исключить, ни перевоспитать. Любой делегат может сказать: с других требуешь, а у себя...

Все это вырвалось у нее как-то внезапно, она и не собиралась говорить об этом с Костровым. Но она действительно часто думала, не уйти ли ей и вправду с партийной работы, Алексей ее срамит, лежит у нее на совести нестерпимым грузом.

Она безвольно опустилась на стул.

— Как быть, Петр Кузьмич?

— Не распускаться!

Он выкрикнул это резко, отрывисто, даже зло. Взял за плечо, грубо

и бесцеремонно,— Анна никогда не подумала бы, что у Кострова такие жесткие, такие беспощадные пальцы,— взял за плечо, поднял, поставил перед собой.

— Что вы нюните? — отрывисто спросил он.— У вас пьяница, у другого жена мещанка, у третьего сын не задался... Так из-за этого изменять себе? Воспитывайте! А не поддается — судите. Но не опускайте рук. Не опускайте, понятно? Теперь нечего отступать...

Этот крик задел Анну за живое.

— Я не отступаю,— проговорила она сдавленным голосом.— От работы не отказываюсь. Я никакой работы не боюсь. Пойду всюду, куда пошлет партия. Но ведь я возглавляю райком. Могут упрекнуть. Я на сессию, а его в милицейской машине везут. Стыдно. Пошлите дояркой, свиначкой. На любую стройку. Вы увидите...

— А кто вас упрекает? — резко оборвал Костров.— Свиначкой...— саркастически повторил он.— А нам надо, чтоб вы были первым секретарем.

XLVIII

Беспокойно провела Анна ночь перед конференцией. Ей хотелось выспаться, но заснуть не дал Алексей. Вернулся он домой необычно рано и трезвый. В последнее время это редко случалось. Анна было подумала, что он щадит ее, боится сорвать ей доклад. Но именно для того, чтобы сорвать доклад, он и пришел на этот раз трезвым.

— Нам нужно поговорить,— сказал Алексей.

— А может, лучше выспаться? — спросила Анна.

— Успеем...

Он еще раз потребовал от нее, чтобы она ушла с партийной работы. Ни больше, ни меньше. Чтобы отвела свою кандидатуру при выборах райкома. Он хотел вернуться вместе с Анной в деревню. Не обязательно в «Рассвет». В любой колхоз. Он хотел, чтобы Анна вновь превратилась в агронома и в равной степени занималась собственным домом и полководством. Он хотел, чтобы Анна была такой, как десять лет назад.

— Пойди лучше выпей,— сказала Анна.— Пьяный ты умнее.

— Ты откажешься? — повторил Алексей.

— И не подумаю,— сказала она.

— Значит, я ничего для тебя не значу? — спросил он.

— Значишь,— сказала она.— Все еще значишь, но теперь не так уж много.

— Партия тебе, конечно, дороже,— насмешливо сказал Алексей.

— Ты не ошибся,— подтвердила Анна.

Он принялся ругаться. Негромко, но гнусно. Так, чтобы не слышали дети,— он не был на этот раз пьян,— но так, чтобы как можно сильнее унизить и оскорбить Анну.

Она взяла книгу, принялась читать. Спать было невозможно. Она читала, а Бахрушин ругался. Так они провели ночь. Только под утро Алексей заснул и дал задремать Анне.

Она пришла в райком с таким ощущением, точно всю ночь провела под обстрелом. Но она взяла себя в руки. Нет, нет, она уже не та Анна, какой была десять лет назад.

Пригласила членов бюро. Провела краткое заседание. В последний раз обменялись мнениями о составе президиума...

И разошлись. Собственно говоря, райком в его теперешнем составе уже не существовал. Через два часа откроется конференция, и райком сложит свои полномочия.

Анна просмотрела утреннюю корреспонденцию. Открыла папку с до-

кладом. Проверила, внесла ли Клаша исправления в соответствии со сводкой о надоях...

Вздыхнула. Вот они — итоги труда всех сурожцев. Через два часа она встанет со своим отчетом перед делегатами конференции...

Кто-то осторожно приотворил дверь.

Кто это? Анна просила Клашу по возможности никого к ней не пускать. Хотелось сосредоточиться, собраться с мыслями. Она не прочь была даже вздремнуть с часок.

Алексей... Что ему нужно?

Он плотно притворил дверь и пошел к ней.

— Что тебе?

Он не ответил. Он шел к ней. Шел выпрямившись, твердыми, уверенными шагами. Одна Анна могла понять, что он пьян. Не хватало только, чтобы он пьяным явился сейчас к ней в райком!

— Ну, сядь, сядь...

Он опять не ответил. Подошел к столу.

— Я спрашиваю: что тебе?

Он обошел вокруг стола и рывком схватил Анну за руку.

— Пустил!

Он опять ничего не сказал. Только держал за руку и ничего не говорил. Она привсталала. Сколько он ни пьет, а силы ему не занимать стать. Рука Анны была точно в железных тисках.

— Сейчас жепусти!.. Ты чего молчишь? Больно. Ты с ума сошел!

На нее пахнуло едким запахом водки.

— Ты уйдешь из этого чертова райкома?

— Послушай, Алеша...

Он вдруг ударил ее в бок, нанес короткий и тяжелый удар в подреберье.

От неожиданности Анна чуть не вскрикнула, но она только охнула и опустила в кресло.

— Уйдешь?..

Он принялся выворачивать ей руку.

— Уйдешь? Уйдешь?.. Слышишь?.. Искровеню всю! Кому секретарь, а мне ты жена... Выкобениваешься, тварь...

Все это было и отвратительно, и унижительно. И просто ей было больно. А он все наносил и наносил удары, все норовил ударить ее в живот.

Крикнуть она не могла. Не могла выставлять себя на всеобщий позор. Вот как она его перевоспитала! Что она за руководитель, если собственный муж бьет ее, когда хочет...

Она боялась вскрикнуть.

— Алеша, ты пьян... Ты пьян. Образумься. Поди prospись. Я прошу. У меня конференция. После поговорим. Алеша...

Но Алексей все продолжал и продолжал наносить ей короткие и тяжелые удары.

— Ты у меня встанешь! Ты у меня встанешь...

Он тяжело дышал, хрипло повторяя одну и ту же фразу.

Кричать Анна не могла. Не могла. Как выйдет она на трибуну? Битый секретарь! Не секретарь, а битая мужняя жена...

У нее вырвался вопль:

— Да чего ж тебе от меня надо?!

Она наклонила голову, прятала лицо. Выйти на трибуну с синяками! Но Алексей не бил ее по лицу. Мог ударить в лицо, но отвел руку. Пьян, пьян, а по лицу боялся бить, не хотел оставлять следов. Не за нее боялся, за себя.

Только бы не закричать! Любого коммуниста, который позволил бы себе такое обращение с женой, Анна исключила бы из партии. Но Але-

кся она не может, не может вызвать в райком! «Я исключаю тебя за то, что ты меня избил...» Это же анекдот!

— Уйдешь?

Осипшим каким-то, шипящим голосом он задавал ей один и тот же вопрос.

— Нет!

Он опять ее ударил.

— Нет!

— Карьеристка...

Все враждебные силы в его лице требовали, чтобы она отказалась от самой себя, предала дело, которому служит...

— Нет!

— Карьеристка проклятая...

Она с отчаянием взглянула в окно, точно там, за окном, находилось ее спасение. Но за окном было нестерпимо тихо. Одно сизое сумрачное небо. В окно заглядывал только старый ветвистый клен. Листва с него почти уже вся облетела, лишь несколько желтых листьев укоризненно подрагивали на голых ветвях. Клен рос сразу за окном, он один видел все, что происходило в кабинете.

Анна не знала, как дотянулась до звонка; смотрела на мужа, а сама надавливала кнопку.

Клаша торопливо вошла в кабинет, и в тот же момент Алексей отпустил жену.

— Звали, Анна Андреевна?

Анна почувствовала, что у нее кружится голова.

— Клашенька, Алексею Ильичу нездоровится,— произнесла она скороговоркой.— Помогите ему, его надо отправить домой...

Она не могла позволить себе даже минутной слабости. Встала. Преодолела боль, головокружение. Сосредоточилась на всем том, что ждало ее за дверью кабинета. Заставила себя забыть все ненужное. Выпрямилась. Взяла со стола папку с докладом.

— А я пойду, Клашенька, меня ждут...— Она посмотрела на мужа спокойными, может быть, чуть лишь туманными глазами.— А ты отдохни, Алеша...— Она уже не видела его.— Все обойдется,— сказала она уже на ходу и повторила, больше для самой себя: — Все... Все обойдется.

XLIX

Не успела Анна подняться в зале на помост для президиума, как все ненужное, постороннее исчезло, заслоненное неизмеримо большим и важным.

Она вошла в зал и сразу из одиночества, из оскорбительного и тягостного одиночества перенеслась в атмосферу товарищества, уважения и взаимопонимания.

Потом уже, вечером, и даже не вечером, а ночью, когда события этого большого дня остались позади, ей приходили на ум отдельные подробности, особенно запечатлевшиеся в памяти.

Вот она на трибуне, выступает с отчетным докладом...

Перед нею разные лица, разная степень внимания выражается на них, но нет ни одного безучастного, больше того, все они выражают сочувствие тому, о чем Анна докладывает конференции.

Когда Анна готовила доклад, она старалась не опустить ничего сколько-нибудь важного в жизни района, но лишь сейчас сама со всей отчетливостью видит, сколько изменений произошло за последние годы в Сурожье. Вот смотрит она людям в глаза и убеждается: есть что сказать сурожцам.

Наверно так получается у фотографа: знает, что снимает, знает, что проявляет, но вполне отчетливо видит свою работу лишь тогда, когда держит в руке отпечатанный снимок.

При этом Анна хорошо понимала: все доброе, что отмечено ею в своем докладе, являлось заслугой всех сурожцев. Райком мог побудить людей проявить инициативу, но превратить ее в реальное дело должны люди, большинство людей, все население района.

Доклад свой Анна читала, и только раз отступила от заранее написанного текста, когда пошла речь о моральном облике коммунистов. Она заговорила о пьяницах и не смогла сдержаться. Не пощадила ни директора школы Исаева, ни Семенычева из «Красного партизана». Как будут они воспитывать людей, когда не в состоянии воспитать самих себя! С пьяницами нельзя ни колхозы поднять, ни коммунизм строить. Им не место в партии.

Делегаты зааплодировали. Многим понятны были и гнев и волнение Анны.

Она говорила о будущем. Люди вступали в новые, коммунистические отношения. Новые отношения требовали и иного общественного поведения. Не каждый еще осознал необходимость перемен в самом себе, но потребность стать лучше, чище, благороднее уже волновала души.

В прениях, естественно, пошел разговор и о повседневных делах, но в каждом выступлении — Анне казалось, что в каждом, — звенела какая-то необычная струна.

Поэтому-то ее и рассердило выступление Волошина. Колхоз, которым руководил Волошин несколько лет подряд, считался лучшим в районе. Это в самом деле был хороший колхоз, но слишком уж привыкли руководители «Ленинского пути» к похвалам. Если похвалы не сыпались на них, они сами искали этих похвал.

Волошин рассказывал о росте общественного стада. По сравнению с 1957 годом оно увеличилось в колхозе чуть ли не втрое!..

С курчавыми черными волосами, с густыми бровями, с квадратной челюстью, с упрямым подбородком, Волошин так и просился на снимок. Сумской и Узюмов одобрительно на него посматривали. Сумской завел сельхозотделом, и достижения, о которых распространялся Волошин, шли, так сказать, по его ведомству. Узюмов, заместитель заведующего отделом пропаганды, тоже был заинтересован в успехах прониских колхозов. Короче, выступление Волошина лило воду на мельницу обкома.

Но Анна сразу взяла Волошина на заметочку. Нет, он не сказал неправды, стадо в «Ленинском пути» действительно увеличилось, но хвастаться было незачем.

В перерыве Анна заметила, как Узюмов сказал что-то фотокорреспонденту из областной газеты. Корреспондент снимал Волошина и в профиль и анфас, и тот с удовольствием позировал перед аппаратом.

Однако Анна постаралась, чтобы снимок в газету не попал, в заключительном слове она все поставила на свое место. Она подтвердила, что стадо увеличилось, но нельзя забывать, что в 1957 году стадо заболело бруцеллезом и было попросту уничтожено. Так что по сравнению с этим годом оно, конечно, не могло не вырасти...

Анна знала, эта поправка не понравится ни Сумскому, ни Узюмову, но промолчать не могла.

В перерыве, перед выборами, Волошин, столкнувшись с ней в коридоре, демонстративно свернул в сторону, обиделся. Ну что ж, это случилось у нее в жизни. Кое-кто начинал ее сторониться. Но она не пыталась переделать себя и только с трепетом ждала выборов. Обком ее

поддерживал, и большинство делегатов, наверно, были на ее стороне, и все же тайна голосования всегда остается тайной.

Кандидатуру Анны выдвинули единодушно. Но при обсуждении ложка дегтя в бочку меда была все же влита. Слово взял Онуфриев, заместитель Жукова. Он, конечно, кандидатуру Гончаровой не отвел, не осмелился. Онуфриев, как он выразился, хотел только предостеречь, сказать о том, что товарищ Гончарова слишком мягка, недостаточно требовательна, что он хотел бы от Анны Андреевны большей принципиальности в личной жизни. Онуфриев так и не расшифровал, что подразумевает под этим...

Выступление его сводилось, по существу, к тому, что если Анна и может быть в составе райкома, то в первые секретари она вряд ли годится. Вот и выяснилось, что Жуков не принимал Анну в качестве первого секретаря. Всем было ясно, что без согласования с Жуковым Онуфриев не рискнул бы так выступить.

Это была для Анны новость. Пусть! Выступление это, пожалуй, не нуждалось в ответе, но ответить захотело сразу несколько делегатов.

Слово предоставили Кудрявцеву. Бригадир трактористов из «Рассвета» пользовался авторитетом, у него были и ордена и почет. На конференцию Кудрявцев явился во всех регалиях — с орденами, полученными и на фронте, и в мирное время. Обычно выступал он неплохо, но на этот раз насмешил всю конференцию.

— Я, товарищи, не встречал более принципиальной женщины, — сказал он с решительностью, не допускающей возражений. — Я с Анной Андреевной имел дело, когда она, извините, работала еще агрономом...

— А чего ж извиняться? — перебил его кто-то из зала.

Но Кудрявцев даже не обернулся на голос.

— А извиняюсь я за себя, вы поймете, — пояснил он однако. — Товарищ Гончарова женщина, как вы видите, в полном еще... Ну, словом, должен признаться. Был такой случай, вздумал я как-то за ней поухаживать...

Делегаты оживились, один Узюмов нахмурился и вопросительно поглядел на Анну — не прервать ли, но она пожала плечами, мотнула отрицательно головой — пусть говорит.

— Смеяться нечего, я принципиальный случай рассказываю... — Было трудно понять — доходит ли юмор рассказа до самого Кудрявцева, он не улыбался, на его лице лежал отпечаток самой неподдельной серьезности. — В общем случился такой случай. Я к ней с самыми чистыми намерениями, но в Анне Андреевне никакого отклика не нашел. И как же, вы думаете, она поступила? Обычная женщина может по морде дать. Другая заявленье в партком напишет. А Анна Андреевна... — Все-таки, должно быть, паясничал он сознательно, совесть обязывала рассказать случай, свидетельствующий о принципиальности Гончаровой, но так как сам Кудрявцев предстал в невыгодном свете, он предпочел придать рассказу юмористический характер. — Анна Андреевна не поддавалась ни на какие уговоры и... — Он не дошел еще до сути и нарочно тянул ради вящего эффекта. — Заставила меня перепахать весь озимый клин. Так и так, говорит, вы меня неправильно понимаете, Тимофей Иванович. Я, как женщина, другому отдана и буду ему верна, а вы, по причине некачественной вспашки, будьте любезны, перепашите озимый клин, иначе будете опозорены на весь наш район и даже выше.

— А ты что? — спрашивали Кудрявцева в разных концах зала.

— А я что?.. Я себе не враг... — Кудрявцев впервые улыбнулся. — Перепахал. Женщина принципиальная, по деловым вопросам переспорить ее невозможно.

И уж если Кудрявцев публично признал превосходство Гончаровой, это значило много!

Зато Ксенофонтова пришлось отстаивать от нападков Анне,— люди, его знающие, извиняли ему резкость и даже грубость, но многим он казался чересчур невыдержанным и нетерпимым, Анне не без труда удалось добиться оставления его кандидатуры в списке для тайного голосования.

К ее удивлению, Ксенофонтова избрали единогласно, а против Анны голосовало семь человек. Семь человек из двухсот...

Не так уж много и не так уж плохо. Если ты всем приятен, значит, никому не опасен, а никому не опасен тот, кто ничего не хочет и ничего не добивается. Анна боролась, строила, стремилась вперед, и, естественно, кому-то с нею было не по пути.

Л

До чего глухо, гулко и неопратно все в этом доме. Полы в общем чистые, их, должно быть, частенько драили до блеска, но вот среди комнаты валяется на полу папиросная коробка, а у стены ворох окурков и обуглившихся спичек, точно хозяевам некогда было вытряхнуть пепельницу. Пачка старых газет. А в углу паутина! Осталась от жильцов, или паук успел свить за время их отсутствия? Удивительно пусто и неопратно.

Анна медленно переходила из комнаты в комнату. Пять комнат. Пять просторных светлых комнат. Куда ей столько!

Она вошла в кухню. На столе батарея полулитровых стеклянных банок. Дверца стола отвалилась, висит на нижней петле. Владельцы оставили стол. Не нужен.

Просторно жили Тарабрины. Ну, спальня, ну, кабинет. Ну, столовая... Домашнюю работницу Тарабрины не держали, могли бы и на кухне обедать. Подсобных помещений тоже с избытком...

Вчера под вечер Клаша вошла в кабинет и протянула Анне ключ.

— Семен Евграфович велел передать...

Анна сразу поняла — ключ от квартиры Тарабрина. Жена Тарабрина за неделю до конференции перевезла вещи в Пронск. Но Жуков, должно быть, не был уверен в избрании Анны, выжидал — кто окажется первым секретарем.

Да, кончился Тарабрин. То есть не сам он кончился, а кончилась его деятельность в Суроже, секретари райкомов не возвращаются в районы, которые когда-либо покинули.

Иван Степанович Тарабрин... Первый секретарь райкома. Много лет проработал он в Суроже. Бывали у него здесь и взлеты, и спады. Ругали его и хвалили. Подвергался критике, получал награды... Всяко бывало!

А как он жил дома? Чем занимался, что читал, о чем думал?

Об этом Иване Степановиче Анна не знала ничего. Теперь она шла по комнатам, в которых он совсем еще недавно обитал, спал, ел, разговаривал. А теперь ей здесь предстоит жить...

Вот в эту угловую комнату, самую большую и светлую, поместит Нину и Колю, в той, что глядит окнами в палисадник, устроит свой кабинет... Кабинет! Анна улыбнулась. У себя в доме она может устроить себе кабинет! Рядом спальня...

Анна вздрогнула, точно кто-то коснулся ее спины холодной рукой. Не хочет она больше спать с Алексеем. Пусть живет в отдельной комнате!

После конференции Алексей избегал Анны. Вечером, когда она возвращалась, он спал или притворялся, что спит, утром торопливо уходил, раза два вообще не ночевал дома. Самой Анне тоже было недосуг, район

требовал непрерывного внимания, и она все откладывала и откладывала решительный разговор с мужем.

Да, решила она, Алексея поместит в отдельную комнату. Пусть живет, как хочет. Крыша над головой есть, а кормить — пусть кормит себя сам...

Она ходила по особняку, обдумывая, кого куда поселить. И вдруг почувствовала, что в квартире кто-то есть. Кто-то дышит в этой оставленной квартире. Может быть, кошка, оставленная хозяевами? Ну что ж, найдется место и кошке.

— Кто там?

Анна спросила громко, отчетливо и пошла к дверям...

В угловой комнате стоял Алексей. Она не слышала, как он вошел. Стоял неуверенно, виновато. Его точно пошатывало, хотя на этот раз он был трезв. Он смотрел себе под ноги, не осмеливаясь глядеть на Анну. Но она видела, очень хорошо видела его растерянные выцветшие глаза.

— Что тебе нужно?

— Анечка...

Она задала свой вопрос деловито, сухо, как задала бы его любому постороннему человеку, а Алексей окликнул ее жалобно, точно провинившийся ребенок.

— Анечка... — забормотал он быстро-быстро. — Вот заживем теперь... Ты меня прости. Ну, что с дурака взять? Ты же любишь меня. Все будет в порядке. Все на своих руках перетащу...

— Что перетащишь?

Ирония невольно зазвучала в ее голосе.

— Вещи!

Ирония не дошла до него.

— А я еще подумаю, стоит ли переезжать...

Она сама не знала, как вырвались у нее эти слова.

— Да ты что? — Он отступил от нее. — Ты что — ненормальная?

— Мне с детьми хватает того, что есть... — Подумать только! Он готов был убить ее за то, что она не ушла из секретарей, а теперь собирается делить с ней квартиру! — А что касается тебя — мир велик...

Алексей шагнул к жене.

— Анечка, не обижайся...

— А я не обижаюсь. Ты — отрезанный ломоть.

— У тебя на меня ножа не найдется...

— Ты сам себя отрезал от семьи.

— Анечка, поверь, заживем здесь...

Он не сомневался, что она простит, он привык к тому, что Анна неизменно его прощает.

И ей действительно опять стало его жаль. Ох, уж эта жалость!

— Вот что, Алеша!..

Она решила поговорить с ним, но тут зафыркала машина, щелкнула дверца и зазвенел звонок. Алексей рванул было и тут же просительно посмотрел на жену.

— Открой, — сказала она...

Анна не ошиблась, это был Жуков. Позвонил в райком, узнал, что ее нет, и догадался.

Жуков пожал руку и Анне и Алексею.

— Осматриваетесь в новой квартире?

Она неопределенно пожала плечами.

— Осматриваемся.

Жуков энергично потер руки и засмеялся.

— Теперь будет удобно! — Он повел рукою вокруг себя. — Простор!

Анна читала его мысли. Он уступал Анне первенство до поры до вре-

мени. Пока ее не постигнет участь Тарабрина. В конце концов дойдет очередь и до него. Он сам не прочь занять эту квартиру.

И Анне стало противно — и то, что ее меряют этой квартирой, и то, что вообще существует эта квартира, и то, что она сама распределила уже все эти комнаты...

Да разве она из-за положения не захотела бросить свой пост?

Она ничего больше не сказала Жукову и опять пошла по квартире. Хорошие комнаты. Большие, светлые, теплые. На улице ветер, дом несколько дней не топили, но в доме тепло. Кухня такая, что в ней целую ораву накормить можно. Надворные постройки. Теплая уборная. Это тоже очень удобно, что теплая уборная...

— Да, хорошая квартира, — громко произнесла она, ни к кому, собственно, не обращаясь.

Жуков и Алексей следовали за ней, квартира действительно была хороша, и они понимали, что поддакивать не стоит, Анна сказала это скорее самой себе.

Она повернулась к Жукову, на мужа даже не посмотрела.

— Что ж, Семен Евграфович, — произнесла она с усмешечкой. — Поставим вопрос на бюро.

— Какое бюро? — Жуков махнул рукой. — Квартира механически переходит...

— А я не поеду в эту квартиру, Семен Евграфович, — неторопливо, но твердо проговорила Анна. — Мне хватит моих комнат. Женя учится в Пронске, а Алексей Ильич с матерью... — Она не договорила. — Стыдно перед товарищами из промкомбината, да и перед райздравом тоже. Тесновато, здесь, конечно, но ничего. Детский сад разместится, а на будущий год пристроим еще две комнаты.

— Да вы что?! — Жуков даже попятился. — Анна Андреевна, да вам ни один ваш преемник этого не простит!

Анна опять усмехнулась.

— А я не уступлю свой пост никому, кто не одобрит моего решения!

— Да это просто глупо, — не сдержался Жуков. — Не хотите вы, я займу, у меня тоже, слава богу, семья. Детсаду здесь только тесниться...

— Нет, Семен Евграфович, не согласна, — упрямо сказала Анна. — Хоть тесно, а все же детсад. Если хотите, это принципиальный вопрос. Я не хую Тарабрина, но этот стиль отживает. Пусть народ видит, на что у нас используются особняки...

Что-то в ее тоне было такое, что делало спор бесполезным. И Жуков не осмелился возражать.

И она пошла, не приглашая за собой ни Жукова, ни Алексея, и пожалуй даже не замечая, что они все-таки следуют за ней.

LI

Снег валил с первых дней декабря. Падал, падал, завалил Сурож сугробами, низкие дома замело по самые окна. Волков появился тоже весь в снегу, в цигейковой шапке, в коричневом дубленом пальто венгерской выработки, в теплых ботинках, со снегом на шапке, на плечах.

Шумно ввалился в кабинет, отряхнул снег на ковровую дорожку и с протянутой ладонью пошел прямо на Анну.

— Принимаете старых друзей?

Он и вправду принадлежал к числу старых друзей. Ну, друзей не друзей, а к числу старых знакомых. Анна была знакома с Волковым уже

лет пятнадцать. Встречались они, правда, редко, но привыкли друг к другу, было о чем вспомнить, поэтому при встречах ощущали взаимную доброжелательность.

В этот вьюжный декабрьский день Анна никак не ждала Волкова, хотя Ксенофонт предупреждал ее:

— Что-то, Анна Андреевна, сдается мне, с Давыдовским совхозом неблагополучно.

— Что такое, Григорий Федорович? — встревожилась Анна.

— Звонил Апухтин, вызывают в Пронск, боюсь, как бы его не того...

— Так какое же это неблагополучие, Григорий Федорович? Наоборот. Если бы областное управление совхозами не сопротивлялось, мы давно бы освободились от Апухтина...

Она попросила Ксенофонтова созвониться с Пронском, но он ничего еще не успел узнать, как в райкоме появился Апухтин.

Толстый, неуклюжий, встревоженный, по-человечески он был даже чем-то симпатичен, он всегда был полон благих намерений, только у него никогда ничего не получалось.

— Анна Андреевна, вызывают...

Обычно, когда на Апухтина наседали райком, он бросался за помощью в Пронск и всегда получал там эту помощь. В райком он обращался впервые, видно, что-то изменилось.

Анна пригласила Ксенофонтова.

— Узнали что-нибудь, Григорий Федорович?

Ксенофонт замялся.

— Да, собственно говоря, ничего не узнал. Звонил в Пронск. Вызывают действительно. С балансом, со всеми материалами.

Анна вскинула на Апухтина глаза.

— Думаешь, будут оргвыводы?

Тот жалобно посмотрел на Анну.

Ксенофонт утвердительно кивнул.

— Похоже.

— Анна Андреевна... — умоляюще проговорил Апухтин. — Райком вмешается?

— Не в вашу пользу...

Анна не боялась прямых ответов.

И вот через два дня появился Волков.

Конечно, появление его было неожиданным, но можно было предположить, что он приехал договариваться о преемнике Апухтину. Давыдовский совхоз пользовался особой благосклонностью Волкова, по всей видимости он хотел заручиться для нового директора поддержкой райкома.

— Принимаете старых друзей?

— Спрашиваете, Геннадий Павлович! Вы — редкий гость...

— Теперь буду частый...

Волков засмеялся, весело, заразительно, ядрено.

— Извините, что я прямо так, в одежде, уж очень не терпелось пожать руку...

— Раздевайтесь.

Он тут же разделся, все шутил, посмеивался, вел себя так, точно очутился не в служебном кабинете, а дома, у старых друзей.

Анна уже знала, что он скажет.

— Сняли Апухтина, удовлетворены?

— Давно пора. А кто вместо него?

Волков оттопырил большой палец.

— В-во!

— Любого не примем.

— А меня примете?

Анна досадливо поморщилась.

— Я серьезно спрашиваю.

— А я серьезно отвечаю.

— Нет, правда, без шуток?

— А я не шучу...

Неужели не шутит? Трудно принять его слова всерьез.

— Да кто вас отпустит?

— Обком.

— Есть решение?

— Завтра или послезавтра получите выписку.

Анна откинулась на спинку кресла.

— Нет, серьезно, Геннадий Павлович? Что произошло?

— В общем ничего...— Волков заговорил уже серьезно.— Время суровое. Требования повышаются, а мы стареем. Не выполнили совхозы план по области, кто-нибудь должен же быть в ответе? Да и вообще. Приходится сокращаться в масштабах...

Что ж, Анна ничего не имела против Волкова, он был способный, знающий агроном, у Давыдовского совхоза имелись все возможности стать передовым хозяйством, и при таком руководителе, как Волков, этого можно было добиться в короткое время.

Анна испытующе смотрела на гостя... Впрочем, теперь это уже не гость.

— Это в обкоме предложили вам Давыдовский совхоз?

Волков доверительно улыбнулся.

— Я подсказал, конечно...

— И вы согласились расстаться с Пронском?

— Меня оставляли, но ведь я агроном!

— Тянет?

— Тянет.

— И меня тянет,— призналась Анна.— Иногда так тянет...

Волков ласково на нее поглядел.

— Если иногда, еще не страшно.

— Ну что ж, беритесь, Геннадий Павлович,— перешла Анна на деловой тон.— Райком окажет всяческую поддержку...

Район выигрывал, получая такого работника, теперь можно было не тревожиться за совхоз.

Анна вызвала Ксенофонтова.

— Знакомьтесь, Григорий Федорович,— сказала она, представляя ему Волкова.— Новый директор Давыдовского совхоза.

ЛП

Разве партийный работник сумеет когда-нибудь высказать, что значит для него Пленум Центрального Комитета...

Он делает доклады, выступает на собраниях, разъясняет решения, все это верно, но разве это все?

Ведь то, что происходит в Москве, вызывает у секретаря какого-нибудь отдаленного райкома множество сложных переживаний, конечно, в том случае, если он коммунист не на словах, а на деле, если партийный билет для него не только формальное свидетельство принадлежности к партии, но и самый священный документ, связывающий человека с партией хоть и незримо, но неразрывными узами.

Вот читает он доклад одного из руководителей партии, доклад, в котором обобщен громадный государственный опыт и определяются пути дальнейшего развития страны...

А ведь в нем говорится и о его отдаленном районе! Может быть, район

не упомянут, даже область не названа, а все-таки партработник находит и для себя совет за советом.

Не все советы он примет, не все ляжет ему на сердце, но и многое он в нем для себя почерпнет и, окунувшись назавтра с головой в практическую работу, уже и другим будет давать эти советы и требовать их осуществления.

Читает он и выступление секретаря обкома своей области, тот тоже называет далеко не все районы, но секретарь райкома отлично видит, что это и за его район отчитывается секретарь, и его отдаленный и как будто забытый район отражен в цифрах и фактах, которые приведены в выступлении. Это и его труд вознесен на трибуну Пленума!

Ох, какой беспокойной была эта неделя у Анны! Работы всегда много, от нее не спрячешься, не уйдешь. Анна аккуратно приходила в райком, выезжала в колхозы, но и в колхозах она старалась быть поближе к радио, прислушивалась к сообщениям из Москвы.

Усталая, вечером, уже дома, сидела она над газетами, читала опубликованные речи и искала в них ту рабочую правду, которая поможет ей в ее районных делах.

Это был очень важный Пленум и необычный, в ряду представительных собраний партии он выделялся своей страстностью, своей нетерпимостью к недостаткам. Критика всегда была могущественным оружием партии коммунистов, но редко когда звучала она с такой деловой беспощадностью,— людям надо было очень вырасти, чтобы принять ее без обид и без оглядки на других отнести ее к себе в полной мере.

Анна слушала радио, читала газеты и думала: мы старались все сделать постепенно, не торопясь, там немножко уменьшить посев овса, тут немножко увеличить посев кукурузы, мало верили в чужой опыт, несмело доверяли себе. Не хватает революционной решимости, а ее надо найти в себе. Она понимала: все, что требуется от нее, от тысяч таких, как она, работников партии, все это непросто. Но ошибки тоже не очень-то можно оправдать, речь ведь идет о хлебе насущном, сельское хозяйство надо вести так, чтобы оно не зависело ни от капризов природы, ни от небрежной работы отдельных людей...

Ночь вступала в свои права, газета падала у нее из рук. Засыпая, она видела поля, свои сурожские поля, зеленые гроздья овса, и дорогу, бесконечную дорогу от колхоза к колхозу, и почему-то вспоминала Марию Петровну Дорофееву, доярку из «Ленинского пути», лучшую доярку в районе, скромную, застенчивую женщину, которая никогда ничего не просит, ни на что не жалуется, а коровы у нее точно заколдованные — год от году все больше дают молока...

Наутро она просыпалась с ощущением какой-то большой ясности и в самой себе и в природе. День стоял серый, сумрачный, а у нее было ощущение, словно вот-вот прорвется солнце, разведрится, откроются перед глазами полевые просторы — только выходить и работать...

Клаша приходила в райком раньше Анны. Посетители тоже ждали секретаря с утра. Клаша сразу подавала почту, газеты.

Подавая газеты, она вздохнула.

— Ох, Анна Андреевна...

Анна вопросительно взглянула на Клашу.

— Достается нам...

Пленум только что кончился. Пронской области действительно сильно досталось, суровая была критика. Неужели оргвыводы? Анна ничего не нашла в «Правде». Взяла свою областную, пронскую газету.

Передовая была посвящена итогам Пленума. Без самокритики в такой передовой, разумеется, нельзя обойтись. Но все-таки обком упоминался как-то стороной. Редактор не осмелился высказать всю правду в адрес обкома, зато управлению сельского хозяйства и управлению

совхозами учинен полный разгром. Руководителям этих управлений не сносить головы, тут двух мнений быть не могло. Впрочем, одного из них, Волкова, уже не было на посту...

Тем легче было его громить, а ему принимать критику. Он мог спокойно отсидеться в Давыдовском совхозе. Не такое уж плохое это было место. Через какое-то время Волков вполне мог вновь показать себя лицом.

Только теперь Анна начала понимать... В свете того, что говорилось на Пленуме, легче стало рассмотреть отдельных людей. Сам ли Волков принес себя в жертву, или его принесли, но для руководителей области это был лучший выход: сосредоточить огонь на двух-трех работниках, снять их с работы и тем самым отвести огонь от обкома.

Впрочем, Волкову в Давыдове будет не так уж плохо. Все имелось в совхозе: и техника, и люди, и неплохая земля. Только теперь Анне стало понятно, почему Волков был так щедр к этому совхозу и так упорно держал там Апухтина. Готовил цитадель для самого себя! В Давыдовском совхозе умный человек всегда сможет реабилитироваться и даже блеснуть.

В том, что Волков будет работать хорошо, Анна не сомневалась. Он поднимет совхоз, но живет-то он, оказывается, не для дела, а для себя.

Когда-то он хотел подарить Анне пару ульев... Себе он подарил целый совхоз.

Это был опасный человек,— в том, другом, мире он преуспел бы больше, был бы сильнее, крупнее. Но преуспеваает он и сейчас. Анна отобрала бы у него партбилет, но отбирать было не за что... Она не сомневалась: с такими людьми предстоит еще жестокая, длительная и непримиримая борьба.

ЛШ

После Пленума Центрального Комитета по всей стране прошла полоса собраний и заседаний, извлекались уроки, делались выводы, искали путей перестройки.

Вызвали и Гончарову в Пронск. Секретари райкомов приглашены были на пленум обкома, всем было понятно, что обком собирается на этот раз не для спокойного разговора.

Анна под вечер укладывалась в дорогу: полотенце, мыло, зубная щетка...

Пассажиров в вагоне оказалось немного, а в купе, куда ее поместила проводница, и вообще никого не было.

Анне не спалось, думалось о предстоящем пленуме, о трудной обстановке, сложившейся в области.

Она так и не заснула до самого Пронска. Проводница пришла ее будить, а она не спала. Проводница предложила чая. Анна велела принести два стакана покрепче, напилась, съела пачку сухарей, чтобы не завтракать в Пронске. Пленум назначен на двенадцать часов. Только-только добраться с вокзала до обкома.

Обкомовских машин у вокзала не было, она взяла такси, подъехала буквально за пять минут до заседания. Торопливо разделась и побежала по лестнице.

Впереди не спеша поднимался первый секретарь Дубынинского райкома Шурыгин. Он никогда не спешил. Этот человек никогда не терял чувства собственного достоинства. Вот и сейчас, до заседания остались считанные минуты, опаздывать неудобно, а он идет себе и идет, ни шатко ни валко, будто без него ничто не может начаться!

Анна хорошо знала Шурыгина. Даже завидовала ему в глубине

души. Костров всегда ставил его в пример. «Учитесь у Шурыгина... Смотрите, как у Шурыгина... Берите пример с Шурыгина...» Хоть и нехорошо завидовать товарищу, но в какой-то степени он намозолил Анне глаза. В самом деле, как только развернешь областную газету, все Шурыгин да Шурыгин. Что ни сводка — дубынинцы впереди. По надоям, по вспашке, по уборке. Переходящее красное знамя — Дубынинскому району. Лучшие люди — в Дубынине...

Чем только Шурыгин брал? Может быть, в этой уверенности в себе и таился залог его успехов?

Здоровый, плотный, ведь вот идет — не идет, лестницу попирает ногами.

Анна кивнула ему на ходу.

— Погоди, Анна Андреевна, — остановил ее Шурыгин. — Не торопись, успеем...

Анна бросила взгляд на часы.

— Две минуты...

Шурыгин усмехнулся.

— Две минуты до смерти...

— До какой смерти?

— Сегодня нашему Петру Кузьмичу конец, — веско проговорил Шурыгин. — Похороны по первому разряду.

У Анны даже дыхание захватило при этих словах.

— Да ты что, Николай Евгеньич?..

— Диалектика жизни. Закон развития. Отстающих бьют.

Они вошли в зал почти одновременно с членами бюро, появившимися из другой двери и рассаживавшимися за столом президиума. Среди них было двое не знакомых Анне людей.

Шурыгин прошел вперед — он всегда проходил вперед, как и полагалось секретарю передового райкома, — кивнул кому-то в президиуме и сел в первом ряду.

Анна чувствовала себя виноватой за опоздание, села с краю в самом конце и, когда уже села, увидела, что сидит рядом с Вершинкиным.

Какая досада, — подумала она. — И надо ж было...

Секретаря Мотовиловского райкома Вершинкина не считали в обкоме перспективным работником. Костров откровенно его не любил. Уж очень это был средний район! Средний район с тенденцией перейти в плохие. Еще не было случая, чтоб Вершинкин рапортовал о каких-либо успехах. Во всех сводках Мотовиловский район если не стоял на последнем месте, то всегда находился ближе к концу, чем к началу. Упорно поговаривали, что осенью обком не хотел больше рекомендовать Вершинкина в секретари, но он оказался единственным, за кого единогласно проголосовали все делегаты районной конференции, и Кострову пришлось смириться с тем, что Вершинкин остался во главе райкома еще на один срок.

Однако всю область облетели слова Кострова, сказанные им о Вершинкине:

— Потокает отсталым настроениям, вот и голосуют за него.

Вершинкин, в прошлом учитель, партизан, неплохой пропагандист, и вправду не отличался какими-нибудь выдающимися достоинствами, никогда не вылезал вперед, но всегда с пеной у рта защищал работников своего района.

Анна подумала, что сегодня, когда вопрос стоит о самом Кострове и противники Кострова несомненно получают возможность обрушиться на него с полной силой, садиться рядом с Вершинкиным не следовало. Костров неплохо относился к Анне, и ей как-то неудобно стало оттого, что Костров может подумать, будто она спешит примкнуть к его недругам.

— Здравствуйте, Василий Егорович,— поздоровалась Анна с Вершинкиным.— Не знаете — кто это там в президиуме?

— Новый секретарь,— шепнул Вершинкин.— Калитин. То есть, пока еще не секретарь, но рекомендуют. А тот, что рядом, из ЦК. Прохоров, замзавотделом...

Анна Андреевна с интересом посмотрела на Калитина. У него был какой-то уж очень барственный вид. Задумчивое, слишком спокойное лицо. Отличный черный костюм. Белая рубашка. Воротничок накрахмален. Даже галстук не такой, как у всех.

Анна тронула слегка локтем Вершинкина.

— Уж очень барин...

— А ему по должности положено было,— шепнул Вершинкин.— Дипломат.

— Почему дипломат? — Анна удивилась.— Калитин?..— Она опять притронулась к Вершинкину.— Это — тот Калитин?

— Ну, конечно, тот.

— А почему его к нам?

— А почему бы и не к нам? — переспросил Вершинкин.— Насмотрелся на капиталистов, злее будет. Их ведь не столько словами, сколько льном и кукурузою надо бить!

Вот уж никак не представляла себе Анна, что Кострова может сместить Калитин. Она, конечно, читала о нем, встречала его фамилию в газетах. Он был послом в одной из самых крупных капиталистических стран... Ему приходилось ухо остро держать! Но почему его послали в Пронск? Кажется, ничем не проштрафился.

Анна задала Вершинкину этот вопрос:

— За что ж все-таки его к нам?

— А за то, что не дурак, вот за что,— весело ответил Вершинкин.— Нам умного человека давно не хватало. То есть — соответствующего ума. По масштабам. Острого, критического, партийного...

Анна неуверенно покосилась на соседа.

— А вы думаете...

— Не я думаю, ЦК думает,— быстро отозвался Вершинкин.— А я привык доверять ЦК. Впрочем, давайте слушать,— сказал он, усаживаясь поудобней.— Начинается.

Костров поднялся и объявил об открытии пленума...

Зачем только пришел он на пленум? — подумала Анна о Кострове.— Почему не сказался больным? На январском Пленуме в Москве он подвергся жесткой критике. А теперь выводы. Печальные выводы.

— У нас на пленуме один вопрос...

Все знали, что это за вопрос. Вопрос вопросов. Вопрос о руководстве сельским хозяйством.

Что нового мог сказать Костров? Все уже было известно...

Однако он упрямо повторил все, что мог сказать каждый участник пленума. Сокращение посевных площадей, низкая урожайность, запущенность животноводства. В Заречье допустили массовый падеж поросят, в Покровке посеяли на силос подсолнечник и ждали, когда поспеют семечки.

Костров задел даже своего любимчика Шурыгина. Оказывается, молоко, проданное владельцами личных коров, приходовали в Дубынинском районе как молоко, сдаваемое колхозами. Правда, Костров оговорился. «Ходит такой слух,— сказал он.— Это еще надо проверить...»

А Шурыгин тут же подал реплику: «Неправда!» Что касается районов, вроде Мотовиловского, то тут пощады не было. В Мотовиловском все было плохо: надои, корма, ремонт. Костров приводил цифры, имена, факты. Ни одного светлого блика не было в нарисованной им картине...

И это была неправда. Были в этих районах изъяны, неудачи, но в сравнении с прошлым хорошего тоже появилось немало. У нас много ошибок,— с огорчением подумала Анна о выступлении Кострова,— но ведь есть у нас и своя честь? Неужели, если вымазать все черной краской, это и есть самокритика?

Постепенно Костров превратился из обвиняемого в обвинителя. Он называл плохие колхозы, упрекал секретарей, увлекся. Даже металл зазвенел в голосе...

Наконец он сделал паузу и сказал:

— А теперь позвольте коснуться своих ошибок...

Точно ему кто-то запрещал!

Костров поглядел на Прохорова. Тот молчал. Грузный, с морщинами в углах рта, с набрякшими веками, он сосредоточенно смотрел куда-то на край трибуны.

У Анны создалось ощущение, что он все время в чем-то с Костровым не соглашается. Но лицо его было непроницаемо, это был опытный, выдержанный, вышколенный работник, взвешивающий каждое свое движение.

Анна опять перевела взгляд на Кострова. Металл в его голосе уже не звенел, а дребезжал. Он заторопился, скороговоркой повторил критические суждения, какие были высказаны в его адрес в Москве, но своих мыслей в связи с этой критикой у него не нашлось.

И зачем он только пришел? — думала Анна.— Сказался бы больным. Никто бы не попенял ему за это...

Какая-то отчужденность от всего происходящего чувствовалась в Кострове.

Он закончил выступление совершенно казенной фразой о том, что — он надеется! — пронские большевики исправят свои ошибки, сплотятся и выполнят стоящие перед ними задачи.

В этот момент Прохоров взглянул на Кострова. Это был мимолетный, мгновенный взгляд, но Анна уловила его,— лучистый, острый взгляд, мгновенно оценивающий обстановку.

Не успел Косяченко спросить, кто хочет выступить, как Шурыгин попросил слова.

Этот за словом в карман не лез! Он заговорил и о кукурузе, и о силосе, о льне и приписках, сказал, что нашел у себя в районе председателя колхоза, который покупал на стороне скот и продавал его государству как колхозный...

— Мы этого жулика выявили и исключили из партии,— жестко заявил Шурыгин.— Предложили прокурору района судить...

Потом он обратился к сводкам областного статистического управления.

— А здесь липа покрупнее,— сказал он с удовлетворением.— Вот как, оказывается, был выполнен план сдачи льноволокна. На складах облпотребсоюза лежала прошлогодняя треста. Ее сдали, и выполнили план...

Где он только нашел эту тресту?! Узнал от кого-нибудь...

— На это была получена санкция товарища Кострова, я уверен в этом,— сказал Шурыгин.— А если так, чем он лучше нашего предколхоза?

Ну и мерзавец,— подумала Анна.— Вот тебе и любимчик!

Анна посмотрела на Кострова. Тот сидел спокойно, словно Шурыгин говорил не о нем.

— Авантюризм, авантюризм, политический авантюризм,— несколько раз с аплетитом повторил Шурыгин.— За такие вещи не освобождать, а исключать надо...

Закончил он свою речь здравицей в честь ЦК.

Прохоров и на него взглянул. Но смотрел он на Шурыгина иначе, чем на Кострова, сумрачно, исподлобья. Анна даже подумала: вот-вот он его оборвет.

Однако Шурыгин задал тон. Нашлись ораторы, которые наперебой принялись припоминать Кострову все его окрики, все ошибки...

Но ведь не всегда же он кричал зря, не всегда ошибался,— все больше волнуясь, думала Анна.— Почему же никто об этом не вспомнит...

Анна знала: на Вершинкина Костров частенько покрикивал. Она даже поморщилась, когда Вершинкин тоже попросил слова.

Он как-то бочком подошел к трибуне, поднялся и, прищурясь, оглядел зал.

— Я решительно не согласен,— отчетливо произнес он.— То есть я согласен с критикой, которая прозвучала на январском Пленуме в наш адрес. Но я не согласен всю ответственность возложить на товарища Кострова. Эту ответственность мы несем наравне с ним. Если бы многие из нас честнее, лучше, а иногда и смелее бы работали, может быть, товарищ Костров и не очутился в таком положении...

Вершинкин говорил сейчас именно так,— подумала Анна,— как нужно было бы говорить всем.

— В нашем районе,— продолжал Вершинкин,— нет случаев приписок и очковтирательства...

— Вы уверены в этом? — перебил его Прохоров.

— Уверен,— твердо сказал Вершинкин.— Показатели у нас не блестящие, но враньем мы не занимаемся. Мы воспитываем партийную организацию в духе непримиримости ко всякой лжи...

И ведь он действительно не врет,— уверенно подумала Анна.

— Наш район не передовой...

— Всем известно! — выкрикнул Шурыгин.

Но Вершинкин не обратил внимания на его выкрик.

— А вы помолчите,— сказал Шурыгину Прохоров.— Вы уже выступили!

— Наш район не передовой,— повторил Вершинкин,— но каждая тонна зерна, каждый центнер мяса, которые мы продали государству, есть действительный результат труда наших колхозников и рабочих совхозов. Но...— тут Вершинкин невесело усмехнулся, и горечь его усмешки дошла до самого сердца Анны.— Но мы в полной мере несем ответственность за все ошибки обкома. Мы проявляли примиренчество и соглашательство, мирясь с местом, которое занимали в сводках. Мы не завывали своих показателей, но если бы мы добились проверки показателей по другим районам, не многие остались бы на высоких местах. Таким образом, мы тоже способствовали обману и виновны в самоуспокоенности, которой отличался товарищ Костров.

Вершинкин и критиковал, и осуждал, но говорил о Кострове с уважением.

— Я не хочу ни оправдывать обком, ни оправдываться,— продолжал Вершинкин.— Есть решение об освобождении товарища Кострова, и я с ним согласен. Лично я посоветовал бы товарищу Кострову спуститься на две ступеньки ниже, не обижаться, а пойти поработать туда, где непосредственно создаются материальные ценности. Хочу также обойтись без громких слов. Партии они не нужны. Задача руководителя в наших условиях — это распространение передового опыта...— Он полез в карман, достал блокнот.— Я тут прикидывал. Мы в своем районе соберем осенью зерна по двенадцать центнеров, льна — по три, кукурузы на силос — по четыреста центнеров. Кукурузу посеем по чистым парам.— Он

назвал еще несколько цифр, произносил их с кряхтением, с опаской и вдруг решительно сказал: — А если не соберем, заранее прошу дать мне по шапке.

Это уже он сказал, сходя с трибуны.

После Вершинкина выступило еще несколько человек. Следовало, как говорится, закругляться. Список ораторов был исчерпан, Кострову выдано по заслугам...

— Как, товарищи? — спросил Косяченко. — Высказалось четырнадцать человек...

— Хватит, — сказал кто-то из зала. — Подвести черту.

— Хотелось бы послушать товарища Косяченко, — сказал кто-то еще. — Все-таки второй секретарь...

— А что я скажу? — тут же возразил Косяченко, как-то заискивающе, как показалось Анне, улыбаясь. — Все ясно. Все сказано. Я полностью согласен с решением ЦК. Полностью. Критика суровая, но справедливая. Теперь надо засучить рукава. Отвечать делом, товарищи, делом...

Он без паузы предоставил слово Прохорову.

Тот медленно, точно нехотя, пошел к трибуне.

— Что ж, товарищи, мне, собственно, нечего добавить, — неторопливо произнес он. — Вы все знакомы с решениями январского Пленума, знакомы с критикой, касающейся неудовлетворительного руководства сельским хозяйством. Такой критике подверглись руководители многих областей, в том числе и вашей. В Центральном Комитете обсуждался вопрос. Принято решение освободить товарища Кострова от обязанностей первого секретаря. У Центрального Комитета нет уверенности, что он сможет обеспечить подъем сельского хозяйства. Судя по выступлениям, члены обкома согласны с этим. В качестве первого секретаря решено рекомендовать товарища Калитина...

Анна была разочарована. Она ждала, что Прохоров выступит с большой речью, проанализирует состояние сельского хозяйства в области, разъяснит ошибки — и лично Кострова, и обкома в целом, а вместо этого — несколько слов, согласие с выступлениями, сообщение о решении ЦК...

Тогда она еще не поняла, что мудрость руководителя заключается подчас не в умении сказать, а в умении выслушать.

Косяченко сформулировал предложение:

— Товарища Кострова, как не обеспечившего руководство сельским хозяйством, освободить от обязанностей первого секретаря и вывести из состава бюро...

Костров сидел, наклонив голову.

Все-таки мужественный человек, — подумала Анна. — Не побоялся, пришел получить все полной мерой. Не всякий способен...

Шурыгин поднял руку.

— Исключить из партии, — сказал он. — Я считаю, что Костров заслуживает исключения из партии.

Ну и мерзавец! — опять внутренне возмутилась Анна. — Кому бы говорить, только не ему. Ведь он вознесен руками Кострова. Ведь все время Кострову в рот смотрел. Посоветился бы...

Прохоров опять встал.

— Ну, почему же... — неодобрительно сказал он. — Разве товарищ Костров обманывал партию? Мы в это не верим. Злого умысла у него не было. Оторвался, зазнался. За это его и наказывают. Но исключать... По-моему, нет оснований.

Проголосовали. За исключение не голосовал и сам Шурыгин. Выбрали Калитина. Косяченко предоставил ему слово.

Чем-то он нравился Анне меньше Кострова. Уж очень спокоен. Как-то

уж очень вежлив и обходителен. Подумать только, что происходит в области! Снимают первого секретаря! Ведь это событие. Все волнуются. Анна хорошо чувствует, как все волнуются. А он идет себе к трибуне с таким лицом, будто ничего не случилось.

И вдруг Костров встал из-за стола президиума, сошел в зал и занял место в первом ряду. Демонстративно подчеркнул, что он посторонний уже человек в Пронске. В поступке этом, пожалуй, не было ничего особенного, вывели человека из состава бюро, и он, так сказать, переместился теперь на то место, которое было ему отведено. Но он сразу вооружил против себя Анну. Этот демонстративный рывок, этот выход из-за стола, это одновременное движение вместе с Калитиным — ты, мол, на трибуну, а я вниз, — были недостойны сильного человека.

Калитин сделал вид, что не заметил перемещения Кострова. Он далеко отставил стоявший на трибуне графин и заговорил.

Он ни разу не назвал Кострова, ни разу его не осудил, и Анна оценила его такт.

Он поблагодарил пленум за доверие и сказал, что относит это доверие к той высокой рекомендации, о которой довел до сведения пленума товарищ Прохоров. Заверил, что будет работать не покладая рук и потребовал, чтобы другие тоже работали с полной отдачей. Предупредил, что прощено может быть многое, не будут прощены только обман и зазнайство...

Говорил он четко, немногословно, привел последние данные областного статистического управления о состоянии посевов, — он успел их получить и ознакомиться с ними, — проанализировал их и перечислил рекомендации январского Пленума, которые, по его мнению, годились для Пронской области.

Анна мысленно прикинула — не повторится ли с ним то, что произошло с Костровым. Калитин выглядел как-то раздумчивее Кострова, не так категоричен, не так риторичен. Но... право же, самой себе она не могла поручиться, что прончане променяли лапти на сапоги.

LIV

Пленум кончился. Это был суровый урок...

Все потянулись к выходу. Больше говорили не о том, что произошло, а о том, за что теперь надо браться. Анна решила переждать, пока схлынет толпа. Она боялась, что ее остановит Шурыгин, ей не хотелось с ним говорить. Мимо нее прошел Калитин. Он оживленно беседовал с Прохоровым, но ей показалось, что он задержал на ней взгляд. Анна продолжала сидеть. Те часы, которые она провела сегодня в зале, дорого дались ей.

Иногда лучше не думать. Но не думать нельзя. Невозможно. Она всегда уважала Кострова. Тем сильнее было ее разочарование. Хорошо, что он пришел на заседание, не оказался трусом. Но явная отчужденность от всего, о чем здесь сегодня говорилось, доказывала, как в сущности чуждо ему было все, чем жила область. Чиновник... Прислали в область — служил, Анна считала, честно служил, старался, сколько мог, но не породнился ни с областью, ни с людьми. Теперь поедет еще куда-нибудь...

Еще обиднее было думать, что и Калитин может оказаться таким же. Посидит в Пронске два-три года, пусть пять, свое отзвонит, и с колокольни долой. А ведь одним умом, без сердца, народ не поднимешь. Она недовольна была и Прохоровым. Ну — рекомендуют. Но почему именно в Пронск? Чем уж так особенно хорош Калитин для Пронска?

Не понравилось ей и поведение Косяченко. Он обязан был выступить.

Он охотно делил с Костровым успехи и не захотел делить неприятности. Отмолчался.

Но самое ужасное, самое постыдное впечатление оставил у нее Шурыгин. К нему она навсегда утратила уважение. Она не заподозрила его в каком-либо обмане, она верила, что дела в Дубынинском районе действительно хороши. Как бы ни покровительствовал Костров Шурыгину, нашлись бы люди, которые вывели бы Шурыгина на чистую воду, прибеги он к припискам и подтасовкам. Но так бесстыдно наброситься на Кострова, которому до январского Пленума пел одни хвалы! Перед Прохоровым, что ли, он хотел выслужаться?

Ох, уж эти твердокаменные псалмопевцы! Такие только и норовят уловить, как относятся к тому или иному товарищи наверху. Они-то и избивают кадры. Если бы не Вершинкины, они бы дали волю рукам.

А каков Вершинкин! Рекламирывать себя не умеет. Но честный человек. Честный. Он теперь костыми ляжет, чтобы собрать по четыреста центнеров кукурузной массы. И его поддержат в районе! Все поддержат. Выбрали же его единогласно секретарем вопреки желанию обкома. Как Костров его ни ругал, а сам Вершинкин не отдал на избиение ни одного работника из района. Как ни придирались, никто у него не пострадал. Значит, не за что было...

Поведение Вершинкина на пленуме было для Анны самым поучительным. Обязательно съезжу к нему в район,— пообещала она сама себе.— У такого есть чему поучиться...

Она сидела растерянная, задумчивая... Однако сколько ни сиди, а уходить надо. Она поднялась. Пожалела, что Вершинкин, вероятно, уже ушел...

На лестнице ее нагнал Секачев.

— Анна Андреевна! Кирилл Евгеньевич просит вас задержаться.

Секачев был помощником у Кострова. Она не сразу поняла.

— Какой Кирилл Евгеньевич?

— Товарищ Калитин. Он просит вас обождать. Он только закончит сейчас с товарищем Прохоровым.

Секачев запыхался. Должно быть, бежал, догоняя ее.

Анна поднялась в приемную Кострова. Калитина,— мысленно поправила она себя.— Теперь уже Калитина. Что ему нужно? — подумала она.

Дверь открылась, Прохоров вышел, и Люся Зеленко тотчас впустила Анну.

Калитин шел ей навстречу.

— Товарищ Гончарова? Познакомимся. Кирилл Евгеньевич. А вас?

— Анна Андреевна.

— Анна Андреевна,— повторил он, запоминая имя.

Он повел ее к окну, придвинул к зеленой портюре стулья, пригласил сесть.

— Хочу познакомиться с вами,— сказал он еще раз.— Я приеду в Сурож. Скоро приеду. Но знакомство с вами решил не откладывать. Вы не выступали. Я обратил внимание...

Это было странное предисловие, она не понимала, чем могла привлечь внимание Калитина.

— Вы что — сильно переживаете уход Петра Кузьмича? — спросил он.— Вы очень живо реагировали на все происходящее. Я смотрел. На вас лица не было...

Анна покраснела. Она чувствовала, щеки ее горели. Неужели она не сумела скрыть своих чувств? Обычно она отличалась сдержанностью, на заседаниях в райкоме умела держаться...

Издали Калитин показался ей барином, спокойным, даже величавым, слишком плавны были его движения и жесты. Но вот она увидела

вблизи его серовато-голубые глаза, внимательный взгляд и поняла, что не вежливость, а отзывчивость выражалась у него на лице.

— Вы очень огорчены? — продолжал спрашивать Калитин. — Я наблюдал. Что именно вас разволновало?

— Было стыдно, — откровенно призналась она.

— Стыдно?

— Стыдно за секретаря Дубынинского райкома. Как же так можно, Кирилл Евгеньевич?

Она назвала его по имени легко, точно они были знакомы много лет. Калитин насторожился.

— А что, у него что-либо не в порядке в районе?

— Нет, нет, — поспешила сказать Анна. — Я не знаю. Думаю, что в порядке. Он сильный работник. Во всяком случае так все думают. Но я бы на его месте так не выступала.

— Вы считаете, что он резко выступил?

— Ах, не то слово. Но ведь он был... Ну, как бы это сказать... Человеком Кострова. То есть, опять не так... Костров выдвинул его. Верил ему. Всегда ставил в пример...

— Тем объективнее значит...

— Ну нет, это не объективность! Еще месяц назад он с пеной у рта защищал Кострова. Обрушивался на каждое критическое замечание в адрес Кострова. Всему научился у Кострова, и сам же... Я совсем больна...

— Почему?

— Пропадает вера в людей...

Обеими руками Калитин взял руку Анны и погладил ее: было в этом жесте что-то дружеское, успокаивающее, Анне стало как будто легче.

— Я скоро приеду к вам в Сурож, мы поговорим, — мягко сказал Калитин. — Но я хочу дать вам совет. Как мне кажется, партийный совет. Всегда тяжело видеть, как развенчивают твоего кумира...

— Почему — моего? — возмутилась Анна. — Костров не был моим кумиром. Меня просто возмущает, как легко его продали...

— Я не виню вас. Но... Не сотвори себе кумира! Как бы вы ни уважали человека, не превращайте его в непререкаемый авторитет. Бывает, ученик вступает в спор с учителем и побеждает его. Поэтому всегда и везде — учитесь, учитесь, но живите своим умом.

Анна всплеснула руками.

— Но как же можно не верить в людей?!

— В людей — да, но никого не превращайте в пророка... — Добродушная и вместе с тем лукавая усмешка мелькнула в светлых глазах Калитина. Он встал. — Вы извините, но меня просто встревожил ваш вид. Нам еще о многом придется поговорить, но если вы действительно чувствуете себя партийным работником, если способны вести за собой массы, не возвеличивайте отдельных личностей, и тогда не так страшны будут их ошибки. Верьте в людей. Живите для людей. Людей иногда удается обмануть. Но только до поры до времени...

LV

Утро стояло сумрачное, холодное, злой ветерок рывками налетал на прохожих, обжигал лица и вновь налетал, такой стремительный, точно гулял в поле, а не на улицах Москвы.

Не успела Анна вернуться из Пронска, как тут же собралась в Мо-

скву, на совещание передовиков сельского хозяйства. Из района с нею ехала еще Дорофеева, доярка из «Ленинского пути».

Анна и Дорофеева вышли из гостиницы. Дорофеева впервые попала в столицу и удивлялась всему, хоть и пыталась это удивление скрыть, стараясь только нигде не отстать от Анны.

Анна постояла на углу, с минуту делая выбор между Спасскими и Боровицкими воротами, пересекла площадь и пошла вниз, вдоль Манажа.

На улицах было не так уж многолюдно, утро в городе начиналось позднее. В саду, примыкавшем к Кремлю, подметали дорожки. Парень в ватнике, поднявшись на лестницу и обняв левой рукой ствол, садовыми ножницами подстригал нарушавшие ранжир ветки.

Раньше Анне почему-то казалось, что Кремль стоит на горе, на самом деле Москва вплотную подступала к Кремлю, город начинался сразу же за кремлевскими стенами. Кремль стоял не над городом, а был лишь его вершиной.

Анна быстро нашла Большой Кремлевский дворец. Вместе с нею и Дорофеевой входили другие участники совещания. Повсюду сиял хрусталь, блестели люстры, золото, мрамор, ковры..

Ощущение праздничности охватило Анну. Она медленно поднялась по лестнице, пошла за теми, кто шел впереди, у входа в зал заседаний у нее еще раз проверили документы, и вот она очутилась там, где не один раз решалась судьба ее страны и ее народа.

Они сели с Дорофеевой с краю, сразу у входа, не осмелились выбрать места получше, все было так торжественно, что просто невозможно было суесться, искать себе место, как в театре или в кино.

Анна сосредоточенно ждала начала заседания. Она так погрузилась в это торжественное ожидание, что не заметила, как заседание началось. Она сообразила, что оно началось только тогда, когда все вокруг встали и принялись аплодировать, приветствуя появление президиума.

Захлопала и Анна, потом села вместе со всеми, потом слегка вытянулась в кресле, пытаясь рассмотреть людей, знакомых ей по речам и портретам в газетах, увидела Хрущева.

Он был похож на свои фотографии. Увидела, как Хрущев целует, здороваясь, какого-то бородатого старичка и подивилась такой непосредственности. Поискала глазами Фурцеву, ей хотелось посмотреть, как она выглядит, и вдруг заметила, что на трибуне стоит и говорит, должно быть, давно уже говорит, какой-то оратор..

Анна заставила себя слушать, но было трудно сосредоточиться, слишком живо реагировали участники совещания на все то, что говорилось с трибуны, и, может быть, живее всех откликнулся Хрущев, задавал вопросы, поправлял, спорил..

Все было очень торжественно, парадно, значительно, и в то же время все эти споры о силосе и молоке, о гречихе и льнотеребилках в чем-то основном совпадали со всем тем, о чем думалось и говорилось в Сурожском райкоме, да, вероятно, и во всех других райкомах по всей нашей стране.

Сперва выступали руководители областей, секретари обкомов и председатели исполкомов, все они ссылались на решения январского Пленума, многие в чем-то оправдывались, и это желание во что бы то ни стало оправдать свои ошибки все сильнее и сильнее раздражало Анну.

У нее у самой в Сурожском районе далеко не все хорошо, она тоже допустила немало промахов. Но, может, потому и допустила, что слишком торопилась всех слушаться и слишком послушно следовала инструкциям. Она хотела работать, и чувствовала в себе достаточно сил, чтобы исправить свои промахи. Винят ее, бранят, критикуют — она выслушает,

учтет, но сама плакаться не будет. Если уж сам себя начинаешь стегать, кто будет тебя уважать!

И, может быть, только двое или трое из руководителей областей добивались каких-то новых решений, критиковали не только себя, но и центральные учреждения, требовали хороших машин, говорили о плохой организации закупок...

Как приятно было видеть в них это чувство собственного достоинства! Анна пожалела, что ни один из них не возглавляет Пронскую область. Она вспомнила Калитина. Ей ужасно хотелось, чтобы он и в будущем не утратил ее уважения.

На третий день Анна поднялась ни свет ни заря. Она уже «обжилась» в Кремле, по-хозяйски уже ходила по залам, не стеснялась занять место получше.

О том, что на третий день будет выступать Хрущев, говорили все. Анна решила прийти пораньше и занять место в первых рядах.

Она подошла к Боровицким воротам в седьмом часу, милиционер усмехнулся, увидев ее, и Анне подумалось — уж не первой ли явилась она сегодня в Кремль.

Но едва ступив на Кремлевскую площадь, она увидела, что по направлению к Большому дворцу со всех сторон движутся участники совещания. Ведь все это были крестьяне, привыкшие вставать до рассвета! Заседать начинали в десять, а они давно уже были на ногах. Всем не терпелось поскорее услышать Хрущева.

Анна разделась, поднялась по лестнице. В зал еще не впускали, и у каждой двери толпился народ. Она вошла одной из первых, села и заняла место для Дорофеевой.

В это утро зал заполнялся быстрее обычного. Оживленный гул минутами стихал и возникал с новой силой. На кресло, занятое Анной для Дорофеевой, покушались уже несколько раз. Анна и пюпитр подняла, и блокнот на него положила, и шарфик бросила на сиденье, и все-таки то один, то другой участник совещания нет-нет да и пытался занять свободное место.

Откуда-то спереди показался Косяченко. Плотный, свежий, он легко и уверенно пробирался в проходе меж кресел, издали улыбнулся Анне и подошел к ней.

— С утра пораньше? — одобрительно спросил он, указывая на соседнее кресло.— Здесь кто сидит?

— Дорофеева,— сказала Анна.— Доярка из моего района. Теряется она здесь. Вот держу для нее.

— Ну, она найдет себе место...

Косяченко опустился рядом с Анной.

— Послушаем, послушаем, что скажет нам Никита Сергеевич,— благодушно сказал он.— Учись, Анна Андреевна!

Он удобно положил локти на подлокотники и принялся рассматривать спящих по сторонам людей. То и дело здоровался, то поднимал руку, то кивал, то кого-нибудь окликал.

— Рязанцам привет! Как самочувствие после нахлобучки? Почесываемся?.. Сергей Петрович, вам трактора отгрузили?.. Ивану Васильевичу!

Казалось, он знал всех и все его знали. Одного спрашивал о выгноре, другого о тракторах, с третьим просто понимающе перемигивался. Анна не разбиралась во всех этих репликах, но понимала, что Георгий Денисович в этом зале — в своей среде и в ожидании заседания времени даром не теряет, делает свои дела, что-то узнает, о чем-то советует и все время наматывает что-то себе на ус.

Анна вдруг заметила Дорофееву. Та нерешительно остановилась поодаль.

— Что — нет места? — несмело спросила Дорофеева.

— Было! — нарочно крикнула Анна. — Только его Георгий Денисович занял!

Она надеялась, что Косяченко посовестится, но он этого разговора, похоже, и не слышал. Дорофеева махнула рукой. Ничего, ничего, означал ее жест, я найду себе...

Нигде уже не было ни одного свободного кресла. Какой-то весьма габаритный товарищ, стоя в проходе, мрачно выговаривал другому, менее габаритному:

— Что ж это вы, Петр Петрович? Проспали? Я ж предупреждал: встать пораньше. Где ж нам теперь?..

Косяченко захохотал. Он и этого товарища, оказывается, знал!

— Это тебе, Максим Яковлич, не в театр к третьему звонку! — весело крикнул он. — Назад, назад! Не застыть...

Опоздавшим и вправду пора было ретироваться, заседание началось. Председательствующий предоставил слово очередному оратору.

На трибуну вышла женщина. Она рассказывала о беспривязном содержании коров, о механической дойке, о муже, которого сманила с фабрики к себе в помощники. Выступил директор какого-то совхоза...

Анна старалась слушать внимательно, но сегодня это все было уже не самое главное. Объявили перерыв. Анна не пошла из зала. По рядам шел шепот, что сразу после перерыва выступит Хрущев. Анна открыла блокнот. Хотелось записать хотя бы самое важное. Зал снова наполнился. Председательствующий встал, посмотрел в зал и объявил:

— Слово предоставляется Никите Сергеевичу Хрущеву.

Анна встала. Не потому, что встали другие. Она испытывала к Хрущеву огромное уважение.

Сколько важных событий произошло, сколько исторических решений было принято в этом Дворце! Каких только людей не видели эти стены. Сколько речей, произнесенных здесь, стали вехами на пути народа, хотя не так уж мало было сказано здесь и речей, продиктованных эгоизмом, расчетом и лицемерием. Сегодня речь тонет в громе аплодисментов, а завтра беспощадный суд истории отбрасывает ее в небытие. Удержаться в истории труднее, чем на этой трибуне. Но у Хрущева слова не расходились с делами. Народ верил ему, и Анна тоже верила в него всей душой...

Так думала Анна Андреевна Гончарова, стоя рядом с другими участниками совещания и приветствуя Хрущева аплодисментами. Как и большинство участников совещания, она была полна чувством глубокого уважения к главе правительства, к первому человеку партии, она читала его речи и руководствовалась его указаниями, училась у него и заставляла учиться других, но воочию видела она этого человека впервые. И видя его так близко, она вдруг почувствовала, что сейчас будет не только слушать и учиться, но будет как бы заново, по-человечески знакомиться с ним и оценивать его — да, и оценивать, — мерилом своей собственной человеческой совести.

Она вдруг решила не записывать его речь, речь будет опубликована в газетах. Ей захотелось даже не столько запомнить выступление, сколько запомнить самого человека. С жадным вниманием следила она за его движениями, жестами, интонациями. Как стоит, как смотрит, как обращается к людям, как пьет воду...

Во-первых, она это сразу подметила, Хрущев чувствовал себя на трибуне очень свободно. Это была внутренняя свобода человека, знающего,

что он делает, и уверенного в своей правоте. Он был прост, говорил, что думает, и до глубины души верил в то, что говорит. Это было для нее несомненно.

Анна слушала Хрущева с такой же свободой, с какой он говорил. Вместе с ним хмурилась и улыбалась, аплодировала и задумывалась, и ощущение внутренней раскованности ни на мгновение не покидало ее.

Уже утром на следующий день она отметила для себя два места, которые сильнее всего поразили ее в речи Хрущева.

Он заговорил о своей вере в советских людей, о преимуществах социалистической организации производства. Хрущев сдвинул в сторону листки с подготовленным текстом, и в его голосе зазвучало необыкновенное волнение.

Взволновался он, и сразу тоже как-то необычно насторожились люди, к которым была обращена его речь...

Анна иногда отводила свой взгляд от Хрущева и оглядывала и зал, и тех, кто сидел в президиуме.

И вдруг она заметила, что среди множества людей, захваченных одним кипучим стремлением, все-таки не все, нет, не все, к ее удивлению, заражены общим волнением, и аплодируют не все, и кто-то даже скучает. Во всяком случае на двух-трех лицах Анна заметила выражение такой холодной безучастности, что она мгновенно возненавидела этих людей!

Хрущев подался вперед. С каким-то нетерпением всматривался он в лица тех, к кому обращался. Голос его звенел, что-то страстное, юношеское, непреодолимое звучало в его голосе...

Он заговорил о землях, поруганных плохими руководителями, о сорняках среди людей, пробравшихся к руководству в колхозах, и опять отклонился от текста, опять не сдержал волнения.

Он говорил о том, что надо гнать из партии всех, кто обманывает доверие народа, сказал о множестве писем, которые он получает, и о том, что если при проверке выяснится, что кто-то из руководителей знал о нарушении законности и не принял мер к устранению недостатков, он будет привлечен к строгой ответственности.

Это были не просто слова, и Анна ощутила неясную тревогу...

Случайно она взглянула на Косяченко. Обими руками он крепко держался за ручки кресла. Какая-то напряженность была в его лице. Не обращая внимания на Анну, он смотрел прямо перед собой, словно видел впереди опасность.

— Георгий Денисович! — шепотом позвала его Анна.

Она чувствовала, что его надо окликнуть.

— А?..— Косяченко точно очнулся.— Что?

— А ведь правильно? — сказала Анна, указывая глазами на Хрущева.

— Да, да,— согласился Косяченко.— Все это очень замечательно.

Что именно замечательно, он не сказал, но Анне почему-то не понравилось это слово.

Косяченко уселся поспокойнее и больше уже не позволял себе погружаться в собственные мысли. Он стал внимательно и как-то даже любознательно всматриваться в президиум. Но Анне почему-то захотелось от него отодвинуться.

Она не понимала, чем вызвал ее раздражение Косяченко, и постаралась перестать о нем думать.

С прежним вниманием стала слушать Хрущева, стараясь понять, что заставляет ее все время внутренне с ним соглашаться, хотя многое из того, что он говорил, нарушало ее привычные представления и даже

противоречило тому, что учили ее делать и что она делала. И когда Хрущев закончил свою речь и сошел с трибуны, а все снова стояли и аплодировали, Анна продолжала радоваться своему внутреннему душевному согласию со всем тем, что только что услышала от Хрущева.

LVI

Хоть сама Анна и не выступала на совещании в Кремле, ощущение у нее было такое, точно она лично приняла обязательства, которые теперь уже невозможно не выполнить.

И, однако, выполнить все, о чем говорилось в Москве, было ужасно трудно. В своей речи Хрущев критиковал плохую работу, высмеивал болтунов, давал множество деловых указаний. В Москве представлялось, что осуществить эти советы не так уж трудно, но дома начало казаться, что их просто невозможно осуществить...

Хрущев высмеивал заготовку веников на корм скоту. Но веники заготавливали не одни туляки. Случалось, и в Суроже нечем было кормить скотину, как только вениками. Он выступал против плохих председателей колхозов. Но плохих хватало в каждой области, а хороших найти было не так-то просто. Он советовал перейти к обслуживанию полутораста — двухсот коров одною дояркой, внедрить механическую дойку, но доильные агрегаты для многих оставались пока что мечтой...

Приходилось ломать голову день и ночь, и, конечно, одна Анна ничего не сумела бы сделать, если бы в районе не выросли люди, которых неполадки в работе тревожили не меньше, чем Анну, и которые отдавались работе с такой же страстью, как и она. Гриша Ксенофонтов всюду хочет успеть, нет, кажется, дела, к которому он равнодушен. Челушкин — теперь уже Григорий Федорович Челушкин — ведет хозяйство без мужичьих побряхтываний и похмыкиваний, он скорее похож на кадрового офицера или, уж если применяться к мирному времени, есть в нем что-то от инженера-производственника: точность, ответственность, расчет. Милочка Губарева из «Рассвета» заочно кончает зоотехникум, еще год, два, и именно она будет заведовать фермой...

Анне есть на кого опереться. Впрочем, это не совсем точно. Люди идут плечом к плечу. Поди разберись, кто кого подпирает!

Тут и люди, тут и техника. Надо вводить в строй кирпичный завод. Не дают покоя газеты. Торговля, школы, учителя, агрономы... Посетители идут косяком, а ведь с каждым надо разобраться в отдельности. То ее вызывают на совещание, то самой надо совещание проводить. Едва вернулась из Кремля, надо готовиться к выборам в Советы...

Анна только собралась позвонить в обком, как в кабинет вбежала Клаша.

— Пронск на проводе!

Анна недовольно посмотрела на Клашу.

— А с ума-то чего сходить? — Она взяла трубку. — Гончарова у телефона.

— Анна Андреевна? — Она услышала знакомый бархатистый басок. — Это Косяченко. Как там у вас с подготовкой к выборам?

— Все в порядке, Георгий Денисович, — отвечала Анна. — Вас, собственно, что интересует?

Анна хорошо знала, что интересуется Георгия Денисовича.

— Мне ведь, пожалуй, пора к вам? — спросил Косяченко.

— Пора, пора, — согласилась Анна. — Вы ведь у нас баллотируетесь!

— Вот я и вспомнил, — добродушно произнес Косяченко. — Собираюсь завтра, успеете подготовиться?

— Больно уж срок мал,— отвечала Анна.— Может, послезавтра?

— Послезавтра не могу, бюро. А позже и того хуже. Совещание в редакции. В сельхозуправлении. Должны приехать из Москвы. Вы уж как-нибудь постарайтесь.

— Да уж ладно,— согласилась Анна.— Приезжайте.

Она тут же позвонила в Светловский совхоз, где баллотировался Косяченко, и попросила подготовить собрание.

— Вы там приведите все у себя в порядок,— предупредила она.— Приеду ведь с Косяченко, он обязательно пойдет по хозяйству. Он — агроном, его одной чистотой не возьмешь, знает что к чему...

Когда Косяченко, тяжелый, веселый, розоволицый, неожиданно вошел в кабинет, еще не было десяти часов.

В темно-сером пальто, в шляпе, в белых фетровых сапогах, он размашисто прошагал по ковровой дорожке и через стол протянул Анне руку.

— Прошу любить да жаловать!

— Когда же вы поднялись? — удивилась Анна.— Мы к обеду ждем...

— Да я уж давно забыл, когда к обеду вставал,— весело ответил Косяченко.— Мы ж батраки. Думаете, нам в обкоме вольготнее?

Он вернулся к двери, поискал вешалку.

— Да вон...— лицо Анны зарумянилось.— Купили обновку...

Только тут обратил внимание Косяченко на новенький платяной шкаф.

Он бесцеремонно открыл дверцу. На плечиках висели два пальто, одно нарядное, беличье, другое расхожее, коричневое, из дубленой овчины. Внизу — туфли, ботинки, на верхней полочке — духи, пудра, зеркальце.

Косяченко засмеялся:

— Дама, ничего не поделаешь...— Не спрашивая разрешения, он повесил в шкаф и свое пальто.— Как с молоком? — поинтересовался он, возвращаясь к столу.— Сводочка где?

— Я без сводки помню,— сказала Анна.— Девяносто и две десятых.

— Недотягиваем? — посочувствовал Косяченко.

— Корма,— объяснила Анна.— На «пасте» далеко не уедешь.

— Ничего, ничего,— утешил ее Косяченко.— Не попасть бы только в печать. А без веток все равно никуда не денешься!

Он был прав. Это понимали и Анна, и сам Косяченко, и все-таки как-то неудобно стало им обоим, когда Косяченко так прямолинейно назвал эти треклятые ветки. В «Рассвете» у Анны веток не было. А в других колхозах?..

Оба собеседника прекрасно понимали, что без веток району не дотянуть до весны, когда можно будет выгнать скотину в поле, но после того, как Хрущев высмеял туляков за кормление скота березовыми вениками,— да где там высмеял, выстегал ихними же вениками! — все стали скромно умалчивать о таком корме. Кормить кормили — никуда не денешься, если кормить больше нечем,— но по крайней мере старались называть этот корм как-нибудь потуманнее.

Косяченко заметил смущение Анны.

— Ничего не поделаешь, на ошибках учимся,— привычно выдал он индульгенцию и подобрел.— В крайнем случае подбросим вам концентратов.

Он заглянул в окно.

— Как дорога? Не застрянем?

— Вы на «Волге»?

Косяченко кивнул.

— Обязательно забуксуем. Нет уж, поедем на нашем газике.

— Все организовано?

Анна усмехнулась.

— Разве Завалишин когда-нибудь подведет?

— А со снабжением как?

— Вы что имеете в виду?

— Все. И продукты и промтовары.

На этот раз иронически прищурилась Анна, ее разозлил этот вопрос.

— На уровне,— холодно сказала она.— На уровне, Георгий Денисович.

Ненужный вопрос,— подумала она.— Пустой вопрос. Точно он не знает, что завозится в Сурож. Небось сам лимитирует товары для районов. Знает лучше ее и спрашивает...

— Нет, я серьезно,— повторил Косяченко.— Нареканий не будет?

— Конечно, будут,— подтвердила Анна.— Людям есть на что жаловаться.

— У вас Ксенофонов сидит на снабжении? Вы все-таки позовите его,— распорядился Косяченко.— Пусть даст мне справочку по району...

LVII

Газик катился, как колобок, от вешки к вешке, от деревца к деревцу, лишь кое-где подскакивая на рытвинах да разбрасывая по сторонам грязь. Дорога была плохая, снегу мало было в этом году, да и тот, что покрывал иногда поля и дорогу, быстро таял, точно не выносил прикосновения к земле.

Лукин не слишком торопился и заранее тормозил перед каждой сколько-нибудь заметной рытвиной — как-никак вез он секретаря обкома, товарищ Косяченко не баловал частыми наездами их район!

Косяченко всю дорогу выговаривал Анне: плохо с ремонтом, со снабжением, с семенами, плохо, наконец, с дорогами, черт возьми! Как думают они по таким дорогам перегонять технику?!

Анна вежливо слушала, она могла бы объяснить, возразить, но она не спорила, не возражала, она хорошо знала — чем дальше в лес, тем больше дров. Начни она спорить — Косяченко примется ставить перед ней конкретные задачи, сделать то-то и то-то, примется, чего доброго, определять сроки, запишет для памяти, и тогда, хочешь не хочешь, — тянись, а так — начальственный басок рокотал и рокотал, как прибор ранним утром на севавтопольском солнечном берегу. Сама-то она знает, что ей делать!

Газик проскочил массивные ворота, украшенные затейливой лепкой, сохранившейся еще от времен, когда здешними землями владели графы Воронцовы, въехал на просторный усадебный двор и замер перед конторой.

Директор совхоза Грачев, секретарь парторганизации Завалишин и прочие большие и малые начальники Светловского совхоза ждали гостей у крыльца.

— Вот, добрались...— многозначительно сказал Косяченко, словно преодолел по пути бог весть какие препятствия, и принялся ласково пожимать всем руки.

— Как, Николай Николаевич, все в порядке? — вполголоса спросила Анна, здороваясь с Завалишиным.

— Ждем, ждем,— успокоительно ответил тот.

— Я не знаю, как тут у вас? — в тон ей осведомился Косяченко.— Познакомимся с хозяйством или сразу начнем?

— Нет, нет, люди собираются,— категорически заявил Завалишин.— Хозяйство потом.

— Решайте,— дисциплинированно согласился Косяченко.— Вам виднее.

— Может быть, перекусить? — неуверенно предложил Грачев. Косяченко отказался.

— Потом, потом. Прежде всего дела.

Не заходя в контору, они пошли в клуб. Народ толпился у входа. Хихикали в пестрых платках девчата, должно быть, они впервые участвовали в выборах. Неподалеку куражился чубатый парень с баяном, то наигрывал, то замолкал, свысока поглядывая на девушек. Суетились ребята, пытаясь проникнуть в помещение. Две старухи в темных шалях приблизились к двери, постояли и, только что не перекрестившись, истово, как будто входили в церковь, переступили порог.

В зале было полно. Завалишин недаром два года работал в райкоме инструктором, знал, что такое стопроцентная явка. Все комсомольцы с утра были на ногах. Завалишин лично поставил перед ними задачу...

Люди постарше терпеливо ждали начала собрания. Молодежь, собравшись у дверей, чтобы посвободнее выходить и входить, пела вполголоса песни. У сцены, заняв по одну сторону от прохода два первых ряда, расположился оркестр учеников средней школы. Были тут и духовые, и струнные инструменты, балалайка соседствовала с трубой. Руководитель оркестра, молодой человек, преподаватель пения в школе, недавно окончивший музыкальное училище, беспокойно поглядывал на входную дверь. Он уже раза три принимался стучать пальцем, требуя от музыкантов внимания. Едва приезжие, сопровождаемые местным начальством, показались в дверях, он стукнул по стулу, взмахнул рукой, и оркестр, хоть и не очень стройно, заиграл туш.

Косяченко недовольно поглядел на Анну. Она с трудом сдерживала улыбку.

— Это еще что за свадьба? — тихо спросил он, торопливо пробираясь к сцене.

Анна, сделав серьезное лицо, обернулась к Завалишину.

— Николай Николаевич!

Завалишин понял.

— Перестаньте,— негромко пробормотал он, проходя мимо оркестра.— Соображать надо.

Но Косяченко успел-таки подняться на сцену под звуки труб.

— Будем начинать? — спросила Анна.

— Конечно,— сердито сказал Косяченко.— Тянуть нечего.

— Собрание кто будет вести — Федосья Абрамовна? — осведомилась Анна.

— Она,— подтвердил Завалишин.

Федосья Абрамовна Долгунец была в совхозе председателем рабочкома, до этого работала бригадиром полеводческой бригады, а в давнем прошлом начала свою деятельность в совхозе кухаркой на полевом стане.

Она была грубовата, а иногда и до смешного упряма, но в совхозе ее уважали за одно отменное качество — Федосья Абрамовна никогда и ни в чем не искала для себя выгоды.

Широколицая, румяная, голстая, она постучала пустым стаканом по графину с водой и уверенно произнесла:

— Разрешите, дорогие товарищи, собрание наше, посвященное встрече с кандидатами в депутаты в областной и районный Советы, объявить открытым. Какие у кого будут соображения по поводу президиума?

Она сразу посмотрела в сторону Тамары Родионовой. Тамара была секретарем комсомольской организации, и именно ей было поручено внести предложение о составе президиума. Тамара огласила список, проголосовали, все заняли свои места, и Федосья Абрамовна предоставила

слово Жилкину, лучшему трактористу совхоза и доверенному лицу, для характеристики кандидата в депутаты областного Совета.

Анна не один раз слышала биографию Косяченко, то при выборах обкома, то при выборах в областной Совет, но как-то никогда не вдумывалась в жизненный путь этого человека. Косяченко полагалось избрать, и она избирала его, не затрудняя себя раздумьями — действительно ли достоин он этого избрания. Косяченко занимал большое общественное положение, был, так сказать, вторым человеком в области, пользовался доверием наверху, и за долгие годы Анна привыкла думать, что это доверие не нуждалось ни в критике, ни в проверке.

Сейчас Анна как бы заново вслушивалась в рассказ о жизни Георгия Денисовича Косяченко. Что-то изменилось в ней самой за последние месяцы, все меньше хотелось жить чужим умом, какой бы большой, хороший и честный ум это ни был.

А Костя Жилкин убежденно и обстоятельно знакомил собравшихся с биографией товарища Косяченко.

Родился в 1913 году, по происхождению крестьянин. Окончил в 1931 году сельскохозяйственный техникум, работал агрономом, вступил в партию. С 1933 года в Москве — для продолжения образования. В 1938 году по окончании Тимирязевской академии направлен в одно из западных областных управлений сельского хозяйства. Вскоре назначен заместителем заведующего управлением, затем инструктором сельхозотдела обкома. В 1940 году заведует областным управлением сельского хозяйства в Белоруссии. С 1941 года в армии, на политработе, демобилизован вследствие контузии. С 1943 года заместитель заведующего, а затем заведующий сельхозотделом обкома на Средней Волге. В 1947 году заведует сельхозотделом на Урале. В 1951 году — третий секретарь одного из обкомов Центральной России, затем заместитель председателя облисполкома. В 1954 году председатель облисполкома, и с 1957 года — второй секретарь в Пронске...

Хорошая, спокойная анкета! Все прочно в этой анкете, как прочен и сам Косяченко. Он плотно сидит на своем стуле и благожелательно поглядывает в зал. Время от времени он опускает веки, тень скуки проходит по его лицу, но он тут же открывает глаза и принимается вновь внимательно слушать Жилкина.

Да, анкета... Не хватало в ней только дел, которые украшают человеческую жизнь: вывел морозоустойчивую пшеницу, создал молочную породу скота, да хоть бы и не создал, а восстановил поголовье в большом хозяйстве, написал книгу, вырастил, выучил, воспитал десяток, да хотя бы и не десяток, а двух-трех хороших работников, которые своими делами славят своего учителя, обезвредил врага, преградил дорогу вражеским танкам... Хоть бы что-нибудь конкретное, осязаемое, что можно реально себе представить и за что можно уважать человека! А то ведь, если подумать, все из канцелярии да в канцелярию...

Анна не понимала, почему в ней возникло вдруг такое предубеждение против Косяченко. Она относилась к нему точно следователь, все берущий под подозрение. Ведь кому-то, очевидно, и в канцеляриях надо сидеть и руководить. Или, может быть, всех надо пропускать через живую воду творческого производственного труда?

Вслед за Жилкиным выступали другие доверенные лица, рабочие и служащие совхоза, и говорили они о других кандидатах, рабочих и служащих совхоза, выдвинутых в депутаты районного совета. Но о тех кандидатах можно было говорить очень коротко, потому что все в совхозе отлично знали друг друга.

После каждого выступления избиратели аплодировали, а музыканты играли туш. Потом Федосья Абрамовна предложила задавать вопросы.

Вопросов было не так уж много. Скоро ли откроются ясли во втором

отделении совхоза? Когда школа будет работать в одну смену? Отчего не строят прямую дорогу до Сурожа? Почему депутаты редко отчитываются перед избирателями? Как выполнен предыдущий наказ избирателей?

Выступить первым полагалось бы Косяченко...

Он наклонился к Анне.

— А что там было в наказе, я что-то запамятовал...

Анна сомневалась, читал ли вообще Косяченко этот наказ.

— Я выступлю первой,— предложила она ему.— Отвечу по поводу всяких местных дел, а потом уж вы...

Но тут подняла руку старуха в коричневой шали, одна из тех старух, которых она заметила при входе в клуб.

— До каких же это пор Вохмянцеву все будет сходить с рук? — раздраженно спросила старуха скрипучим голосом.— До каких пор шифонеры и телевизоры будут пропадать в городе?

— Кто это — Вохмянцев? — тихонько осведомился Косяченко у Анны.

— Председатель райпотребсоюза,— так же тихо пояснила она.— Телевизоров не хватает...

— Комбинатор ваш Вохмянцев, вот что! — не унималась старуха.— Хочу спросить вас, товарищ Косяченко...— продолжала бушевать старуха,— фамилия Косяченко называлась в течение собрания неоднократно, она не могла не слышать и, как показалось Анне, больше из озорства произносила не Косяченко, а Косяченко.— Вот хочу спросить, товарищ Косяченко, кто он вам — сват али брат, али телевизор справил вам из-под прилавка?

Федосья Абрамовна сочла нужным вмешаться.

— Мы вас, Агафья Филипповна, в лавочную комиссию введем,— решительно сказала она.— В следующий раз сами все о телевизорах объясните.

В зале засмеялись.

Старуха только ладошкой махнула.

— Да ты что, мать моя, мне недосуг...

Смутилась и замолчала.

Федосья Абрамовна предоставила слово товарищу Гончаровой.

Анна уверенно подошла к трибуне. Она привыкла выступать, всегда находила что сказать, нашла и на этот раз, но сейчас — она чувствовала это — ей надо было преодолеть в себе какую-то связанность, она и сама не понимала, откуда вдруг возникло в ней это ощущение.

Но Анна быстро овладела собой и начала с шуточки, умело завоевывая расположение слушателей.

— Ну, товарищи, если Агафья Филипповна не хочет больше жить без телевизора, значит, не так уж все у нас плохо...

Анна не знала старухи, не успела навести о ней никаких справок, но в ней выработалось умение ничего не упускать из поля зрения, она слышала, как назвала старуху Федосья Абрамовна, запомнила ее имя, и первая же фраза помогла возникнуть ощущению близости между Анной и слушателями.

Анна коротко остановилась на положении дел в совхозе, как бы походя ответила на многие тревожившие людей вопросы — о дороге, о яслях,— давая понять, что нет смысла отвлекать гостя такими незначительными в сущности делами. Ей важно было перебросить между избирателями и Косяченко мостик, по которому ему легко будет подойти к людям, и она сделала это, внимание людей перенеслось от частных к общему, Анна вовремя остановилась, а догадливая Федосья Абрамовна тут же предоставила слово Косяченко.

Нет, т а к о й уверенностью в себе ей никогда не владеть!

Вот он поднялся, вот пошел, вот стал на трибуне. Вроде бы потоптался на ней, уминая ее поудобнее. Анна поднялась, налила в стакан воды, подошла к трибуне, поставила перед Косяченко стакан; она искренне хотела, чтобы он выступил возможно удачнее.

Косяченко ничем не ответил на ее любезность, сделал вид, что ничего не заметил, но Анна отлично понимала, что он и заметил, и оценил ее услугу.

Он заговорил о больших государственных задачах, поставленных перед советским народом, выразил надежду, что задачи эти будут решены. Сослался на решения партии и правительства, и было очевидно, что он не только не один раз прочел их и перечел, но и хорошо продумал. Потом он перешел к положению дел в области, и тоже обнаружил достаточное знакомство со всеми проблемами. Он правильно нацеливал внимание людей на все то, что надо делать в первую очередь. Он без паники, с достоинством перечислил упущения обкома в руководстве сельским хозяйством. Не забыл упомянуть даже о телевизорах. Он, конечно, ничего не мог сказать о Вохмянцева и не знал, куда деваются телевизоры, получаемые Сурожским райпотребсоюзом, но помнил данные о выпуске телевизоров по всей стране и привел цифры, доказывающие, как год от году увеличивается завоз телевизоров в Пронскую область.

Анна смотрела на розовую складку на его шее и упорно думала, чем же Косяченко вдруг стал ей несимпатичен? Никогда он не причинял Анне неприятностей, наоборот, всегда похлопывал ее по плечу. В переносном смысле, конечно, как-никак она была женщиной. Он вообще никому не причинял неприятностей. Но, с другой стороны, никто не мог быть ему особенно благодарен. Никого он в беде не поддержал, никогда и ничем не рисковал... Он умел делать подарки: даст конфетку с таким видом, точно подарил «Волгу». Такое у него было чувство собственного превосходства!

В общем Косяченко выступил хорошо. Все, что он говорил, было правильно, разумно и понятно. Ему аплодировали энергично и дружелюбно. Чего же еще с него требовать!

После собрания Косяченко и Анна обошли хозяйство, Георгий Денисович бросил в адрес совхоза несколько критических замечаний, но сделал их на ходу, между прочим, не захотел портить праздничный день, затем они пообедали в общей столовой, у всех на виду, пригласив за стол к себе Лукина, приветливо распрощались и с сознанием выполненного долга покинули Светловский совхоз и тронулись в обратный путь.

LVIII

Смеркалось. Густая дрожащая тень бежала впереди машины, то удлиняясь и уносясь в бесконечность, то бросаясь под самые колеса. Ветлы по обочинам становились все крупнее и крупнее.

Лукин сосредоточенно смотрел вперед. На дороге чернели выбоины. Он ловко их объезжал, не сбавляя скорости, и вскоре зажег фары.

— С машины хорошо на зайцев охотиться,— лениво заметил Косяченко.— Заяц бежит в луче и никогда не свернет в сторону.

Анна посмотрела через стекло, одни ветлы выплывали из мрака в свете дрожащего луча.

— А вы часто так охотились?

— Нет,— сказал Косяченко.— Но я слышал.

Он был в благодушном настроении, ему хотелось сказать Анне что-нибудь доброе, она хорошо провела собрание.

— Ксенофонтов все-таки слаб,— сказал он.— Ему далеко до вас.

Косяченко хотел этим сказать, что он выделяет Анну из всех работников района, что поддержка ей с его стороны обеспечена.

— Ну, почему же! — возразила Анна. — Он еще не освоился, но из него получится сильный работник.

Косяченко достал коробку с папиросами.

— Вы разве курите? — удивилась Анна.

— Редко. Только когда уж очень хорошее настроение, — объяснил он. — Говорят, никотин один из возбудителей рака легких. — Он закурил. — Сегодня вот хочется... — Косяченко протянул Анне коробку с папиросами. — Закуривайте.

— Что вы! — Анна засмеялась. — Муж меня из дому выгонит...

Дорога свернула в редкий лесок, чахлые елки разбежались по сторонам, снежная пелена и небо сливались где-то за ними, все располагало к дреме.

Но Косяченко не хотел спать.

— Надо почаще вызывать в райком председателей колхозов, — сказал он, попыхивая папироской. — Обмен опытом. Собирайте лучших людей, пусть делятся друг с другом...

Он принялся давать советы. Не слишком оригинальные, но опять-таки правильные. Анна еще раз убедилась, что он внимательно изучил материалы январского Пленума. Сам или не сам, но он извлек из них много практических рекомендаций, полезных для области.

Анне почему-то не хотелось отвечать. Она не считала себя умней Косяченко, но она уже и читала, и слышала все, что он говорил. Из вежливости она только кивала головой.

Должно быть, Косяченко убаюкал самого себя, он говорил все медленнее, все отрывистее, наконец, смолк совсем... Однако он не спал, даже не дремал. Он сидел с раскрытыми глазами. Просто выговорился. Лицо его выражало полное удовлетворение жизнью.

Должно быть, у него вся жизнь, — с раздражением подумала Анна, — и в самом деле текла без сучка без задоринки. Таких людей любят в отделах кадров, их на любую работу примут и в любую экспедицию пошлют, придаться не к чему! Только сами-то они не во всякую экспедицию поедут.

А газик все катил и катил вперед. Лесок кончился, машина снова выехала на открытое место.

— Скажите, Георгий Денисович, — вдруг спросила Анна. — А вы не боитесь, что вас не выберут?

— Что? — Косяченко не спал, но он точно очнулся. — Я вас не понимаю.

— Ну, забаллотируют, — объяснила она. — Вдруг избиратели не проголосуют за вас. Чем-то вы вдруг не понравились, и вас вычеркнут...

Молчание длилось секунду, и вдруг Косяченко захохотал, так искренне и звонко, что оглянулся даже невозмутимый Лукин.

— Да вы что! Всерьез? — воскликнул Косяченко. — Не смешите! Да разве наш народ способен проголосовать против советской власти?

Косяченко искренне был убежден, что он и советская власть одно и то же!

— Подождите, Георгий Денисович, — попыталась Анна объяснить. — Вы извините, но с точки зрения рабочих совхоза вы ведь не выполняете депутатских обязанностей. За два года даже ни разу не бывали у них...

— Ну и что? — перебил ее Косяченко. — Зато вы бывали, разве это не одно и то же?

— Но вы-то не оправдали их доверия...

— То есть как? — К счастью Анны, Косяченко не принял ее слова всерьез, он решил, что она затеяла разговор в шутку. — Я руковожу об-

ластью. И, как видите, меня не снимают. Выходит, оправдываю доверие?

Анна никак не могла выразить свою мысль.

— В общем и целом это так. Но ведь людям из совхоза нужны ясли и нужен мост, и не вообще ясли, а во втором отделении, и не вообще мост, а через Серебрянку.

Косяченко улыбнулся.

— Вот вы и стройте...

Нет, он не хотел ее понять, люди в совхозе для него ничто, все люди для него на одно лицо, и, увы, он тоже для них ничто, не столько Георгий Денисович Косяченко, сколько абстрактный символ советской власти.

Да,— подумала Анна, вспоминая одно из замечаний Хрущева на пленуме,— этот и обанкротится, а в отставку не подаст. Будет всюду ходить и доказывать, что и гром был, и град, что сам черт ему помешал! Самодовольство в нем разрослось, как опухоль, его не истребить никакими лекарствами.

— Я не согласна с вами, Георгий Денисович,— не сдержавшись, резко сказала Анна.— По-моему, каждый коммунист должен приносить обществу какую-то конкретную пользу.

Кажется, только в этот момент Косяченко понял, что Анна не шутит, что ее терзают какие-то сомнения, может быть, даже пожалел о своих необдуманных словах — уважения Гончаровой он терять не хотел.

— Вы правы, Анна Андреевна, я пошутил,— сказал Косяченко.— Как депутат я, конечно, был не на высоте. Но ведь не разорвешься! Сами знаете, как мы все загружены. С вашей помощью на этот раз постараюсь не осрамиться.

Косяченко был неглуп, по тону Анны он догадался, что только прямой, серьезный разговор способен вернуть ему ее уважение, и он охотно это сделал — признание вины без свидетелей не могло умалить его авторитет.

Но Анна ему не поверила. Газик мчался вперед, приближался к Сурожу. Больше они не разговаривали. В Суроже Косяченко сошел на минуту у райкома. Анна из вежливости ждала его у машины.

Обычно Лукин не вмешивался в разговоры, которые ему приходилось слышать. Но тут он не выдержал.

— Эх, Анна Андреевна! — неожиданно произнес он.— Осуждаю я вас...

Анна знала, что Лукин ее осуждает. Она не разрешила райисполкому выделить Лукину покос для коровы. Впрочем, как и другим частным владельцам. С этого времени Лукин недолюбливал Анну. Но на этот раз, оказывается, Лукин осуждал Анну из других соображений.

— Неправильно вы разговаривали,— вырвалось у него.— Такие начальники, как Косяченко, не любят таких разговоров, снимет он теперь вас с работы, увидите!

LIX

Проводить Косяченко вышли и Ксенофонтов, и Жуков, оказавшийся в кабинете у Ксенофонтова. Подошла «Волга», на которой Косяченко прибыл из Пронска. Минут пять он прощался, взявшись за ручку дверцы, давал последние наставления. Потом пожал руки Анне, Ксенофонтову, Жукову. Красные огоньки мигнули на повороте и исчезли в ночи.

— Как, удачно? — поинтересовался Ксенофонтов, имея в виду поездку Анны в совхоз.

— Да, все в порядке,— подтвердила она.— Все, в общем, в порядке.

— По домам? — спросил Жуков.

— Да, конечно,— согласилась Анна.— Можно отдыхать.

Она попрощалась со своими собеседниками и неторопливо пошла домой.

У Анны был свой ключ, но дверь оказалась запертой изнутри на щеколду: вечером свекровь или Ниночка, по примеру бабушки, обязательно запирали дверь на щеколду.

Анна позвонила.

За дверью послышался легкий воздушный шорох.

— Это ты, мамочка?

— Я, доченька...

Все-таки от детей исходило удивительное, ни с чем не сравнимое тепло!

Было еще не так чтобы очень поздно. Ниночка читала, на диване лежала ее книжка, Коля мастерил на полу какой-то ящик. Дети подошли к матери, приласкались к ней, она редко бывала по вечерам дома.

На кухне еле слышно возилась свекровь, она не вышла навстречу Анне. В последнее время она старалась поменьше попадаться невестке на глаза.

— Папа дома?

— Нет...

Чем ниже опускался Алексей, тем неприметнее старалась сделаться Надежда Никоновна. Громоздкая, широкоплечая женщина, она точно съезжилась, стала молчаливой, сговорчивой старухой. Она потеряла уверенность в сыне и раньше Анны учуяла зыбкость его положения.

Старуха не могла не понимать: при таком муже Анна была еще хорошей женой. Хорошей жене полагалось терпеть плохого мужа, и Анна терпела, самые ревностные блюстительницы домостроевских правил не смогли бы к ней придрататься. Но Анна к тому же была еще начальством, и немалым начальством. Многих таких, как Алексей, она могла лишить работы и даже отдать под суд. Это Надежда Никоновна тоже понимала. Крушение Алексея означало бы и ее крушение, ей некуда было деться и трудно было бы найти себе кусок хлеба. Анну она недолюбливала, первое время только что терпела, но теперь Анна стала оплотом дома. Приходилось смотреть из-под ее рук. Старуха это и делала. Какая уж теперь Анна невестка. Теперь Анна — начальство. Надежда Никоновна не осмеливалась больше делать ей замечания, все более превращаясь в безответную домашнюю бабку.

— Ужинать-то будете? — спросила она из кухни.

Анна весело поглядела на детей.

— Как, ребята?

— Будем, будем,— деловито произнес Коля.

— Будем! — крикнула Анна.— Накрывай, Ниночка, на стол!

В это время в дверь застучали. Ручка звонка торчала на виду, но кто-то стучал, настойчиво и бесцеремонно.

Ниночка встрепелась.

— Я открою, мамочка!

Но стук этот чем-то не понравился Анне.

— Я сама.

Она подошла к окну, отдернула занавеску, выглянула на улицу.

На крыльце стояли трое... Все сразу стало понятно. Опять приволокли Алексея. Двое спутников поддерживали его под руки, а один из них молотил кулаком в дверь.

Анна вышла в сени, подошла к двери.

— Кто там?

— Принимайте!

— А кто там?

— Да Алексей Ильич... Принимайте!

Сколько стояла она у двери... Минуту? Самые ответственные решения принимаются иногда и за меньший срок. Ей было не по пути ни с Косяченко, ни с Волковым, ни с Бахрушиным. Все они по-разному, но уводили ее с пути, с которого она не сойдет.

Анна приоткрыла дверь, вышла на порог и тут же загородила дверь спиной.

— Принимай, хозяйка...

— Он больше здесь не живет,— твердо сказала Анна.

Только она сама и заметила, как всхлипнула и проглотила подкативший к горлу комок.

Второй спутник Алексея вдруг узнал Анну.

— Товарищ Гончарова, это ж, извиняюсь, ваш супруг. Вот, доставили...

Спутники Алексея тоже не были трезвы, но далеко еще не утратили соображения.

— Ведите его туда, откуда привели,— сказала Анна, стараясь говорить как можно спокойнее.— Здесь ему больше делать нечего, и не приводите его сюда.

Она вернулась в сени и резко захлопнула за собой дверь. Нарочно громко щелкнула щеколдой. В дверь заколотили было и притихли. Она слышала, как топтались на крыльце, потом кто-то крикнул, вздохнул, что-то сказал, потом наступило молчание, и Анна услышала, как собутыльники сводят Алексея с крыльца.

Все. Ушли.

Анна вернулась в дом. Ниночка накрыла на стол, свекровь подала ужин. Анна поужинала с детьми, почитала им, уложила. Потом, одетая, прилегла на диван. Она считала себя правой. Давно пора...

Она не знала, сколько прошло времени, когда снова раздался стук.

На этот раз стучали решительнее. Уже не руки, ноги пошли в ход.

Анна вскочила, выбежала в сени.

— Кто?

— Это я!

За дверью буянил Алексей. Он проспался и явился домой.

Она проговорила громко, отдельно:

— Иди, откуда пришел, я тебя не пущу!

— То есть как не пустишь? — крикнул он из-за двери.

— Вообще не пущу,— громко сказала она.— Вообще не пущу в этот дом!

— Я здесь живу или не живу?

Голос звучал не так чтобы очень пьяно.

— Нет, не живешь. Больше ты здесь не живешь. И больше я здесь с тобой не разговариваю. Придешь завтра в райком, там договоримся...

Конец и конец! Все.

— Открой!..— Алексей забарабанил ногой в дверь.— Хуже будет!

— Ты не грози,— отозвалась Анна.— Больше хулиганить я тебе не позволю.

Он замолотил руками и ногами, дверь вздрагивала, но сорвать ее было не под силу одному человеку.

— Не шуми. Я уйду.

Анна ушла. Села на диван. Алексей продолжал грохотать. Потом все смолкло. Потом Анна услышала, как он неистово застучал в окно. На какое-то мгновение наступила тишина. И вдруг задребезжало стекло, осколки посыпались на пол. В окно влетел обломок кирпича.

В одной рубашонке появилась в дверях перепуганная Ниночка.

Анна сняла трубку телефона.

— Адрианова!..

Адрианов был начальником районного отделения милиции.

Ее соединили немедленно, Адрианов сам подошел к телефону.

— Андрей Константинович!..— Он сразу ее узнал.— Андрей Константинович, ко мне в дом ломится хулиган. Разбил окно. Примите пожалуйста, меры...

Все. Больше она церемониться не будет.

— Ты откроешь или нет? — орал Алексей.— Все окна перебью!

Он был не настолько пьян, чтобы не соображать, что делает, Анна отлично это понимала. Анна потушила свет. Алексей еще что-то крикнул...

Потом Анна услышала, как по переулку бегут несколько человек...

Адрианов проявил оперативность. Впрочем, это было неудивительно. Нападению подвергся первый секретарь райкома! Вероятно, все дежурные милиционеры бежали теперь к ее дому.

На улице послышалась возня, отрывистые голоса, вскрик. Затем наступило молчание.

Анна отвела Ниночку в спальню, уложила. Прошло минут пять, десять. На улице снова послышались голоса. Зазвонил звонок.

Анна открыла дверь. Перед нею стоял Адрианов.

— Заходите, Андрей Константинович.

Они вошли в прихожую.

— В чем дело, Андрей Константинович?

Рослый и сильный Адрианов выглядел необычно застенчивым и смущенным.

— Анна Андреевна, но ведь это... это Алексей Ильич.

Но Анна уже вполне владела собой.

— Я знаю.

— Вести в милицию... не совсем удобно.

— Ведите,— сказала Анна.— Не имеет никакого значения, что он мой муж. Хватит уже, Андрей Константинович.

— Разговоры пойдут, Анна Андреевна...

Холодный воздух напознал через выбитое окно в комнату. Анна вздрогнула.

— Сядьте,— сказала она Адрианову.— Я говорю с вами, Андрей Константинович как секретарь райкома. Как обычно поступаете вы в таких случаях? Ломятся в дом, оскорбляют, бьют окна...

— Оформляем...— Адрианов сидел перед Анной, аккуратно положив на колени руки и покорно глядя ей в глаза.— За хулиганство. Обычно судим...

— Вот, и судите,— сказала Анна.— Довольно ему прощать. Оформляйте и судите. Как и всех прочих людей.

Адрианов еще раз вопросительно взглянул на Анну и встал.

— Слушаюсь.

— Да, да,— сказала Анна.— Оформляйте, как и всех прочих нарушителей.

Он опять посмотрел на Анну.

— Тогда я пойду?

— Да, да,— сказала Анна.

Она слышала, как Адрианов вышел на крыльцо и что-то сказал, потом опять послышались голоса, какая-то возня, и все стихло.

Анна пошла в спальню, взяла у себя с кровати подушку, вернулась в столовую, подошла к окну и заткнула дыру подушкой.

LX

Вот и отрезана какая-то часть жизни... У Анны такое ощущение, точно она овдовела второй раз. С одним было счастье, с другим — несчастье. В жизни должно быть и то и другое, теперь и с тем и с другим

покончено. Впрочем... Не рано ли отказываться от счастья? Работать в полную меру своей души — разве это не счастье? Быть матерью своих детей — разве это не счастье? Быть необходимой людям... Нет, счастья у нее никто не отнимет!

Анна поправила в окне подушку. Больше не дует. Достала из комода рваные детские чулки. Потушила верхний свет, зажгла настольную лампу. Накинула на плечи платок, устроилась на диване поудобнее. Какой уж теперь сон! Взялась за штопку. Удивительно, как у детей рвутся чулки. Не накупишься.

Нет, она правильно поступила, избавив детей от такого отца. Женя все видит и понимает, но и двое младших растут не по дням, а по часам. тоже примечают каждое доброе и недоброе слово. С ними становится все трудней. Ничего не скроешь от их глаз. Суд детей — строгий суд. Сейчас она перед ними права, и всегда должна быть права...

Никогда в жизни не забыть ей возвращения в Пронск. Она была бесконечно одна. Только бесплотная тень Толи сопровождала ее в те дни. Толя сопутствует ей в течение всей жизни. Он и сейчас здесь...

Густой желтый свет падает из-под картонного абажура на ее руки. Только на руки. Большие худощавые руки, отвыкшие от физической работы. Отвыкшие, но не боящиеся ее в случае чего. Рыжий детский чулок... А дальше — тень, тени все более темные, все более черные, и где-то в тени, за лампой, невидимая тень Толи.

Один он любил ее так, как любят. И она любила его. И сейчас любит. И будет любить. Всегда будет любить...

Поезд уносит его, навсегда уносит, и никуда не унесет. Он всегда с ней под старой, усыпанной ягодами шелковицей!

С нею Женя, хотя Жени нет сейчас рядом. Почему-то кажется, что Нина и Коля тоже подарены Толей...

Только один его совет она не выполнила. Так и не сделалась цветочницей. Не до цветов ей...

Она слышит, как бушует за окном ветер. Ноет нога. Раненая нога дает себя знать. Все предвещает перемену погоды. Вот-вот начнется весна. Снова сев. Самый ответственный ее сев, когда она отвечает за весь район. Все, как с детьми. Малые дети — малые заботы, большие дети — большие заботы. Так и на партийной работе. По сравнению с райкомом колхоз — малые заботы. А теперь...

Внезапно зазвонил телефон. Телефонистки по ночам редко вызывали Анну, оберегали ее покой. Ночью ее могли вызвать только в экстренном случае. Да и то старались позвонить поделикатнее. А тут звонили резко, пронзительно, настойчиво.

Анна подошла к телефону. Ей подумалось, что это опять Адрианов. Алексей безобразничает в милиции, и там никак не решаются...

Нет уж, довольно!

— Слушаю!

— Анна Андреевна, Пронск!

Дежурная телефонистка еле успела ее предупредить, как Анна услышала негромкий, мягкий, спокойный голос.

— Анна Андреевна? Извините за поздний звонок. Это Калитин. Что, Георгий Денисович уже уехал от вас?

Анна слегка растерялась.

— Что вы, Кирилл Евгеньевич! Я очень рада.

— Ну, радоваться особенно нечему. Я вас не разбудил?

— Нет, нет. Я не спала.

— Простите, а чем вы сейчас заняты?

Анне представилось, как Калитин улыбнулся при этих словах. Она могла бы соврать, да, может, и следовало соврать, сказать, что гото-

вится к какому-нибудь докладу, изучает материалы, читает, на худой конец.

- Штопаю детям чулки, Кирилл Евгеньевич,— призналась она.
- Что, что? — удивленно спросил он.— Штопаете чулки?
- Да,— сказала Анна.— Ужасно рвутся.
- Отлично,— сказал Калитин.— А как Георгий Денисович?
- Уехал. Сразу после собрания.
- А как собрание?
- Хорошо.
- Ну, а как вообще жизнь? Как дела?
- Тоже хорошо.

Анна ждала, когда Калитин спросит ее о том, ради чего, наверное, позвонил. Но он не спрашивал. Ни о подготовке к севу. Ни о глиноземном заводе.

— А как настроение? — спросил он.

— Тоже хорошо.

— А мне что-то кажется, не очень хорошо,— возразил Калитин.— Как здоровье?

— Все в порядке, Кирилл Евгеньевич,— бодро сказала Анна.— У вас неверная информация.

— Да я без всякой информации...— Калитин негромко засмеялся.— Сидел работал, вспомнил о вас, а тут еще Георгий Денисович... Вот и решил позвонить. Вам от меня что-нибудь нужно?

Почему-то у Анны теплеет на сердце.

— Пока нет, Кирилл Евгеньевич. Спасибо. Понадобится, обратимся.

— И обращайтесь,— серьезно советует Калитин.— Обязательно обращайтесь...

Как будто почувствовал, что у Анны сегодня не все благополучно!

Гудели провода, и из какой-то безвестной дали глухо доносился чей-то писклявый голос: «Высылайте акцепты... акцепты...»

— Какие там еще акцепты? — сердито произнес Калитин и постучал рычажком телефона.— Кто там врывается?

Голос мгновенно исчез.

— В таком случае все,— опять адресуясь к Анне, мягко сказал Калитин.— Не стесняйтесь, звоните в случае чего...

Они пожелали друг другу спокойной ночи.

Разговор был беспредметный, однако после него у Анны полегчало на душе. Она вернулась к своим чулкам.

Свободно говорить с Калитиным она не могла. Еще не привыкла. Ей хотелось бы, например, спросить, почему он терпит возле себя Косяченко? Косяченко не меньше, чем Костров, нес ответственность за все, что происходило в области. Но, увы, не принято, чтобы младшие задавали такие вопросы старшим.

Она подумала, как бы реагировал Калитин, если бы вдруг Сурожский райком отвел кандидатуру Косяченко в депутаты областного Совета...

А ведь следовало отвести, вдруг ясно поняла Анна. Плохо, когда у руководства стоят люди без реальных заслуг перед народом. Все победы и поражения зависят от людей и от тех, кто ими руководит... В ней бурлят мысли, а сформулировать их до конца она не может даже для себя самой.

Вот бы сейчас народу такого писателя, как Толстой! Что отличает настоящего писателя от ненастоящего? Плохой писатель видит только то, что видят все, а настоящий писатель видит то, чего никто еще до него не увидел и что начинают видеть все после того, как он показал...

А показать есть что! Советские люди — первооткрыватели, они идут неизведанными путями. Каждый из них — творец будущего.

Но каждый ли? Косяченко — творец? Челушкин — творец, Кудрявцев — творец, Дорофеев — творец, а Косяченко — нет...

Чулок давно выпал из ее рук. Тени расплылись на стене. Роняет свой желтый свет лампа.

Анна встает. Потуже закутывается в платок. Тихо-тихо идет по комнате, выходит в сени, открывает наружную дверь, останавливается на крыльце.

На улице тихо. Все в снегу. Темно. Но где-то в отдалении, в глубоком невидимом небе просвечивает узкая зеленоватая полоса.

Проносится порыв ветра. Весеннего ветра. Это Анна ощущает совершенно явственно. Ветер дует ей в лицо, и Анна зябко кутается в платок. Пахнет хлебом, бензином, землей...

Ею вдруг овладевает желание выйти в поле, ощутить всем своим существом близкую весну, прикинуть к земле, хочется очутиться там, где она встала на ноги, где нашла себе дорогу, где получила партийный билет, и она решает, что завтра... нет, уже сегодня она с утра обязательно поедет в «Рассвет».

LXI

Неужели капель? За окном отчетливо постукивает...

Анна проснулась. Она так в одежде и задремала на диване. Всю ночь не спала, только на рассвете напала на нее дрема. А тут вот капель...

Рановато! Не дай бог, ранняя весна. Тогда просчет, поверили метеорологам, колхозы еще не готовы к севу, две недели зимы нужны позарез!

Сон как рукой сняло. Анна вскочила с дивана, подошла к окну. Занавеска белела на фоне серого неба, рассвет только-только расплзался. Никакой капели. Кажется, даже мороз. Анну разбудил воробей.

По подоконнику постукивал своим клювиком воробей. Это Колина работа. Он с вечера насыпал крошек, и каждое утро воробьи спозаранок прилетали на подоконник завтракать. Но это был какой-то сверххранний воробей. Он нахально поглядывал сквозь стекло на Анну.

Дай только повадку,— подумала Анна.— К даровому хлебу привыкнуть легче всего.

Она все-таки решила с утра ехать в «Рассвет». Она давно там не была, пора посмотреть, что там делается. Да ей и просто хотелось побывать в «Рассвете». Как-никак родной колхоз, свидетель ее первых радостей и огорчений.

Анна умылась, позвала свекровь.

— Вот что, мама,— вежливо произнесла Анна.— Наши отношения с Алексеем вас не касаются, не тревожьтесь, у нас с вами все останется, как было.

Свекровь всхлипнула.

— Да я не мешаюсь...

— Вот и все,— сказала Анна.— Дайте чего-нибудь перекусить...

Свекровь не осмелилась спросить, куда Анна торопится.

— Я в колхоз,— сказала Анна.— Вы проследите, чтобы не проспали дети. Проводите их в школу...

Она поела, оделась потеплей, кивнула свекрови, вышла на крыльцо.

Рассветал неясный мартовский день.

Анна поглядела на небо. Небо было уже весеннее, все в полосах, розовых, голубых, лиловых. В самой вышине оно было сизо-голубым, а над горизонтом розовые полосы желтели и ширились, поблескивая золотом...

Вот-вот брызнет солнце. Земля еще схвачена морозом, еще хрустит под ногами ледок, а в небе уже весна, уже свирепствует розовощекий март.

Анна медленно спустилась с крыльца и пошла к райкому.

Навстречу спускалась по лестнице ее тетка — уборщица Нюра Силантьева. В руках корзина со скомканными газетами и ведро. Она улыбнулась Анне.

— Доброе утро, Анна Андреевна. С полным навстречу!

Анна тоже поздоровалась.

— Спасибо.

— Что рано?

— В «Рассвет» еду.

В райкоме еще пусто, один Чирков, инструктор отдела пропаганды, дежурный по райкому, с книжкой развалился на диване в приемной.

Он вскочил, увидав Анну.

— Доброе утро, Анна Андреевна.

— Вызовите Лукина, — сказала Анна. — Поедем в Мазилово.

Она прошла в кабинет, собралась было позвонить Челушкину, предупредить, чтобы агроном Аверина никуда не отлучалась, но потом раздумала.

Аверина приехала в «Рассвет» прошлым летом. Она кончила Тимирязевку и по путевке министерства была направлена в Пронск. Впервые Анне показали ее на совещании в райисполкоме, но поговорить им почему-то не удалось. Потом она мельком видела ее раза два. В колхозе ее и не бранили, и не хвалили. Присматривались. После Анны рассветовцам трудно было угодить.

Сегодня Анна решила уделить Авериной побольше внимания. А то послали девчонку в колхоз и предоставили самой себе. Для чего Авериной повторять ошибки Гончаровой?

Отчасти по этой причине Анна и не стала звонить в колхоз. Меньше всего хотела она появиться перед Авериной в виде начальства.

Анна кинула взгляд за окно. Лукин, вероятно, уже у подъезда. Она ждала только Клашу. Но что это привлекло ее внимание? Кто на нее смотрит?..

Ах, это клен! Тот самый клен... Стоит против окна и заглядывает в комнату. Как и в тот страшный день, когда перед конференцией приходил сюда Алексей. Анну передернуло. Ей показалось, она и сейчас чувствует и боль и бессильную горечь унижения.

Она выглянула в приемную. Клаши еще не было.

— Вот что, Александр Иванович, — сказала она, обращаясь к Чиркову. — Распорядитесь, пожалуйста. У моего окна, дерево. Пусть его сегодня же срубят.

— Слушаю, Анна Андреевна, — послушно сказал Чирков.

— Загораживает свет, — пояснила Анна, оправдывая свое решение.

Клаша, наконец, появилась.

— Ой, для чего вы? — сказала Клаша, войдя в кабинет и кивая на окно. — Такой красавец...

— Красив, — сухо согласилась Анна. — Но мешает. Я еду в «Рассвет», если что — звоните...

Она не хотела, чтобы единственный свидетель ее позора продолжал заглядывать к ней в окно.

Клаша с недоумением посмотрела ей вслед, ее глаза даже заблестели от досады...

И Анне вдруг стало стыдно. Клен действительно ни при чем. Мало ли свидетелей ее жизни с Бахрушиным. Одни преступники пытаются избавиться от свидетелей...

Она остановилась.

— Клашенька! — позвала она, указывая за окно. — Будь по-вашему, не будем его лишать жизни.

Челушкина в конторе не было. Его можно было найти где угодно, но только не в конторе. В поле, на фермах, на складе, в Суроже, где он добывал что-нибудь для колхоза, но не за письменным столом...

Он был деятельным председателем, не давал покоя ни себе, ни людям, но колхозники не обижались — жить с Челушкиным спокойно, зато жили с деньгами.

В конторе те же столы, те же скамейки стояли по стенам, на стенах те же портреты Ленина и Хрущева, и все же в комнатах светлее, просторнее от вымытых до блеска полов и стен.

За столами сидели девушки — Малинин не работал уже в счетоводах, — тоже аккуратные, веселые, чистые. Анна не знала их, должно быть, недавно со школьной скамьи.

Одна из них побежала искать председателя.

Анна ждала Челушкина и беседовала с оставшейся девушкой — как работает, учится ли, что читает...

Торопливо вошла Милочка Губарева.

— Анна Андреевна!

— Милочка!

Анна любила Милочку, она причисляла Милочку к тем, кто не сегодня, так завтра станет гордостью района.

— А я вижу — Тася! Ты куда? Говорит, Гончарова приехала. Я и побежала...

Милочка стала рассказывать о ферме. Прибежала Тася. Челушкин появился вслед за ней, тоже запыхавшийся, должно быть, тоже бежал.

— К вам, Григорий Федорович.

— Вижу.

— Весна торопится.

— Вижу.

— А у вас как?

— У нас еще зима.

— Вот я и боюсь...

Они понимали друг друга с полуслова.

— А как у вас новый агроном?

Челушкин улыбнулся.

— Не обижаюсь.

— Нахалка, а так ничего, — добавила Милочка.

Обе девчонки переглянулись и прыснули. Челушкин поглядел на них строгими глазами, и они разом смолкли.

Анна повернулась к Милочке.

— Что значит — нахалка?

— Очень себя высоко несет... — убежденно сказала Милочка. — Что ни скажешь ей — «я знаю» да «я знаю».

Анна обратилась к Челушкину:

— Ну, а на самом деле — знает?

— Знает, — подтвердил тот. — Только уж больно непростительна.

— Что значит непростительна?

— Поймает кого на ошибке — обязательно просмеет.

— А ну попросите ее сюда, — распорядилась Анна. — Хочу познакомиться с ней.

Челушкин кивнул той девочке, что бегала за ним.

— Тася!

Тася опрометью помчалась прочь из конторы.

— А к севу-то она готовится? — спросила Анна.

— Вот в этом-то весь вопрос, — задумчиво сказал Челушкин.

— Готовится-то готовится, да только сеять собирается как-то чудно.

Анна знала Челушкина и видела — относится он к Авериной с симпатией, она нравится ему, но что-то его и настораживает...

Тася опять примчалась.

— Сейчас придет, — сообщила она. — Дома была.

С каким-то вывертом — ногу вправо, ногу влево, носки вместе, носки врозь — она проскочила к своему столу.

Милочка прикрикнула на нее:

— Таська, что это за кренделя?

— Новый танец. Люся вчера показала.

Анна поинтересовалась:

— Это какая Люся?

— Агрономша. Она все танцы знает.

Она опять повернулась к Челушкину:

— Ну, а как сеять — знает?

— Знает. — Это он сказал уверенно. — Но все хочет делать по-своему.

— Ну, а если поконкретней? Как — по-своему? — Анна вглядывалась в своих собеседников. — Что-то не пойму... Да где же она?

Милочка усмехнулась:

— Не горопится!

— Она у вас всегда так? — обратилась Анна опять к Челушкину.

— Нет, не всегда, но бывает. — Он сердито взглянул на Тасю. — Ты сказала — кто ее ждет?

Тася пожала плечами.

— Конечно, сказала. Говорю — Гончарова...

— Да, может, она не слыхала про меня? — спросила Анна.

— Ну да! — убежденно воскликнула Тася. — Ах, говорит, это секретарь райкома, что ли? Скажи, говорит, сейчас приду.

За дверью послышались шаги, дверь отворилась, и появилась Аверина.

Высокая... Что она высокая, Анна помнила по первой встрече в Суроже. В коротком модном пальто из голубоватого драпа с начесом... Анна сразу определила — дорогое пальто. Пальто, какое не по карману сельскому агроному. В серых остроносых туфельках. Деревенская улица еще в снегу, в грязи, но Аверина не пожалела туфель. Кричащий малиновый шарфик...

Плоское лицо, монгольские черты, скулы слегка выдаются, косой разрез глаз. В общем довольно простое лицо. Но раскрашена дерзко: и губы, и брови, и глаза подведены...

Очень не похожа на Анну, какой она сама себя помнит в Мазилове.

Однако Анна заранее готова простить этой девчонке ее заносчивость и даже легкомыслие, лишь бы она оказалась знающей и восприимчивой, лишь бы из нее можно было слепить что-нибудь подходящее для «Рассвета», для Сурожа, для всей этой трудной стремительной жизни.

Аверина остановилась посреди комнаты, огляделась.

— Здравствуйте, с кем не видалась. Здравствуйте, товарищ Гончарова...

Но не подошла, и Анна вынуждена была сама подняться, чтобы подать руку Авериной.

— Долго, — упрекнула, не сдержалась Анна. — Минут двадцать ждем.

— Приводилась в порядок, — независимо объяснила Аверина. — Не люблю выходить из дому неподмазанной.

— А для кого ж это... — спросила было озадаченная Анна. — Для кого это вы мажетесь?

Она медленно обвела взглядом окружающих — Челушкина, Милочку, двух девчушек... Действительно, для кого?

— А для себя, — ответила Аверина с легким вызовом. — Главным

образом для себя. Человек ведь в сущности живет для себя, а не для других!

Вот это-то Анна и должна в ней сломить! Таких девочек надо переделывать. Анна готова отдать ей весь свой опыт, подарить всю свою заботу, лишь бы воспитать из нее настоящего человека.

Они смотрели друг на друга, и Аверина поняла, что Гончарова не хочет замечать ни ее вызывающего тона, ни остроносеньких туфелек, так контрастирующих рядом с рабочими сапогами Челушкина.

Однако ничто не изменилось ни в лице, ни в позе Авериной, и лишь во взгляде, который она бросила на свои заляпаные туфли, в короткой паузе и еле уловимой краске на лице, Анна своим чуть ли не материнским чутьем безошибочно уловила запрятанную куда-то внутрь растерянность очень молодого и очень самолюбивого существа, во что бы то ни стало пытающегося сохранить чувство собственного достоинства.

Но было бы просто непедагогично обнаружить сразу свое сочувствие.

— Я к вам по поводу севооборота,— сухо сказала Анна.— Я бы хотела, чтоб вы познакомили меня...

Аверина загадочно посмотрела на Анну.

— Но ведь в район, в сельхозинспекцию все представлено...

— Видите ли, я сама агроном,— пояснила Анна.— И работала именно в этом колхозе. Мне бы хотелось вас послушать. Чтобы вы сами показали...

Неожиданно для самой себя она теряла нить разговора. Аверина не шла ей навстречу, слушала и молчала, как-то испытующе слушала и недоверчиво молчала. Разговор не получался.

— Знаете что, пойдете-ка лучше в поле,— предложила вдруг Анна.— Посмотрим, посоветуемся. Там вы мне все и объясните...

— Хорошо,— с облегчением согласилась Аверина.— Но только я должна сбежать к себе. В таком виде...

Она еще раз покосилась на свои испачканные туфли.

— Мы зайдем к вам по дороге,— сказала Анна.— Вы переоденетесь, а я посмотрю, кстати, как вы живете.

LXIII

Анна мысленно рисовала себе жилье Авериной. Кровать. Красивое одеяло. Даже пикейное одеяло. Стол. Этажерка с книгами. На стене платья под простыней. Ну, пусть не под простыней, пусть гардероб... Но очутилась она в очень непривычно обставленной комнате, точно перенесенной из какой-нибудь модной московской квартиры. Окна в комнате, конечно, невелики, рамы похожи на решетки, потолок невысок, и пол не паркетный, словом, комната как комната, как десятки комнат в Мазилове, но у Авериной она выглядит совсем не так, как представила ее себе Анна. Вместо кровати широкая, застеленная ковром тахта, никаких этажерок — вся стена в асимметричных полках, заставленных безделушками и книгами, окна задергиваются одной пестрой шторой, свисающей от потолка до полу, полированный гардероб, радиола, на стенах странные рисунки — какие-то танцовщицы в голубом, узкоглазая девушка с веером, похожая... Да, очень похожая на Аверину!

— Садитесь,— пригласила Аверина.— Я сейчас.

Анна с любопытством осматривалась.

— Вас как зовут? — спросила она Аверину.

— Люся.

— А полностью?

— Людмила.

— А по отчеству?

— Петровна,— сказала Аверина.— Но зовите просто Люся, меня все так зовут.

И опять что-то детское прозвучало в ее голосе. Похоже, она сама сейчас радовалась, что Гончарова не приняла всерьез ее браваду, и боялась потерять тот оттенок простоты и задушевности, который, кажется, промелькнул в их разговоре.

— Вам сколько лет? — спросила Анна.

— Двадцать три. Уже старая.

— Кончили Тимирязевку?

Аверина кивнула.

— В прошлом году. До сих пор не могу опомниться.

— От чего?

— От удовольствия,— сказала Аверина и засмеялась, и ее узкие глаза превратились в щелочки.— Ужасно надоело учиться.

Она торопливо рылась в гардеробе.

— А это что? — Анна указала на рисунки.— Абстрактная живопись? Аверина обернулась.

— Ну что вы! — удивленно сказала она.— Это уже классика. Даже скучно. Но я их люблю. Дега и Ренуар. Хотя Плеханов их и ругал в свое время...

Анна не знала живописи, она могла судить о ней только с точки зрения своих личных вкусов, статьи Плеханова о живописи она тоже не читала.

— Я ведь не знаю живописи, не дошли у меня до нее руки,— сказала Анна, глядя на репродукции с грустным любопытством.

В свою очередь, Аверина разглядывала Анну. Она только сейчас начала ощущать привлекательность этой стареющей уже и, наверное, очень усталой женщины. Надо много иметь в душе, чтоб не делать вид, будто знаешь то, чего на самом деле не знаешь. Про Гончарову даже нельзя было сказать, что она не понимает живописи, она просто ее не знала.

Анна перебрала несколько пластинок, сложенных стопкой возле радиолы. Все — незнакомые композиторы и незнакомые исполнители, один Рахманинов понаслышке знаком Анне.

— Вы какую музыку любите? — поинтересовалась Анна.

Ей хотелось, чтобы Аверина назвала Чайковского, под музыку Чайковского Анне всегда как-то удивительно легко мечталось.

— Джаз,— сразу категорично отозвалась Аверина.— Я люблю острые синкопы.

Что такое синкопы, Анна спросить не осмелилась. Она опять перешла к личной жизни Авериной.

— Вы не замужем? — поинтересовалась Анна.

— Ну что вы! — воскликнула Аверина.

— Но кто-нибудь у вас есть в Москве?

— Нет,— отрезала Аверина.— Был один, но я с ним рассталась. Не устраивает...

Чувствовалось, что на эту тему Авериной не хочется говорить.

Анна взглянула на часы.

— Поторопитесь, Люся, у меня мало времени,— сказала она деловым тоном.— Я подожду на крыльце.

Но на этот раз Аверина не заставила себя ждать, она вышла вслед за Анной в кожаной куртке, в узких синих штанах, в аккуратных, по ноге, резиновых сапогах.

Они не спеша прошли по деревне, миновали околицу.

— Куда? — спросила Аверина.

— Ведите,— уклончиво ответила Анна.— Теперь вы здесь хозяйка.

— В таком случае...

Аверина свернула в сторону Кудеяровой горы — любимое место Анны, — там, за горой, за веселым березовым лесом, тянулся тот самый широко раскинувшийся клин, с которого Анне так и не удалось получить все, что можно было бы с него получить.

Они шли и перебрасывались короткими репликами.

— Вы сами откуда?

— Из Москвы.

— Не удалось остаться?

— А я и не пробовала.

У Анны не было оснований сомневаться в правдивости Авериной, но и верилось ей с трудом.

— Неужели так и не пытались?

— Могла остаться, но не пыталась.

— А как могли?

— У меня отец довольно известный художник. А мать в Госплане. Начальник сектора, шишка. Предлагали. Связи есть и в академии, и в министерстве... А я сказала — нет, еду в Пронск...

— Именно в Пронск?

— Или что-нибудь вроде. Меня интересуют суглинистые почвы. Я и здесь сумею...

— Попасть в аспирантуру?

— Нет, писать о своих суглинках. Если захочу.

— Вы, значит, Тимирязевку выбрали по влечению сердца?

— Конечно. Еще в школе прочла «Физиологию растений» и сразу определила свое призвание. Я могла поступить в любой вуз.

— По знакомству?

— И без знакомства.

— А по Москве скучаете?

— Конечно. Но и здесь могу жить. Уже привыкаю.

— А к нам надолго? — задала Анна откровенный вопрос. — Сколько времени рассчитываете проработать в районе?

— Надолго, — ответила Аверина не раздумывая. — А может быть, и насовсем.

Это была странная девица, но совсем не тот продукт городской жизни, за который ее сперва приняла было Анна.

— Но ведь вы захотите, — сказала Анна, — как-то устроить свою личную жизнь.

— Возможно, — согласилась Аверина.

— А если не встретите здесь ничего подходящего?

— В Москве тоже можно не встретить подходящего... — Аверина рассмеелась. — Тогда я сделаю себе гомункулуса!

Анна хоть и получила биологическое образование, о гомункулусе имела весьма смутное представление.

— А вы сможете? — отшутилась она.

— Человек все может, — уверенно заявила Аверина. — Даже выращивать кукурузу на шестьдесят восьмой параллели!

Они остановились на склоне горы. Одна — готовая бежать, все время бежать, вся в полете, другая — более спокойная, уверенная в себе, умеющая вовремя остановиться.

Анна прищурилась, пылливо осматривая поле. Повсюду лежал снег. Лишь кое-где, как полыньи, сердито чернели проталины.

Теперь земля доверена другой, как-то она с нею справится? Анну заботило все, что касалось этой земли, и было интересно, что собирается делать здесь эта самоуверенная, но как будто не глупая и, наверное, неплохая девочка.

— Ну, рассказывайте, — сказала Анна. — Что предполагаем, о чем

мечтаем. Рассказывайте все. Я ведь тоже агроном, и судьба «Рассвета» в какой-то степени и моя судьба.

Аверина схватилась вдруг за березку, обхватила ладонями тонкий ствол, затрясла — мелкие льдинки полетели с ветвей, — точно ей некуда было девать свою силу.

— Анна Андреевна! — повернувшись к Анне, воскликнула вдруг Аверина. — С вами можно говорить откровенно? Или хитрить и разговаривать по правилам? Молчи, скрывайся и тай...

— Нет, не надо таить. — Анна улыбнулась. — Я для того и привела вас сюда.

Она огляделась. Вся земля в мокром снегу. Но среди березок розовели аккуратные круглые пеньки.

— Сядем, — предложила Анна. — Поговорим.

Они сели напротив друг друга.

— Рассказывайте, — повторила Анна.

— А что рассказывать?

Анна рукой обвела поле.

— А вот что собираетесь делать. Что сеять, как. Григорий Федорович хоть и не жаловался, но, чувствую, что-то его смущает. Может, вам в чем помочь? Может, не хватает чего-нибудь?

Анна говорила с Авериной со всей душой, — неплохая девочка в своем существе, ей только подать руку, и поддержать, и вовремя остановить, и она многое сделает, ей цены не будет...

— Самостоятельности! — резко произнесла Аверина.

— Чего?

Анна не поняла.

— Самостоятельности, — повторила Аверина. — Я откровенно говорю, я верю вам. Нам всем не хватает самостоятельности. Права делать то, что находишь нужным. Анна Андреевна! Мне нужно одно. Чтобы меня меньше опекали.

— Подождите, Люся. Вы что-то не того...

— Нет, того! Я советский человек, комсомолка. А мне все время твердят: увяжи, договорись, согласуй. Ну, дайте мне возможность работать самостоятельно! Накажите в конце концов, но не обрушивайте на меня недоверие авансом...

— Но почему же не посоветоваться? — чуть нахмурясь, остановила ее Анна. — У меня больше опыта, а я и то советуюсь...

— И плохо, — перебила ее Аверина. — Я совершенно уверена, что иногда это даже плохо. Я знаю все, что вы скажете. Коллектив, коллективное руководство, план... А я скажу, что у вас связаны руки. Вот вы — секретарь райкома, вы же проверенный работник, вас не допустили бы иначе на этот пост. Но ведь вас опекают, как маленького ребенка. Ваши же товарищи, обком, крайком, все, кому не лень. Я наблюдала за своей мамой. Она по своей линии пикнуть никому на местах не дает! Почему писателю никто не подсказывает, как писать книгу? Договор подпишут, денег дадут, а писать не учат. Не удастся — отвергнут, но пока пишет, не вмешиваются. А мне, если я вздумаю вывести новый сорт хлеба или новую породу скота, тысячу раз помешают. — Одна вы своими советами...

Анна даже рассердилась:

— Ох, Люся!

— Что — Люся? Разве я неправа? Спрашиваете — не скучаю ли без Москвы? Скучаю! Но Москва мне поперек горла стоит. Без Москвы уж и не дыши! А история делается не только в Москве, история делается там, где жнут хлеб и добывают нефть. Без Москвы невозможно не скучать, но Москва это еще не вся Россия. У Большого театра пшеницу сеять не будут, а для меня в суглинках вся жизнь...

Она вываливала и вываливала свои претензии, и что-то в них было неправдой, и что-то правдой, Анне было что возразить, и почему-то не хотелось возражать; именно то, на что жаловалась Аверина, и помешало Анне стать тем, чем она могла бы стать...

— Подождите, Люся,— уже решительно остановила ее Анна.— Не будем затевать общий спор, спустимся на землю. На эту вот мазиловскую землю. Что вы хотите на ней делать? Кто вам мешает? Чем?

Аверина встала, опустив вдоль бедер длинные руки. Она стояла, как школьница. Но как очень упрямая школьница.

— Извольте, скажу. Мне мешает даже Григорий Федорович. Хотя он очень хороший человек. Все время говорит, что надо посоветоваться с вами. Слишком въелась в него дисциплина. Как, впрочем, вероятно, и в вас. А я считаю, спрашивать никого не надо!

— Слушаю, слушаю вас,— примирительно произнесла Анна.

— Чтобы снять завтра с работы? — насмешливо спросила Аверина.— Но я все равно ничего не боюсь. Так вот! Я хочу перейти на двойной посев, сразу сеять яровую пшеницу и озимую. Это не моя выдумка, я об этом и читала, и сама видела...

— Как, как? — заинтересовалась Анна.— Совместный посев?

— Да это очень понятно,— сказала Аверина.— Влага, свет, питательные вещества используются рациональнее, если совместно произрастают культуры, относящиеся к одному виду, но различающиеся по возрасту и развитию...

— Подождите. Как — сразу? Не будет ни той, ни другой.

— Будет! Будет! Получается. Надо только глубже вникнуть в физиологию растений...

Аверина принялась сыпать доказательствами.

Ее заносило, но и нельзя было вылить на нее сразу ушат воды.

— Разве Григорий Федорович мешает вам поставить эксперимент? — с сомнением спросила Анна.

— Да не эксперимент! — возразила Аверина.— Я весь этот клин хочу отвести под совместный посев!

Анна насторожилась.

— Что вы! Рисковать урожаем?

— Не только урожаем — собой! — воскликнула Аверина.— Позвольте мне рискнуть собой!

Анна молча, не улыбаясь уже, поглядела на Аверину.

— А вам не кажется,— проговорила она медленно,— что рисковать урожаем это гораздо больше, чем рискнуть собой?

Да, она не глупа, окончательно решила Анна об Авериной, заметив, как вздрогнула та от ее слов. Все понимает, есть характер, есть страсть. Эта из-за боязни одиночества замуж не выйдет и с плохим мужем не станет церемониться. И в спор с секретарем райкома, если нужно, не побоится вступить. Есть в этой девочке что-то такое, что привлекает к ней Анну. Честное слово, ей хотелось, чтобы ее Женя поступала так же...

— Выслушайте меня, Люся,— сказала Анна, стараясь говорить как можно сердечнее.— Не бросайтесь в воду, очертя голову. Семь раз примерь. Будем думать вместе. Я помогу вам, у меня накоплен кое-какой опыт. Я все для вас сделаю...

— Не нужно!

— Не горячитесь. Человек слабей в одиночку. Чем вам помочь?

— Ничем!

Она ничего не хотела от Анны!

Но Анна была достаточно умна, чтобы не обижаться на Аверину.

— Надо еще доказать свою преданность общему делу. Надо доказать людям, что их любишь...

— А я и доказываю,— упрямо сказала Аверина.

— Чем?

— Тем, что соберу со своих гектаров по тридцать центнеров!

— А вот у меня нет в этом уверенности,— осторожно сказала Анна.— Если бы то, что вы предлагаете, хоть кем-то было апробировано...

— Да апробировано!

— Кем?

— Хрущевым! Вы не могли не читать! Он советовал сеять одновременно и раннеспелую и позднеспелую кукурузу. Высокорослию и низкорослую. Будет силос, и будут початки...

— Погодите, погодите...

Хрущев действительно говорил об этом. Кому-то действительно советовал. Может быть, стоит Авериной разрешить? Но самой Анне не с кем сейчас советоваться...

— Не знаю...— неуверенно произнесла она.— Я бы не возражала. Но не весь же клин. Вернемся, подумаем. Поговорим с Челушкиным. Я скоро буду в Пронске, посоветуюсь в обкоме...

— А без обкома нельзя?— Аверина порозовела, ее лицо сделалось розовее ее шарфика.— Обязательно за чью-то спину...— Она вошла в азарт.— Просто совестно! Как бы чего не вышло. Пашете и осторожничаєте. Живете умом бесстрастных чиновников. Оскорбляете землю трусостью!

Анна слышала уже это. В другом месте и в другой обстановке. Тот человек говорил о земле почти то же самое. Говорил о земле, поруганной плохими руководителями. Это Анна запомнила. Это она очень хорошо запомнила. Аверина говорила с таким же неистовством, как и тот человек...

— Ну хорошо,— согласилась Анна.— Я обещаю вам, Люся, заняться вашими планами. Серьезно и без всякого предубеждения. Вы мне верите?

Аверина испытующе, но с надеждой поглядела Анне в глаза.

— Хорошо...

Они пошли обратно к деревне, прямо по склонам, через лес, то увязая в сыроватой земле, то с хрустом продавливая тонкую снежную корку.

Аверина шла стремительно, большими шагами, широкоплечая, высокая, длинноногая...

Анна умела и любила ходить, но за ней еле поспевала.

Кого Аверина ей напоминала? Анне казалось, что они встречались раньше. Где-то в другом месте. Вот она идет, идет... Так стремительно!

Ну, конечно... Анна видела Аверину в Музее имени Пушкина. В Москве. Анна обходила музей и в одном из залов увидела эту женщину... Такую же длинноногую и стремительную, как Аверина. Имени богини Анна не помнила, но вспомнила и походку, и уверенный поворот головы, и насмешливое выражение лица...

У Анны было такое ощущение, будто именно греческая богиня мчится сейчас перед нею сквозь березовую рощу к священной цели.

Отчаянна,— подумала о ней Анна.— Смела. С такой не справиться. Уверена в себе.

— Люся!— позвала ее Анна.— Вы очень уверены в себе?

Та не отозвалась...

Небо совсем нахмурилось, сделалось беспросветно серым, будь теплее — пошел бы дождь, туча затянула все небо, подморозивало, пошел снег, посыпались черные хлопья.

Вот мы же знаем, снег белый, совершенно белый,— подумала Анна,— а кажется почему-то черным...

— Да подождите вы!— крикнула Анна.— Откуда в вас такая уверенность?

Аверина остановилась.

— Оттуда же, откуда и у вас...

Они пошли медленнее.

— Вероятно, и у вас, и у меня были неплохие учителя,— великодушно добавила Аверина.

— А вы уверены, что вам не придется переучиваться? — лукаво подзадрила ее Анна.

— Нет, не придется,— резко возразила Аверина.— Думаете, одни министры понимают, кто прав и кто ошибается? Выслушать полезно всех, а жить лучше своим умом.

Эк ты какая,— опять подумала о ней Анна.

— Суть не в учителях, а в учениках,— продолжала Аверина.— За советы спасибо, но жить я буду так, как сама нахожу нужным. Пусть каждый человек сам будет за все в ответе.

Анна подумала, что это выражение, которое так нравится Авериной, имеет двоякий смысл — жертвенный и победный, и тут же подумала, что не так-то просто превратить эту девочку в жертву.

Они опять пошли молча. Снег все сыпался, сыпался. Густой, мокрый, черный.

Нужна я ей или не нужна? — подумала Анна об Авериной. Анне казалось — нужна, но она была уверена, если спросить Аверину, та решительно скажет, что ей не нужен никто.

Однако Анна была бы довольна, если бы ее дети выросли такими же, как Аверина. Удивительная сила заключалась в этой длинноногой девочке с накрашенными губами!

Внезапно развиднелось. Серое небо раздвинулось, и из глубины прорвался клоч голубого неба. Голубой лоскут все разматывался и разматывался.

Аверина подняла вверх лицо и прислушалась.

— Вы слышите? — спросила она.

— Что? — спросила Анна.

— Жаворонок,— сказала Аверина.

Анна покачала головой.

— Какой сейчас может быть жаворонок?

— А я слышу!

— Вы фантазируете, Люся.

— Честное слово, слышу!

До жаворонок было еще далеко, не могла она слышать никакого жаворонка, и, однако, ей дано было слышать жаворонка, который за тридевять земель только еще собирался в полет.



В НОЧНОЙ МОСКВЕ

Когда город притихнет и окна домов
Мирно веки смежат до зари,
Я люблю слушать музыку чьих-то шагов
И о чем говорят фонари...

Все мне кажется, будто я старый солдат.
Весь я пылью фронтов пропылен.
Лишь сегодня в Москву я вернулся назад,
И опять в этот город влюблен.

До утра здесь доверчиво спит тишина
На усталых больших площадях,
Но все так же, с улыбкой, глядят из окна
Манекены в нарядных плащах.

Да еще вот не спится ночному такси,
Так и манит зеленый цветок...
«Ты к забытому Счастью меня подвези,
Беззаботный ночной огонек!»

Я давно в этот город вернулся назад.
Здесь спокойные липы цветут.
Лишь на киноафишах шеренги солдат
Все куда-то идут и идут...

Вьются серые скатки у них на плечах
И сквозь годы мне шепчут они:
«Ты не спи по ночам, ты не спи по ночам.
Ты наш город от горя храни!»

Когда город притихнет и окна домов
Мирно веки смежат до зари,
Я люблю слушать музыку чьих-то шагов
И о чем говорят фонари...

СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ

О, сколько же солнечных зайчиков,
Веселых, задорных зайчат,
В глазах у смеющихся мальчиков,
В улыбке подросших девчат!

Но кто-то так зло и запальчиво
Из темных укрытий глухих
Стреляет по солнечным зайчикам,
Чтоб не было, не было их!

И скоро поблекшие мальчики
В насупленных ходят очках,

И те золотистые зайчики
Не прыгают больше в зрачках.

И лица обиженных девочек
Зачем-то порой с юных лет
Становятся недоверчивы,
Как серый осенний рассвет...

Не надо нам злого и мрачного!
Пусть будет на все времена
Охота на солнечных зайчиков
Строжайше запрещена!

Вадим Белоцерковский

В ПОЧТОВОМ ВАГОНЕ

ПОВЕСТЬ

ГЛАВА I

Михаил Яшин впервые отправлялся на новую работу: уезжал в рейс сортировщиком почтового вагона линии Москва — Ташкент.

Провожать его вышли в коридор родственники, жившие в одной с ним квартире.

— Михаил, присядь перед дорогой, уважь старуху,— сказала жена покойного дяди.

— Майк! Привези хорошую дыню! — попросил двоюродный брат.

— А мне халвы настоящей! — теребила Яшина двоюродная сестра, студентка.

— Если найду,— отговаривался Яшин.— Стоять в Ташкенте будем только девять часов! А сидеть,— повернулся он к тетке,— ни к чему.

Уже в дверях он помахал всем рукой и вышел из квартиры.

— Ни пуха ни пера! — крикнула ему вслед сестра.

— Пошли хоть ее к черту, Миша! — услышал он голос тетки.

— Боюсь... Она может опоздать к началу занятий! — крикнул Яшин, спускаясь по лестнице.

Выйдя из дома, он хотел было сесть в троллейбус, но передумал и пошел пешком. Времени у него было достаточно, и не хотелось трястись в духоте.

Хотелось побыть еще немного одному, собраться с мыслями перед дорогой, работой и жизнью среди незнакомых людей.

Справится ли он? Стажировался Яшин на линии Москва — Ростов по трое с половиной суток. Там ему помогали в работе, давали спать, и все-таки каждый раз он возвращался домой измученный до крайности. Теперь же ему предстояло работать семеро суток и, главное, спать наравне со всеми, то есть, наверное, не больше четырех-пяти часов в сутки, да и те вразбивку. Время, он знал, было для почты тяжелое, особенно на такой линии, как ташкентская: август.

И как еще примут его новые сослуживцы, какими они окажутся: простыми, веселыми или серыми, грубыми, скучными?

До сих пор ему везло. «Почтари», с которыми он ездил на стажировке, были хорошими, простыми людьми. Но каковы будут эти — начальник вагона, с которым его познакомили вчера, откровенно говоря, не очень ему понравился. Но скоро он все узнает. И Яшин стал думать о Гале — о «своей девушке». Она работала сейчас в колхозе, на убороч-

ной. Ее послали туда от Института связи, в котором она училась вместе с Яшиным. Только она училась на дневном отделении, а он — на вечернем.

Однако и эта тема для размышлений оказалась не из приятных...

Лето промелькнуло. Весну съели экзамены и дожди с холодами. Потом — учеба на сортировщика, стажировка. Всего только несколько дней, проведенных с Галей за городом, остались в памяти... А теперь, когда она вернется из колхоза, начнутся занятия и осенняя слякоть. И опять ни на что не будет хватать времени, и опять — кино и поцелуи в подъезде или в холодных голых парках... Снег выпадет еще так не скоро... А о весне и говорить нечего. Долог путь до весны, долог путь до конца учебы!..

А жить, жить по-настоящему полной, интересной жизнью так хотелось! Немедленно, теперь же!.. Ведь ему уже двадцать четыре, а он все еще только мечтает, планирует, надеется...

Михаил взглянул на квадратные часы на здании Министерства транспорта и прибавил шаг.

«Запрохлаждался! — подумал он с досадой. — Разве я могу не опоздать?»

* * *

В диспетчерской все уже были в сборе. Яшин опоздал минут на десять, но на это никто, видимо, не обратил внимания. Встретили его просто, приветливо, и на сердце у него отлегло.

Начальник вагона Николай Павлович Добрушкин, крупный пожилой мужчина с резкими чертами лица, познакомил Яшина с остальными членами бригады: со своим заместителем, молодой девушкой, которую звали Сашей, и с проводником вагона Анной Романовной, пожилой маленькой женщиной в сером платке.

— Просто тетя Ася, — сказала она, здороваясь с Яшиным.

Обе они произвели на него хорошее впечатление. Особенно Саша, помощница начальника. В ней было что-то располагающее с первого взгляда. Но красивой она не была, хотя и некрасивой ее нельзя было назвать.

Яшин знал из разговора с Добрушкиным, что его заместительница — молодая девушка, и не без любопытства ждал встречи с ней: мечта о романтических дорожных похождениях с очаровательной незнакомкой еще не угасла в нем, — но, увидев помощницу, он понял, что судьба на этот раз не сделала ему сюрприза.

«Ну что ж, проще будет», — решил он про себя. Тем более, его сердце все равно ведь занято!..

* * *

Приняли вагон, надели халаты и встали на погрузку.

Яшин осторожно продолжал приглядываться к своим сослуживцам. Они оживленно болтали, шутили, рассказывали о своих домашних делах. Чувствовалось, что они соскучились друг по другу и сейчас испытывают удовольствие оттого, что опять вместе. Яшину было приятно видеть это и особенно приятно было, что и Добрушкин держит себя просто.

Во время первого знакомства с ним, в кабинете у начальства, он произвел на Яшина впечатление человека с крутым и властным характером. Фамилия его, казалось, была дана ему в насмешку.

Яшин не любил таких людей, не любил жесткой дисциплины, которую они обычно всюду насаждают. В жесткой дисциплине он всегда видел что-то унижительное для человека, хотя и признавал, что иногда она необходима.

Теперь же, наблюдая за начальником, он все больше удивлялся тому, что видел и слышал. Простота тона и шутки Добрушкина иногда переходили, на взгляд Яшина, в фамильярность. И в то же время в шутках его было что-то кошачье: за мягкостью их чудились спрятанные когти. Таких начальников Яшин встречал и считал, что часто они опаснее откровенных солдафонов...

Но его сбивало с толку поведение Саши и проводницы Анны Романовны: без всякой опаски обращались они с Добрушкиным. А они-то должны были знать его хорошо!..

* * *

Яшину нравилось грузиться в Москве. Все здесь было на более высоком уровне, чем в других городах, в которых он бывал во время стажировки: и техники больше, и люди энергичнее, и темп был такой, что только успевай поворачиваться. Чувствовалось, что делаешь важное дело, и погрузка в Москве меньше утомляла, хотя грузить приходилось больше, чем где-либо.

Как полагалось по уставу, Яшин работал с Николаем Павловичем в трактовой кладовой. Он принимал «вещи» с платформы и передавал, считая, Николаю Павловичу, который уже раскладывал их по стандарту: с дальними адресами подальше от дверей, с ближними — поближе. Яшин с завистью следил за уверенными и спокойными движениями начальника и невольно любовался его крупной, сильной фигурой.

«Отличный бы вышел из него спортсмен — метатель молота, например, или гребец», — думал Яшин, глядя на широкие и не по годам крутые плечи Добрушкина. Широкие плечи были слабостью Яшина: он не был доволен своими.

Уже через полчаса после начала погрузки Яшин сильно взмок и все чаще старался распрямлять начинавшую ныть спину. Но к вагону подгонялись все новые и новые тележки с почтой. Работали на электрокарах девушки. Бесперывно сигнала, они лихо мчали по платформе длинные поезда груженных с верхом тележек, ловко лавировали между столбами и людьми. На платформе грузилось и разгружалось сразу около десяти вагонов.

На тележках, среди серой холстинно-фанерной россыпи обычных посылок, чернели автомобильные покрышки, грузные электромоторы, элегантные швейные машинки и даже велосипеды.

* * *

Девушка подкатила к транзитной кладовой их вагона тележку, полную больших аккуратных ящиков. «Посылторговские, — определил Яшин. — По сорок килограммов штука!»

— Пойди-ка, Миша, помоги Саше принять тяжеловес, — сказал Николай Павлович Яшину, — а ко мне пошли Асю.

— Николай Павлович прислал? — спросила Саша, улыбаясь, когда Яшин вошел в ее кладовую.

Яшин стоял в дверях и смотрел на нее. Черный, аккуратно пригнанный халатик шел к ней. Здесь, в кладовой, в халате, она показалась Яшину привлекательнее, чем прежде в диспетчерской, в «штатском» платье.

— Ну, становитесь, раз уж пришли, — улыбнулась девушка и уступила ему место у двери.

Яшин принялся за работу. Передавая Саше посылки, он часто встречался с ней глазами. Ей легко было смотреть в глаза. Находясь рядом с ней, он не чувствовал неловкости, которую обычно ощущал, оставаясь наедине с малознакомыми молодыми девушками.

Рассматривая ее, он все больше убеждался, что она была не такая уж простая и молодая, какой показалась в первый момент знакомства. В ней было что-то от многоопытной, уверенной в себе женщины. За ее спокойной простотой чувствовался характер. И в то же время, особенно когда улыбалась, она казалась совсем молодой, беззаботной девушкой...

Шло время, кладовые постепенно заполнялись. У «ташкентской», дальней стены кладовой штабеля посылок высились уже почти до потолка. Мешки с почтой приходилось теперь зашвыривать туда. Яшину нравилось это делать. Он испытывал удовольствие, когда удачно брошенный им мешок взлетал вверх и ложился на назначенное ему место.

Но постепенно и эта работа стала надоедать. Поясница болела, ноги гудели, и Яшин все чаще посматривал на часы: «Скоро ли конец?»

Николай Павлович продолжал работать, не проявляя никаких признаков усталости или нетерпения. Казалось, он мог так работать до утра. Яшину было бы легче, если бы он увидел, что начальнику тоже тяжело.

* * *

Последние полчаса погрузки проходили в спешке и напряжении. Яшину не верилось, что они успеют разгрузить до контрольного срока все стоявшие около их вагона тележки.

И когда раздался пронзительный звонок, возвещавший окончание погрузки,— звонок, после которого требовалось немедленно закрывать двери кладовых,— еще около десятка посылок оставалось лежать на последней тележке.

— Закрывайте двери! — кричали с платформы Добрушкину.

— Уже закрыли,— отвечал он, принимая последние посылки.

Посвистывая, подошел маневровый тепловоз и легонько толкнул вагон, подцепляясь.

Добрушкин запер двери и пошел в вагон. Яшин остался в тамбуре.

Раздался еще один звонок, и сразу же вслед за ним вагон дернулся, и, уходя назад, поплыла платформа, люди на ней, тележки, пакгаузы. На ходу вскочили на подножку двое черных от мазута сцепщиков.

— Отойдите от дверей! — свирепо закричал один из них на Яшина.

Яшин отступил в коридор. На его место поднялся один из сцепщиков, другой остался висеть на ступеньках.

Оба они пристально смотрели вперед и на Яшина не обращали никакого внимания.

Но он ни капельки не обиделся на них за окрик и за то, что они не обращали на него внимания. Они до зависти нравились ему. Ему вообще всегда нравились железнодорожные рабочие: особенно машинисты, сцепщики, ремонтники. Нравились своей серьезностью и достоинством, с которым держали себя.



Вадим Владимирович Белоцерковский родился в 1928 году. В 1952 году окончил химический факультет Московского государственного университета. Работал учителем в железнодорожной школе рабочей молодежи.

С 1957 года начал выступать с очерками и статьями в различных газетах и журналах.

В 1959 году в журнале «Москва» был опубликован первый рассказ В. Белоцерковского «На колесе».

«Интересно, как они выглядят в обычной жизни?» — думал Яшин, глядя на сцепщиков.

Вагон пошел медленнее, показался бетонный край высокой платформы, и сцепщики на ходу спрыгнули на нее.

Лязгнув буферами, вагон остановился. Сцепщики исчезли под ним.

«А все-таки,— подумал Яшин, когда сцепщики скрылись под вагоном,— вне работы они, наверное, выглядят бледнее. Вот и Саша тоже! — вспомнил он.— Насколько интереснее она в кладовой, в халате, за работой, чем в диспетчерской. В чем здесь дело?..»

* * *

Яшин, Николай Павлович, Саша, Анна Романовна — все вышли на перрон. В последние минуты перед отправлением всегда тянет подышать на прощанье родным воздухом.

Вот и машинист электровоза, уже прицепленного к их составу, высунул чуть не наполювину из своего окошка и, облокотившись на опущенную раму, посматривает сверху на всех.

А в другой стороне перрона, под освещенными, открытыми окнами вагонов, стоит толпа провожающих, и вокруг проводников теснятся с чемоданами запоздавшие пассажиры.

В полосах света, падающего из вагонных окон и от фонарей, мелькают яркие женские платья. И кажется, что там среди них много молодых и красивых девушек...

Раньше Яшин всегда завидовал отъезжающим. Теперь же он смотрел на пассажиров снисходительно. А если и завидовал им, то по другой причине: они сейчас разлягутся спать по своим купе и по своим полкам, а он будет всю ночь работать. Они будут спать, не думая о том, что кто-то работает для них. Он ведь тоже раньше ни о чем не думал, опуская письмо в ящик...

Страх перед работой не отпускал его.

Конечно — отгул: целую неделю он будет потом свободен, сможет заниматься по-настоящему, по утрам, со свежей головой, а вечером будет делать, что захочет. Ради этого он и пошел сюда. Но ведь чтобы получить те семь суток, надо сначала одолеть эти!

А Яшин знал, что многие, кто раньше его закончили учебный комбинат, были отчислены после первых же ездов за непригодностью или сами увольнялись «по собственному желанию».

«Ерунда! — успокоил он себя.— Не выдерживают, наверное, только совсем безвольные или очень ленивые».

— Что же это?.. Что же это вас никто не провожает? — услышал вдруг он Сашин голос, отчетливый и мягкий.

Она стояла рядом с Анной Романовной, на самом краю платформы, опираясь плечом о стенку вагона, и улыбалась.

— А кто меня должен провожать? — сказал Яшин и почувствовал, что покраснел.

— Ну — кто? — рассмеялась Саша.— Любимая бабушка или любимая девушка, например! — Она заговорщически взглянула на Анну Романовну.

— Сейчас он скажет,— поддержала ее Анна Романовна,— что у него нет ни бабушки, ни девушки — и никогда не было!

Саша с веселым любопытством наблюдала за Яшиным.

— Да нет, почему же,— сказал он, пожимая плечами,— есть, но... бабушка померла еще в войну, а девушка — в колхозе...

— В колхозе померла?! — воскликнула Саша.

Все рассмеялись.

— Не померла,— сказал Яшин,— а работает: от института послали.

— В каком она институте учится? — спросил Николай Павлович.

— В Институте связи. На факультете радио... На дневном отделении...

— А вы на вечернем? — спросила Саша.

«А, черт!» — поморщился Яшин. Ему не хотелось, чтобы они узнали о его учебе. По крайней мере — не сразу...

— Или вы совсем не учитесь? — продолжала допрос Саша.

— Да нет, учусь! Вы правильно решили,— сознался он наконец.

— Чего же вы не на радио куда-нибудь пошли работать, а к нам, к сургучникам? — спросила Саша.

Николай Павлович прервал их беседу.

— По коням, молодежь! Уже зеленый,— сказал он.

Саша оттолкнулась плечом от стенки вагона, шагнула в сторону от края платформы и сладко потянулась.

Николай Павлович, держась за ручку дверей, пропускал всех вперед, намереваясь сесть последним.

— А вы куда, гражданка? — остановил он Анну Романовну. — Мы обойдемся без пассажира. Да, да! Чем я хуже Волкова? Отойдите, отойдите, гражданка! Поезд трогается!

— Куда тебе за Волковым? Пусти! — толкала его Анна Романовна. — Ты же со своим пузом даже ремень одеть не сможешь.

— Давай по секундомеру, кто быстрее!

— Очень это мне надо!..

Поезд тронулся.

В вагоне пикировка между ними продолжалась. Николай Павлович подкалывал Анну Романовну, она полушутя-полусерьезно кипятилась. Глаза Николая Павловича блестели от удовольствия. У них это, видно, было в обычае...

Воспользовавшись тем, что все занялись приготовлением к ужину, Яшин вышел в тамбур. Он любил на хорошем ходу поезда стоять в открытых дверях, на ветру, особенно теплым летним вечером: упругий душистый воздух бодрит лицо и душу, проносятся мимо зеленые и красные огни светофоров, темные спящие деревья, уютно освещенные веранды маленьких дач. Откуда-то слышится музыка (издали она всегда кажется красивее), урчит где-то машина, отбивают свой веселый ритм колеса и... так многого хочется.

В далекие уже годы юности он всегда ездил в пригородных поездах, стоя на подножках, никогда не любил душных вагонов. Он садился прямо на подножку, свесив вниз ноги,— садился на той стороне, где не было платформ, чтобы не вставать и мечтать без помех...

А вообще не любил он вспоминать свою юность и детство. Жил он в детстве в достатке: отец его занимал ответственные должности в различных министерствах, но, несмотря на это, большая часть детских и отроческих воспоминаний Яшина вызывала у него только чувство стыда.

Со стыдом вспоминал Яшин, каким он был тогда толстым, раскормленным «маменькиным сынком». Как по приказу матери домработницы сопровождали его в школу. Он просил их, кричал на них, чтобы они не шли за ним, но они, боясь матери, все-таки следовали за ним в отдалении. «Жирный — поезд пассажирный!» — дразнили его на улице, и он молча сносил издевки: боялся «ребят с улицы» (об этом было особенно стыдно вспоминать). «Ребята с улицы» были для него чужими, непонятными — из другого мира. Его немногочисленные попытки сблизиться с ними, как правило, кончались неудачей: родители смотрели на них косо, а ребята, попадая к нему в дом, скисали и дичились от непривычной для них роскоши.

Редко Яшин помнил себя в детстве беспечным и веселым. Страх и приниженность — вот что он помнил.

Страх не только перед улицей, школой, но и перед своим домом, в котором за ним следили холодные глаза и царил жестокий деспотизм отца. Не знал он в детстве любви и дружбы. Братьев и сестер у него не было, мать занималась им мало, а об отце и говорить нечего. Отцу,— теперь Яшин ясно сознавал это,— он всегда был в тягость. Отец, не стесняясь, при нем кричал на мать: «Идиотка! Это ты хотела иметь ребенка!» — и называл его своей «творческой смертью». А если и проявлял заботу о сыне, то делал это так тяжело и раздраженно, что Михаил не знал, что хуже: забота или ругань...

Отец постоянно предрекал ему всяческие неудачи в жизни и в учебе. Внушал ему, что он безволен, ленив, глуп, неблагодарен.

Первый поворот к лучшему в жизни Яшина произвела... война. Вместе с другими детьми работников министерства, в котором служил отец, он был эвакуирован из Москвы на Урал, в интернат. Яшин прожил в нем всего лишь три месяца, потом родители забрали его, но это время, проведенное в большом коллективе среди настоящей, не дачной природы, осталось светлым пятном в его памяти...

Вторым счастливым, в том же смысле, поворотом в его жизни был уход отца на пенсию.

Знакомым и родственникам говорили, что причиной «отставки» отца была болезнь — инсульт. На самом же деле сначала было понижение по должности с выговором, а потом уже инсульт от переживаний... Выйдя на пенсию, отец не пожелал оставаться в Москве, где столько людей знало о его позоре, и обменялся жилплощадью с семьей своего покойного брата, жившей в Ставрополе на Волге.

В Ставрополе Яшин кончил десятилетку и попытался поступить в институт. По настоянию отца он подал документы на исторический факультет Казанского университета.

«История — наука управления государством!» — любил говорить отец.

Экзамены Яшин сдал хорошо: набрал двадцать три очка из двадцати пяти возможных, но этого оказалось мало: начали действовать новые правила приема — и для школьников, не имеющих трудового стажа, выделялось только двадцать процентов мест.

Мать попыталась было «хлопотать», но отца в Казани никто не знал, и у нее ничего не вышло.

Яшин пошел работать — добывать себе стаж, но его призвали в армию. Это был третий «счастливый» и самый крутой поворот в его жизни.

Демобилизовавшись, он не остался жить в Ставрополе — отношения с отцом обострились до крайности,— а поселился в Москве, в своей бывшей квартире, с семьей покойного дяди. Поступил работать на почтамт Казанского вокзала и учиться на вечернее отделение в Институт связи: раньше он немного увлекался радиолюбительством.

ГЛАВА II

Поужинав, все разошлись по своим местам и принялись за работу. Николай Павлович, надев очки, стал разбирать накладные, пачками лежавшие у него на столе. Анна Романовна взялась за уборку, Саша и Яшин начали раскладывать этикетки по клеткам своих стеллажей.

В каждом стеллаже более двухсот пятидесяти клеток, и каждая из них в определенном порядке должна иметь этикетку с названием почтового направления.

Каждая клетка для сортировщика — как клавиша пишущей машинки для машинистки: хороший сортировщик раскладывает письма по клет-

кам, почти не глядя на этикетки, вслепую, сортируя до двух тысяч писем в час. До пяти тысяч наименований почтовых точек Союза должен он держать в своей памяти!

Разложив этикетки, Яшин нашел мешок с пометкой: «Первые три сдачи». Разрезал на нем шпагат, снял ярлык и, взяв мешок за нижние углы, высыпал его содержимое в ящик.

Первая его рабочая ночь началась.

Но работал Яшин еще далеко «не вслепую». То ему приходилось мучительно долго отыскивать нужную клетку, то случилось еще худшее: он забывал, куда надо класть письма, адресованные в места, не лежащие на пути их поезда. Такие письма добираются до своего места назначения с «пересадками», и сортировщику надо помнить, где какое письмо должно «пересаживаться».

Яшин знал, что новичкам можно спрашивать, куда что класть, — работать «вслух». Но ему очень не хотелось этого делать. Хотелось работать самостоятельно, наравне со всеми. Ведь он не был новичком: целую зиму работал сортировщиком «на месте» — при вокзале. Однако там ему приходилось сортировать письма на пятьдесят два направления, а здесь на двести пятьдесят, и дело у него двигалось медленно. Он слышал, как за его спиной мерно, без задержек, пошагивает вдоль своего стеллажа Саша, и понимал, что сильно отстает от нее.

* * *

Первые два часа работы пролетели незаметно. Но потом бег времени начал постепенно замедляться, и Яшин все чаще стал посматривать на часы: скоро ли Николай Павлович позовет его в кладовую готовиться к обмену. Поезд приближался к Рязани — к первой остановке после Москвы.

Однако обмен в Рязани поставил Яшина в тяжелое положение: гора мешков около его стола выросла, и перед Ряжском он с ужасом почувствовал, что начинает «зашиваться».

Он попытался было работать быстрее, но начал путаться и ошибаться. Надо было немедленно, пока еще не поздно, просить о помощи. Не сдать почту там, где она должна быть сдана, — сделать «провоз» считалось тягчайшим браком.

Несколько раз Яшин открывал было рот, чтобы просить о помощи, но взглядывал на Николая Павловича, усердно заполнявшего свои бесконечные накладные, и не решался.

Наконец, когда было потеряно таким образом еще минут десять, он рассудил, что ничего страшнее провоза быть не может, и... заговорил о том, что непонятно, как это в авиапочте обходятся без сортировки писем в воздухе...

Николай Павлович стал было объяснять ему то, что Яшин отлично знал и сам, — что в авиапочте поток писем меньше и больше сортировщиков «на месте», но потом вдруг замолчал на полуслове, внимательно посмотрев на Яшина и на его мешки.

— Зашиваешься? — коротко спросил он и, не дожидаясь ответа, велел Саше помочь ему.

— Я потом сменю тебя, — Николай Павлович взглянул на часы. — Довел до последнего! — сказал он Яшину. — Не ожидал я этого от тебя...

Яшин пробормотал что-то, что у всех много работы и что он надеялся справиться сам, но ему было очень стыдно...

Саша дописала очередной свой реестр, размашисто воткнула перо в держалку и встала рядом с Яшиным. Он не смотрел на нее.

— Ну, сколько тебе еще? — спросила она, деловито рассматривая ярлыки на его мешках.

Она впервые назвала его на «ты», и это «ты» вышло у нее мягким, дружеским. У Яшина полегчало на душе.

— А у вас еще много своей работы осталось? — спросил он и, когда уже сказал «у вас», спохватился, что этим «вы» он как бы ставит ее на место. — Саша, ты долго работала на простой корреспонденции? — спросил он первое, что ему пришло на ум, только чтобы вставить «ты». Но «ты» прозвучало у него грубо, нескладно.

— Четыре года я работала на простой, — ответила Саша, не отрывая глаз от писем. И Яшину показалось, что на губах у нее проскользнула легкая улыбка. Он догадался, что она отлично его понимает и все это не существенно для нее...

— Ну, молодежь, разбегайтесь — я иду! — сказал Николай Павлович, подходя к ним.

Яшин краем глаза заметил, как он взял Сашу за локти, приподнял и оттащил от стеллажа.

— Шли бы лучше спать! — сказала Саша, вырываясь.

Николай Павлович неторопливо расхаживал вдоль стеллажа, разговаривал, но ни на секунду не отрывался от работы. Почти незаметным движением кисти он раскидывал письма по клеткам. Брал за уголок верхнее письмо в пачке и, найдя глазами нужную клетку — она всегда оказывалась перед ним, — легким движением пальцев кидал письмо. Казалось, письма у него сами влетают в клетки, словно их притягивает туда магнитом. Не прошло и десяти минут, как весь «завал» был разобран.

Яшин много бы дал, чтобы поскорее научиться так работать.

— Спасибо, Николай Павлович! — поблагодарил он его.

— Спасибо! — насмешливо протянул Николай Павлович. — Спасибо свое ты нам выдай, когда в чайхану в Ташкенте пойдем! Верно, Сашок?

— Конечно! — отозвалась Саша. Она уже собирала и увязывала свою почту к обмену.

Стал готовиться к обмену и Яшин.

Вот это была приятная работа! Отдых, а не работа. Надо было вынуть из нужных клеток письма, связать их в пачки постпакетов, надписать, проштемпелевать к ним ярлыки и покидать в мешок. Завязал мешок уставным узлом, отнес его поближе к проходу и — можно пере- вести дух!...

* * *

Под вагоном застучали первые стрелки станции Ряжск-пассажирская.

— Ну, молодежь, готовьтесь к бою! — поднялся из-за стола Николай Павлович. — Стоянка маленькая, а обмен здесь огромный. Буди, Саша, Асю. Она будет мне помогать, а Михаила я к тебе откомандирую.

— Не надо. Мы справимся с Асей, — возразила Саша.

— Ладно, ладно! — махнул рукой Николай Павлович. — Только ведь с бюллетеня...

— Ой, да здорова я!.. Мама у меня болела, уж сознаюсь... Авось не выдадите!

— Но от Миши ты все равно не отказывайся, — продолжал настаивать Николай Павлович. — Ведь только все храбришься!..

— Ничего-то я не храбрюсь!

Саша разбудила Анну Романовну, и все разошлись по кладовым.

— Вы бюллетень по уходу имели? — спросил Яшин, когда они присели на мешки в кладовой в ожидании, пока поезд дойдет до платформы.

— Нет. Какой уж там «по уходу» — с матерью еще брат живет!..

Саша, отдыхая, полулежала на горке посылок, бросив руки на колени. Волосы, шею, подбородок она туго обвязала платком, чтобы уберечь от пыли.

— Я просто симулянтка ловкая,— улыбнулась Саша.— У врачей на мое сердце записана такая хитрая болезнь, что стоит мне прийти и пожаловаться, они сразу мне бюллетень дают... Вот как!

— А что у вас с сердцем? — осторожно спросил Яшин.

— Доктора говорят ревмокардит. А попросту говоря — порок.

— Как же это вы так?! — удивленно спросил Яшин. Нелепостью казалось ему, что у такой молодой, спокойной, жизнерадостной девушки может быть какая-то серьезная и, очевидно, неизлечимая болезнь сердца. Он теперь понял, отчего у нее на лице время от времени появляются красные пятна и откуда эта одутловатость лица, которая старит ее.

Поезд пошел медленнее и вскоре совсем остановился под каким-то мостом.

— Не хотят нас принимать,— сказала Саша.

— Сколько вам лет? — спросил Яшин неожиданно для самого себя. Саша едва заметно улыбнулась.

— Двадцать пять,— сказала она.— Четверть века и полжизни! Вот! — и она звучно причмокнула уголком губ. У нее это было, видимо, в привычке и выходило очень славно.

— А я думал вам... ну, двадцать,— сказал Яшин.

Саша рассмеялась. Вышел форменный комплимент, хотя Яшин и на самом деле думал, что ей двадцать. Правда, иногда он думал, что ей за тридцать, но об этом он, конечно, смолчал.

Поезд снова тронулся. Свет фонарей, то разгораясь, то затухая, проникал в кладовую сквозь пыльные зарешетченные стекла дверей. Тени от решеток скользили взад-вперед по штабелям посылок.

Саша встала и подошла к дверям. Привстав на цыпочки и приложившись щекой к окну, она старалась разглядеть, что делается впереди, на платформе.

— Сколько-то нам навезли? Опять, наверное, не успеем все погрузить...

Яшин продолжал сидеть на прежнем месте. Он следил, как на черной автомобильной крышке, затесавшейся в середину штабеля серых посылок, вспыхивают и гаснут отблески света, и вдруг с ужасом почувствовал, что засыпает. Он поспешно вскочил и встал рядом с Сашей.

* * *

Вагон дернулся и замер. Саша надела рукавицы и отбросила засов. Из открытых дверей повеяло зыбкой ночной свежестью.

Яшин выглянул наружу: вся платформа, от паровоза до багажного вагона, была заставлена тележками с почтой.

— Поезд опаздывает! Поворачивайтесь! — закричало сразу несколько голосов с платформы.

И началось!..

Лихорадочно считали посылки, лихорадочно кидали их из рук в руки.

Взглядывая на двери кладовой Добрушкина, Яшин видел, как оттуда мешки и посылки вылетали с такой быстротой, словно их метали машиной.

— Скоро вы там? — кричали с платформы почтовики. Они боялись, что не успеют погрузить в вагон свои посылки.

Наконец началась погрузка.

Работали как только могли быстро, не проверяли адресов, принимали по счету, но время бежало еще быстрее.

И вот уже раздался голос дежурного:

— Почта! Кончайте! Закрывайте двери.

— Еще только одна тележка! Еще две минуты! — молили сдающие, продолжая лихорадочно совать в вагон посылки.

— Ничего не знаю! Ничего не могу! — кричал им в ответ дежурный. — Закрывайте двери!

Паровоз загудел, вагоны дернулись, и платформа с неразгруженными тележками и ругающимися почтовиками стала уходить назад.

Саша закрыла дверь и опустила засов.

— Все! — сказала она, сняла рукавицы и пошла из кладовой.

В канцелярии Николай Павлович, согнувшись над столом, торопливо дописывал расписки двум женщинам — последним из сдающих.

Они тянули руки за расписками и кидали испуганные взгляды на окно, за которым все быстрее мелькали фонари.

— Скорее же, скорее! — молили они Николая Павловича и, выхватив из-под его пера расписки, натываясь друг на друга, кинулись в тамбур.

Николай Павлович бросился за ними — помочь им спрыгнуть на ходу. Через минуту вернулся.

— Много не догрузили? — спросил он Сашу.

Она сидела, отдыхая, на табурете и обмахивала газетой разгоряченное, покрытое малиновым румянцем лицо.

— Полтележки осталось.

— И у нас столько же!.. Было время, — сказал он Яшину, — когда дежурный спрашивал нашего брата: «Закончили погрузку? Можно ли давать отправление?»

— Да... было, — протянула Анна Романовна.

— Скорость поездов увеличивают за счет остановок. Контейнерный обмен в проекте, а пока — ловкость рук, и никакой техники!.. Не попить ли нам чайку по этому случаю, а, Сашок? — сказал Николай Павлович.

Надев очки, он принялся разбирать свежие бумаги на своем столе, напевая басом:

Утром чай, днем чаек, вечером чаинке!

Анна Романовна вызвалась было кухарничать вместо Саши, но он прогнал ее спать:

— Знаешь: солдат спит — служба идет. Проводник спит — командировочные идут! Ладно, иди, иди! Огрызаться будешь утром!

Анна Романовна, ворча, ушла к себе в купе, а Саша включила плитку, нарезала на сковородке колбасу и стала заливать ее яйцами.

Яшин, наблюдая, как она ловко раскалывает их ножом, почувствовал вдруг острый и неприятный голод. Голод и слабость.

После Рязска ему пришлось отказаться от своего намерения работать «втихую». Теперь, как только он «спотыкался», он прочитывал адрес вслух, и Николай Павлович или Саша за его спиной наперегонки называли ему клетку, в какую надо было класть письмо. Работа шла живее, но письма по-прежнему утомляли Яшина, пугали своей неисчислимостью, и, как ни странно, утомляла ходьба вдоль стеллажа. Утомляла и раздражала. Кинешь несколько писем в смежные клетки, и вдруг перед тобой письмо, клетка для которого в другом конце стеллажа. Тянет присесть, поработать сидя, как он привык работать на вокзале...

* * *

За окном стало светать, потускнели лампочки в вагоне, приближалось утро и самые тяжелые часы работы.

Поезд стремительно мчался — утром поезда всегда мчатся стремительно — мимо чужой, незнакомой природы.

Леса, поля, деревни — все было серым, сырым, и казалось, что там, за стенками вагона, сейчас очень холодно.

Серым было и небо. И нельзя было даже понять: то ли оно пасмурное, то ли, наоборот, на нем нет ни единого облачка.

Промелькнула сторожка путевого обходчика, сарай и стог свежего сена под крышей из дранок. Стена густого, спутанного леса прижимала их к самым пугам.

Обходчик держал в руке желто-серый скатанный в палку флажок. Вид у него был заспанный, продрогший.

Яшину всегда было почему-то немного жаль путевых обходчиков, обреченных, казалось, на вечное отшельничество в своих заброшенных сторожках.

Выползла из своего купе Анна Романовна. Худощавое, сухое лицо ее казалось сейчас землисто-бледным, но волосы были тщательно расчесаны и закручены в тугой узел. Волосы у нее были уже почти совсем седые.

«Странные у нее только глаза,— думал Яшин.— Напряженные какие-то, воспаленные, словно она недавно плакала...»

Пожелав всем доброго утра и перекинувшись парой колкостей с Николаем Павловичем, Анна Романовна принялась наводить в вагоне порядок. Большой, смоченной в мыльной воде губкой она протирала столы, стеллажи, ящики.

Яшина удивляла ее добросовестность. На стажировке он ездил с несколькими проводниками, и все они занимались в основном тем, что спали, выпивали и покупали на станциях всякую снедь. В вагонах было пыльно, грязно, и Яшин считал это само собой разумеющимся: что за железнодорожный вагон без грязи!

— Тушите свет! — сказал Николай Павлович.— Сейчас солнце всходить будет!

Яшин посмотрел в окно и увидел, как загорался золотым пламенем сосновый лес на вершине дальнего холма.

Саша забралась с коленками на свой стул и, облокотившись о стол, задумчиво смотрела в окно, подперев голову руками.

— Вы были когда-нибудь в Средней Азии? Видели, как солнце там восходит? — спросила она Яшина, не поворачивая головы.

— Нет, не видел. Был, но спал,— ответил Яшин.

— Теперь увидите! В почтовых вагонах таких восходов насмотришься, что и не вообразить. И каждый чем-то отличается. Когда долго дома живу, скучать по ним начинаю. Дома ни восхода, ни захода не видишь...

Яшин взглянул на Сашу: горьковатые нотки послышались ему в ее голосе и удивили его.

— Юра наш все пытался на цветную пленку их заснять. Да только ничего у него, по-моему, не выходило! — Саша имела в виду его предшественника, покинувшего бригаду, как слышал Яшин, из-за туберкулеза легких.

— Вы Юру нашего не знали? — спросила Саша Яшина. Она слезла со стула и принялась за работу.

— Нет, не привелось.

— Хороший был человек! — сказала Саша.— Добрый по-настоящему... Мы его жену встретим перед Ташкентом...

— Она там работает? — удивился Яшин.

— Да нет! — сказала Саша.— Она работает разъездной сортировщицей у нас на Казанском и живет в Москве. Ездит на смежном поезде: за сутки до нас выезжает.

— Понятно,— сказал Яшин.

— Ничего тебе не понятно! — возразил Николай Павлович.— Муж и жена у нас не имеют права работать в одном вагоне. Руководство наше считает, что муж и жена одна сатана, не будут мешать друг другу

потрошить посылки! Ясно? И поэтому, чтобы больше быть вместе дома, в отгуле, женатые у нас устраиваются на смежные поезда, на одну линию. А когда в пути их поезда встречаются, они становятся в дверях в тамбуре и машут друг другу ручкой!..

— Да, это разрешается! — подтвердила Анна Романовна.

— Вот и солнце взошло! — сказала Саша. — Какое красное! К ветру, наверное, или к жару.

Яшин посмотрел в окно и увидел багровый диск солнца, почти наполовину высунувшийся из-за горизонта.

Ему всегда хотелось захватить самый первый момент — увидеть, как солнце появляется. Но почему-то это никогда ему не удавалось. И теперь не удалось...

Солнце быстро поднималось, торопливо заливая землю веселыми, теплыми лучами. Леса и поля бежали теперь за поездом яркие, чистые. Солнце стерло со всех предметов серый цвет ночи, и краски — зеленые, синие, желтые — легко доходили до глаз сквозь прозрачный утренний воздух. Даже пыль и грязь, лежавшие снаружи на вагонных стеклах, не могли их приглушить.

Приглушала только боль в глазах и в груди... И Яшину было обидно: такое чудное утро, а он хочет спать. Лучше бы уж было пасмурно!..

* * *

Восьмой час утра. Поезд стоит на маленькой станции. Перрон почти пуст, пассажиры спят, и одни лишь проводники маячат около своих вагонов, да несколько облезлых бездомных собак бегают по путям, поджав хвосты и озираясь.

Косые лучи яркого утреннего солнца уже заметно горячи, но Яшина познабливает от слабости.

Он стоит, опираясь спиной о забор палисадника, и думает о том, что хорошо бы сейчас на свежем воздухе сделать небольшую зарядку. Но с места не двигается: очень уж лень, очень уж не хочется двигаться. Ему вообще сейчас ничего не хочется.

Невдалеке от него стоят и разговаривают Саша и Николай Павлович. Яшин слышит их, но не вслушивается: тоже лень.

Их оживленные голоса даже раздражают его немного. Глядя на них, никак не скажешь, что они не спали ночью ни одной минуты.

«Вдруг я никогда не смогу привыкнуть, как они?! — думает Яшин. — Что тогда будет?»

Если бы дело было только в этой одной прошедшей без сна ночи, он бы тоже мог сейчас говорить, улыбаться, шутить. Он был в этом уверен: в армии ему приходилось проводить без сна и по две ночи подряд. Но тогда впереди его всегда ждал отдых, возможность хорошо выспаться. Сейчас же впереди у него было еще шесть таких же ночей, да еще семь дней между ними!

И эти шесть ночей и семь дней представлялись Яшину необозримо большим пространством. Москва и отдых были бесконечно далеки... И еще дальше был диплом. Ведь до него четыре-пять лет! Значит, еще четыре-пять лет такой работы, такой жизни!

«Но — что делать? — спрашивал себя Яшин, глядя с тоской на освещенные солнцем вагоны и на серо-зеленые за ними чужие тополя. — Возвращаться обратно на вокзал? Об этом не могло быть и речи!»

Монотонность работы, вечная нехватка денег и времени и это угарное напряжение вечерних занятий, когда сидишь на лекции с чугунной, ничего не соображающей головой, словно последний тупица...

Нет! Хватит. Всем этим он сыт по горло.

Искать работу где-нибудь в другом месте, не на почте? Но где он

найдет интересную и денежную работу без специальности? И, главное, где он найдет работу, после которой будет приходиться в институт со свежей головой?!

«К черту все! — выругался про себя Яшин. — Я здоровый парень — не пропаду. Надо только поменьше жалеть себя и поменьше думать о том, сколько осталось... Как на реке — если стало страшно, что не доплывешь, закрой глаза и не смотри на берег!»

Тронулся поезд, и размышления Яшина прервались.

«Надо думать о чем-нибудь другом. О чем-нибудь легком... — решает Яшин и начинает думать о Саше. — Интересно, замужем ли она? — задает он себе тему поострее. — Нет, наверное, не замужем!.. Но и не девушка. Ей ведь двадцать пять, и она так свободно, так уверенно себя держит. И ездит она давно, а здесь все так легко...» Он немало уже слышал на этот счет историй...

Саша сидела на краешке стула и сосредоточенно трудилась над реестром. Яшин беспрепятственно рассматривал ее...

Где-то в глубине его сознания зажегся было «красный свет»: «Смотри!.. Она ведь все-таки не интересная по-настоящему! И Галя?..»

Но Яшин не обратил на него внимания и «поехал» дальше. Ерунда! Ничего не случится, если он себе немножко позволит. Слишком уж тяжело.

* * *

Сели завтракать. Опять чай и закуски. Закусок было много: все угощали друг друга. Но Яшин пил один только чай: есть ему не хотелось. От него требовали, чтобы он ел, но он не мог.

— Он спать хочет, — сказала Саша.

— После Соседки ты поспишь часок-другой, и у тебя появится волчий аппетит, — поддержал ее Николай Павлович. — До Пензы работы будет мало, а прогоны большие.

Яшин стал было говорить, что спать он не хочет, «почти не хочет», но его подняли на смех.

— Ты это брось! — басил с набитым ртом Николай Павлович. — Ты героismo нам свое не показывай. В почтовых вагонах герои ни к чему. Если ты героизм хочешь показать — иди в кино. Там за это, говорят, хорошо платят, а у нас от него только один брак.

— Но почему я должен идти спать раньше других?

— А! Вот что его тревожит! — воскликнул Николай Павлович. — Он, оказывается, не героя из себя разыгрывает, а лыцаря!

Саша и Анна Романовна рассмеялись.

— Ну что ж! — Николай Павлович справлялся с сырковой массой, которую ел без ложки, прямо с оберточной бумаги. — Лыцарь — это ничего! Это уже лучше. Это даже оригинально в наш век. Но и лыцаря вам, сударь, не удастся разыграть, потому что вы не один здесь мужчина! Вы оба, — он показал на Яшина и Сашу, — пойдете спать. Оба, а лыцарем буду я, Ася останется за мою лыцариху. Она всю ночь дрыхла, пардон, спала.

Позавтракали. Саша с Анной Романовной вымыли, убрали посуду. Принялись за работу.

Чай согрел Яшина, и согрела его определенность — через час он ляжет спать, а там будет видно, «кривая вывезет». Он повеселел. Да и все повеселели. Как-никак, а ночь прошла.

Николай Павлович помогал Яшину сортировать ночную почту и спрашивал его о жизни.

Саша и Анна Романовна молча слушали их и, как чувствовал Яшин,

слушали со вниманием. Рассказывая о себе, он тщательно старался обходить свое, так сказать, социальное происхождение.

Он, разумеется, не собирался вечно скрывать это от них, но хотел, чтобы к нему привыкли, получше узнали его, чтобы у них не возникло к нему предубеждения. А в том, что предубеждение может возникнуть, он не сомневался.

Однако ему не удалось осуществить свое намерение: Николай Павлович поставил вопрос ребром.

— Твой батя кем работает? — спросил он.

Яшин вздохнул.

— Отец сейчас на пенсии...

— А раньше?

— В министерстве работал.

— В каком?

— В Министерстве путей сообщения.

— Кем?

Яшин молчит, колеблясь.

— Заместителем начальника отдела кадров, — говорит он, наконец, небрежным тоном. Он называет самую последнюю и самую низшую должность отца, делает ударение на слове «заместитель», но понимает, что слово «заместитель», иногда спасавшее его прежде, здесь вряд ли ему поможет.

Наступившая на мгновение тишина подтверждает его опасения. Молчание прерывает Николай Павлович:

— Чистополь в Пензу надо класть, а не в Сызрань!..

Яшин перекладывает, закусив губы от досады. Теперь он уже хочет, чтобы Николай Павлович продолжал свои расспросы и дал бы ему возможность реабилитироваться.

И Николай Павлович продолжает. Вопросы он задает самые простые и прямые, но они-то теперь как раз и нужны Яшину.

Спрашивает, почему Яшин работает, с кем он сейчас живет, на что живет...

Яшин отвечает, стараясь говорить как можно проще и понятнее и как можно спокойнее.

Работает потому, что отец на пенсии... Живет с родственниками потому, что отец переехал в Ставрополь... Был в армии...

— Почему отец уехал из Москвы?

— Врачи рекомендовали, — говорит Яшин, а сам думает: «Отчего бы не рассказать им всю правду? Это же лучше для него».

— А после армии что ж с родителями не живете? — спрашивает Анна Романовна.

— Учиться хочу... Да и не ладим мы с отцом немного...

— Что ж так? — спрашивает Николай Павлович.

Яшин снова молчит. До чего ж тяжел этот разговор!.. Ну как им все это разъяснить, чтобы они его правильно поняли. Отец ведь его не бил, кормил, одевал.

— Характер у отца тяжелый, — говорит он после томительной паузы.

— Да-а, это дело плохое! — Слова и тон Николая Павловича звучат неопределенно.

— А им-то ведь, наверное, не легко одним, — вздыхает Анна Романовна. — У меня у самой один сын. Извелась, пока в армии служил...

Она рассказывает, что до армии сын ее учился в техникуме, взяли его со второго курса, а когда пришел из армии — женился и теперь не хочет больше учиться.

— И его можно понять, — говорит Николай Павлович.

— Почему? — не соглашается Яшин. Он рад случаю переменить тему разговора.

— Потому — учиться легко смолоду, пока голова свежая! — отвечает Николай Павлович. — Вот — легко тебе учиться? Только честно! — спрашивает он Яшина.

— Конечно, нет...

— А у тебя ведь еще нет семьи, и десятилетка за плечами, и культурное воспитание с детства...

Разгорается спор.

Да, трудно в одно время учиться и работать, говорит Яшин, но эта трудность служит барьером, пробным камнем: отсекает слабых, ленивых.

— А вот мне, — говорит Николай Павлович, — когда я учился на рабфаке, поспрашивали читать Тимирязева. Мы им увлекались в наше время, не биологией, а...

— Понятно, — кивает Яшин и с удивлением взглядывает на Николая Павловича. Сам он Тимирязева не читал, а слышал только, что Тимирязев проповедовал какие-то наивные педагогические взгляды об учебе без экзаменов. Связывалось все это у него в сознании с не менее туманными и обрывочными представлениями о бригадном методе обучения и прочими так называемыми «загибами» первых лет советской власти, вроде свободного брака без регистрации в загсе или отсутствия паспортов.

— Так вот, Тимирязев, — продолжал Николай Павлович, — и не он один, предлагал другой барьер для отбора... Ты ничего о нем не слышал?

— Не знаю, что вы имеете в виду, — пожимает плечами Яшин.

— Барьер этот называется Добровольность и Самостоятельность! — Николай Павлович делает паузу, смотрит: дошли ли до Яшина его слова. — Свободное посещение занятий, — разъясняет он. — И свободный самостоятельный выбор курсов, профиля, тем для дипломных работ. Полная самостоятельность! Тебе только советуют и... экзамены! Не как нынче, конечно, а в виде защиты работ разных самостоятельных, рефератов и т. п. Вот это барьер! Если, конечно, подумать...

Он говорит, кидает письма по клеткам и время от времени поглядывает на Яшина.

— «Слабому и ленивому», — повторяет он Яшину его собственные слова, — такой барьер ни за что не перескочить!..

— Ну! Это дело далекого будущего, — перебивает Яшин, — когда сознание у всех людей... — Он говорит почти машинально: в мыслях его растерянность и удивление. Чего-чего, но такого разговора он здесь никак не ожидал!... — Когда сознание у всех людей будет находиться на одном, на должном уровне...

— Подожди! Брось ты это! — морщится Николай Павлович. — Сознание на одном уровне у людей никогда не будет, даже при коммунизме. И слава богу! Другое дело, что сознание надо поднимать. Но ведь для этого прежде всего нужны настоящие прочные знания и, что еще важнее, — умение кумекать. Одними призывами сознание ведь не поднимешь! Так или не так?

— Ну так, — соглашается Яшин.

— Прекрасно! А откуда они у тебя возьмутся, прочные знания? Пришел с работы, отдых, семья, любовь — все побоку, и за учебник. В голову ничего не лезет, на лекциях спим, а на экзаменах: я рабочий — ставьте мне тройку! Не так разве?

— И на работе — сонная муха! — поддерживает его Анна Романовна.

— Твой барьер отбирает не способных, а холодных до жизни!

С лица Николая Павловича не сходит выражение жестокости, и слова его все время покалывают Яшина, и покалывает недоумение, что Николай Павлович не смущается говорить так откровенно в присутствии Саши и Анны Романовны.

— И я вот еще чего не пойму, — спрашивает всех Николай Павло-

вич.— Известно ведь, что большинство открытий нашего века делалось людьми до тридцати лет. Скажем, атомные все теории, Эйнштейна, по механике этой... ну...

— Квантовой? — подсказывает Яшин.

— Да, да, квантовой. А ведь у нас теперь многие, особенно мужчины, только учебу будут заканчивать к тридцати годам! Не понимаю!

— Можно кончить и в двадцать пять, двадцать шесть...

— Можно! — соглашается Николай Павлович.— Можно и с самолета упасть и не разбиться. Бывают, говорят, такие случаи...

Николай Павлович вдруг замолкает и, подняв глаза от писем, внимательно смотрит на Яшина.

— Для чего ты все это мне, нам говоришь? Неужели ты и на самом деле так думаешь?.. Или ты все глотаешь, не разжевывая?

Яшин молчит.

— Ты же, по-моему, умный парень... Ну вот, почему ты сам-то сейчас только еще на второй курс перешел? А? — допытывается Николай Павлович.

Яшин молчит.

— Не повезло мне немного,— говорит он наконец.

— Ну что ж,— разводит руками Николай Павлович,— если тебе приятней считать себя неудачником, то, как говорится, о вкусах не спорят.

Он смотрит на часы и, оставив письма Яшина, садится за свой стол готовиться к обмену.

Оставшееся до остановки время все работают молча, но, чувствует Яшин, продолжают думать о закончившемся споре. Нехороший осадок оставил у него на душе этот спор, будь он трижды неладен! Яшин не может понять, в чем здесь дело, и только следит, как растет, усиливается в нем плохое настроение.

* * *

— Ну, а теперь марш спать! — приказал Николай Павлович, когда поезд гронулся со станции Соседка.

Яшин медлил, ему не хотелось показывать, что ему очень хочется спать, да и на самом деле спать ему теперь вдруг вроде бы и расхотелось.

— Идем, пока начальник не передумал! — сказала Саша, поставила последний штамп на своих реестрах и кинула штемпель на стол.

— Спать, спать! — поддержал ее Николай Павлович.— Сладко поспать после Соседки с молодой соседкой!..

Яшин подумал, что этот каламбур у Николая Павловича был, наверное, дежурным. Ведь Соседку они всегда проезжают утром и, наверное, всегда после нее ложатся спать.

Яшин пропустил Сашу вперед. Она задернула штору на окне, сняла тапочки и, не раздеваясь, легла на нижнюю полку лицом к стене, укрывшись до пояса тонким казенным одеялом.

Яшин хотел лезть на верхнюю полку, но Саша, не поворачиваясь, сказала, чтобы он ложился внизу: наверху будет душно.

Он так же, как и Саша, не стал раздеваться и лег, укрывшись одеялом до пояса. Только теперь он почувствовал, до какой крайней степени устал и как скверно у него на душе. «Тоже от усталости, наверное», — подумал он.

Он лежал и смотрел на Сашу. Ее бедро, укрытое одеялом, подымалось значительно выше ее плеча.

«Какие все-таки у женщин толстые, большие бедра,— подумал вдруг Яшин.— И почему это считается красивым?.. Тьфу, черт! — опомнился он.— Что это со мной сегодня? Надо уснуть поскорее».

Он повернулся на другой бок к стене, закрыл глаза.

«Вдруг я не смогу уснуть? — подумал он в страхе.— Ведь днем не привык спать»...

Он лег ничком, обнял подушку и попытался вспомнить Галю. Но все, что приходило ему на память, было каким-то стертым и расплывчатым. Можно было подумать, что Галя — не его теперешняя любовь, а что-то давно прошедшее.

«Да и какая это на самом деле любовь!» — подумал он вдруг, и сердце сжалось у него от чувства пустоты и одиночества. Он снова повернулся к стене и стал изучать на ней однообразные узоры вагонного линкруста. Но сон не шел, и на душе не становилось легче. Он испытывал какое-то беспокойство, словно забыл сделать что-то важное. В груди саднило, давило, и нервы были странно напряжены. Он был сейчас значительно дальше от сна, чем в первые минуты после того, как лег.

«Неужели так и не засну?..» Как он будет работать, не успев хоть немного?

«Проклятье!.. Если бы не учеба, можно было бы уйти отсюда, поступить на какой-нибудь большой завод, где хорошо платят. И жил бы как человек: отработал восемь, то есть семь часов, и все побоку — домой, а дома только отдых... и не надо думать о том, как сдать странички».

«Нет, так тоже нельзя! — воскликнул он шепотом.— Не смогу жить так. Я слишком привык к мысли об учебе». И вдруг он понял, что все время тяготило его, не давая забыться, заснуть. Ну, конечно же, его спор с Николаем Павловичем! Точнее — его, Яшина, роль в этом споре, его слова. Чужие слова и тяжелая роль!

«Зачем я с ним спорил?! Неужели потому, что я сын ответственного работника?! Я — мальчишка, маменькин сынок,— «воспитываю» их!.. Совсем как у Вольтера: «Не будем критиковать бога при слугах!» Как это незаметно въедается! Ведь сам ты возмущался, когда отец читал тебе казенные морали!..»

Яшин перевернулся на другой бок и увидел спящую Сашу. Вспомнил, что должен спать. Он прямо скажет, что был не прав, не искренен! При всех скажет! Только бы заснуть!

Посмотреть на часы Яшин боялся — казалось, что от двух часов, отпущенных ему на сон, остались какие-то минуты. Он со страхом прислушивался к ходу поезда: не тормозит ли уже. И каждую минуту ожидал услышать стук стрелок под вагоном.

И тут он наконец заснул...

* * *

Проснулся Яшин оттого, что кто-то тормозил его. Он был весь в поту, воротничок рубашки прилип к шее. Мокрой была даже наволочка у него под головой. В купе было жарко, душно и стоял густой пыльный полумрак.

— Вставай! — говорила Саша и улыбалась ласково.

Яшин пришел в себя и подозрительно уставился на Сашу: он чувствовал, что спал долго.

«Не вечер ли уже? В купе совсем темно. Нет, не вечер! — он с облегчением вздыхает, глядя на свои часы.— Но второй час дня!»

— В чем дело? Где мы? — спрашивает он Сашу.

— Все в порядке. Подъезжаем к Пензе!

И тут только Яшин видит, что на полке напротив, там, где лежала

Саша, лежит теперь Николай Павлович. Он тоже проснулся и садится, потягиваясь и зевая.

И Яшин, наконец, догадывается обо всем: он проспал две очереди!

— А-ах! — зевает Николай Павлович.— Сейчас Пенза... Пенза — старинное русское слово! Правда? Звучит хорошо, но захолустно. Пенза — провинция, глушь! А какой в этой глуши обменчик, чтоб ей пусто было...

— Почему вы меня после Пачелмы или Белинской не разбудили? — спрашивает тихо Яшин Сашу, когда они проходят в канцелярию. Он предчувствует ответ.

— Будил Николай Павлович, да ты не просыпался,— говорит Саша.— Обмен в Пачелме был небольшой, он и решил дать тебе выспаться.

— Эх! — шумно сокрушается Яшин. Он хочет показать Саше, как ему стыдно и неловко,— ему и на самом деле стыдно. Ведь он спал больше трех часов! Ужасно! Он косится на Николая Павловича.

— Заснуть я долго не мог,— говорит он Саше, оправдываясь.

— Ничего! — успокаивает она.— Поездишь, будешь засыпать и просыпаться, как часы. А дома будешь пугать всех по ночам: встать и кушать. Я почти всегда встаю...

ГЛАВА III

Долго тянутся первые сутки. Короткий отдых — «разминка» в кладовой за сортировкой посылок или при обмене,— и опять бесконечные письма, бесконечное хождение от угла до угла в поисках нужной клетки.

Работы, правда, поменьше, чем в ночь от Москвы, но и сил меньше...

Днем Саша варила щи на плитке, и к вагонной духоте надолго прибавился запах кислой капусты. Яшину по-прежнему не хотелось есть, но он заставлял себя, чтобы его не заставляли другие.

А за окнами уже тянулись холмы: поезд приближался к Волге.

«Насколько здесь,— думал Яшин,— привольнее и красивее, чем под Москвой! А в Жигулях еще лучше... Ведь скоро я буду почти «дома»! — Он отдыхает, глядя в окно, и мысль его работает механически: — Приедет ли мать на вокзал в Куйбышеве?» Они не видались больше года, с прошлого лета!..

«А что, если сойти в Куйбышеве? Побродить по знакомым местам и — в Москву?.. — думает он — и как о чем-то решенном: — Ведь он все равно не сможет, не будет здесь работать! Зачем же мучиться — ехать до Ташкента и обратно?»

«Стоп! — спохватывается Яшин.— А когда это ты решил, что не сможешь здесь работать! Когда? Сегодня утром?.. Ну, были сомнения, было тяжело,— вспоминает он часы своей бессонницы.— Чушь какая!»

И он спешно принимается за работу... «Ни на секунду нельзя расслабляться!»

* * *

Во время обмена на станции Кузнецк Яшин впервые увидел Николая Павловича в гневе.

Местные почтовики подвезли к вагону подозрительно много мешков с россыпью — почтой, которую надо обрабатывать «на ходу». Подвезли едва ли не больше, чем в Пензе.

Яшин удивился этому, Николай Павлович же заподозрил неладное и, перед тем как выдать расписку, вскрыл один из мешков и сразу же наткнулся на недоработанную почту,— на такую, которую полагается сортировать «на месте».

— Не приму,— сказал он сдающему.— Забирайте обратно.

Сдающий — невзрачный, средних лет мужчина — принялся нудным голосом спорить с Николаем Павловичем, повторяя чуть ли не после каждой фразы: «Не имеете права, обязаны принять...»

На лице его было выражение скуки, безразличия и в то же время упрямства. Он, очевидно, хотел взять Николая Павловича на измор.

Николай Павлович достал инструкцию, прочитал, но сдающий невозмутимо продолжал тянуть свое: «Обязаны, не имеете права», — словно и не слышал того, что ему говорили.

Яшин с интересом ждал, что предпримет Николай Павлович и как он будет себя вести. Ведь нахальство этого типа было воистину удивительным! Его поймали, что называется, за руку, а он, нимало не смутившись, пытается все-таки настоять на своем!

— Вы давно здесь работаете? — спрашивает Николай Павлович сдающего.

— Это к делу не касается! — отмахивается тот.

— Нет, касается, — повышает голос Николай Павлович. — Меня интересует ваша фамилия!

В голосе Николая Павловича, в его взгляде — гнев, безгливость, и сдающий на мгновение смолкает. Он, похоже, немного струсил, но потом снова принимается за свое:

— Это к делу не касается! Вы не имеете права...

«Он, наверное, привык для безопасности прикидываться дурачком!» — мелькает у Яшина.

— Я вижу, вы простого русского языка не понимаете, — глухим от бешенства голосом говорит Николай Павлович. — Но фамилию вашу я все-таки узнаю! И к делу это касается, потому что я буду говорить в Москве, чтобы вас убрали отсюда, как убрали в прошлом году по моему настоянию вашего соседа — заместителя начальника из Ново-Спасского ЖДО. Моя фамилия — Добрушкин. А пока — получите расписку за эти, — он показывает рукой, — три мешка (всего мешков около десяти) и уберите отсюда!..

Он поворачивается к сдающему спиной, надевает очки и пишет расписку.

— Вы... вы, товарищ, — слышит Яшин прерывающийся голос сдающего, — со мной не торгуйтесь!.. Принимайте все, что положено, или... я вынужден буду составить соответствующий акт!

В голосе его Яшину слышится страх. Страх и нахальство. («Ну и тип!»). В вагоне на мгновение становится очень тихо.

— Что-о такое?! — переспрашивает, наконец, Николай Павлович. — Акт?! Сейчас я вам устрою акт — долго будете помнить!

Дописав расписку, он не отдает ее сдающему, а сует в карман своего халата. У него, видимо, созрел какой-то план. Он быстро перебирает мешки с недоработанной почтой и отбрасывает один в глубь вагона, другие — к проходу в тамбур.

Сдающий в недоумении следит за ним. С напряжением ждет развязки и Яшин, в тревоге посматривая на часы: до отправления поезда остается меньше трех минут.

— Вы дадите мне расписку или не дадите? — кричит, теряя терпение, сдающий.

— А ну-ка потише здесь! — обрывает его Николай Павлович. — Миша! — говорит он Яшину, не спуская глаз со сдающего, — вынеси эти живо на платформу! — он показывает рукой на мешки, лежащие у прохода.

Сдающий срывается с места, кидается к своим мешкам, но дорогу ему пересекает Николай Павлович.

Руки сдающего протягиваются вперед, чтобы оттолкнуть Николая Павловича, но он тут же отдергивает их, словно боясь обжечься.

Яшин хватает сразу пять мешков и тащит их из вагона. Ему немного жалко, что сдающий не толкнул Николая Павловича. Он уже приготовился услышать роскошный грохот, с которым сдающий, падая, опрокидывал бы табуретки за своей спиной после ответного удара. Сдающий выше и много моложе Николая Павловича, но Яшин не сомневался, что все было бы именно так. Ну а в случае чего он бы «помог» Николаю Павловичу немножко...

Сбросив мешки на платформу, Яшин кидается обратно в вагон. Сдающий по-прежнему стоит в углу канцелярии.

— Отойдите немедленно! Вы не имеете права! — кричит он на Николая Павловича. — Вы злоупотребляете властью!

— Тише! Ничем я не злоупотребляю, — тихо отвечает ему Николай Павлович. — Я просто стою на твоем пути...

Яшин выкидывает из вагона остальные «недоработанные» мешки и снова бегом возвращается в канцелярию.

На шум прибежали Саша и Анна Романовна. С испугом и недоумением смотрят они то на Николая Павловича, то на сдающего.

Николай Павлович, увидев Яшина, делает шаг в сторону.

— А теперь вон отсюда! — приказывает он. — И побыстрее!.. Вот ваша расписка!..

Но сдающий не берет ее и не выходит из вагона. Глаза его побелели от злости.

— Я подам на вас рапорт! За срыв почтового потока! — кричит он визгливо, брызгая слюной. Длинная шея его покраснела, раздулась. Куда только девались его скука и безразличие! — Я не выйду из вагона, пока вы не выдадите мне полную расписку!

Николай Павлович не отвечает ему. Садится за свой стол и просит Яшина сбежать за постовым или дежурным по станции. Яшин кидает взгляд на часы.

— Не бойся, — говорит ему Николай Павлович, — если поезд тронется, я сорву стоп-кран: я обязан удалить из вагона посторонних!

Яшин в третий раз кидается к выходу. Но в тамбуре, сильно толкнув его плечом, мимо проскакивает сдающий. Грубо ругаясь, он скрывается в вокзале. В ту же минуту поезд трогается...

«Вовремя спохватился, жулик!» — сожалеет Яшин и, заперев дверь, возвращается в вагон.

* * *

После отправления — разбор «операции».

— Что здесь самое возмутительное?! — спрашивает Николай Павлович. — Что он пытался ловчить? Свою работу пытался на чужие плечи взвалить? Эка невидаль!.. Самое возмутительное, мне кажется, здесь то, что всякое ничтожество, чуть что, пытается действовать с «позиции силы», наглостью брать, нахрапом!..

— И полная бессовестность! — вставляет Анна Романовна. — Ведь он же знает, что мы иной раз и свою-то работу едва успеваем сделать... Ведь если он не успел, — объясняет она Яшину, — он может к следующему поезду сдать. Контрольный срок у них — видимость одна. А если мы не успеем — провоз! Если этому же сукиному сыну сдать провезенную почту — он первый же акт составит!

— А что вы теперь думаете с ним сделать? — спрашивает Яшин Николая Павловича.

— Не знаю, — пожимает плечами Николай Павлович, — посмотрю. Скорее всего ничего делать не буду. Если это дело поднять в Москве, — объясняет он Яшину, видя его удивление, — то здесь всем ведь вмажут — чохом! А они, если разобраться, не виноваты. Работников-то здесь товарищ Случай набирает. Больше половины штата за год обновляется.

И пока будешь в Москве возиться — бумагу и время переводить, этот тип, наверно, сам уже отсюда уйдет. Перейдет на сортировку картошки или в сельпо сеledкой торговать!..

* * *

— Пойдем, сейчас Волга будет! — говорит Саша.

Они вышли в тамбур, открыли дверь. Свежий пахучий воздух ударил в лицо, и чувствовался уже в нем неповторимый запах большой реки. Или это только казалось?

Саша держалась за одну ручку, Яшин — за другую. Ее юбка полоскалась на ветру, была Яшина по ноге. Он чувствовал, как Саша время от времени прижимала ее рукой к коленям, оттягивала книзу. Они смотрели вперед, за холмы, откуда вот-вот должна была показаться Волга.

Дорога изгибалась среди холмов, поворачивая то влево, то вправо. И, когда она поворачивала вправо, становился виден состав, удивительно длинный, весь в окнах.

Шел восьмой час. День все-таки кончался, и от этого было веселее на душе. Проехать бы только поскорее Куйбышев!..

— Волга! — крикнула Саша.

Яшин посмотрел, куда она показывала. На далекой равнине, открывавшейся за грядой холмов, он увидел серебристую полоску. Но Яшин отвел от нее взгляд. Он хотел дожидаться, когда поезд подойдет ближе и Волга откроется по-настоящему. Не любил он постепенность в приближении.

Стал смотреть, как садится солнце, как огромный малиновый шар быстро опускается из-за тучи на узкую полоску чистого неба между тучей и горизонтом.

И вдруг увидел, как по вершинам дальних холмов разливается удивительный фиолетовый свет и синие, поросшие лесом холмы один за другим становятся фиолетовыми.

— Посмотри, как красиво! — сказал Яшин, легонько обнимая свободной рукой полные Сашины плечи. — Нигде все-таки нет таких закатов, как на Волге!

А вот и она — во всю ширь открывается из-за поворота.

Паровоз спешит к ней. Из трубы, подталкивая друг друга, вырываются клубы черного плотного дыма, седой ус пара дрожит, вьется под цилиндром. Паровоз спешит, тянется к Волге.

Яшин смотрит на нее, забыв и о закате, и о Сашиных плечах под его рукой.

На Волге он прожил более года. Правда, было это едва ли не самое горькое и тяжелое время в его жизни — но какое все это имеет значение? Может быть, только то, что Волга запечатлелась в его памяти в красках приглушенных, серых, вечерних. Такая, как сейчас: темная, свинцовая в тени берега, потом бледно-розовая, голубая и, наконец, серебристая у дальнего края.

Поросший молодыми дубками холм закрыл было Волгу, но через минуту-другую она снова открылась, и еще ближе, чем прежде.

Был уже виден берег под кручами — гладкий, вымытый половодьями, бурый от нефти волжский берег! Серые крыши рыбацких хижин виднелись на нем, черные, узкие лодки лежали возле них на песке. Лодки все были с высокими острыми носами и с тупой квадратной кормой — дочерна просмоленные волжские лодки!

Колесный буксир медленно тащил по реке длинную цепочку старых барж. Настоящие деревенские избы стояли на их корме. Колеса буксира шлепали по воде монотонно и гулко. И какой же это был раздольный, старинный волжский звук!

Но лучше всего был ветер: свежий, пьянящий, пахнущий смолой и

свободой. Им невозможно было надыхаться, и хотелось лететь вместе с ним...

— Пойдем, что ли,— сказала Саша.— Пора и честь знать!

После волжской свежести воздух в вагоне показался затхлым, нечистым. Пахло клеем, бумажной пылью и сургучом.

— Ну что? Волга? — спросил Николай Павлович, поднимая голову от накладных, когда Яшин и Саша вошли в канцелярию.

— Волга,— сказала Саша, усаживаясь на табурет около своего стола.

— Открыть бы окна,— сказал Яшин.

— Не положено,— ответил ему Николай Павлович.— Я ведь могу залезть на крышу. Да! А ты мне будешь через окно посылки малогабаритные подавать или ценные письма...

— Неужели такое случается?

— Случается,— с усмешкой протянул Николай Павлович.— Раз в сто лет!..

* * *

— Саша, а где раньше работал Николай Павлович? — спросил Яшин, когда тот вышел из канцелярии.

— Где? На почте,— ответила Саша,— он давно работает на почте, с довоенных лет, с юности. В войну воевал, а после войны одно время был начальником отдела линий! — с гордостью сказала Саша.

— Был — а почему перестал?

— Схлестнулся крепко с кем-то в министерстве, ну и «ушли» его оттуда или уж сам ушел — не знаю.

— А из-за чего схлестнулся-то?

— Этого я тоже не знаю. Болтают разное. Нам не положено знать, из-за чего начальство дерется,— улыбнулась Саша.

«Вот оно как!» — Яшин был очень доволен тем, что услышал от Саши.

* * *

Чем ближе к Куйбышеву, тем беспокойнее на душе у Яшина. Радость от приближения к местам, ставшим для него второй родиной, сменяется вдруг тоской: он проедет мимо них и всегда будет проезжать мимо (если будет ездить!), потому что места эти теперь для него почти совсем чужие.

И эта дикая мысль — сойти с поезда в Куйбышеве!.. Она не забывается, как надеялся Яшин. И он боится ее, старается поменьше оставаться наедине с собой и со своими мыслями. Как только выдается свободная минута, он ищет собеседника, и им все чаще оказывается Саша: посильнее других отвлекает...

К тому же, поддаваясь на расспросы Яшина, она рассказала ему кое-что о своей жизни, и после этого он стал несколько иными глазами смотреть на нее.

Так он узнал, что Саша уже одиннадцать лет работает на линии, что она не замужем, что у нее есть два брата. Оба моложе ее. Один, женатый, работает, другой, младший, — служит в армии. Узнал, что старший брат сидел в тюрьме и сейчас продолжает вести себя плохо: пьянствует, дебоширит. Узнал, что у Саши нет отца.

Ее отец — паровозный машинист, умер вскоре после войны от заворога кишок. Умер прямо на паровозе, во время поездки. Нежность и любовь к отцу чувствовались в Сашиных словах, когда она рассказывала о нем. Многие со смерти отца переменялись в жизни Саши и, вероятно, в ее характере и в ее взглядах на жизнь. Сашина мать стала часто болеть, и главой в семье сделалась Саша. Она пошла работать на «линию», чтобы больше зарабатывать, а «отгульное» время отдавала огороду и надомной работе — разрисовывала посуду.

Когда подрос и пошел работать старший брат, Саша снова начала

было учиться, но в семье опять стряслась беда — старший брат «связался с компанией» и угодил в тюрьму на пять лет.

Напуганная судьбой старшего брата, Саша решила во что бы то ни стало вывести в люди младшего. Она очень любила его: он, по ее словам, был «всем вылитый отец». Саша снова ушла из школы, снова стала брать домой тарелки для разрисовки и настояла, чтобы брат не бросил учебу. Она мечтала увидеть его с дипломом инженера. Но пока ее мечты осуществились лишь наполовину: аттестат зрелости он получил, а в институт не попал: не прошел по конкурсу. Ему надо было набрать очень много очков, так как он не имел трудового стажа.

— А сама ты не хочешь больше учиться? — спросил Яшин.

— Нет, — спокойно ответила Саша, — тяжело и поздно уже. Да и мама у меня на руках. Болеет часто, а до пенсии ей еще семь лет... Ничего не поделаешь, — добавила она, видя молчаливое сожаление в глазах Яшина. — Жизнь не всегда складывается так, как хочется! — и причмокнула уголком губ, как любила это делать.

«Да!.. Что моя жизнь в сравнении с ее?» — думал Яшин со стыдом за те минуты слабости, когда считал себя несчастным, и особенно за то, что нередко с гордостью рассказывал другим о своих злоключениях. Нет! Ему еще положительно нечем было «гордиться». Что было бы с ним на ее месте? Был бы он так же спокоен, уверен в себе, так же весел и даже беззаботен, как она?!

А сколько она трудилась за свою жизнь! С раннего детства! Какое нужно иметь терпение! «Терпение?» Это всегда поражало его во многих так называемых «простых людях». Поражало, но не вызывало уважения: слишком уж было непонятно. Вызывало только жалость. Теперь же у него, кажется, впервые возник странно взволновавший его вопрос: «Терпение? А может быть, мужество?»

ГЛАВА IV

Грохочут пролеты: поезд въезжает на мост через Волгу.

За окнами уже совсем ночь. Яшину хочется позвать Сашу в тамбур, но в последнюю секунду, представив себе, как там темно, он передумывает и идет один.

В открывшуюся дверь врывается холодная темнота и грохот. Ближе мелькают косые стропила моста. Осторожно высовываясь из дверей, Яшин смотрит вниз. Черная далекая вода слабо серебрится внизу, но вечерняя сырость от нее доходит до поезда. От ущербного месяца на воде лежит узкая яркая дорожка, и вода из-за этого кажется еще чернее.

Противоположного берега, к которому осторожно движется поезд, не видно за мглою ночи. Лишь несколько огоньков мелькает в той стороне, но и это, возможно, еще не берег, а только пароходы или баржи.

«Мать, конечно, не придет: слишком поздно, — думает Яшин. — У нее никого нет в Куйбышеве, чтоб переночевать. И хорошо... Обойдется как-нибудь без формальных нежностей — не маленький!» Яшин поворачивает голову и смотрит назад. Там, в решетчатом тоннеле моста, уходят в синюю темноту освещенные окна вагонов. И почти у всех окон, наверное, стоят люди.

«Почему всегда так волнует переезд через Волгу? Словно это рубеж или граница! Да, для меня это сейчас действительно рубеж. Поскорее бы уж только он остался позади!..»

Яшин еще минуточку-другую стоит в оцепенении над сырой, грохочущей бездной и возвращается в вагон.

В вагоне тихо, тепло, уютно. Ярко светят лампы над стеллажами, Саша сидит на табуретке боком к столу, кидает в мешок пачки перевязанных бечевкой писем — и смеется, слушая Анну Романовну, которая с отверткой в руках возится с ее настольной лампой.

Николай Павлович, улыбаясь, слушает их разговор и греет сургуч над свечкой, держа в другой руке завязанный мешок...

И, наконец, Куйбышев.

Ярко освещенный вокзал медленно проплывает мимо.

Из-за широкой спины Николая Павловича Яшин смотрит на мелькающие в проеме дверей лица встречающих.

На всех лицах улыбки, все тянутся кверху, высматривают своих. И все смотрят мимо их дверей. Их никто не ждет, кроме, разумеется, сдающих с доверху нагруженными тележками.

Но — что это?! Ему померещилось, или это она? Все-таки приехала!.. Нет, это ему показалось...

Но когда они открыли двери кладовой и начали сдавать первые мешки, он снова увидел ее, неловко пробивающуюся сквозь толпу.

Сердце у него неожиданно больно сжалось.

— Здравствуй, мой дорогой! — кричит мать, мелкой трусцой, вперевалку, подбегая к вагону.

«Зачем она бежит!» — думает Яшин с досадой.

Она останавливается внизу, у самых дверей, мешая сдающим. «Какая она старая стала!» Ее толкают, оттирают. Она снова проталкивается.

Яшин взглядывает на нее каждый раз, когда передает наружу посылки, и не знает, что ему делать.

— Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать... — Николай Павлович подает посылки одну за другой. — Двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь! Все! — кричит он из глубины кладовой и передает Яшину документы на следующую группу.

— Жигулевск — девятнадцать! — кричит он Яшину.

— Я привезла тебе пирог с маком. Как ты себя чувствуешь? — кричит мать с платформы и подымает вверх свою сумку. Пирог с маком — его любимое в детстве лакомство.

— Жигулевск — девятнадцать! — повторяет Яшин за Николаем Павловичем, передавая документы на платформу.

— Ты не торопись, я подожду! — кричит мать.

«Не торопись!.. Зачем она приехала?.. Ведь поезд стоит здесь всего пятнадцать минут, а обмен огромный!.. Не надо было мне ей писать»...

— ...Три, четыре, пять, шесть... — Он не сможет даже ничего ей сказать. — ...Восемнадцать, девятнадцать! Все! — кричит Николай Павлович.

— ...Девятнадцать! Все! — как эхо, повторяет за ним Яшин.

— Ново-Куйбышевск — двадцать три! — раздается голос Добрушкина.

— Ново-Куйбышевск — двадцать три, — кричит Яшин, передает посылки и смотрит на станционные часы. Осталось десять минут, а надо сдать еще две группы и неведомо сколько принять: одна, две, три, четыре — груженных с верхом тележки.

— Двадцать, двадцать раз, двадцать два, — считает он вслед за Николаем Павловичем.

И видит, как мать, деланно улыбаясь, оглядывает сдающих почтальонов. Неужели она хочет кого-нибудь просить, чтобы его освободили? — Яшин со страхом следит за ней глазами.

— Передай папе привет! — кричит он, задержав на мгновение очередную посылку.

— Подавай по-человечески! — кричат ему с платформы.

— У меня все в порядке!..

Он кричит это, чтобы она поняла, что он не сможет с ней поговорить.

— Пройдите, пожалуйста! Пройдите сюда! — слышит вдруг Яшин голос Анны Романовны. Это она кричит матери. Он не видит Анны Романовны: она кричит из тамбура, но мать смотрит на нее.

Через секунду Анна Романовна появляется в кладовой.

— Иди, иди! Я помогу, — толкает она Яшина.

Яшин вопросительно смотрит на Николая Павловича. Тот молча кивает ему: «Иди».

Мать стоит в тамбуре. На ней ярко-желтое платье, большая брошь на груди, руки в белых перчатках.

— Здравствуй, мой милый! — говорит она, целует его и тут же начинает стирать помаду с его щеки своим платочком, от которого резко пахнет духами. — Как ты похудел! — говорит она оживленным голосом, но в глазах у нее стоят слезы. — Ты здоров? Почему редко пишешь? Папа себя очень плохо чувствует и очень о тебе беспокоится. Я спекла тебе пирог с маком, — она сует в руки сына сверток и снова целует его. — Папа велел, чтобы я спекла!

— Спасибо, — говорит Яшин и усмеяется про себя, угадывая ее старую хитрость. «Отец наверняка ворчал: «Делать тебе нечего, вонь развела в доме! Отблагодарит он тебя!» — или что-нибудь в этом роде».

— Только съешь его сам, пожалуйста! — говорит мать тихо, просительно.

Яшин молчит, и она тихонько вздыхает: понимает, что он не слушает ее.

— Как ты себя чувствуешь? — спрашивает Яшин и перекладывает сверток с пирогом из руки в руку: он мешает ему — на руках у него рукавицы, он хочет их снять, но не может этого сделать из-за пирога.

— Что ж ты не пригласишь в вагон? — раздается из кладовой голос Николая Павловича.

Они входят в канцелярию. Мать оглядывает ее, потом смотрит на сына и снова вздыхает. Ему понятен смысл ее вздоха.

«Как она постарела, располнела и как накрашена неаккуратно!» — думает он с болью и досадой, глядя на ее грубо нарумяненные щеки, на красные, запачканные помадой зубы.

— Как папа себя чувствует?

— Очень плохо!

Она начинает рассказывать о том, что врачи нашли у него новое осложнение, а старое все прогрессирует...

Яшин кидает взгляд на стенные часы. До отправления еще пять минут. Этот срок кажется ему сейчас огромным...

* * *

Поезд медленно набирает скорость. Яшин высовывается из тамбура и машет рукой.

Мать стоит в конце платформы. Одной рукой она машет ему, другую, с платочком, держит около глаз.

Тяжело и смутно на душе у Яшина. И очень жалко ему мать. Каково ей теперь с вечно брюзжащим отцом, в чужом незнакомом городе, без дела, без московских удобств и развлечений и без всякой надежды на перемену... до самой смерти — ее или отца. Сердце у него нестерпимо болит. И не уважает он их, да и не любит, а как жутко думать, что они могут скоро умереть, что их, может быть, скоро не будет...

И зачем отцу надо было уезжать из Москвы? Гордость? — Какая, к черту, гордость! Гонор, злоба, самолюбие, упрямство. Всю жизнь он ей отравлял и под конец еще раз постарался!..

— Чего ж ты не сказал, что тебя мать встречать будет? — спрашивает Николай Павлович.

— Не ожидал: поздно...

— А на обратном пути? Мы здесь будем рано.

— Нет, она не сможет,— соврал Яшин, решив тут же про себя, что он немедленно напишет ей и строго-настрого запретит приезжать. Во-первых, она уже не молодая, чтобы трястись в автобусе восемьдесят километров туда и восемьдесят обратно ради каких-то пятнадцати минут. Во-вторых, в Куйбышеве тяжелый обмен, и неудобно, что за него, самого молодого в вагоне, будут трудиться другие...

Но он и себя обманывал. Было еще существенное «в-третьих»: он стыдился за свою мать перед Николаем Павловичем, Анной Романовной, Сашей. Стыдился за ее яркий не по возрасту наряд, за ее платочки, перчатки, за ее резкие духи и краски. И, главное, он был уверен, что она не сможет разговаривать с ними просто — будет говорить любезно! Этого он больше всего боялся... Этого он больше всего не любил в ней. В этом она была куда хуже отца. В ней жило какое-то врожденное сознание своего превосходства над всеми, за исключением, разумеется, начальников отца и их жен.

Яшин стыдился своей матери, чувствовал себя за это немного подлецом, но ничего не мог с собой поделать.

Тяжело было у него на душе... Тяжело самой скверной тяжестью — тяжестью безвыходности.

* * *

Вторая ночь в пути. За окном пылают факелы, освещая своим тревожным багровым светом решетчатые силуэты нефтяных вышек,— поезд идет мимо нефтяных промыслов Заволжья.

До чего же красиво горят эти факелы! Яшин часто засматривается на них. Они бегут за поездом в ночи, манят к себе, говорят о чем-то очень серьезном, о жизни интересной...

Яшин читал в газете, что в среднем в одном таком факеле за полторы минуты сгорает столько нефтяного газа, сколько хватило бы на изготовление тысячи пар капроновых чулок.

Он говорит об этом Саше и Анне Романовне. Саша смеется, Анна Романовна возмущается.

— Но, наверное, капроновые заводы не могут весь этот газ использовать? Мало, наверное, их еще? — спрашивает Саша.

— Да, конечно, однако...— Яшин секунду колеблется, но, вспомнив свои утренние размышления, решительно рассказывает им все, что знает про факелы и нефтяной газ. Что газ этот можно при желании без особого труда закачивать обратно в землю, в те самые пласты, из которых добывается нефть, а потом, по мере надобности, его оттуда выпускать и по трубам перекачивать на химические заводы, как это с давних пор уже делается во многих странах. Что только в Куйбышевской области за два года сгорело такое количество газа, которого хватило бы на семь лет для отопления города Куйбышева и еще на производство четырех миллионов метров искусственного шелка. Что кроме шелка из нефтяного газа можно производить еще и дешевый спирт, и полиэтилен, и каучук, и множество других ценнейших материалов... И что, наконец, запасы нефти и, стало быть, нефтяного газа весьма, весьма ограничены.

— Да, это тебе уже не дамские чулки! — сказал Николай Павлович, внимательно глядя на Яшина.

Скрытое удивление почувствовал Яшин в его взгляде и порадовался про себя, что решил быть откровенным.

Разобрав первые куйбышевские мешки, сели ужинать. Яшин разделил между всеми маковый пирог, привезенный матерью. Анна Романовна попыталась было протестовать: «Ведь мать-то небось готовила, думала, тебе его на всю дорогу хватит!»

— Так он слаше будет, не зачерствеет! Верно я понимаю? — подмигнул Николай Павлович Яшину.

— Верно! — рассмеялся Яшин.

Пирог всем пришелся по вкусу. Тесто было слобное, маку много, и был он сочный, на меду. Мать, видно, постаралась.

— А твоя мать хорошо готовит! — сказала Саша.

— Ты ей отпиши, что мы, значит, все благодарим. Хозяйке это всегда приятно! — посоветовал Николай Павлович.

Яшин был рад, что хоть тут ему не пришлось краснеть за мать.

Хороший это был ужин.

Но вскоре после него Яшина стало вдруг необоримо клонить ко сну. Он готов был пальцами поддерживать свои закрывающиеся сами собой веки. «Проклятая привычка спать по ночам!»

Невольно вспомнилась ему шальная мысль: сойти, остаться в Куйбышеве. Он удивился, что не вспомнил об этом в самом Куйбышеве...

«Это потому, что мать приехала», — понял он.

* * *

Поезд застрял на каком-то маленьком спящем полустанке. Впереди, перед паровозом, светился красный глаз светофора, а за станцией — казалось, прямо за домами — полыхали, отодвигая ночь, два больших газовых факела.

Яшин спрыгнул на землю. Он был рад случайной остановке: надеялся размяться, подышать чистым, прохладным ночным воздухом — хоть немного разогнать сонливость.

Но воздух оказался неожиданно теплым, даже душным. «На юг едем, — подумал Яшин. — Или это от факелов так жарко?»

Они горели совсем близко, и вблизи были по-новому красивы и по-новому значительны. И, пожалуй, самым красивым в них было неожиданное возникновение среди золотисто-малиновых волн огня черных бурунов сажи.

Клубы сажи тщетно пытались вырваться, спастись из огня. Но пламя настигало их, обволакивало, затягивало в свою огненную пасть и энергично пережевывало золотыми челюстями.

«Как спокойно и уверенно они горят!» — думает Яшин. Он стоит и заворожено смотрит на огонь, на эту дьявольскую игру красного и черного. Он помнит, что ему надо встряхнуться, походить, размяться, но никак не может заставить себя оторваться от этого гипнотического зрелища.

Его полуспящая воля совсем уже отказывается служить.

— Садись — зеленый! Сейчас поедем! — слышит он словно сквозь сон Сашин голос. — Миша! Останешься! — Скрежет дернувшихся вагонов заставляет его очнуться.

Саша стоит над ним и протягивает ему руку. Он хватается за поручни. Крышка над лестницей не откинута, и он с трудом нащупывает ногой нижнюю ступеньку. Перед его глазами, совсем близко, белеют голые Сашины ноги. Саша поспешно отходит назад, освобождая ему место на площадке.

— Ты что заснул, что ли? — улыбается она, внимательно глядя ему в лицо, когда он взбирается, наконец, в тамбур.

* * *

В конце ночных последних известий передают сводку погоды: «...В Ташкенте — 37, в Ашхабаде — 40 градусов тепла», — сообщает диктор.

— Ничего! — говорит Николай Павлович. — Завтра мы уже ее почувствуем — парилку азиатскую!

— Уже сейчас чувствуется, — говорит Яшин. — Ночь здесь удивительно теплая.

— Ох, как я ненавижу эту жару! — говорит Саша. — Все бы ничего, но эта жара...

«Ну, конечно, у нее ведь сердце нездоровое, — вспоминает Яшин. — А мне бы выспаться только, и плевать хоть на сорок пять градусов!»

Он порой уже ничего не видит — так ему хочется спать, и он несколько раз ловит себя на том, что кладет письма разных направлений в одну и ту же клетку. Знает, что ему надо сделать два шага в сторону, но кладет все письма в одну и ту же клетку: ему мерещится, снится наяву, что он уже сделал эти два шага. Не помогает даже «физкультура» с посылками в кладовой. Николай Павлович несколько раз делает ему замечание за то, что он неправильно и не на место кладет посылки.

И в тот момент, когда Яшину кажется, что он уже больше не может терпеть, что он сейчас заснет прямо у себя за столом, Николай Павлович вдруг подходит к нему и, внимательно взглянув на него, отсылает спать.

— У тебя уши покраснели, — говорит он то ли всерьез, то ли в шутку. — Тебе надо идти спать. А после тебя Саша пойдет. До Сорочинской продержишься? — спрашивает он Сашу.

— Продержусь! — отвечает Саша.

Яшин молча смотрит на нее: правду ли она говорит? Играть в джентльменство у него нет сил, да и теперь это покажется слишком фальшивым: надо было возражать сразу, а не ждать, что она скажет!

Яшин кончает мешок — в этой маленькой демонстрации он не может себе отказать — и идет спать.

На этот раз он засыпает, как только голова касается подушки...

* * *

И будят его на этот раз вовремя. На смену ему ложится спать Саша. За окном брезжит рассвет. Местность, проносящаяся мимо, неузнаваема: ровная, как стол, бурая, выжженная солнцем степь. Вся она словно в кочках — в редких кустиках ржавой, засохшей травы.

Ночь съела и зелень, и холмы, и реки, и села. Россия кончилась, только названия станций еще русские, хотя и то скорее казачьи: Переволоцкая, Сырт, Донгузская, — все, наверное, бывшие станицы.

«Два дня и две ночи будут еще эти степи, прежде чем мы доедем до Ташкента, — думает Яшин. — Мы еще не проехали и половины пути до него, и четверти пути вообще!»

Тоска сжимает сердце. Сколько уже раз он давал себе слово не думать о том, много ли осталось, и ничего не выходит! Но делать нечего — надо продолжать бороться с собой.

«Саша, Николай Павлович — они привыкли, и я привыкну... Если у меня есть воля!»

Короткий двухчасовой сон, казалось, почти не прибавил ему сил, но прибавил злости. А злость иногда — та же сила.

Яшин долго мылся: лил воду на темя, на грудь, на спину, — но вода была теплой и почти не освежала.

Болела голова, подташнивало, но противнее всего была боль, тяжесть в глазах, словно на них что-то давило снаружи.

Противно ему было и его лицо в зеркале: бледное, осунувшееся, с тенями под глазами, с покрасневшими веками.

Яшин брился, но подбородок оставался синим, и синие полоски опускались от углов губ к подбородку. Они придавали лицу выражение за-

моренности, слабости. Но как он ни скреб лицо бритвой — даже кровь показалась в порах, — синева не исчезала. Это тоже было признаком усталости.

— Не выспался? — спросил Николай Павлович, когда Яшин вошел в канцелярию.

— Да нет, ничего, — ответил Яшин, срывая бечевку с постпакета и принимаясь за работу.

— Чего уж там — ничего! Ясное дело — не выспался. К нашему режиму за один раз не привыкнешь. Тут стыдиться нечего... Потерпи еще немного. Скоро Оренбург, ну еще Илецк, а там отдохнем, отоспимся: обмена пойдут жидкие...

Яшин с завистью посмотрел на его массивное, смуглое лицо, на котором почти не было заметно никаких следов усталости.

Николай Павлович словно угадал его мысли.

— Вам теперь труднее приходится, — сказал он. — Когда я начинал, работали по этапной системе. Больше одних суток никто не ездил. Потом этапы увеличили, потом совсем отменили. Так мы и привыкали, постепенно, к этому режиму.

Николай Павлович улыбается. Смеется Анна Романовна. Она уже встала и принялась за уборку. Яшин удивленно смотрит на Николая Павловича: он первый раз слышит о поэтапной системе.

— Я не знал, я думал, всегда было так, думал — иначе нельзя...

— Думал, думал!.. Ничего ты как раз и не думал! Подожди, я тебе растолкую. — Николай Павлович дописывает накладную и рассказывает: — До тридцатых годов почтовые бригады работали только по этапному принципу, как, например, и сейчас еще работают паровозные бригады. Но с годами росло количество почтовых грузов, сокращались стоянки поездов на станциях, и содержимое почтовых вагонов приходилось сдавать — принимать второпях, на веру. Кое-что ценное пропадало раз-другой — вот и стали вводить сквозные бригады. Теперь даже на линии Москва — Владивосток работает одна бригада, которая находится в пути более двадцати суток!

— Да! — качает головой Яшин. — Цивилизация! Ничего не поделаешь...

— Это что? Новое ругательство, что ли? — усмехается Николай Павлович, взглядывая на Яшина поверх очков.

— Я просто хочу сказать, что... люди больше пишут, ну и поезда должны быстрее ходить...

— Понятно, — кивает головой Николай Павлович. — Ты хочешь сказать, что так нам и надо? Правильно?

— А что тут можно поделаться?

— Что тут можно поделаться! — Николай Павлович молчит, подыскивая слова. — Запомни, — говорит он, наконец, — все, что сделано руками человека, можно этими же руками и переделать! Смешно об этом говорить в наше время. Надо только пошевелить немного извилинами и иметь к тому желание! Ну, и извилины, разумеется!.. А чтоб появилось желание, что нужно? — Николай Павлович, улыбаясь, смотрит на Яшина поверх очков. По утрам у него, очевидно, бывает хорошее настроение. — Нужна не-об-хо-ди-мость!.. Правильно я связываю? С точки зрения философии? Вам ее преподают в Институте связи?

— Нет еще...

— Ну, неважно. Мы все отродясь философы. Итак, нужна необходимость. А вот ее-то и нету! Почта работает? Работает. Долго письма идут? Посылки залеживаются? Пустяки в наш переходный период!

— Ну, а что же все-таки можно сделать, чтобы не было риска... хищений? — спрашивает Яшин.

— Очень много чего, — отвечает Николай Павлович, снимает очки и

поворачивается на табуретке к Яшину. — Можно, — загибает он пальцы, — принимать — сдавать вагоны на ходу, между двумя станциями! Свежая бригада садится, спокойно принимает от нас в пути вагон, а мы на следующей станции сходим, отдыхаем и обратно — сменяем бригаду встречного поезда. Сутки туда, сутки обратно. Просто? — Просто! Можно попробовать на некоторых линиях, как, кажется, делают немцы, чтобы начальник вагона ехал весь маршрут, а бригады бы менялись. Так? Можно сократить, наконец, вот эту писанину, — он показывает рукой на свой заваленный накладными стол. — Ты думаешь, она тоже обязательна? До пятьдесят восьмого года приходилось приписывать каждое заказное письмо! Спроси у Саши, она тебе расскажет. Теперь додумались, наконец, разрешили заказные письма одного направления принимать, фиксировать по счету. Но ведь мы по-прежнему еще приписываем «поименно» бандероли, переводы, посылки... Если подумать, можно писанину сократить еще процентов на семьдесят, ну на пятьдесят минимум. Много чего можно придумать! — Николай Павлович помолчал. — Я уж не говорю о том, что можно было бы немного увеличить и штаты, особенно на станциях, чтобы они меньше на вагоны валили. А у нас их наоборот — сокращают! На производстве штаты можно сокращать за счет техники, а у нас за счет чего?

— За счет нас! — усмехается Анна Романовна.

— Правильно!.. Уже нашлись герои, вроде Волкова, которые берутся ездить без проводников. Нечего, мол, лениться, барствовать, — бригада сама может за чистотой и электрикой последить.

— Я слышал, — говорит Яшин.

— И Михеев, наш главный в министерстве, уже назвал это почином. А другой герой у нас, Захаренко, поехал недавно с одним помощником вместо двух! А кого ему дали в помощники? Кондратьева! Ты его знаешь? — обращается Николай Павлович к Анне Романовне.

Та кивает головой:

— Опытнейший начальник вагона!

— Точно. Два начальника в одном вагоне! Кому очки втирают?! — От веселого настроения Николая Павловича не осталось и следа.

— А на совещаниях об этом говорят? — спрашивает Яшин.

— Говорим, иногда...

— Ну и что?

— Ну, как обычно, — обещают: учтем, подумаем...

— Вся беда в том, что Михееву от ваших речей даже не икается! — говорит Анна Романовна, возмущенно потрясая венником. — Весь корень тут! Вот если Михеева начальство осудит, он сразу забеспокоится и сразу что-нибудь придумает! Потому они его и с работы попросить могут, и выговор, и его... это... рост, карьера, одним словом — все в их руках. Разве я не права? — наступает она на Яшина.

— Ты только потише, а то Сашу разбудишь! — улыбается Николай Павлович.

— Правы, пожалуй, — соглашается Яшин. «Как все действительно просто!..» — думает он.

ГЛАВА V

Какое-то воспаленное, кирпично-красное солнце вставало над степью, и природа, казалось, не радовалась здесь его восходу.

Травяные кочки-кустики еще больше бурели, делались на вид меньше, незаметнее, земля — суше, небо — бледнее...

— В самый зной едем,— заметила Анна Романовна,— то еще денек будет сегодня!

Но Яшин по-прежнему не думал о жаре и даже с радостью смотрел на безлюдную степь. Теперь-то он сумеет, наконец, отоспаться!

Жару он впервые по-настоящему почувствовал в Оренбурге. Когда они там открыли двери кладовой, их ослепил и обжег такой белый зной, что Яшину показалось, будто они открыли дверь не на улицу, а в гигантскую печь.

«Началось!» — подумал он, и ему даже стало как-то весело. Но вслед за тем он подумал, что вскоре нагреется и их вагон, и это уже не показалось ему таким веселым: Яшину было неясно, как можно жить, да еще работать в таком пекле. Он с удивлением посматривал на людей, которые входили к ним, и радовался в душе, что ему не надо быть на их месте.

Анна Романовна задернула шторы на окнах, и в косых лучах солнца, пробивающихся сквозь щели, дрожал густой серый туман пыли. Когда кто-нибудь вскрывал мешок и вываливал его содержимое в ящик, видно было, как новые плотные клубы пыли вторгались в солнечные полосы. Жутко, сколько в вагоне было пыли! Страшно даже дышать. А дышать хотелось — часто и глубоко: термометр в канцелярии показывал уже за тридцать, и от полумрака и этой клубящейся в лучах пыли духота казалась особенно густой и нестерпимой.

По совету Николая Павловича Яшин переходит на «летнюю форму одежды», — то есть остается в одних трусах и халате.

Начинается паломничество в душ, смонтированный в туалете, но теплая вода плохо освежает.

В один из моментов, когда Саша нагибается около Яшина, чтобы взять с пола мешок, он вдруг догадывается, что и у нее под халатом тоже нет ничего. «В обычное время,— думает Яшин,— это было бы, наверное, нелегко — смотреть на нее в одном халате...»

Вслед за жарой в вагоне появляются мухи. Анна Романовна вооружается самодельной картонной мухобойкой и развешивает повсюду клейкие полоски.

* * *

В Оренбурге подвозят неожиданно много почты, и долгожданный отдых приходится отложить до Илецка.

Головная боль у Яшина усиливается. До предела надоела ему и духота, и пот, от которого халат противно липнет к телу.

— В такую погоду хорошо ездить без женщин,— говорит Николай Павлович.— Когда я начинал, женщин и близко не подпускали к почтовым вагонам. Без вас мы с Мишей,— обращается он к Саше и Анне Романовне,— сейчас бы щеголяли в папуасских костюмах — и горе не беда!

— Без нас бы вас мухи съели,— ворчит Анна Романовна.

В вагоне стоит странная ватная тишина. Все устали и работают молча. Яшин то и дело взглядывает на часы: скоро ли Илецк? Но часы словно замедлили свой ход, словно и им от жары трудно двигаться быстро.

* * *

Еще до подъезда к Илецку выясняется, что «отсыпные часы» ему придется снова отложить. Николай Павлович отсылает первой спать Сашу: ему не нравится зеленый цвет ее лица.

— Работы после Илецка будет мало, и мы управимся вдвоем. Управимся, Миша?

— Конечно, управимся! — отвечает Яшин как можно веселее.

Теперь уже Саша внимательно смотрит на него, и Яшин, улыбаясь, выдерживает ее взгляд.

Он не уверен, что это получается у него очень здорово, но делает все, что может, добросовестно растягивая губы в улыбку.

— Ей надо отдохнуть,— говорит Николай Павлович, когда Саша уходит.— Если она занеможет, нам же с тобой хуже будет. Ведь еще четверо с половиной суток ехать. У меня и то иной раз при хорошем обмене поясница переламывается, а она все-таки женщина, да еще с сердцем... Знаешь, к примеру, сколько ей одной в Оренбурге пришлось перекидать? Четыреста вещей, в среднем по восьми килограммов в каждой. Вот и считай. Больше трех тонн выходит! За полчаса! Да прибавь сюда температуру. Когда впервые стали брать женщин в вагоны, на больших станциях еще работали специальные грузчики...

— Знаю!..— останавливает его Яшин. Он не знал этого, но ему неприятно было, что Николай Павлович вроде как бы уговаривает его.

Когда вслед за Сашей, закончив очередную уборку, ушла в свое купе Анна Романовна, Николай Павлович и Яшин сняли халаты и остались в одних трусах. Так было действительно легче работать: пот, испаряясь, охлаждал тело. Правда, пуше прежнего стали надоедать мухи.

— Щекотно? — посмеивался Николай Павлович, когда Яшин длинной бандеролью сгонял мух со спины или с ног.— А вот до меня им трудней добраться! — ерошил он рукой густые седые волосы у себя на груди.

Руки и грудь у Николая Павловича были крепкие, мускулистые, как у настоящего атлета, только ноги и живот выдавали возраст: живот был кругловат, а ноги — суховаты. Особенно сильно высохла у него правая нога, по бедру которой протянулся длинный лиловый шрам.

— Память о сорок первом,— объяснил Николай Павлович.

* * *

Перед станцией Мартук Николай Павлович послал Яшина разбудить Сашу.

— Сагарчин проехали? — спросила она, вытирая уголком простыни разопревшее от сна и духоты лицо.— А я так хорошо поспала! Ложись теперь ты.

— А как ты себя чувствуешь? — спрашивает Яшин, вглядываясь в Сашино лицо. Шторы плотно задернуты, и в купе темно.

— Отлично чувствую, ложись! Только отвернись, я халат накину.

— Я не лягу сейчас. Пусть Николай Павлович ложится!

— Да я же последним ложился! — услышал Яшин за своей спиной голос Николая Павловича. Он стоял в дверях купе.

— Ну и что ж из этого? — ответил Яшин, чувствуя, что на этот раз он не должен уступать.

— Как что? У нас же порядок образовался: ты первый, потом Саша, потом я...

— Вот после Саши и ложитесь! — сказал Яшин.

Николай Павлович внимательно посмотрел на него.

— Ну, ладно!.. Разбудите меня перед Сагарчином. В Ак-Булаке не забудьте сдать две маленьких из сейфа...

Он ложится спать, а Яшин и Саша принимаются за работу. Яшина по-прежнему мутит от слабости, по-прежнему донимают духота и головная боль. Но теперь он уже не обращает на это такого внимания, как раньше.

Температура в вагоне продолжает подниматься. Саша становится под душ прямо в халате. Следует ее примеру и Яшин. Пока халат сохнет, можно весьма сносно существовать. А когда халат высыхает, можно ду-

мать о том, что скоро (вот после этого мешка!) опять пойдешь в душ, и потом полчаса тебе будет хорошо.

Когда Саша в мокром халате выходила из-под душа, Яшин не старался отворачиваться: лучше уж смотреть на Сашу в мокром, облегающем тело халате и думать об этом, чем думать о жаре и о том, сколько еще осталось ехать...

А смотреть на нее можно вполне, особенно когда она ходит, нагибается, работает. Уж очень красивые — свободные и уверенные — у нее движения.

Вот ей понадобилось что-то в самом нижнем ящике стеллажа. Она вздохнула слегка — мол, старость не радость — и, подтянув кверху подол халата, присела на носки, плотно сведя колени. Но то, что она искала, лежало, видимо, в глубине ящика, и, отведя плечи назад, Саша опустила на коленки. Нашла, что искала, вскинув голову, улыбнулась Яшину — мол, встану ли теперь? — и легко встала, хлопнув рукой по влажному подолу, чтобы он опустился и расправился, как тому следует быть.

Приятно было смотреть на нее, когда она двигалась. И Яшин смотрел. И чувствовал, как поднимается в нем сладкое тепло желания, заставляя собой усталость и тоску...

* * *

Огненный, нескончаемый день остался, наконец, позади.

Яшину не верилось, что за шторами нет уже больше слепящего белого пламени и можно двигаться и разговаривать, не задыхаясь, не обливаясь потом.

Он чувствовал себя как выздоравливающий больной: еще ощущалась слабость, но душа и тело уже радовались возвратившейся силе и со светлой остротой воспринимали все вокруг...

Только мысль о неизбежном завтрашнем дне омрачала его настроение. Когда он вспоминал, что скоро снова наступит утро, и взойдет солнце, и опять начнется эта пытка духотою, все валилось у него из рук. И так было пока... пока он не обнял Сашу. Случилось это глубокой ночью, когда они одни работали в канцелярии (Николай Павлович и Анна Романовна спали).

Саша встала на табурет, чтобы достать с верхней полки стеллажа справочник. Табурет закачался под ней. Она вскрикнула и протянула Яшину руку. Но Яшин не принял ее руки. Он обнял ее за ноги и крепко прижал к себе.

Саша вырвалась, попыталась обернуть все в шутку.

— Ох, уж эти мне современные рыцари! Вас только попроси спасти — вы спасете!.. — Но было уже поздно...

Сладкая хмельная волна поднялась в его усталом теле. «Будь что будет! — решил он. — К черту все!..»

Он только боялся, чтобы Николай Павлович или Анна Романовна не заметили перемену в его отношении к Саше.

А Саша принимала его ухаживания просто, весело, как шутку, но все-таки, он это ясно видел, немного кокетничала с ним и дразнила его. Получалось это у нее очень хорошо. Про себя он немного даже удивлялся — не ожидал от нее такого. Она как бы и выросла и упала в его глазах одновременно.

Быстрее теперь разлетались по клеткам его письма, быстрее таяли мешки около его стеллажа, быстрее бежали стрелки на его часах. И уже за одно это он был благодарен Саше. Он просто не знал, что бы он делал, если бы ее здесь не было, и жалел, что не начал ухаживать за ней раньше.

Снова наступил день, и снова взошло над поездом яростное солнце, залив все вокруг слепящим огнем.

И уже не степь уходила назад за окнами поезда, а настоящая пустыня, с голой, мертвой, потрескавшейся от зноя землей.

И опять на станциях в открываемые двери пышало жаром.

И опять ползла вверх, к сорока, ртуть в вагонном термометре.

Поначалу жара не сильно действовала на Яшина. Только стрелки на его часах замедлили свой ход, так как он с самого утра стал торопить их к ночи.

Но солнце поднималось все выше, и зной все поддавал и поддавал. Казалось, дальше уже некуда,— но проходил час, и еще труднее становилось дышать, говорить, думать.

В редких, проносившихся мимо селениях почти не было видно ни зелени, ни людей, ни животных. Низкие глиняные домики с плоскими крышами казались вымершими. Лишь кое-где на станциях у глиняных заборов стояли, помахивая хвостами, безучастные ко всему маленькие серые ослики. В их красиво обведенных белым глазами светилась тихая, грустная дума. На поезд и на людей они взглядывали изредка и без всякого любопытства.

А один раз на переезде промелькнуло несколько верблюдов. Они стояли перед закрытым шлагбаумом, зло и надменно глядели на поезд. Шерсть серыми пыльными кочьями висела на их голых уродливых шеях. В жизни Яшин их видел впервые, но не нашел в них ничего, что отличало бы их от зоопарковских собратьев. Немного чудно было только, что они, словно автомобили, стояли перед закрытым шлагбаумом и терпеливо ждали, пока пройдет поезд.

Но все это было в первой половине дня. А потом он уже перестал обращать внимание на мир, проносившийся за окнами вагона.

Прошедшая ночь и ночные мысли и чувства стали казаться ему далекими, непонятными, как начинающий забываться сон. К тому же, в седой от пыльных солнечных полос полутьме вагона Сашино лицо выглядело поблекшим, одутловатым, фигура — квадратной, ноги — толстыми. Яшин понимал, что ей сейчас тяжело, что сейчас он и сам, наверное, выглядит отвратно, но... подобные рассуждения не утешали его.

Не зря ли он все это затеял? Может, остановиться, пока не поздно? Ему уже так надоело обманываться — тратить зря время и сердце! И если он потом, после, бросит, он ее очень обидит. А ведь ему с ней работать...

Впрочем, еще неизвестно — будет ли он с ней работать! Слишком все-таки тяжело. Не приспособлен он, видно, для такой жизни...

Ничего, казалось Яшину теперь, не было у него решено до конца. В таком состоянии он отправился за Николаем Павловичем в кладовую готовиться к очередному обмену...

«Надо додумать что-то одно — главное: буду ли я работать здесь? — думал Яшин, идя за Николаем Павловичем.— Нет! Надо решить то, что ждать не может: как ему быть с Сашей. Остальное может потерпеть до Москвы...» — «Все может потерпеть!» — возражал здравый голос в его сознании.

Николай Павлович отпер кладовую, надел рукавицы и, разложив накладные, принялся за работу.

В кладовой было совсем как в бане: пот ел глаза, капал с носа. Но Яшин, занятый своими мыслями, ни на что не обращал внимания: ни на

жару, ни на работу, ни на Николая Павловича, который с неодобрительным удивлением уже несколько раз взглядывал на него.

Яшин понимал, что ему надо, наконец, взять себя в руки и думать только о посылках, что все это может плохо для него кончиться, но он не мог подчинить себе свои мысли.

И кончилось все это действительно плачевным для него образом.

Он вдруг услышал тихий голос Николая Павловича с этими его страшными брезгливыми нотками:

— Это уж слишком!.. Сколько раз замечал я вам, что нельзя ставить большие ящики на маленькие!

Яшин машинально оглядывается по сторонам: так не хочется ему верить, что эти слова Николая Павловича, этот его тон относятся к нему. Но никого кроме него в кладовой нет...

— Здесь не место витать в облаках,— говорит Николай Павлович.— Не можете работать — слезайте с поезда! — Он бросает на ящик рукавицы, надевает халат и, не дожидаясь ответа Яшина, выходит из кладовой.

Яшин двигается за ним.

«Запишет выговор, не возьмет больше к себе, подаст рапорт о моей непригодности...» — мелькают в его голове одна догадка хуже другой. О! Теперь он проснулся полностью...

«Вот и развязка — конец всем вопросам! И поделом тебе, тряпка безвольная, психопат!»

Николай Павлович останавливается в дверях канцелярии. Яшин — за его спиной, в коридоре.

— Саша! Помоги мне,— говорит Николай Павлович и поворачивается, чтобы идти обратно в кладовую. Он идет на Яшина, как на пустое место. Яшин прижимается к стенке, больно обжигая себе руку о горячий самовар. Саша, торопясь за Николаем Павловичем, кидает на Яшина встревоженный, вопросительный взгляд. Но Яшин опускает глаза и спешит придать своему лицу хоть какое-нибудь подобие достоинства.

* * *

— После Боктысяя намочи простыню и ложись спать! — это Николай Павлович вернулся из кладовой.

— Спать я не хочу, я недавно спал,— отвечает Яшин, не глядя на Николая Павловича.

Пока Николай Павлович с Сашей работали в кладовой, он справился со своей растерянностью и теперь с безразличным равнодушием ожидает дальнейших событий. Он даже рад, что все теперь решится само собой.

— Однако после Боктысяя я все-таки советую тебе лечь спать! — голос Николая Павловича по-прежнему холоден, но уже нет в нем этих ужасных ноток брезгливости, которые Яшину едва ли не страшнее любого наказания.

Николай Павлович надевает очки и садится к столу.

«Неужели дело кончится только ломанием шпаги над головой?» — думает Яшин.

Он рад этому и не рад. Ему даже немного обидно, что с ним обходятся так несерьезно. Особенно стыдно перед Сашей. Если бы он знал наверняка, что Николаем Павловичем задумана для него еще какая-то другая, более серьезная кара, он бы, конечно, не подчинился: терять ему было бы нечего.

Но...

Яшин покосился на Николая Павловича. Тот сидел и сосредоточенно

выписывал накладные. Выражение его лица было совершенно обычным. Если бы не нахмуренные лица Саша и Анна Романовны, можно было бы подумать, что ничего не случилось.

До самой Кзыл-Орды Яшин ни с кем больше не разговаривал, ни на кого не смотрел.

Он всегда болезненно переносил конфликты с начальством. Когда люди, выше его стоящие, поднимали на него голос, слепящее бешенство охватывало его, и он нередко попадал в тяжелые переделки.

«Какую бы ошибку ни совершил человек (лишь бы не подлость!), — думал Яшин, — никто не имеет права на него кричать: от ошибок никто не застрахован. А если уж вам так хочется орать, орите на своих начальников!»

Происхождением этой «болезненной» реакции Яшин во многом был обязан опять же своему отцу, которому не составляло никакого труда по самому ничтожному поводу наорать не только на него, но и на мать в его присутствии, не говоря уж о родственниках или подчиненных. Он был сыт «орательством» по горло.

Но сейчас все было иначе: Николай Павлович не кричал на него, не оскорблял и вообще был человеком справедливым, и поэтому Яшину было особенно обидно, что он все-таки сумел нарваться на выговор, на ссору, на унижение (да, на заслуженное, но все равно унижение!), и было досадно, что он испортил (и, может быть, навсегда) уважительное к нему отношение Николая Павловича, которое было ему так легко.

Поезд приближался к разъезду Боктысай. Все уже было готово у Яшина к обмену, и он отдыхал за своим столом, глядя в окно, в щель между шторами.

Далеко, у самого горизонта, призрачно белели над степью контуры высоких облаков. Они не двигались, лишь слегка дрожали в мареве раскаленного воздуха. И Яшин вдруг понял, что это горы.

Поезд шел к ним. Пустыня кончалась.



Остался позади разъезд Боктысай, а Николай Павлович молчал, не напоминая о своем приказании.

«Может, не идти? — думал Яшин. — Почему он не напоминает? Не считает нужным второй раз приказывать одно и то же? Или раздумал, отошел?..»

И вдруг его осенило. Ведь он исходит из худшего: он предполагает, что Николай Павлович приказал ему лечь спать вне очереди, чтобы унижить его, что его приказы могут зависеть от настроения.

Но Николай Павлович не похож на самодура! Он, Яшин, хорошо знает самодуров и знает также, как это противно, когда о тебе судят, «исходя из худшего».

— Я пошел... спать, — негромко, но твердо говорит Яшин, вставая из-за стола и внимательно наблюдая за Николаем Павловичем.

— Иди, — спокойно отзывается тот и добавляет после небольшой паузы: — до Боройнака. Он будет в двадцать сорок девять, через два часа.

Николай Павлович по-прежнему не смотрит на Яшина, но Яшину кажется, что он доволен им.

Когда, приняв душ, Яшин прошел в купе, он увидел там Сашу. Она смотрела в окно, облокотившись на стол. Потом оторвалась от окна, обернулась, и он понял, что она ждала его и хочет ему что-то сказать.

— Миша! — она на секунду замялась. — Ты напрасно так близко все это принимаешь...

Он хотел возразить, но она не дала, коснувшись рукой его руки.

— Я вижу! Поверь мне: напрасно. Я Николая Павловича лучше знаю, и потом, понимаешь ли, он был все-таки прав. Года три назад на Юру упали ящики. Кто-то их плохо уложил, а может, и он сам, и они упали. Его ударил по голове посылторговский ящик. Ребром! Кровь мы ему остановили, но его начало рвать. Оказалось сотрясение мозга. Целый месяц он провалялся в больнице... Представляешь?

— Представляю, Саша, милая! — сказал Яшин. — Но ты ошибаешься: я все понимаю. Николай Павлович прав, и я не принимаю близко. Просто мне на себя обидно...

— Ну и чудесно! И ложись спать...

Горячее тепло разлилось у него в груди. Он стоял в проходе, загораживая ей дорогу, и не двигался с места. Солнечный свет, бивший в щель между шторами, золотил ей волосы. Ее глаза, теплые, улыбающиеся, чуть-чуть насмешливые, были совсем близко. Губы были еще ближе... Сдержался он в последнее мгновение.

— Ложись! Я разбужу тебя перед Боройнаком, — сказала Саша, боком проходя мимо Яшина к выходу.

— Саша, я правильно сделал?

— Что? — вскинула она брови.

— Ну, что пошел спать? Может...

— Очень правильно! — сказала Саша уже в дверях и улыбнулась ему. И у него дыхание на миг перехватило от этой ее улыбки.

* * *

«Какая она все-таки чудная! — думал Яшин, оставшись один. — Неужели она меня... — Яшин едва не сказал «любит», но, поморщившись от своей нескромности, на ходу подобрал другое, более реальное слово: — Неужели я ей нравлюсь?» — Это было и приятно и озадачивало. Последняя ее ласковая, откровенно нежная улыбка не шла у него из головы. Так она ему раньше никогда не улыбалась!

«Чудная она, хорошая! А я дрянь...»

Яшин вспомнил о Гале и невольно вздохнул... Если бы Галя была такая же, как Саша... Или Саша была бы такая же, как Галя!.. «Неужели и то и другое невозможно вместе в одном человеке? Или ему просто не везет!? Она даже не скрывала, что ждала меня! — подумал он снова о Саше. — Галя бы уж обязательно что-нибудь придумала — сделала бы вид, что что-то ищет! Если бы вообще догадалась прийти, поговорить! Ведь все ее внимание всегда целиком сосредоточено на ней самой! Все ее молитвы только о себе...»

«А твой?» — спросил его холодный голос совести.

Несмотря на все эти свои невеселые мысли, он чувствовал себя легко и бодро. Согревала сердце мысль о Сашиной дружбе — уголек лишь подернулся пеплом, но тепла в нем не убавилось.

И еще что-то приятное, ощущение какого-то небольшого, но радостного события жило в нем. За своими размышлениями он забыл, что это было. И только уже совсем засыпая, вспомнил, что это были горы, которые он увидел в окне перед тем, как пошел спать. Он не поленился подняться и еще раз посмотреть на них, убедиться, что они ему не померещились.

Горы стояли там же, где и раньше, только заметно выросли. И уже нельзя было их спутать с облаками, и можно было различить контуры отдельных хребтов, встающих друг **ва** другом.

Они поднимались из мертвой раскаленной пустыни как символ силы

и независимости. Среди их вершин, догадывался Яшин, была прохлада и цвела жизнь вопреки беснующемуся вокруг зною.

Яшин долго смотрел на горы. Ему было и грустно и радостно на них смотреть... Грустно оттого, что он не доедет до них. Радостно — от сознания, что на свете есть горы, и он видит их, и приблизился к ним. Когда он лег и закрыл глаза, зубчатый силуэт гор долго еще продолжал светиться в черноте его сомкнутых век.

* * *

Когда Саша разбудила Яшина, солнце уже село и пустыня сделалась пепельной, словно остывающий металл. Только вершины гор, провожая солнце, еще горели нежным золотисто-розовым светом. Над ними, в густой синеве вечернего неба, уже светились первые крупные звезды.

С трудом оторвался Яшин от окна и пошел умываться.

— Выспался? — спросил Николай Павлович Яшина, когда тот вошел в канцелярию. Голос у него был добродушный, может быть, только чуть насмешливый. И Яшин спокойно ответил ему и спокойно принялся за работу. И только когда Николай Павлович встал из-за стола, чтобы идти в кладовую, Яшин насторожился. Позовет ли он его? Или опять Сашу?

Николай Павлович отыскал свои рукавицы, снял ключ от кладовой с ручки сейфа, куда он его всегда вешал, взял со стола накладные и, обернувшись, кивнул Яшину.

Яшин так же молча кивнул ему в ответ, бросил в клетку последнее письмо, потом, сделав над собой усилие, бросил еще одно и пошел за Николаем Павловичем.

Работая в кладовой, он не смотрел на Николая Павловича и все время немного сдерживал себя, чтобы не было заметно, как он сосредоточен и как старается.

* * *

Под вечер, перед Туркестаном, встречали смежный поезд, который вышел из Москвы на сутки раньше и на котором работала жена Юры — предшественника Яшина.

Синий халатик и взвихренные ветром волосы пронесли мимо в темном проеме открытой двери. Яшин не успел разглядеть ее, но заметил, как вяло и грустно махала она рукой. Или, может быть, ему это только показалось.

С их стороны выходили махать Саша и Николай Павлович. Яшин и Анна Романовна смотрели в окно из канцелярии.

— Уходить ей надо с нашей линии, — сказала Анна Романовна, когда Николай Павлович и Саша вернулись в вагон.

— Нет, — возразил Николай Павлович. — Не может она уйти... Ты поставь себя-то на ее место. Не может она признать, что он не вернется!

— Ты прав, — сказала Анна Романовна.

— Вы думаете, что он... не вернется? — спросил Яшин.

— Дай бог, чтобы вылезлся!.. — ответил Николай Павлович.

* * *

Последняя ночь перед Ташкентом. В вагоне — веселое возбуждение. Все ведут себя так, словно кончается не первая половина пути, а вообще весь путь.

Саша раздавила помидор и обрызгала соком Николая Павловича — все смеются. Николай Павлович, опершись рукой на кронштейн рабочей лампы, едва не отломил его — и всем опять смешно.

Радостно на душе и у Яшина. «Там будет легче, там уже дело пойдет к дому!» — думает он о второй половине пути.

Большой, не по-русски яркий месяц весело бежит перед поездом. Он

словно указывает ему путь, ведет за собой, любезно приглашая в свою страну.

Чуть поодаль от месяца начинаются звезды. Они непривычно крупны и яркие, и непривычно много их в небе. Собственно, за ними и неба-то почти не видно. На месте же Млечного Пути клубится, свиваясь в жгуты, серебряный дым. Звезды, большие и маленькие, белые и голубые, весело и оживленно перемигиваются, дрожат и то и дело перебегают с места на место, очерчивая в небе серебряные дуги. Чувствуется, что они здесь у себя дома, что здесь им хорошо и весело. Древностью и Востоком веет от них...

— На звезды здесь можно всю ночь смотреть, правда? — говорит Саша. Она сидит рядом с Яшиным на ступеньке. — Мне иногда хочется прыгнуть с поезда, уйти в пустыню, лечь на песок и смотреть на звезды, подложив руки под голову. И чтобы ночь была длинная, длинная...

— И не скучно тебе будет одной? — шутит Яшин, легонько обнимая Сашу за талию.

* * *

В четыре пятьдесят утра, на четвертые сутки пути, поезд подошел к Ташкентскому вокзалу.

Перрон был почти пуст. Маячили лишь редкие фигуры встречающих и пустые (впервые за время пути!) тележки почтовиков.

Половина пути, самая тяжелая, осталась позади! Впереди — девять часов стоянки, девять часов отдыха, сна и ташкентский базар впридачу! Правда, добрых четыре часа из этих девяти съест разгрузка и погрузка, но это будет уже совсем другая работа. И можно будет отдохнуть от надоевшего до тошноты хождения вдоль стеллажей!..

По правде говоря, в самый раз было бы закончить теперь поездку: сил и терпения осталась самая малость, «на донышке». Но об этом Яшин не разрешал себе думать. Как-нибудь доберется — дотерпит на втором дыхании!

Можно было бы, конечно, еще не пойти на базар и все свободное время проспаться. Но на это Яшин не мог решиться: он любил южные базары и не раз мечтал, как пойдет на базар в Ташкенте.

* * *

Часы отдыха в Ташкенте пролетели как один миг, а погрузка оказалась тяжелой: под распалившимся солнцем пришлось грузить увесистые, почти сплошь фруктовые посылки. По двадцать тонн в среднем перепало на каждую кладовую!

Саше помогала Анна Романовна, потом она переходила к Николаю Павловичу, а Яшин бежал к Саше и работал в ее кладовой один, заставляя Сашу отдыхать. О таком порядке они договорились заранее.

Уезжал он из Ташкента еще более усталым, чем приехал, и в последние часы думал лишь о том, чтобы поскорее уж уехать отсюда. Только один базар оправдал его надежды.

Ходили туда троим: Яшин, Саша и Анна Романовна. У Николая Павловича разболелась голова, и он решил лишний час поспать, опасаясь, чтобы вслед за головой у него не разболелись глаза. Он, оказываясь, страдал странной болезнью: иногда, переутомившись, на некоторое время он почти совсем переставал видеть.

На базаре Яшин растерялся от изобилия ярких фруктов, огромных овощей и всякой прочей снеди, не виданной им доселе. Если бы он был один, он, наверно, истратил бы все свои деньги на экзотические диковинки и вдобавок заблудился бы в бесконечных рядах и палатках.

Но Саша, как маленького, тянула его за собой по базару. Она за-

брала у него деньги и тратила их по своему усмотрению. И ему это было очень приятно.

Время от времени она останавливалась и набивала его рюкзак покупками. Потом они с Анной Романовной двигались дальше, и он послушно шел за ними.

— Надо покормить нашего ишачка,— говорила Саша, останавливаясь около какой-нибудь палатки. И он пил или ел все, что она выбирала для него. Саша и Анна Романовна знали ташкентский базар, наверное, не хуже своего почтового вагона.

Но Яшин не всегда вел себя, как подобает смиренному ишаку. Когда они попадали в густое скопление людей в каком-нибудь узком проходе и Анны Романовны не было поблизости, он брал Сашу за руки или за талию, и она в ответ иногда слегка прижимала к себе его руки локтями. Сердце каждый раз таяло у него в груди от этого ее движения.

С базара Яшин возвратился совершенно влюбленным.

* * *

Остались позади восемь с половиной ташкентских часов. Еще несколько минут — и поезд тронется в обратный путь.

Неподалеку от почтового вагона стоят два каких-то железнодорожных начальника в белых шелковых кителях и разговаривают. Поодаль от них стоит молодая девушка. Она, видимо, ждет одного из начальников.

От нечего делать Яшин разглядывает ее. Голубые, слегка раскосые глаза, красивое легкое платье, золотые волосы. «Ничего!..» — думает Яшин.

— Вы недавно из Москвы? Вы москвич? — девушка заметила Яшина, заметила, что он смотрит на нее.

Завязывается разговор — девушка, как видно, не из стеснительных!

Выясняется, что она тоже москвичка и к тому же еще почти коллега Яшина: недавно окончила факультет связи в МИИТе. В Ташкент она, по ее словам, попала по собственному желанию. Точнее, она просила распределительную комиссию направить ее куда-нибудь «подалее от Москвы», ну комиссия и направила ее в Ташкент.

— Я так скучаю по Москве,— говорит девушка.— Что там? Как там? Вы чем интересуетесь, куда ходите? Я читала — в оперетте поставили «Графа Люксембурга». Вы не были на спектакле?

Яшин отрицательно качает головой.

— Вы не любите оперетту? Я знаю, я не современна. (Возможно-стью отвечать на ее вопросы она не очень балует Яшина!) Современная молодежь любит рок-н-ролл, но я обожаю оперетту, и оперу, конечно. Ну, а в консерватории? В консерватории-то что было интересного летом? В консерваторию-то вы, наверно, ходите?

— К сожалению, тоже нет,— разводит руками Яшин.

— Это уже плохо! — девушка качает головой.

— Я с вами согласен.

Увидев Николая Павловича, она сочувственно смотрит на Яшина.

— Это ваш начальник? Да? Я вам не завидую! Я, правда, его почти совсем не знаю, но он, по-моему, грубый тип. И хам, наверно, да? Я слышала, как он здесь однажды скандалил... У нас его многие не любят. Мой начальник,— девушка кивает в сторону говорящих,— считает, что он большой интриган и демагог. Это не верно? Да?

— Ну, а как вы здесь живете? Как вам здесь работается? — спрашивает Яшин.

— Работать интересно,— говорит она бодрым голосом.— Только вот жарко очень и немного скучновато. Есть здесь филармония, есть и...

— Ну, а люди,— перебивает ее Яшин,— с которыми вы работаете? Инженеры, рабочие?..

— Инженеры как инженеры. Есть москвичи, ленинградцы, молодые, разные есть. Москвичи, конечно, поинтереснее, покультурнее... Ну, а рабочие...— девушка замялась,— откровенно говоря, я немного разочарована в них. Какие-то они не простые, грубые, самолюбивые. С ними надо быть все время начеку, особенно с квалифицированными... У них на все свои взгляды, свой мир,— развизает свою мысль девушка, польщенная все возрастающим вниманием Яшина.— И все они себе на уме — с насмешкой, опасные они какие-то. Я всегда чувствую себя напряженно, когда с ними разговариваю...

Поезд трогается, и Яшин вскакивает на подножку. Девушка машет ему рукой.

— Приезжайте еще! — кричит она Яшину.— Зимой здесь хорошо!

Усмехаясь и покачивая головой, проходит Яшин в вагон.

Что затронуло его в словах этой пустышки? Ей, между прочим, нельзя отказать в непосредственности и откровенности. «Непосредственность кривого зеркала!» — с усмешкой думает Яшин.

* * *

Снова бежит за окнами сожженная солнцем земля, мелькают глиняные кубики домов, арыки с мутной водой.

Мешки с письмами снова ждут своей очереди, торопят, давят, лежат на полу. Настроение у Яшина норовит испортиться.

Ведь до Москвы еще трое суток — трое суток духоты, бессонницы и нудного хождения вдоль стеллажей.

Тоска охватывает при мысли о том, как нескоро еще замелькают в окнах подмосковные дачные платформы.

«Не надо было мне так радоваться Ташкенту,— думает он.— Я себя так настроил, словно Ташкент — это все, конец. А конец-то еще — будь здоров! Теперь приходится расплачиваться! А вообще, к черту все это! Скоро настанет ночь,— Яшин невольно кидает взгляд на Сашу,— спадет жара, работы будет мало...»

Помогает разогнать мрачное настроение и новый человек в их вагоне — Иван Ложкин, спецсвязист, молодой щеголеватый мужчина лет тридцати. Он сел к ним в Ташкенте и намеревается ехать до самой Москвы. В Ташкент он приехал с предшествующим поездом и задержался там, по его словам, из-за каких-то служебных дел.

Когда он весьма пространно распространялся об этих своих служебных делах, Николай Павлович подмигнул Яшину и так выразительно показал под лавку, где лежали четыре принадлежащих спецсвязисту ящика с фруктами, что Яшин едва сдержался, чтобы не рассмеяться.

Спецсвязист оказался веселым общительным парнем. С его появлением в вагоне изменились темы разговоров и стал чаще звучать смех.

Почтовики, знал Яшин, издавна воюют со спецсвязистами, считая их бездельниками и комбинаторами, получающими ко всему еще незаслуженно высокую зарплату — чуть не вдвое против почтовиков. Война эта бывает иногда холодной, иногда весьма «горячей», но чаще всего — веселой.

Такая «веселая» война началась и в их вагоне.

С аппетитом уписывая огромный красный помидор, Ложкин рассказывает об одном из своих служебных приключений. Поначалу все слушают его внимательно. Он рассказывает, как нынешней весной попал со своей спецпочтой на залитый грязью аэродром какого-то захолустного городка и стал просить служащих аэропорта, чтобы они помогли ему доставить почту до вокзала. Они отказались: час был поздний.

— Ладно,— рассказывает Ложкин.— Сажусь на мешки и спокойно закуриваю. Так. Подходит ко мне какой-то аэродромщик из технарей. «Гражданин, позвольте, мол, вам выйти вон.— Вежливо:— Мы, мол, торопимся, регламент нужно проводить и т. д.» — «С превеликим удовольствием! — отвечаю.— Мне, мол, и самому в буфет не терпится, но не имею права оставить спецпочту!» — И под себя, на мешочки, показываю. Он же мне на плечи вежливо показывает. Мол, взваливай-ка мешочки на себя и топай на одиннадцатом номере...

Яшин слушает Ложкина с удовольствием. Ему нравятся такие типы. Нравится их веселая беззаботность и непоколебимая уверенность в себе.

— «У вас тут,— отвечаю аэродромщику,— и без мешков не всякий проберется. Не поможете — вынужден буду ночевать в самолете, не имею права почту без надзора оставлять». — «А мы не имеем права в самолете оставлять посторонних,— уже кипятится мой технарь.— Мы стрелка пригласим!» — «Валяйте,— говорю,— приглашайте». И действительно, через минуту-другую пришлепал какой-то дед с «винтом». Я подвигаю свою пушку поближе к пузу.— Ложкин хлопает себя по боку, и Яшин впервые замечает, что у него под выпущенной из брюк пестрой ковбойкой внушительно топорщится пистолет.— Отстегиваю кобуру! — Ложкин таинственно понижает голос.— И... вынимаю пачку сигарет. «Закуривай, дед!» У меня в кобуре всегда лежит запасная пачка...

Яшин оглядывает слушающих и улыбается: ну прямо как на картине у Перова! Ложкин самозабвенно загибает, Саша и Анна Романовна слушают его с улыбкой, а Николай Павлович откровенно «чесет за ухом». Не хватает только молодого дурачка с открытым ртом. «Как не хватает? — осеняет вдруг Яшина.— А о себе-то я забыл! Все в порядке!..»

— Мои аэродромщики вмиг скисли,— продолжает Ложкин.— Посматривают на мои мешочки, посматривают друг на друга и вздыхают...

— А ты много вез-то? — спрашивает Николай Павлович, не отрывая глаз от накладных. Яшин чувствует, что у него готов подвох.

— Три здоровых мешка! — восклицает Ложкин, показывая рукой их высоту от пола.

— Картошки? — деловито осведомляется Николай Павлович.

— Нет! — отмахивается Ложкин.

— Яблок?

Все, не выдержав, покатываются со смеху. Ложкин не обижается, смеется вместе со всеми и божится, что рассказывает сухую правду.

— Намучился я в тот полет! Наелся под завязку! Правда.

— Что так? — невинно спрашивает Николай Павлович.

— Как что!.. Три обмена! Да все так — не просто!

— Да,— соболезнует Николай Павлович,— обмена-то у вас действительно не простые: синьку на персики, сахар на курей,— считает он под взрыв общего смеха.— А третий какой, я забыл? — доверительно спрашивает он у Ложкина.

— Вы-то уж, можно подумать, святые! — защищается Ложкин.

— А, вспомнил! — восклицает Николай Павлович.— Ваньку на Маньку!..

Смех вспыхивает с новой силой. Разрешает себе теперь посмеяться и Николай Павлович. Смеется он залиvisto, сияя от удовольствия.

«До чего же хорошо смеется!..» — думает Яшин, глядя на Николая Павловича.

Глава VI

С Яшиным Ложкин быстро перешел на «ты». Общей темой у них поначалу был спорт. Ложкин оказался спортсменом, причем настоящим спортсменом, профессионалом, так сказать. И по тому же виду спорта, что и Яшин,—лыжником. Разница состояла в том, что на лацкане куртки у Ложкина поблескивал квадратный значок мастера спорта, а Яшин имел право носить только «кругляшку» первого разряда, но и ее давно не носил, не видя в том никакой чести для мужчины в двадцать пять лет.

Как и Яшин, Ложкин год назад демобилизовался из армии. Но служил Ложкин в войсках МВД — в «войсках «Динамо», как он выразился,—и не столько служил, сколько занимался спортом. «Я всю почти службу в макинтоше прогулял, по сборам кантовался!». «Динамо» и устроило его после демобилизации в спецпочту, чтобы сохранить за собой.

Со спортивных тем они перешли на другие, более общие. И Ложкин доверительно рассказал Яшину, что у Саши (он, оказывается, знал ее давно) была в недавнем прошлом «большая любовь» с одним молодым спецсвязистом, его, Ложкина, хорошим знакомым.

Она «кантовалась» с ним несколько лет и, как был уверен Ложкин, «не просто так». Они хотели вроде бы даже пожениться, но все откладывали. То ли из-за отсутствия площади — он жил в общежитии,—то ли из-за неурядиц в ее семье, то ли из-за чего другого — дело темное. Но года полтора назад парня послали по путевке в Сибирь на стройку, и он вскоре прислал ей оттуда «привет» — сообщил, что, во-первых, получает комнату, во-вторых, остается там, а в-третьих, женится.

По тону Ложкина Яшин понял: тот считает само собой разумеющимся, что Яшин волочится за Сашей, и все эти сведения будут для него не лишними. Особенно насчет того, что Саша «кантовалась не просто так». Взамен этого, понял Яшин, Ложкин не прочь был бы узнать, как обстоят дела на «этом фронте» у него самого, но Яшин, с подчеркнутым безразличием слушая его сообщения о Саше, не давал ему никаких поводов для прямых расспросов.

* * *

Наступила пятая ночь пути и последняя из «азиатских».

После часа ночи, когда ушла к себе Анна Романовна и начал собираться ко сну Ложкин, Саша стала уговаривать лечь спать и Николая Павловича.

— У вас сегодня с утра голова болит. Смотрите, опять на глаза перекинется! Ложитесь! Мы с Мишей здесь все быстренько раскидаем и после Джалагаша тоже ляжем.

— Я у вас лягу. Идет? — спросил Ложкин Николая Павловича.— Наше купе душное...

Он взглянул на Яшина. Яшин отвернулся. У него мелькнуло подозрение, что Ложкин делает это неспроста.

Когда они остались с Сашей вдвоем, Яшин впервые за все время пути почувствовал себя неловко.

Саша украдкой, с удивлением поглядывала на него...

Наконец миновали Джалагаш и стали свертываться.

— Не могу я спать в одной комнате с чужим мужчиной! — пошутила Саша.— Пойду в спечкупе...— Яшин принужденно улыбнулся.— Боюсь, душно будет нам всем вчетвером,— сказала Саша серьезно.

Она взяла из почтового купе свое постельное белье и отправилась в купе спецсвязистов.

Яшин еще некоторое время работал один, а когда услышал, что Саша легла, пошел в душ, потушив в канцелярии свет.

Дверь в спецкупе была открыта, и, выходя из душа, Яшин остановился около нее.

В вагоне было темно, как бывает темно только в поездах. Матовый призрачный свет, лившийся из полузашторенного окна, еще сильнее подчеркивал темноту, выхватывая из нее половинки разных предметов: половину абажура на столике, половину термоса, половину голого Сашиного плеча...

Казалось, что все эти половинки существуют самостоятельно, без остальных растворившихся во тьме частей. Исключением, пожалуй, было только Сашино плечо... Яшин вошел в спецкупе и закрыл за собою дверь.

* * *

Впервые мысль о том, что теперь, этой ночью, надо решиться на что-то, возникла у Яшина уже тогда, когда Саша начала уговаривать Николая Павловича идти спать.

Желание Саши спать в спецкупе еще больше усилило смуту в мыслях Яшина. Душ придал было ему решительности.

«К черту все! Она такая... хорошая...»

Но в спецкупе решимость снова оставила его. Он стоял в проходе, смотрел на Сашу, уже спящую крепким сном, и боялся пошевелиться. Бретелька расстегнутого лифчика сползла с ее плеча на руку, и плечо было таким голым, таким женским...

В конце концов он ее только поцелует, а дальше будет видно...

Теперь, когда он решился, сердце вдруг заколотилось у него в груди. А раз сердце колотится,— значит, все в порядке и отступать уже глупо!

Он запер дверь и боком присел на край Сашиной полки. Саша лежала на спине, лицо ее, бледное, покрытое тенями, было серьезным, немолодым, усталым... Удары сердца стали слабеть.

«Повернись и уходи, пока не поздно!» — сказал ему тихий далекий голос в его сознании. Но слишком издали он звучал, этот голос.

И все-таки Яшин, может быть, так бы ни на что и не решился — посидел бы и ушел. Но Саша вдруг проснулась. И, проснувшись, сразу, по служебной привычке, попыталась подняться, сесть. И сама натолкнулась на Яшина, склонившегося над ней...

И уже в тот момент, когда он нашел своими губами ее сухие, горьковатые со сна губы, а руками обнял ее полную, взопревшую спину, он понял, что совершенно не любит ее и никогда не сможет полюбить.

Ему сделалось неловко, нехорошо, и он стал целовать, прижимать ее к себе, чтобы желанием заполнить открывшуюся в нем пустоту. В испуге Саша беспорядочно сопротивлялась, но он все сильнее прижимал ее к себе. Ее халат был распахнут, и давно упала вниз простыня, и он почувствовал у своей груди ее голую, нежную грудь и спадающий лифчик, и желание поднялось в нем и заполнило пустоту...

Тогда он отпустил Сашины губы и стал говорить. Он говорил, не заботясь о смысле своих слов,— старался только, чтобы они звучали искренне. Говорил, ужасаясь в душе тому, что говорит. Говорил, что не в силах удержаться, что она хорошая, чудная, удивительная, что он будет ее любить!

Он хотел даже обойтись без «будет» и лишь в последнее мгновение вставил его. Но «будет» все равно не спасло его: «любить» прозвучало так вяло и холодно, что Сашу даже передернуло.

— Уходи! Уходи немедленно! — услышал он ее сдержанный, но решительный голос и почувствовал на своих плечах ее отталкивающие, сильные уже руки.

— Саша! Милая!.. Что ты?! Не надо! Не сердись!.. Ты не веришь мне?

Ему были противны его собственные жалкие слова, он сам себе был противен, но не в силах был остановиться и в глубине души был даже рад, что она так непреклонна.

Он попытался еще раз прижать ее к себе, но она оттолкнула его еще более резко, чем прежде.

— Уходи, Михаил!

Сердце сжалось: в ее голосе он услышал уже возмущение, угрозу и понял, что она больше не боится его.

— Ну, хорошо. Уйду... уйду! — он отпустил ее, но продолжал сидеть на краю ее полки, делая вид, что пытается что-то еще решить, что-то еще сказать. За дверью купе, он знал, его ждали муки стыда и позднего, бесполезного раскаяния.

— Ну! — напоминает она.

— Уйду...уйду сейчас...— говорит он, кусая губы.

И когда сидеть так — молча, ничего не предпринимая и зная, что ничего больше и не предпримешь,—стало унижительным, он собрался с силами и вышел в коридор, прикрыв за собой дверь.

В коридоре он остановился. Он знал: Саша чувствует, что он стоит за дверью.

Наконец он прошел в канцелярию и, не зажигая света, сел за свой стол.

* * *

Он все еще сидел за столом и не успел еще как следует прийти в себя, когда услышал, что Саша вошла в канцелярию. Он сразу понял, что она пришла сюда, чтобы что-то ему сказать, и весь сжался, ожидая ее слов, как удара.

Она остановилась в проходе, и он знал, что она смотрит на него.

Что она может сказать ему? Что хочет сделать? Что он скажет ей?

Предстоящее объяснение ужасало его. Он не был к нему готов, он не ожидал его так скоро.

— Миша, иди-ка ложись спать! — сказала Саша.

Он вздрогнул. И не столько от ее слов, сколько от ее тона — такого невероятно прежнего.

Он повернул голову и взглянул на нее, чтобы убедиться, что все это ему не померещилось.

— Ну? — сказала Саша.

Не дождавшись ответа, она вошла в канцелярию и присела на табурет, стоявший невдалеке от его стола.

Теперь он ждал ее слов с нетерпением.

— Я не сержусь на тебя. Слышишь? — сказала она.— Я же понимаю, что все это случайно... Правда? С непривычки...— она на мгновение замялась,— с непривычки к вагону...

Он понял ее, но не стал возражать: врать он больше не мог.

— Если бы это было не так,— голос Саши сделался глуше,— ты, я думаю, не ушел бы... из купе. Правильно я думаю?

Яшин кивнул.

— Ты со мной согласен?

— Да,— еле слышно сказал Яшин.

— Ну и чудесно! — сказала Саша.— И пойдем спать.

Как он уважал ее сейчас и как ненавидел себя за то, что не мог сказать «нет». Но он знал: поцелуй он ее снова, и опять возникла бы эта ужасная пустота.

— Пойдем.— сказала Саша, вставая со стула и запахивая халат.— Завтра день будет тяжелый. Хочешь, я дам тебе снотворное? У нас есть.

— Нет, не надо...

— Ну, тогда спокойной ночи! — голос ее опять стал совсем прежним: легким, даже веселым, — будто ничего и не случилось...

Она ушла, а он еще некоторое время сидел, с досадой думая о том, как плохо устроено сердце человеческое, и еще о том, что как он ни уважал раньше Сашу, но только теперь он по-настоящему понял, какая она! Раньше он все-таки смотрел на нее, хоть и немножко, но сверху вниз. Уважительно, но сверху вниз. В глубине своего «я» все-таки ставил себя выше.

Как это противно! Как это дико!

Яшин поднялся из-за стола, включил свет над своим стеллажом и, постояв секунду-другую в нерешительности, взял из пылеотсосного ящика пачку несортированных писем.

Сорвал шпагат и, не торопясь, раскидал письма по клеткам

Бросив последнее письмо, он еще немного постоял около своего стеллажа, потом, очнувшись, взглянул на часы. Шел четвертый час ночи...

* * *

Настало утро, и снова разгорелся зной. Но Яшину казалось, что солнце слабеет, чувствуя близящийся конец своей власти.

И природа теперь уже не казалась ему такой мертвой, как прежде: с левой стороны к полотну то и дело подходили низкие зеленовато-бурые полосы — заросли камыша и кустарника.

За ними, знал Яшин, текли мутные воды Сыр-Дарьи. А еще дальше — за Сыр-Дарьей и горизонтом — было Аральское море. И Яшину чудилось иногда, что свежие струи морского воздуха вплетаются в густые потоки зноя.

Еще немного — один последний день, — и кончится зной. «В Куйбышеве — 24°» — передает радио. После сорока это уже не температура — мороз!

Отношения у Яшина с Сашей — как ни в чем не бывало. Правда, первое время было немного неловко смотреть ей в глаза, но и это потом, к концу дня, прошло. Зной, напряженная работа и ряд серьезных событий почти все собой заслонили.

Началось с того, что днем, после обеда, Саше стало плохо: у нее не на шутку схватило сердце. Она побледнела, осунулась, как-то сразу притихла. Ее отправили спать, дали ей валидол. Ложкин умудрился приоткрыть в купе окно и устроить небольшой сквозняк. Потом он вскрыл один из своих ящиков с фруктами и достал оттуда редкостную, по его словам, дыню. Он настоял, чтобы Саша ела ее вместо питья: вода лишь отяжеляет сердце.

Яшин каждые пять минут, пока Саша не уснула, забегал проведать ее и освежал водой ее полотенце, так как у нее, кроме всего, разболелась голова.

И выходя однажды из ее купе, он услышал в канцелярии разговор, заставивший его остановиться.

Разговаривали Николай Павлович и Ложкин. Слух у Яшина был тонкий, и он сразу уловил, что речь шла о нем и о Саше.

Он замер.

— Ты всех на одну колодку меряешь, — говорил Николай Павлович.

— Тебе, конечно, виднее, — возражал ему Ложкин, — но у меня на это глаз наметан. Молодой вокруг помощницы так и крутится...

— Ну, а хоть бы и так? — перебил его Николай Павлович.

— Да это все, конечно, верно. Но «друзья»-то всегда найдутся... случись что. «Персоналку» в два счета состряпают!

— Ты, между прочим, Сашу, я вижу, плохо знаешь,— остановил Ложкина Николай Павлович.

Но голос его на этот раз показался Яшину уже не таким уверенным, как прежде.

Яшину было стыдно и страшно подслушивать, но он с бьющимся сердцем продолжал стоять в коридоре и слушать. Даже руку приложил к уху, чтобы лучше слышать.

— А мне сдается, что это ты ее по-настоящему не знаешь,— настаивал на своем Ложкин.

— Может быть,— согласился Николай Павлович.— Эта сторона ее характера меня действительно мало интересовала. Я не люблю совать свой нос не в свое дело и не люблю, когда другие суют... Ты уж меня извини! У нас это, конечно, в моде. Особенно, например, у вас. Но я у себя таких порядков заводить не собираюсь.

В голосе Николая Павловича появились хорошо знакомые Яшину брезгливые нотки. Он, видимо, здорово рассердился, и Ложкин это почувствовал и спешно принялся оправдываться: он ничего, мол, такого и не думал, он просто так — к слову, по дружбе... Разговор у них перешел на другое, и Яшин, постояв для приличия еще немного в коридоре, вошел в канцелярию.

Он не смотрел в тот угол, где сидели Николай Павлович и Ложкин, но почувствовал, что они оба разом взглянули на него.

«Если бы они знали! — подумал Яшин.— Но какой же все-таки гад этот Ложкин!..»

Больше всего ему было обидно, что Ложкин оказывался вроде бы прав в споре с Николаем Павловичем.

* * *

— Саша,— спросил осторожно Яшин. Она не спала, и он пришел ее проведать.— Почему ты не перейдешь на другую работу, если у тебя сердце больное?

Может быть, об этом лучше было бы и не спрашивать, но Яшину уж очень хотелось узнать, что руководило ею. Неужели все-таки привычка, бездумное терпение?

Сашу не смутил его вопрос.

Она рассказала ему, что однажды пыталась по совету врачей оставить работу в вагоне, но вернулась обратно. Работала она и сортировщицей на месте, и в канцелярии ЖДО — секретарем. Но все это не понравилось ей: и заработок меньше, и обстановка хуже.

— А ты не думала о работе проводницей в составе? — спросил Яшин.— У них ведь и режим лучше, и тяжелей им не приходится поднимать, и... зарабатывают они, наверное, неплохо, особенно в купированных вагонах... Я, конечно, понимаю: там себя чувствуешь не так — прислуживать надо... Да? — добавил он поспешно, испугавшись, что его намек на чаевые может оскорбить ее.

— Это, Миша, ерунда! Мне приходилось и не такую работу делать,— она поняла его, разумеется.— Мне приходилось у людей и полы мыть и, кто знает, может быть, еще придется. И мать моя почти десять лет работала проводницей..

— Так в чем же дело?

Саша вздохнула. Устроилась поудобнее, поправив халат на груди.

— Хорошо здесь,— сказала она наконец,— спокойно... Мы здесь — сами себе хозяева.

— А не попадаются разве иногда сволочные начальники?

— Не знаю,— Саша пожала плечами.— Мне не попадались... Да и с

чего у нас сволочиться? Работа наша не нормирована: количественные показатели невозможны. Только вот жарко очень! — неожиданно закончила она, вытирая пот с лица. — Надо мне на север куда-нибудь переходить, да жалко маму: фрукты ведь никому не вредны!

Чем дальше, тем больше узнавал и понимал Яшин Сашу. Но в то же время росло в душе у него и недоумение: откуда она все-таки такая? Откуда у нее — молодой еще, в сущности, девушки — такая рассудительность, мужество? Завидовал он ей. Терпеливость? Стихийность? — Черта лысого! Терпеливость сжатой пружины! Вот это да...

* * *

А к вечеру в Эмбе произошло еще одно событие: к великому удовольствию Яшина, Ложкин их неожиданно покинул.

Произошло это на глазах у Яшина и при весьма любопытных обстоятельствах.

Как только поезд остановился в Эмбе, Ложкин выскочил из вагона и скрылся в вокзале.

Снова Яшин увидел его уже перед самым отправлением. Он стоял около их вагона и о чем-то на повышенных тонах разговаривал с Анной Романовной.

Около ног Ложкина лежало два больших мешка, а рядом с ним стоял какой-то полный маленький человек в грязном белом кителе, в брюках галифе и в тапочках.

Он слушал Ложкина, смотрел на Анну Романовну и удивленно качал своей круглой лысой головой.

Яшин спустился на перрон и подошел к ним поближе.

Речь, как он понял, шла о мешках, которые Ложкин хотел поместить в купе Анны Романовны, чтобы в случае ревизии она выдала их за свои.

Анна Романовна отказывалась. Лицо у нее было злым, колючим.

— Не возьму — и все! — твердила она.

— Но ты же везешь один маленький ящичек, что тебе стоит! — возмущался Ложкин.

— Ай-яй! Свои люди, а договориться не можете! — сокрушенно качал головой спутник Ложкина. Он, должно быть, был заинтересован в этих мешках.

— Значит, не возьмешь? — Ложкин беспокойно поглядывал на светофор.

— Если тебе так приспичило, спрашивай Николая Павловича: он за вагон отвечает, — сказала Анна Романовна с невинным видом.

— Эх! — выдохнул Ложкин.

— Эх! — спокойно заметила Анна Романовна.

Ложкин метнул на нее бешеный взгляд, но сдержался.

— Ну чего тебе, больше всех, что ли, надо? — он размахивал руками перед самым ее лицом. — Ты не возьмешь — другие возьмут и еще спасибо скажут, потому мое спасибо тоже не заржавеет! Не все такие черствые...

— Знаю. Все знаю! — перебила его Анна Романовна. — И очень тебя понимаю. И деньги мне нужны, но мне противно все это! Понимаешь? Противно! Не умею я этого и не хочу учиться. Поздно уж. Доживу как-нибудь без этого!..

Всегда бледное ее лицо порозовело от гнева, платок съехал на затылок.

— И черствая я до вас — это тоже верно! Ох, какая черствая! Ты даже и не подозреваешь!

— Почему? Наоборот... очень даже подозреваю! — в голосе Ложкина звучит угроза, желваки ходят по скулам.

— Ну, и не теряй тогда зря время! Ищи добрых до твоего «спасибо» в другом месте! Понял? — почти закричала она.

Но Ложкин уже не слушал ее. Одним прыжком вскочил он в тамбур, крикнул сверху своему провожатому: «Подожди!», и исчез в вагоне. Через секунду появился с двумя своими ящиками в руках. Положил их около ступенек. И снова скрылся.

— Ай-яй-яй! — тихонько причитал провожатый Ложкина. Анна Романовна перевязывала на голове платок и не обращала на него никакого внимания. — Ай-яй-яй, зачем здесь такая принципиальность? — Он смотрел на нее теперь уже без прежнего удивления, но с сожалением, как смотрят на глупорожденных.

Ложкин вновь появился в тамбуре, уже в пиджаке, со своей сумкой спортивной через плечо и с двумя остальными ящиками под мышкой.

Когда он спускался, из одного ящика — Ложкин доставал из него дыню для Саши — вывалились две большие коричневые груши.

Провожатый Ложкина кинулся было их подымать, но Ложкин одним ударом ноги зашвырнул груши под вагон.

Поезд тронулся. Яшин вслед за Анной Романовной взобрался в тамбур.

— Бывай здорова! — сказал Ложкин Анне Романовне. На Яшина он даже не взглянул. Поезд наддал — и Ложкин со своим багажом и его провожатый скрылись из вида.

— Угрожает, паршивец, — сказала Анна Романовна.

Яшин взглянул на нее и вздрогнул от неожиданности. Она смотрела прямо перед собой в пространство, и глаза ее были полны слез. Кажется, она вспоминала что-то очень далекое.

Выглядела она сейчас совсем старой и беспомощной.

Яшин поспешно отвернулся...

* * *

— Куда Ложкин девался? — спросил Николай Павлович, когда все сели ужинать.

— Сошел... Остался в Эмбе, — сказала Анна Романовна, не глядя ему в глаза.

— Как так сошел? Почему сошел? Он же мне говорил, что будет ехать с нами до Москвы!

Он посмотрел на Сашу. Она пожала плечами.

Перевел взгляд на Яшина — тот опустил голову. Тогда Николай Павлович снова повернулся к Анне Романовне:

— В чем дело? Секрет, что ли, какой?

— Да какой там секрет!.. Что пристал? — огрызнулась Анна Романовна. — Ну, собрал он свои манатки и велел передать всем привет, а мне пожелал доброго здоровья...

— Ну ладно, ладно! Не крути. Говори, в чем дело. Должен же я в конце концов знать, что творится во вверенном мне вагоне. Должен или не должен?!

— Ну, должен, должен!.. Ну, пристал он ко мне, чтобы я два мешка с его рыбой к себе в купе взяла. Ты, мол, норму в Ташкенте не добрала, и прочее. Ну, а я его подальше послала. Он глаза свои выкатил бешеные, прыг тигром в вагон, выволок свои ящики и остался: следующего поезда теперь ждет. Свет, мол, не без добрых людей. Ты, говорит, черствая! Ну, вот и все. Ваше любопытство удовлетворено, товарищ ВПН?

— Удовлетворено, товарищ ВПП. От имени месткома и от своего

личного выношу вам благодарность за бдительность и рвение в выполнении приказа Министерства связи от 16 декабря 1959 года за номером 1060 дробь 999-г о борьбе со злоупотреблениями служащих и сотрудников службы линий... А, черт! Дыхания не хватило,— закончил, сияя, Николай Павлович.

— Рады стараться, ваше благородие! — отозвалась Анна Романовна, нехотя улыбаясь.

— Не «стараться», а «служу Советскому Союзу!» Надо заняться вашим политическим образованием, товарищ Джарцанс. Рада она стараться! — вдруг переменял тон Николай Павлович.— Мы из-за тебя такого трепача лишились! Что мы теперь будем делать? А? От скуки ведь помрем. Радио твое едва пищит!

— Не помрем! У нас своих трепачей хватает...

— Нет! Вы только на нее посмотрите. Как она со своим начальством разговаривает! Никакого подхалимажа. Придется все-таки с вами заняться политграмотой.

Яшин с интересом всматривался в Анну Романовну. «Джарцанс.— Значит, она латышка!.. Вот откуда ее любовь к чистоте невероятной!»

* * *

— Тебе не нравится Ложкин? — неожиданно спросила Саша у Яшина. Она мыла посуду после ужина, и Яшин помогал ей.

— Я ведь, в сущности, и не знаю его как следует,— промямлил он, опуская глаза.

«Какого черта я играю в благородство! — подумал Яшин.— Саша может с ним еще не раз столкнуться».

— Паршивый он тип! — резко сказал Яшин, поднимая на Сашу глаза, и добавил: — Если говорить откровенно.

— А в чем дело, Миша? — Саша внимательно взглянула на Яшина.— Если не секрет.

Он рассказал ей вкратце все, что слышал, стоя днем в коридоре.

— А вчера он мне, понимаешь, услужливо рассказывал...— Яшин замылся на мгновение: «Говорить, так все до конца! Она поймет!» — рассказывал про твоего парня, уехавшего в Сибирь. И про то, какие у вас с ним были отношения... Он был уверен, понимаешь, что я за тобой... ухаживаю.

Яшин почувствовал, что краснеет. До него вдруг дошло, как может теперь Саша истолковать причины его ночной вылазки.

— Я всему этому особенно и не удивляюсь,— сказала Саша спокойно.— Он просто трепач. Николай Павлович его хорошо знает. Трепачей на свете, что мух... И потом все они немножко интриганы. Ты меня понимаешь? Надо не надо, а такие всегда стараются человека на крючок посадить... На всякий случай.

— Саша, ты... т-ты только не д-думай,— Яшин даже заикался, так трудно ему было об этом говорить.— Ты только не думай, что я... что на меня его рассказ повлиял. Ты меня понимаешь?

— Понимаю,— Саша едва заметно улыбнулась.

— Не думаешь?

В глазах у Саши вспыхнули веселые искорки.

— А может быть, все-таки повлиял? Ну, хоть чуть-чуть? Ну признайся!

Нервный смех овладел Яшиным, и он не в силах был ей ничего ответить. Напряжение отпустило его. «Какая она все-таки!..»

— Ну уж сознайся! — настаивала Саша.— Ну?

Но Яшин все смеялся и не мог выговорить ни слова в свою защиту, обезоруженный ее веселой откровенностью.

Ночью, когда Анна Романовна ушла спать, снова зашел разговор о ее столкновении с Ложкиным.

По просьбе Саши и Николая Павловича Яшин подробно рассказал обо всем, чему был свидетелем на вокзале.

— Да,— сказала Саша, улыбаясь, когда он кончил рассказывать,— коса нашла на камень!

— А она кто, между прочим, по национальности, латышка, что ли? — спросил Яшин Николая Павловича.

— Латышка. Но родилась в России, в Сибири. У нее прелюбопытное прошлое! Отца ее с семьей сослали после пятого года в Сибирь за участие в революции. Он работал в Риге на заводе, слесарем, кажется. Семья у них была — восемь человек. Трое братьев, трое сестер и мать с отцом. А после девятнадцатого года она сократилась наполовину: отца и трех сыновей убили колчаковцы. Отряд, в котором они все четверо вместе воевали, был окружен и истреблен поголовно. Вот как!.. А мужа у нее в тридцать седьмом арестовали... Понятно?

— Понятно,— кивает Яшин.

— Он был у нее военным, из знаменитых латышских стрелков.

— А сейчас он где? Погиб?

— Да. Погиб от рук замаскированных врагов народа,— как сказано в справке, которую ей выдали в МГБ в пятьдесят шестом году...

— Понятно,— кивает Яшин.

И действительно, многое становится ему теперь понятным в характере Анны Романовны. Но зато еще более непонятны ему сейчас жизнь, история, люди. Рассудком-то, как ему кажется, он все это понимает или почти все, но сердцем — нет! Сердце отказывается...

— Ты, между прочим, знаешь, что это такое: латышские стрелки? — спрашивает его Николай Павлович.

— Что-то где-то слышал,— отвечает Яшин.

— Что-то, где-то! Молодежь! — качает головой Николай Павлович. — Латышские стрелки сыграли такую роль в революции, а ты: где-то, что-то. Я их, откровенно говоря, немного даже не понимаю. Добровольно оставили родину, кочевали по России под пулями и были самыми неподкупными, самыми дисциплинированными солдатами. Из них составлялись ударные группы, их бросали на самые тяжелые участки. Удивительные были люди. Мой дядька, путиловский рабочий, сталкивался с ними в гражданскую. Ты знаешь, что латыши несли непосредственную охрану Ленина и правительства? Нет? Так вот знай. И в Смольном, и в Москве! Их Ленин с собой в Москву взял. Не кого-нибудь, а их! Ну ладно,— спохватился он,— закрывай рот, работать пора!

Утром, когда Анна Романовна выходит из своего купе, Яшин смотрит на нее, словно видит впервые. Как мало он раньше обращал на нее внимания.

Теперь он испытывает стеснение, когда она что-нибудь делает для него или около него. Стараются ей помочь.

Теперь ему хочется говорить с ней, расспрашивать ее, но неловко, да и свободного времени остается все меньше: поезд приближается к России.

Но ничего! Он еще не раз будет ездить с ней (он думает теперь об этом без сомнений) и сумеет наговориться вдоволь!

* * *

А поезд приближается к России!.. Кончились зной, духота, и за окнами бегут не выжженные солнцем унылые равнины, а радующие глаз золотые поля убранной в скирды пшеницы.

Все здесь радует уставшие глаза: и белые облака, плывущие по синему небу, и далекие холмы с пестрыми пятнами деревень, и русские названия станций.

«Скорее бы еще перебраться через Волгу. Там мы совсем уже будем дома!» — мечтает Яшин.

А облака плывут навстречу все гуще, и чувствуется в них дыхание севера и уже начавшейся там осени...

* * *

Около Куйбышева Яшин вспомнил, что обещал матери написать отцу письмо по приезде. «Папе так приятно будет получить от тебя письмо. Ты ему никогда не пишешь. Ему это так обидно и тяжело!»

— Хм! — усмехнулся Яшин, вспомнив ее слова. Он обещал, а сам думал, что вряд ли напишет. А теперь вдруг почувствовал, что смог бы написать. Ради матери, конечно!..

Теперь он даже мог бы встретиться и говорить с отцом спокойно. Отец словно бы уменьшился в его глазах, опустился куда-то вниз. Теперь он знает его место!

Да, теперь бы он мог говорить с ним спокойно!..

* * *

И вот уже остался позади Куйбышевский вокзал и закончилась третья четверть пути. Поезд приближался к Волге, а день — к вечеру, к последнему вечеру в дороге!

Из-за Волги встают навстречу тяжелые черные тучи, и солнце вот-вот скроется в них. Но ничто сейчас не в силах омрачить настроение Яшина.

«Доехал! Вот и доехал! И совсем это не так уж и страшно, — думает он, не отрываясь взглядом от голубой, розовой, полной покоя и силы волжской воды и далеких за нею синих берегов. — Переплыл бы я ее сейчас, если б надо было?! Переплыл! Не оглядывался бы ни назад, ни вперед — только перед собой — и плыл бы, и плыл. Лишь изредка поглядывал бы вперед, чтоб не сбиться, чтоб плыть прямо к берегу!..»

Надвигающиеся из-за Волги тучи четко отражались в спокойной воде, придавая ее безмятежной глади оттенок тревожного ожидания.

Продрогнув, Яшин вернулся в вагон. Мягкий свет заходящего солнца красиво золотил дерево стеллажей и лица.

— Что? Приближаемся? — спросил Николай Павлович, поднимая голову от стола.

— Да, уже скоро, — ответил Яшин.

— Надо пойти посмотреть, — сказала Саша, торопливо раскидывая письма по клеткам.

Анна Романовна вытирала пыль.



ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

* * *

В

се меньше иноков, гигантов и калек,
 все реже вспоминается о старом,—
 идет обыкновенный человек,
 торя тропу по утреннему Шару.
 Тревожит ноздри майских трав настой,
 гудит в ушах, посвистывает ветер...
 Идет обыкновенный. Не простой.
 Простых сегодня поищи на свете...
 Не обойдешь — себе он на уме.
 Не обведешь ни хитростью, ни лестью.
 Вот над рекою он молчит во тьме.
 Вот жадно ловит из зазвездья вести.
 Ведет «Восток».
 Мечтой мостит мосты.
 Растит росток — он за него в ответе...
 Я не рискну назвать его простым.
 Простых сегодня поищи на свете...
 То радостен,
 то обуян тоскою,
 решает он, каким же будет век,
 где все победней властвует людское
 без иноков, гигантов и калек.

ЛИЦО

Жизнь протекает, льется, длится —
 мечта, работа, маята...
 она, как скульптор, лепит лица,
 трудом бессонным занята.
 По-микеланджеловски грубо,
 с неистощимой силой всей
 то выворачивает губы
 тугой конвульсией страстей,
 то исступленно дни и ночи,

как бог уродства и красоты,
 сократам лбы, согнувшись, точит,
 ломает цезарям носы.
 Сосредоточенно и хмуρο.
 Во всем правдива до конца...
 И дерзко смотрит в мир
 скульптура
 неповторимого лица.

ВАЗА

Я была грудой грубого песка,
 струился кварц у серого виска.
 Расплавили,
 свинца добавив малость.
 Отформовали.
 Я сопротивлялась.
 О, это была хитрая игра!
 Но мастер был угрюмее железа.

Он врезал грань,
 поразмышлял — и грань,
 и снова грань в живое тело врезал.
 И стало явным то, что было тайным,
 я выла под алмазом и в огне,
 пока не стала
 ясной и хрустальной,
 и люди, глянув, улыбнулись мне.

ИНДУСТРИЯ СТОЛИЦЫ

В октябре этого года исполнилось пять лет, как в большом доме на углу Кузнецкого моста и улицы Дзержинского разместился штаб столичной индустрии — один из созданных тогда десятков совнархозов и вместе с тем единственный в стране совнархоз, объединяющий предприятия только одного города. Если графически изобразить связи этого штаба, то к нему из различных районов столицы протянется густая сеть нитей. Пятнадцать укрупненных отраслевых управлений совнархоза руководят работой сотен заводов, фабрик и различных научно-исследовательских учреждений.

Велика по объему и разнообразна продукция Московского городского экономического района. Фирменная марка совнархоза может украшать автоматические линии и агрегатные станки, автомобили и подшипники, металл и инструменты, качественные сплавы и приборы, электронные машины и радиоаппаратуру, металлорежущее и электротехническое оборудование, холодильники и часы, ткани и одежду, продовольствие и парфюмерию, медикаменты и мебель...

Когда вспоминаешь о том, что сделано за пять прошедших лет и в особенности за первый год после исторического XXII съезда партии, поневоле оглядываешься назад, сравниваешь, сопоставляешь. Старую Москву нередко называли «ситцевой». Это было очень меткое прозвище. В 1913 году металлисты давали всего девять сотых всей московской продукции, а текстильщики и пищевики — почти две трети. При этом главенствующими в промышленности города были иностранные предприниматели. Тогда бытовала даже сатирическая песенка о засилии иноземных дельцов:

...Эйнем, Циндель и Гужон,
Юлий Циммерман, Дебре,
Мерелз и Поль Буре,
Марк, Вогау и фон Мекк,
Вольф, и Фишер, и Дюбек...
Ох, кружится голова —
Это матушка-Москва.

Октябрь вымел на мусорную свалку истории капиталистов и хозяйчиков всех

мастей. Славный московский рабочий класс, сплоченный вокруг Коммунистической партии, восстановил разрушенную гражданской войной промышленность. В годы первых пятилеток строились новые и реконструировались старые заводы и фабрики. Был взят твердый курс на преимущественное развитие тяжелой промышленности. И «матушка-Москва» стала совсем иной. Теперь это город высокоразвитой современной индустрии. Только предприятия, входящие в Совет народного хозяйства Московского городского экономического района, дают продукции вдвое больше, чем в сая царская Россия. И неудивительно! Ведь за годы советской власти объем производства московской промышленности вырос в шестьдесят один раз, причем машиностроения — в сто с лишним раз. Да, теперь Москва с полным правом может называться «машиностроительной»!

Более пятнадцати тысяч изделий изготовляют заводы и фабрики совнархоза. В общем производстве страны весьма велика доля многих отраслей столичной индустрии. В нашем экономическом районе, например; выпускается значительная часть автомобилей советских марок, автоматических линий, металлообрабатывающих станков, телевизоров, половина всех штапельных и более одной пятой шерстяных тканей...

Рабочие, инженеры, служащие предприятий совнархоза вместе с семьями — это свыше половины населения столицы!

Многое изменилось с тех пор, как индустрия Москвы и всей страны по решению партии получила новую систему управления. Преимущества этой системы сказались в крупных успехах, достигнутых за истекшие пять лет.

Заводы и фабрики совнархоза под руководством Московской городской партийной организации за три с половиной года семилетки увеличили объем валовой продукции на 25 процентов, а производительность труда — на 19,3 процента, превысив задания, установленные семилетним планом. За прошедшее время освоено более 7 800 новых и модернизированных высоко-

производительных серийных машин, приборов и других изделий.

Столичная индустрия сейчас на подъеме. Но чтобы в короткие сроки осуществить намеченные партией грандиозные планы, надо еще настойчивее развивать все отрасли промышленности. Известно, что в Москве запрещено новое промышленное строительство. Поэтому важнейшие источники нашего роста — внутренние резервы. Используя их, большинство столичных предприятий из года в год, не расширяя производственные площади, добивается улучшения всех технико-экономических показателей. И в этом им помогает мощный рычаг — специализация и кооперирование предприятий.

В. И. Ленин писал: «Для того чтобы повысилась производительность человеческого труда, направленного, например, на изготовление какой-нибудь частички всего продукта, необходимо, чтобы производство этой частички специализировалось, стало особым производством, имеющим дело с массовым продуктом и потому допускающим (и вызывающим) применение машин и т. п.». Ленинское указание подчеркнуто в исторических решениях XXII съезда КПСС.

Мосгорсовнархоз планомерно претворяет в жизнь обширную программу специализации и кооперирования предприятий.

Станкостроение — важнейшая отрасль машиностроения. Ведь без современных высокоточных станков не сделаешь совершенных машин. Главное направление московской семилетки — развитие производства автоматических линий, высокоточного (прецизионного) металлорежущего оборудования. Только автоматических линий за семилетие решено изготовить 450 — вдесятеро больше, чем за предшествующий семилетний период.

Как же справиться с таким большим масштабом работы?

На одном из заседаний Мосгорсовнархоза в 1958 году, где подробно обсуждался этот вопрос, кое-кому тогда казалось, что он поставлен в порядок дня преждевременно, что проблемы эти — дело далекого будущего, что взяты, мол, слишком высокие темпы. Скептики не верили в высокую эффективность специализации, не поняли еще, что потенциальные возможности совнархоза — хозяина положения в своем экономическом районе — неисчерпаемы. И они сели в лужу. За короткое время мы провели крупные преобразования. Начали с трех старых машиностроительных заводов. Изменили характер их производства. Причем перестраивали технологию на ходу, цехи не останавливались ни на день. В помощь работникам реконструированных предприятий мы направили опытных станкостроителей. Теперь эти заводы вместо металлоемкой продукции — громоздких кранов, камерезных машин — выпускают автоматические линии, агрегатные и иные станки, узлы и детали для них. Основа изготовления этих изделий — широкая кооперация предприятий. На каждом из них

создано специализированное производство по последнему слову техники.

Раньше завод имени Орджоникидзе был в столице основным поставщиком автоматических линий. В этом году у него появились «младшие братья» — три специализированных предприятия. Например, из цеха преобразованного завода «Подъемник», переименованного в завод специальных станков и автоматических линий, недавно вышла сложная уникальная продукция. По чертежам 6-го специального конструкторского бюро завод изготовил оригинальную систему автоматической линии. Она быстро и добротно обрабатывает наиболее массовые виды автомобильных и тракторных клапанов. Чтобы представить себе, что это такое, скажем: одна такая линия заменяет 470 рабочих! За год эксплуатации линия экономит 327 тысяч рублей.

За первой «ласточкой» появилась вторая, третья. Недавно завод передал заказчику не менее уникальную линию для обработки колец подшипников. Так коллектив пережившего свое второе рождение завода чрезвычайно быстро овладел высшими видами передовой техники.

Что же еще взяли на вооружение столичные станкостроители? На этот вопрос можно ответить коротко: унификацию. Унификация — это основа массового производства стандартных узлов и устройств. Конструкторские организации совнархоза уже разработали свыше 500 наименований нормализованных конструктивных станочных элементов. Как наборщики из отдельных литер составляют строки, так теперь машиностроители могут творить чудеса — собирать станки и даже автоматические линии из заранее изготовленных унифицированных агрегатов, узлов и деталей. Это ускоряет и удешевляет проектирование и выпуск оборудования. По данным станкозавода имени С. Орджоникидзе, трудоемкость производства снижается в два с половиной раза, стоимость — в полтора раза, а сроки изготовления — вдвое-втрое.

Сократить до минимума применение станков индивидуального изготовления, типизировать оборудование и средства автоматизации — боевая задача дня. И это делается со все большим размахом.

Что это даст?

Представьте себе такую увлекательную картину. Завод собрал из типовых узлов автоматическую линию и агрегатные станки. Они действуют. Но однажды появилась необходимость выпускать совсем другие детали. Значит — замена оборудования. Окажется — вовсе не так. Ведь узлы и все прочие устройства линии и станков — стандартны. Из них с небольшой заменой можно быстро собрать именно то, что нужно. Понимаете, как это ускорит и, разумеется, удешевит выпуск продукции?

На машиностроительных заводах столицы уже созданы автоматически переналаживаемые линии.

Заканчивается, например, наладка девяти подобных линий для обработки блоков цилиндров нового автомобильного дви-

гателя «ЗИЛ-130». На автозаводе имени Лихачева цепочки таких агрегатов уже опробуются: с одного конца загружаются блоки, а с другого они выходят уже с сотнями окончательно обработанных отверстий. Эти линии по существу заменяют крупный цех. Коллектив Первого специального конструкторского бюро потрудился на славу, проявив много технической выдумки и изобретательности. Важно отметить, что цепочка станков автоматически переналаживается на обработку блоков бензиновых и дизельных двигателей.

Используя однотипные узлы, московские станкостроительные заводы оснащают линии последними техническими новинками. На этих линиях можно не только обрабатывать детали резанием (как это было раньше), но также выполнять кузнечно-прессовые, термические, гальванические, отделочные и упаковочные работы. Словом, возникают подлинно «заводы на заводе» с законченным производственным циклом. В линию встраиваются автоматические системы контроля и регулирования, повышающие надежность работы, качество продукции, снижающие простои. И всем этим сложным и многообразным хозяйством руководят с пульта управления всего лишь один-два человека.

Итак, проблема стандартизации и нормализации тесно связана с основами нашего хозяйственного развития. Она в значительной мере определяет направление технического прогресса. Развитие специализированных производств приведет в конце концов к тому, что на многих заводах и фабриках не нужны будут заготовительные и часть обрабатывающих цехов. Некоторые предприятия превратятся в сугубо сборочные — комплекты готовых заготовок, деталей, узлов они станут получать от других производств совнархоза. Покуда это только мечты. Но, как известно, в стране Советов мечты быстро становятся явью. А реальные предпосылки для такой метаморфозы у нас есть!

Москва выпускает большее количество разного вида литья. Оказывается, этого мало, — запросы столичных машиностроителей растут, отливок не хватает, да и качество их оставляет желать много лучшего. С первых шагов совнархоз начал специализацию этого производства. К 1965 году у нас должно остаться лишь тридцать четыре литейных цеха — немного меньше трети того, что есть ныне, а продукции они будут выпускать на 20—25 процентов больше. Десятки карликовых производств, где труд был тяжел и техника убога, уже перестали существовать. Крупная реконструкция идет на заводах «Станколит», имени Войкова, в литейных цехах автомобильного завода имени Лихачева.

Широким фронтом наступает прогрессивная технология. На сами участках, оснащенных новейшим оборудованием, недавно организовано точное литье по выплавляемым моделям. Аналогичное мощное специализированное производство возникает и на насосном заводе имени М. И. Кали-

нина. На заводе «1 Мая» открыт цех, где литье производится современным передовым методом в оболочковые формы.

Переход столичной индустрии от простых изделий к более сложным требует все больше и больше цветных отливок. На заводе «Изолит» пущен полностью реконструированный цех, откуда пошел поток деталей из алюминиевых и других цветных сплавов, изготовленных точным и высокопроизводительным методом пресслитья.

Мы накопили большой опыт и в специализации вспомогательных производств. Многие уже сделано, еще больше предстоит сделать. Налаживается централизованный выпуск некоторых видов инструмента и технологической оснастки. На заводе «Борец» изготовлены для столичных предприятий сотни тысяч резов. Совнархоз создал прокатную базу универсальных сборных приспособлений с конструкторским бюро при ней для обслуживания московских заводов. Двадцать пять ремонтно-механических цехов машиностроительных предприятий заняты централизованным выпуском быстроизнашивающихся запасных частей к станкам наиболее распространенных моделей.

Полезную работу проводит и специализированное производственно-техническое предприятие «Промэнерго» — без его помощи не обходится сейчас ни одно крупное энергетическое хозяйство. «Промэнерго» наладило централизованный капитальный ремонт электродвигателей, промышленных электрических счетчиков, а сейчас открыло цех, где производится восстановление всех контрольно-измерительных приборов.

Специализация проникает и в другие отрасли промышленности. С тех пор как на бывшей шорно-седельной фабрике «Пролетарий» совнархоз организовал централизованный разруб низа обуви, дела в обувных предприятиях заметно изменились. На освободившихся площадях, где раньше изготавливались подошвы, открылись новые цехи, участки, оборудованные по последнему слову техники. Удалось не только более экономно использовать кожу, но и увеличить выпуск обуви, улучшить ее качество, разнообразить ассортимент.

В настоящее время совнархоз переходит к новым формам управления промышленностью, в системе управления обувной и кожевенной промышленности созданы фирмы «Заря» и «Восток». Здесь будет централизован раскрой кожевенных товаров и выпуск заготовок. Как показывают расчеты, фирмы «Заря» и «Восток» дадут дополнительно два миллиона пар обуви в год. Одна только фирма «Заря», в которую войдут фабрики «Парижская коммуна», «Буревестник», «Заря свободы» и другие, сэкономит за год четыре с половиной миллиона рублей, а себестоимость продукции снизится на один процент.

Всего в столице сейчас создается на первом этапе девять объединений. Фирмы появятся в приборостроении, в текстильной, пищевой, парфюмерной и других отраслях столичной индустрии. Новые производст-

венные комплексы объединяют десятки заводов и фабрик совнархоза. И, естественно, каждая фирма будет стараться поставлять безукоризненные по качеству изделия.

Столичные предприятия постепенно освобождаются от разноименной продукции. Примером этому может служить автомобильный завод имени Лихачева. Завод-гигант реконструируется и превращается в специализированное предприятие по выпуску новых улучшенных грузовых автомобилей. Производство автобусов и велосипедов уже переведено в другие экономические районы.

Кроме того, завод освобожден от изготовления некоторых автомобильных узлов и запасных частей. Их поставляют ЗИЛу его филиалы.

«Развитие специализации и кооперирования, а также целесообразное комбинирование родственных предприятий,— говорится в Программе КПСС,— одно из важнейших условий технического прогресса и рациональной организации общественного труда». Совнархоз, руководствуясь этим указанием, всемерно расширяет фронт работ, пересматривает намеченную ранее программу.

Автоматику и комплексную механизацию прозвали «крыльями семилетки». Да, именно на этих крыльях мы взлетим к высотам технического прогресса. Предприниматели-капиталисты внедряют автоматику только там, где она сулит прибыль. Советские же люди смотрят на нее еще и как на избавительницу от наиболее утомительных и нежелательных видов труда. Планомерное внедрение автоматических методов производства — важнейшее условие повышения производительности труда и высвобождения человеческой энергии и способностей для более высокой деятельности.

Мосгорсовнархоз за время своего существования создал 118 комплексно-механизированных и автоматизированных производств, цехов, участков. Введены в эксплуатацию 1 267 автоматических и поточно-механизированных линий и свыше 40 километров непрерывного транспорта, в полтора раза повысился удельный вес автоматов, специальных и агрегатных станков в общем парке металлорежущего и кузнечно-прессового оборудования. В ближайшие два года только за счет механизации погрузо-разгрузочных работ будет высвобождено более 10 тысяч человек.

Производственники предъявляют к создателям средств автоматизации высокие требования. И, разумеется, техника не застывает на месте. Появляются новые, более экономичные конструкции агрегатов, станков, линий. В этом году, например, шесть мощных проектных организаций совнархоза широко развернули строительство наиболее прогрессивных по своим габаритам, весу и техническим показателям автоматических линий роторного типа. Роторные машины уже изготавливаются для десяти отраслей промышленности. Заказы на такое оборудование размещены на

заводах «Красный Пролетарий», шлифовальных станков, «Калибр», низковольтной аппаратуры, «Станколит» и других. Но, к сожалению, спрос на роторные автоматы превышает наши возможности. Совнархоз испытывает большие затруднения в размещении заказов, не хватает производственных мощностей.

От автоматизации отдельных станков, участков предприятия переходят к созданию цехов-автоматов. Несколько лет назад на Первом государственном подшипниковом заводе был сооружен первый такой цех. Его уникальные агрегаты, плод творческих усилий советских конструкторов, вызывали восхищение у многих специалистов. Теперь на этом же предприятии входит в строй второй цех-автомат, выпускающий карданные подшипники. Появление нового цеха сулит большие выгоды. Производительность труда повысится в 2,7 раза, будет сбережено четыре тысячи тонн металла и сэкономлено около миллиона рублей в год.

Коллектив Московского карбюраторного завода успешно выполняет трехлетний план полной автоматизации и механизации производства. Экономисты подсчитали: то, что уже сделано, позволило увеличить производственные мощности в полтора раза, сократить трудоемкость изготовления карбюраторов в два раза. С таким же размахом идут работы на Первом и Втором часовых заводах, «Станколите», фабрике имени Свердлова...

Интересно, что оборудование для технического перевооружения в большинстве случаев делают своими силами сами заводы или другие предприятия нашего же экономического района. При этом выпуск московской промышленностью приборов и средств автоматизации за пятилетие возрос более чем на 70 процентов. Можно без преувеличения сказать, что в приборостроении столица не только идет в ногу с передовыми странами, но по некоторым позициям даже опережает их. Завод «Тизприбор», например, создал конструкцию и налазил серийное производство автоматических самонастраивающихся регуляторов, получивших высокую оценку. Применение одного такого регулятора в производстве синтетического спирта на Саратовском заводе значительно повысило производительность труда и дало большую экономию. Хороши и быстродействующие счетно-решающие машины, теплоэнергетические приборы со столичной маркой. На заводе «Красный Богатырь» электронные машины типа «Марс-200» автоматически контролируют и регулируют процессы на 147 видах оборудования!

Совет народного хозяйства создал в этом году технико-экономический отдел и отдел по координации научно-исследовательских работ. Образован координационный совет. К решению задач технического прогресса привлечены многие академические и отраслевые институты. Результаты? Они нас радуют. Назовем лишь некоторые работы. Всесоюзный научно-исследователь-

ский институт автогенной обработки металлов предложил типовые технологические процессы воздушно-дуговой резки металлов на постоянном и переменном токе. Внедрение этого новшества дает 100 тысяч рублей годовой экономии. На «Серпе и молоте» разработана технология выплавки электрической стали новой марки.

Ученые помогли Московскому трубному заводу внедрить технологию и освоить производство электросварных труб с применением токов высокой частоты. Это позволяет повысить качество и производительность труда при изготовлении труб.

В нынешнем году организации и предприятия совнархоза создали много новых машин, механизмов, оборудования, приборов и материалов. Вышла в свет серийная электронная машина «Амур» с маркой завода «Энергоприбор». Она служит для автоматического регулирования и управления на предприятиях холодильной, пищевой и других отраслей промышленности. Московский электростроительный завод выпустил новый регулятор мощности трансформатор мощностью 750 тысяч киловатт. Завод «Компрессор» дал стране новую серию мощных аммиачных компрессоров, машиностроительный имени Калинина — оригинальные плунжерные гидравлические насосы, «Фрезер» — твердосплавные сверла для обработки стали и пластмасс. Перечисление можно было бы продолжить...

Москвичей, конечно, интересует — расширился ли ассортимент, улучшилось ли качество изделий широкого потребления?

В этом направлении сделано немало, но еще не в такой степени, чтобы полностью удовлетворить возрастающие требования трудящихся. Москва ведет грандиозное жилищное строительство, новоселы не хотят въезжать в новые благоустроенные квартиры со старой мебелью. По распоряжению совнархоза ряд московских машиностроительных заводов изготовил для мебельщиков десятки конвейеров, автоматических линий и другое оборудование. Вошел в строй Сходненский мебельно-сборочный комбинат. И результаты сказались довольно быстро. Выпуск мебели возрос в два с половиной раза, причем больше половины ее приходится на экономичную малогабаритную мебель. Появились новые модели холодильников, стиральных машин, телевизоров, часов, обуви.

Несколько слов о тканях. Текстильщики выпускают сейчас изделия, пользующиеся наибольшим спросом у населения. Разработан ассортимент тканей с синтетическим волокном — лавсаном. На фабриках начали во все больших количествах изготавливать прочные малосминаемые ткани со специальными видами пропиток, придающих им водоотталкивающие свойства и огнестойкость. Производится искусственный мех на трикотажной основе с ворсом из синтетических волокон.

Больше продукции стала давать пищевая промышленность. Молочных диетических продуктов стало почти в три раза больше, детских питательных смесей — в

3,3 раза, а удельный вес расфасованных продовольственных товаров значительно повзрослел.

Радует нас и столичная медицинская промышленность. Она изготавливает антибиотики более широкого спектра действия по сравнению с пенициллином и стрептомицином, дает несравненно больше, чем раньше, витаминов и эндокринных препаратов.

В дни подготовки к XXII съезду КПСС московские предприятия выступили с замечательным почином: предложили начать соревнование за улучшение качества и повышение надежности промышленной продукции. Объявлена война рутине. Изделия, не соответствующие современным требованиям и уровню развития техники, вытесняются новыми или модернизированными. Коллективы многих заводов и фабрик, изыскивая неиспользованные резервы, в полтора-два раза повышают гарантийные сроки эксплуатации машин. Инициатор соревнования завод «Манометр» повысил в этом году надежность десятков приборов, точность их показаний, уменьшил их вес и габариты. Завод малолитражных автомобилей увеличил гарантийный срок и пробег автомобиля «москвич». Многие знают продукцию с маркой заводов имени Серго Орджоникидзе, «Красный пролетарий», координатно-расточных станков. Коллективы этих предприятий взяли обязательство обеспечить работу некоторых моделей станков без капитального ремонта в течение пяти-десяти лет.

Увеличение Московским электроламповым заводом гарантийного срока эксплуатации телевизорных кинескопов вдвое практически равноценно сооружению нового предприятия. А в общей сложности увеличение гарантийных сроков 1620 изделий столичных предприятий, по ориентировочным подсчетам, даст свыше 280 миллионов рублей экономии.

Московское — значит отличное! Таков девиз всех предприятий столицы. Улучшением качества занимаются научно-исследовательские институты, проектно-технологические, конструкторские организации отраслевых госкомитетов, министерств, академий наук и других ведомств, а также предприятия других совнархозов.

Пожалуй, нет сейчас более важной задачи, чем дальнейшее повышение качества и надежности промышленных изделий. Эти вопросы обсуждают производственно-технические советы, конференции, совещания с участием представителей научно-технических обществ и специалистов научно-исследовательских организаций. В эту работу вовлечены советы новаторов, фабрично-заводские лаборатории и общественно-конструкторские бюро. На некоторых заводах возникли отделы, лаборатории, группы надежности, а также службы по изучению условий и опыта эксплуатации изделий у потребителей.

В Программе КПСС отмечается, что систематическое повышение качества продукции обязательно для развития эконо-

мики. Быть рачительными хозяевами — это значит не только хорошо трудиться на своем рабочем месте, но и уметь разбираться в делах участка, цеха и даже всего предприятия. Помочь производственникам овладеть наукой разумного хозяйствования, нести экономические знания в массы — наша боевая задача. Для резкого улучшения экономической работы аппарат совнархоза совместно с предприятиями сделал уже немало. На заводах и фабриках созданы экономические секции. На многих предприятиях в плановых отделах организованы бюро экономического анализа, лаборатории экономики и организации производства. Совнархоз проводит большую работу по научному нормированию труда, наиболее рациональному планированию работы промышленного предприятия.

Наша страна в преддверии нового года — пятого года семилетки. Мы подошли еще к одной вехе на пути к светлому завтра. И в нашем неуклонном поступательном движении самое замечательное, пожалуй, — это полное энтузиазма творчество трудящихся на благо советской отчизны. Вот, скажем, соревнование двух крупнейших в стране экономических районов — Московского (городского) и Ленинградского. В нем нет побежденных, есть только победители. Для соревнования двух городов характерно стремление заимствовать друг у друга все доброе, хорошее, с тем чтобы применить его у себя и всем вместе добиться общего успеха! Бригада с бригадой, цех с цехом соревнуется московский завод «Манометр» с ленинградскими заводами «Вибратор» и «Лентеплоприбор».

Многолетняя дружба связывает коллективы заводов «Москабель» и «Севкабель», Московский электроламповый с заводом «Светлана», «Красный богатырь» с ленинградским заводом «Красный треугольник». Никогда еще соревнование двух городов не принимало такого размаха. Теперь уже не отдельные предприятия, а многие их сотни, целые районы обмениваются опытом, направляют друг к другу делегации.

Творческая инициатива трудящихся воплощается в новых ценных начинаниях. Все большее распространение получает движение за увеличение съема продукции с каждой единицы оборудования, начатое коллективом старшего мастера завода «Серп и молот» И. Зубрева, а коллектив участка коммунистического труда, возглавляемый мастером Александром Перовским, на заводе имени Владимира Ильича, разработал встречный технико-экономический план роста производства и продуктивности труда. Патриотический почин возник и на Кунцевском игльно-платиновом заводе.

Коллектив решил за счет лучшего использования оборудования и производственных площадей к концу семилетки получить почти десятикратную отдачу от основных фондов своего предприятия.

Сейчас нет ни одного столичного предприятия, где не было бы отряда творцов-новаторов — людей, жизнь которых посвящена заботам о всемерном улучшении производства. Они принимали живое участие в проведенных совнархозом различных общественных смотрах. Новаторы находят неиспользованные резервы и ставят их на службу государству. Действенной общественной силой стали организованные в системе совнархоза секции технико-экономического совета, производственно-технические советы, общественные конструкторско-технологические бюро, советы новаторов, изобретателей, молодых специалистов, советы фабрично-заводских лабораторий и общественных конструкторских бюро. Свыше ста тысяч рабочих, инженеров и техников занимаются общественно-полезным делом — рационализацией и изобретательством.

Заслуженную славу обрели имена многих новаторов — таких, как Герои Социалистического труда слесарь В. Ермилов, прядильщица В. Петрищева, мастер К. Котельникова и другие славные советские патриоты, высоко несущие знамя коммунистического соревнования.

Это они обратились к работникам московских предприятий и строек с горячим призывом достойно встретить годовщину XXII съезда КПСС и сорокапятилетний юбилей нашего государства.

«Сделать больше сегодня, значит завтра иметь больше! — писали они в обращении. — Мы все должны учиться считать, вникать в экономику, если хотим быть по-настоящему рачительными хозяевами. А мы должны быть ими! Владимир Ильич Ленин еще в годы становления Советской власти говорил, что «у нас хозяйственное дело — наше общее дело. Это самая для нас интересная политика». Нам, рабочим, и надо осуществлять эту политику: лучше использовать каждый станок, каждую машину, экономить в большом и малом, добиваться высокого качества и высокой надежности наших изделий!»

Добрыми делами встретили москвичи великий праздник Октября. С хорошим настроением они вступают в Новый год — пятый год семилетки. Они полны готовности с честью выполнить решения состоявшегося в ноябре этого года Пленума ЦК КПСС, ответить на эти решения новыми трудовыми успехами. Как и все советские люди, москвичи уверенно смотрят в будущее, день за днем, год за годом возводят величественное здание коммунизма.

И. Исаков,
адмирал флота Советского Союза



ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ

В этом году исполнилось двадцатилетие последнего прорыва в блокированную гитлеровцами базу Черноморского флота Севастополь лидера «Ташкент». На борту корабля находился в те дни и писатель Евгений Петров. Это было почти накануне оставления нашими войсками города, уже исчерпавшего все возможности для дальнейшего сопротивления.

По стечению обстоятельств лидер «Ташкент» погиб в Новороссийской гавани 2 июля 1942 года — в тот день, когда Севастополь был занят врагом, а уцелевшие защитники города-героя дрались разрозненными группами на Херсонесском мысу, в скалах Южного берега Крыма или пробивались к партизанам. И в этот же день погиб при катастрофе самолета Евгений Петров.

Во время войны с фашизмом, особенно на первом, наиболее тяжелом ее этапе, была неизбежна строгая военная цензура. В силу этого некоторые подробности оставления Севастополя после его беспримерной героической обороны не стали тогда известны. Последующие события еще больше отдалили публикацию материалов о перипетиях борьбы Черноморского флота за свою главную базу. Только недавно в воспоминаниях И. И. Азарова «В боевых походах» появились краткие упоминания о малоизвестных событиях тех дней.

Публикуемый очерк написан бывшим членом Военного Совета Северо-Кавказского фронта адмиралом флота Советского Союза И. С. Исаковым, вместе с которым Евгений Петров совершил свой последний выезд из Москвы на фронт. Фотоснимки предоставлены в распоряжение редакции нашего журнала бывшим командиром «Ташкента» контр-адмиралом в отставке В. Н. Ерошенко.

* * *

Гостиница «Москва» была в ту пору своеобразным штабом писателей фронтовиков, выступавших в «Правде», «Известиях» или в «Красной звезде». Затемненные номера «Москвы» нужны были этим людям только для того, чтобы созвониться с редакциями и написать в относительно человеческих условиях то, что накопилось, наболело и что не укладывалось в листки блокнота.

Почему-то тогда преобладало мнение, что военные корреспонденты пишут, обращаясь преимущественно к миллионам трудящихся тыла. Очевидно, вначале в какой-то мере это так и было. Но очень скоро оказалось, что бойцы в дотах, дзотах и в траншеях переднего края тоже с нетерпением ожидают прихода московских газет, чтобы лучше уяснить себе смысл тех исторических событий, участниками которых они являются. Со своей стороны военные корреспонденты стремились лично видеть наиболее острые моменты

борьбы и бывать там, где шла боевая работа, подлинная страда пехотинцев, летчиков и моряков, почувствовать себя в их «шкуре», с тем чтобы лучше понять их психологию, настроение, волю к победе, мечты...

Ради достоверности каждого слова, ради возможности свидетельствовать перед всем миром правду о войне, наконец, ради морального права говорить от имени советского солдата многие из фронтовых писателей рисковали своей жизнью. Нелегко ведь рассчитывать и взвешивать каждый свой шаг, находясь во время операции в составе боевых порядков и не зная детально обстановки...

А война только разгоралась...

И никто из тех, кто встретился в этот июньский вечер в гостинице «Москва», не думал, что тот, кому буквально на днях предстоит так дорого заплатить за стремление все увидеть и все познать, находится среди нас.

Вызванный в Ставку по делам Северо-Кавказского фронта и, относительно неожиданно, оказавшись в номере Ильи Григорьевича Эренбурга, я меньше всех его гостей в

тот вечер был подготовлен к печальной миссии рассказать позднее о последних часах жизни Евгения Петрова. Однако это стало неизбежным, поскольку в итоге этой встречи в гостинице «Москва» он полетел на юг, добился похода на лидере «Ташкент» в агонирующей Севастополю и все время был «в поле зрения» командования фронтом, вплоть до утра своей гибели.

* * *

Во многом схожий со своими собратьями, особенно по целеустремленности и сознанию ответственности перед народом, Евгений Петров казался только более порывистым и нетерпеливым.

Несколько кратких рассказов об удивительных делах защитников Севастополя и о сложных условиях, в которых приходится перебрасывать для них пополнение и вывозить раненых на миноносцах, самолетах и подводных лодках, мгновенно зажгли Петрова желанием сейчас же, немедленно лететь в Краснодар. И, конечно, с тем чтобы потом пробираться дальше, в Севастополь.

Записные книжки его после поездки на Северный фронт были полны нереализованными замыслами, но он решил временно их отложить. С этого момента ему все и всё мешало, и он почти насильно увлек меня двумя этажами выше — в свой номер.

Здесь, с почти мальчишеской гордостью показав трофейный автомат, подаренный ему в одной из дивизий (он лежал у него в среднем ящике письменного стола), Евгений Петрович снова стал горячо убеждать меня взять его утром в самолет. При этом он хватал меня за плечи, обнимал, пытался угощать, клялся выполнять все ограничительные требования и, еще не добившись согласия, стал укладывать белье в маленький чемоданчик.

Условились, что без командировочного предписания от Главполитуправления Петрову лететь нельзя. А насчет поездки в Севастополь решили получить согласие командующего фронтом на месте.

Так или иначе, но, преодолев или обойдя несколько препятствий, Евгений Петрович появился на аэродроме, притащив какую-то бумагу со штампом.

Летели в Краснодар через Сталинград, но о полете ничего не помню, так как отсыпался после Москвы, и в предвидении черноморских дел так крепко, что даже необыкновенно оживленный спутник не мог мне помешать.

* * *

В Краснодаре, еще не осмотревшись, Евгений Петрович начал с просьбы (если не с требования!) разрешить ему отправиться в осажденную главную базу Черноморского флота.

Пришлось очень скупно рассказать о сложности общего положения в Крыму, на Тамани и в Азовском море после падения Керчи, о чем Совинформбюро тогда не делало никаких сообщений. Как раз в этот период по ряду признаков можно было ждать высадки вражеского десанта на Таманский по-

луостров, как из Керчи, так и из Мариуполя; знали мы и о намерении фашистской южной группы армий еще раз прорваться к Ростову и форсировать Дон.

Петрову были предложены на выбор очень ответственные участки фронта, однако он упорно настаивал на своем, пока же согласился съездить в Новороссийск, очевидно рассчитывая проскочить в Севастополь без разрешения докучливого начальства.

Сначала всем нам казалось, что настойчивость Петрова отчасти объясняется тем, что он не представляет себе риска и опасностей, которым подвергаются блокадопрорыватели. Ведь в штабах и политотделах вместо терминов «прорвался» или «форсировал с боем» можно было слышать лишь фразы: «Ташкент» возвратился из Севастополя и вывез столько-то раненых...» или: «Вернулась из главной базы после доставки боезапаса и авиабензина «Малютка №...».

Профессиональная традиция состояла в том, чтобы избегать громких фраз, поэтому непосвященному трудно было понять подлинное значение слова «возвратился». А если один из кораблей не возвращался из похода, то об этом вовсе не говорили с непосвященными и не сообщали в открытых сводках. Таким образом, общая картина морских коммуникаций с блокированной базой для стороннего наблюдателя выглядела довольно спокойно.

Но когда Евгений Петрович снова приехал в Краснодар из Новороссийска, где он своими глазами видел «благополучно» возвратившиеся корабли и подводные лодки, лично говорил с матросами и офицерами, настойчиво выспрашивал у них все детали боев и где, наконец, член Военсовета Черноморского флота И. И. Азаров разъяснил ему обстановку в самом Севастополе, предположение о недостаточной осведомленности Петрова отпало¹.

Только тогда полностью раскрылся и характер Петрова, и его понимание своего профессионального долга. Живые и образные рассказы, выслушанные на палубе корабля, трубы и надстройки которого были продырявлены осколками, а стволы перегретых зениток покрыты обгоревшей краской, отбили бы у многих охоту поглядеть своими глазами на «прорыв блокады». Но у Петрова все это еще больше укрепило желание во что бы то ни стало попасть в Севастополь.

...Не хочется вспоминать последний разговор с ним перед выходом в море. Разговор по моей вине был тягучим, нудным и неискренним: самой серьезной причины нельзя было назвать.

¹ Позже это подтвердилось, когда был опубликован его очерк «Севастополь», датированный 25 июня 1942 года. Это значит, что за сутки до выхода в море на «Ташкенте» в полевой сумке (с которой он не расставался) уже лежала готовая корреспонденция об исключительно тяжелом положении Севастополя «на двадцать первый день последнего штурма», корреспонденция, являвшаяся сводкой собранных им сведений. При чем надо помнить, что наиболее драматическую часть информации Петров не мог привести по цензурным условиям.

А Петров упорно добивался своего, и не столько логичностью доводов, сколько обещательностью искренности. Что же касается разговора о риске, то его он вообще не принимал и, выслушавшая наши предостережения, злился, так как считал, что обязан рисковать, когда это нужно для дела.

Помирились мы, когда он дал слово не сходить с корабля и возвратиться обратно тем же рейсом.

— Но ведь это означает только одну ночь? Что же я успею увидеть?

— Даже меньше... Всего два или три часа в Севастополе... Но вы увидите все!

Только потом он понял значение этого малоубедительного посула.

Забегая вперед, надо сказать, что по рассказам командира «Ташкента» и по заверениям самого Евгения Петровича, он сходил с корабля лишь на импровизированный причал и прилегающий край берега Камышевой бухты, где складывались выгружаемые ящики с боезапасом и стояли рядами носилки с ранеными, ожидавшими эвакуации на Большую землю. Так что данное им слово он сдержал. Но «послушание» Петрова можно объяснить и тем, что лучше всего было наблюдать происходящее, оставаясь на лидере, с мостика которого открывалась вся панорама ночного штурма осажденной крепости.

На каком корабле Петрову идти — было предоставлено решать адмиралам И. Д. Елисееву и И. И. Азарову, руководившим из Новороссийска операциями блокадопрорывателей и питанием Севастополя. Азаров познакомил Е. Петрова с командиром «Ташкента» капитаном третьего ранга В. Н. Ерошенко и проводил писателя на лидер.

26 июня 1942 года в 14 часов «Ташкент» вышел из Новороссийска, имея на борту более тысячи бойцов пополнения из состава сибирской стрелковой бригады и до предела загруженный боезапасом и продовольствием для защитников города-героя. Расчет заключался в том, чтобы, идя полным ходом, приблизиться к южному берегу Крыма к наступлению темноты.

Несколькими часами раньше с той же целью вышел в Севастополь так же перегруженный эсминец «Безупречный».

Была тихая и ясная погода, обычная для летних месяцев на Черном море...

* * *

Сам Евгений Петров в своем последнем незаконченном очерке «Прорыв блокады» назвал операцию «Ташкента» «образцом дерзкого прорыва», в котором так наглядно выявилась «воинская доблесть, величие и красота человеческого духа».

Здесь нет преувеличений — порой неизбежных вследствие журналистских навыков или сильных эмоций, пережитых самим наблюдателем.

Захватив Керченский полуостров, фашисты получили возможность разместить аэродромы своей торпедоносной и бомбардировочной авиации параллельно генеральному курсу движения наших кораблей из Новороссийска

в Севастополь. Это позволяло немцам все светлое время суток атаковать корабли, прорывающиеся в блокированную базу или возвращающиеся оттуда, причем незначительность расстояния до трассы кораблей давала возможность нападать на них повторно, после перезагрузки машин.

Второе важное обстоятельство. С момента, когда весь плацдарм СОРа (Севастопольского оборонительного района) стал простреливаться фашистской осадной артиллерией, командованию СОРа пришлось свернуть работу истребителей с аэродромов, так как летчики и самолеты гибли на земле от артиллерийского огня. В то же время советские истребители, базировавшиеся на Северном Кавказе, из-за дальности расстояния не могли прикрывать наши блокадопрорыватели к западу от меридиана Керченского пролива.

Но это еще не все.

Корабли должны были приходиться в Севастополь в темноте и еще до рассвета уходить за пределы действия осадной артиллерии и авиации. А это позволяло фашистам предвычислять местоположение любого нашего корабля, как только он обнаруживался разведчиками. Продолжительность темного времени суток, скорость хода наших кораблей и их генеральные курсы немцам были известны. Остальное достигалось элементарным математическим расчетом.

Вот почему прорыв блокады был одним из самых тягостных испытаний для черноморцев. Выходя в море, они с относительно большой степенью точности знали, когда могут быть обнаружены противником. Разведка неизменно сопровождалась атакой от десяти до двадцати бомбардировщиков или торпедоносцев, вслед затем обычно следовала небольшая пауза и — повторный налет второго эшелона. При этом неравенство сил было настолько ощутительно, что атаки немецких и итальянских подводных лодок, блокирующих подходы к Севастополю, черноморские эсминцы презрительно почти не учитывали, хотя для транспортов и тихоходных судов они были весьма опасны.

Наконец, с момента подхода к южным берегам Крыма, после наступления темноты, блокадопрорыватели подвергались атакам итальянских М. А. С.¹ или немецких торпедных катеров, базировавшихся на Ялту и Балаклаву.

Таковы были условия прорыва блокады, если, кроме того, не считать исключительной трудности движения по фарватеру ночью через минные заграждения, выставленные на подходах к берегам, и вражеских артиллерийских обстрелов во время пребывания в одной из бухт осажденной базы.

* * *

«Люди точно знали, на что они идут». Так писал Евгений Петров об экипаже лидера в начале своего рассказа о боевых

¹ М. А. С. — итальянские торпедные катера, на которые было перенесено классификационное наименование (мотокатера против подлодок).



Командир корабля «Ташкент» капитан третьего ранга В. Ерошенко, работник «Кинохроники» А. Смолка и писатель Е. Петров на командирском мостике

действиях, участником которых пришлось ему быть. И именно в этом, прежде всего, заключалось величие и смысл подвига советских людей.

Мало кто знает, что лидер «Ташкент» и эсминец «Безупречный» 21 июня уже прорывались с боем в Севастополь и, возвратившись утром 23 числа, на следующий день опять были отправлены в повторный рейс, из которого вернулись в Новороссийск к утру 25 июня. И на этот раз к числу раненых, эвакуируемых из города-героя, прибавились не только свои раненые, но и убитые из состава экипажей, так как в обоих переходах пришлось выдержать несколько боев с торпедоносцами и бомбардировщиками, преследовавшими корабли почти все светлое время суток.

Это значит, что прорыв 26 июня корабли начинали в третий раз в течение недели. Начинать не отдохнув, так как все время с утра 25-го до выхода на следующий день ушло на приемку топлива и зенитных патронов и лент, на размещение сибиряков и на погрузку ящиков с боезапасом и продовольствием для осажденных. Кроме того, немало усилий и часов потребовал ремонт корпусов и механизмов, пострадавших от осколков и близких разрывов крупных бомб и от форсирования главных машин и рулевых устройств при многократных уклонениях от фашистских атак.

Вот что означала фраза — «люди точно знали, на что они идут».

Сам Петров только на переходе мог полностью понять цену той скромности и деловитости, какие были свойственны людям, хо-

рошо знавшим, что ожидает их в предстоящем прорыве.

В военно-морском оперативном лексиконе есть понятие — «напряжение использования сил», что в упрощенном толковании означает отношение числа боевых дней к числу дней стоянки в базах. Если приложить этот термин к «Ташкенту» и «Безупречному» применительно ко второй половине июня 1942 года, то можно утверждать, что примеров подобного боевого напряжения не знает история второй мировой войны на море. Так лаконичная оценка Петрова — «образец дерзкого прорыва и высокой воинской доблести» — получает значение объективного свидетельства.

* * *

Петров последовательно испытал в эти часы все, что его друзья на «Ташкенте» испытали дважды за неделю.

Вражеский разведчик. После него — длительный бой с самолетами. Бомбы у борта, за кормой или перед форштевнем. Изумительное по мастерству, расчету и хладнокровию маневрирование Ерошенко, с яростью и дикованием срывавшего все усилия фашистов. Оглушающие залпы зениток, к которым сибиряки добавляли огонь своих пулеметов. Раненые и убитые... словом, все то, чем неизбежно сопровождаются подобные боевые столкновения, вплоть до «ура» в момент, когда сбитые вражеские самолеты врезались в воду.

Дальше, «по расписанию», как говорил черноморцы, спустя час или два, надо было ждать второго боя. Но на этот раз «распи-

сание» оказалось нарушенным, словно специально для того, чтобы Евгений Петрович стал участником особенно тяжелой и трагической коллизии.

Около девятнадцати часов впереди по курсу — там, где по расчетам должен был находиться прорывающийся первым «Безупречный», взметнулся к небу необычной высоты столб дыма и пара. В момент подхода к месту только что закончившегося боя — эсминца уже не было. В озерах мазута среди деревянных обломков плавали немногие уцелевшие моряки и армейцы.

Естественное стремление остановиться, спустить шлюпки и попытаться спасти товарищей с «Безупречного» сразу же было парализовано новыми атаками юнкеров. Верные своим приемам, фашистские летчики расстреливали беспомощных людей из пулеметов. Остановка лидера явилась бы крайне выгодной для немцев.

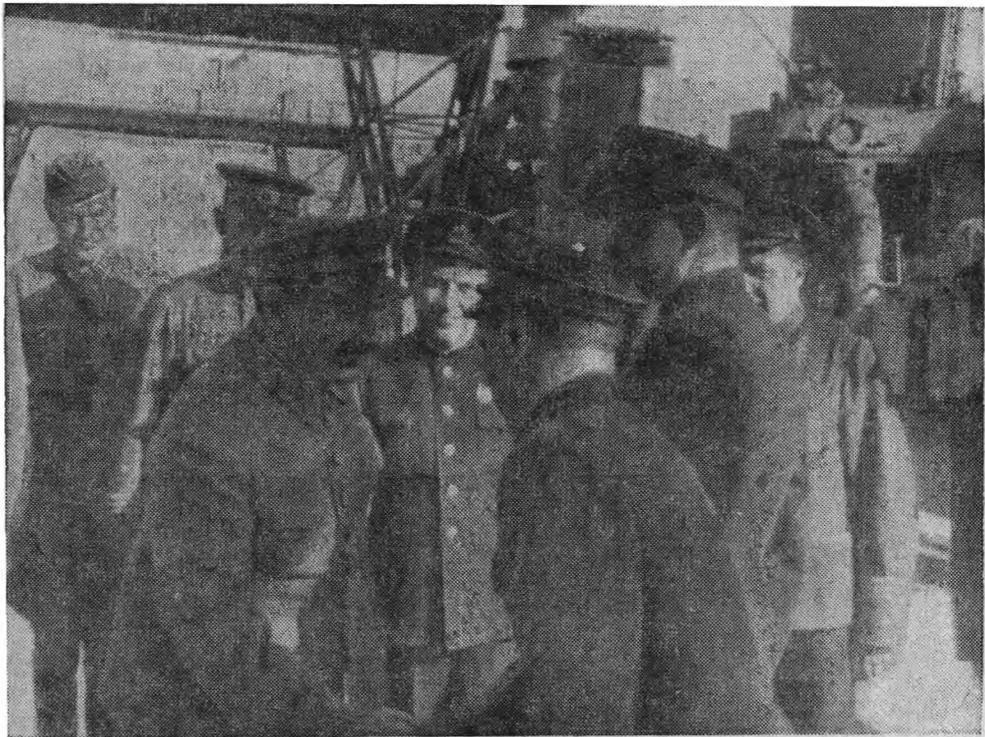
Трудно представить более тягостную и мучительную дилемму. Остаться на месте — значило спасти десять-двадцать товарищей, но почти наверняка погубить корабль, на котором было полторы тысячи человек, а также боезапас и продовольствие для Севастополя. Кроме того, маневрировать на полных ходах и крутых циркуляциях, уклоняясь от бомб и торпед, — значило своими же винтами рубить тех, кто еще держался на воде.

Но как бросить погибающих и уйти? Как сделать этот шаг, если человеческая совесть, морская традиция яростно протестуют против этого?!

И все же Ерошенко с болью в сердце вышел из мазутного пятна, предварительно выбросив все спасательные круги и пояса, увлекая за собой часть немецких асов. Одновременно он дал радиogramму о происшедшем, прося разрешения возвратиться с наступлением темноты к месту гибели «Безупречного».

Разумеется, ему это запретили.

Не трудно представить себе, как тяжело было командованию флотом давать такое приказание, но оно не могло быть иным. Спасение уцелевших в темноте отняло бы не менее двух часов, а использование прожекторов в этих условиях было бы самоубийством. Кроме того, не менее двух часов пришлось бы затратить на отход и возвращение. Безусловно, если бы лидер шел без солдат и грузов, ему было бы предписано спасти всех оставшихся в живых. Но «Ташкент» вместе с другими миноносцами, подводными лодками и транспортными самолетами помогал Севастополю держаться, сковывая в Крыму до трети миллиона вермахта, то есть те его дивизии, которые по плану ОКВ должны были еще с весны маршировать к предгорьям Кавказа.



На стенке у лидера «Ташкент». Слева направо: писатель Е. Петров, командир дивизиона капитан третьего ранга Г. Негода, командующий Северо-Кавказским фронтом маршал С. М. Буденный, член Военного Совета Черноморского флота дивизионный комиссар И. Азаров, командир корабля капитан третьего ранга В. Ерошенко, батальонный комиссар Г. Коновалов, командующий эскадрой контр-адмирал Л. Владимировский

И именно потому, что погиб «Безупречный», а с ним пополнение и боезапас, приход «Ташкента» в осажденную базу был крайне необходим.

Позднее Евгений Петрович говорил мне, что все это стало ему понятно после разговора с командиром лидера, который переживал происшедшее так же тяжело, как и он. Но самые логичные и убедительные доводы не могли помочь освободиться от горького ощущения и мрачных мыслей о судьбе советских людей, расстреливаемых в воде фашистскими убийцами¹.

Оставался последний этап прорыва в Севастополь — форсирование входного фарватера, ведущего через минные заграждения, и, поскольку приходилось осуществлять его в полной темноте, все внимание стоявших на мостике было сосредоточено на выполнении этой задачи.

Но судьбе было угодно обогатить запас впечатлений военного корреспондента еще одним боевым эпизодом.

На меридиане Аю — Дага «Ташкент» был атакован итальянскими MASами, базировавшимися на Ялту. Однако этот эпизод, не менее опасный для лидера, чем атаки самолетов, не произвел сильного впечатления на Евгения Петровича. Как он потом рассказывал, его ослепил огонь пушек главного калибра, и, кроме крутых циркуляций корабля, уклоняющегося от торпед, Петров ничего не видел. Впрочем, из-за осторожности итальянцев даже Ерошенко заметил только их залп; зная вражескую тактику, он маневрировал по расчету, исходя из разгаданных действий противника.

А еще через два часа (в 23 часа 15 минут) «Ташкент» стал, наконец, у импровизированного причала в Камышевой бухте и начал разгрузку солдат и боезапаса.

* * *

Наконец-то Петров был в Севастополе, в который он так стремился.

¹ Часть из них была спасена подводной лодкой «М-112» (командир — старший лейтенант Хаханов), также прорывающейся в Севастополь с боезапасом и бензином. Но в тот момент на «Ташкенте» об этом не знали.

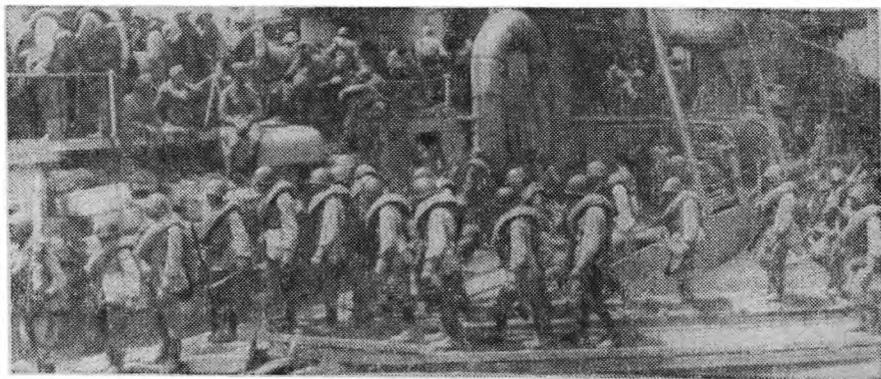
Теперь он получил возможность в течение нескольких часов наблюдать жуткую и в то же время величественную картину генерального штурма осажденной приморской крепости. Этот штурм осуществлялся в классической форме сужающегося огненного кольца, вероятно, последнего в истории войн. Петров видел разрывы многих тысяч бомб, снарядов, гранат и мин и вслед за ними подсвеченные облака пыли и дыма, сквозь которые угадывалось движение немецких гренадеров, в подавляющем большинстве обреченных очередным, «последним» приказом фюрера на гибель.

Петров ожидал увидеть только один из участков обороны СОРа, наиболее приближенный к Камышевой бухте. Но перед его глазами в темноте горело и трепетало огненное полукольцо почти всего оборонительного обвода. Это полукольцо уже настолько сжалось, что почти всю оборону, весь СОР можно было наблюдать с мостика «Ташкента» («Плацдарм... оказался меньше, чем я думал», — писал Петров).

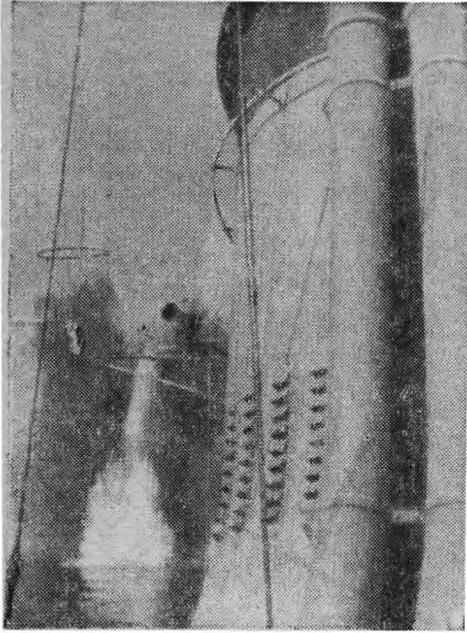
Слитный гул сплошной канонады, временами покрываемый разрывами самых тяжелых бомб или снарядов, спустя некоторое время уже не воспринимался притупленным слухом. Евгений Петрович жадно всматривался в незабываемую картину. Затем, забыв о своих корреспондентских обязанностях, превратился в дэбровольца-санитара и стал помогать носить и размещать раненых севастопольцев в кубриках и отсеках лидера.

Поскольку в пределах СОРа не было ни одного непростреливаемого участка, несколько залпов 150-мм снарядов «обшарили» Камышевую бухту. Немцы знали, что здесь обычно разгружались блокадорорыватели.

С командующим СОРОм адмиралом Октябрьским или членом Военсовета Кулаковым Петрову увидеться не удалось. Да и вряд ли у них нашлось бы время для интервью корреспонденту «Красной звезды» или для дружеской беседы с писателем. Ведь более двухсот сорока суток, без малейшей передышки, днем и ночью, командование и все защитники Севастополя — моряки, армейцы, рабочие подземных мастерских и заводов, вместе со всеми гражданами, ставшими снайперами, или медиками, или снабженцами, — обороняли родной город, так что подступы к нему



Погрузка на «Ташкент»



Взрыв бомб, упавших за нормой
«Ташкента»...

стали многочисленными братскими могилами для гитлеровских дивизий. При этом оборона осуществлялась в условиях крайней нехватки пополнений, боезапаса, медикаментов, продовольствия и даже питьевой воды. Вот почему прорыв каждого корабля с Кавказа был для Севастополя важным событием.

Ерошенко, отлично понимая, на что он идет, взял на корабль около 2100 лежащих на носилках и способных передвигаться раненых, а также ожидавших эвакуации женщин и детей. Это было выше любых норм и возможностей, к тому же еще предстоял неизбежный бой при обратном прорыве.

Наконец во втором часу ночи на 27 июня перегруженный сверх всякой меры лидер вышел в Новороссийск.

Петров все время был с теми, кто нуждался в помощи, поил этих людей, которым в условиях осажденной крепости не хватало даже воды. При этом Евгений Петрович узнал от раненых и эвакуированных о Севастополе больше, чем мог наблюдать сам.

* * *

Обратный прорыв протекал «по расписанию» и опять при ясной погоде.

Обозленные фашисты, увидя невредимый «Ташкент», в четыре часа утра бросили против него несколько эскадрилий, которые, последовательно сменяясь, непрерывно атаковали его до 8 часов 30 минут, сбросив за это время триста тридцать шесть крупных бомб.

Три с половиной часа лидер маневрировал предельными ходами, уклоняясь от прямых попаданий и в то же время стараясь продвигаться на восток.

Обязанности санитара мешали Евгению

Петровичу следить за обстановкой, но он видел, что не только увеличивается количество новых раненых, но есть уже и убитые. Он знал, что сбито два двухмоторных самолета, но в это же время с тревогой заметил, что «Ташкент» постепенно теряет скорость хода.

Мощные разрывы вплотную к корпусу корабля разорвали несколько швов и образовали пробоины, а от сильных сотрясений были повреждены фундаменты котлов и машин.

В ответ на донесения командира вступил в действие механизм оказания помощи, и из Новороссийска вышли торпедные катера, эсминец «Сообразительный», спасательное судно «Юпитер» и другие. Когда же лидер вошел в пределы действия истребителей, над раненым «Ташкентом» появились наши самолеты. Это решило судьбу корабля, так как фашисты не рискнули вступать в драку и возвратились на крымские аэродромы.

* * *

В дальнейшем оказалось, что двойной прорыв с боем, гибель «Безупречного», Севастополь, горящий в кольце штурма, и лидер, забитый сверх меры ранеными,— это было еще не все, что пришлось испытать Петрову. Вдобавок ко всему он стал свидетелем и участником борьбы за живучесть пострадавшего корабля.

«Ташкент», несмотря на все усилия экипажа и работу отливных механизмов, принял через пробоины около тысячи тонн забортной воды, то есть около трети собственного водоизмещения! Погрузившись до предела, полузатопленный, он шел малым ходом. Искусство инженер-механиков и аварийных партий поддерживало его на плаву, но как долго выдержат переборки — сказать никто не мог. Появление волны или близкое падение бомбы неизбежно привело бы к катастрофе.

Раненых и эвакуируемых перевели на подоспевший эсминец и катера, но только после подхода «Юпитера» можно было (да и то без гарантий!) надеяться на благополучное возвращение в Новороссийск.

Конечно, после перегрузки раненых Евгению Петровичу было предложено сойти с аварийного лидера, но он не захотел оставить своих друзей, вместе с которыми пережил так много, хотя риск налета фашистской авиации на поврежденный корабль был весьма реален. И, может быть, главную роль в этом решении сыграло то, что в одном из нижних отсеков корабля, внезапно затопленном через пробоину, осталось несколько тяжелораненых севастопольцев, спасти которых было невозможно.

Петров не только дошел с ними до Новороссийска, но и проводил их на кладбище.

Если бы Петров обладал «деловитостью» американских корреспондентов, он безусловно перепрыгнул бы с «Ташкента» на один из торпедных катеров, которые встретили тяжело поврежденный корабль за шестьдесят миль до базы, и выиграл бы часов шесть, чтобы послать в газету свою корреспонденцию. Во всяком случае, так поступил бы лю-

бой из его зарубежных коллег. Но Петров не спешил в Москву и не торопился на скорую руку использовать массу наблюдений и впечатлений, накопленных с момента выхода в море.

Больше того. Когда в Краснодаре он узнал, что командующий фронтом маршал С. М. Буденный отправляется в Новороссийск, чтобы поблагодарить экипаж «Ташкента», Петров попросил взять его с собой.

Ташкентцы встретили писателя как старого боевого друга, а ради этого право же стоило потерять двое суток.

Но, вероятно, у каждого, в зависимости от его физиологической конституции, есть свой предел насыщения сильными впечатлениями. Переступив через этот порог, человек может дойти до истерического взрыва или, наоборот, — до апатии, пока не восстановится запас нервной энергии.

Вернувшись в Краснодар, Петров казался притихшим. Как будто такой же обаятельный, общительный, всем интересующийся, так же щедро и с юмором повествующий о своих впечатлениях, он в то же время стал более тихим и медлительным.

Конечно, это могло быть следствием физического переутомления. Ведь с момента выхода «Ташкента» из Новороссийска Евгений Петрович не заснул ни на минуту. При спасении раненых и эвакуируемых он работал как санитар-доброволец, а когда начался аврал борьбы за живучесть тяжело поврежденного корабля, он стал вспомогательным номером в одной из аварийных партий. Разумеется, переутомление давало себя знать.

Но Петров не был надломлен или травмирован настолько, чтобы потерять себя. Нет. Это был все тот же Евгений Петров, чуть менее экспансивный, похожий на человека, который смотрит не столько вокруг, сколько внутрь себя. Человек, увидевший что-то новое в людях, да и в самом себе.

Ночью, накануне его отлета в Москву,

мы несколько часов провели вместе в обществе маршала. Разошлись поздно. Но когда за два часа до назначенного отлета я вышел на залитую солнцем веранду, всю увитую виноградными лозами, оказалось, что Евгений Петрович, не раздеваясь, спит на тахте, а кругом, на перилах, на лестнице, на стульях, лежат листки его записей. Каждый листок придавлен камушком, принесенным из сада, а рядом с изголовьем висит полевая сумка, еще темная от впитавшейся воды и морской соли.

Улетел Петров в хорошем настроении. Очевидно, три часа сна немного восстановили его силы.

Провожая писателя на аэродром, я не хотел на прощание сообщать ему более поздние и более мрачные вести о Севастополе и, едва убрали лесенку, поспешил уехать.

Около шестнадцати часов далекий голос спросил по телефону:

— Вы отправили утром «Дуглас» с писателем Евгением Петровым?

— Да!

— К сожалению, должен известить вас, что Петров разбился...

— Кто со мной говорит? — крикнул я, еще на что-то надеясь.

— Оперуполномоченный НКВД, из Черткова.

Немногим было дано за одни сутки пройти через те испытания, какие выпали на долю Петрова, и до конца остаться самим собой.

Значительность последующих исторических событий отвлекла внимание от его трагической гибели, но очень скоро мы поняли — кого потеряли, и горько пожалели о том, что Петрову довелось увидеть лишь тот этап войны, когда гитлеровцы пробивались на восток.

Только камень на могиле писателя у станции стал свидетелем ожесточенных боев, в которых Советская Армия гнала врагов на запад, истребляя фашистские полчища.

ПОВЕРНУТЬ ШТУРВАЛ!

Западногерманские заметки

Я пробыл в Западной Германии довольно продолжительное время в качестве корреспондента. Я рассказывал читателям моей газеты о жизни страны, которая занимает в мыслях советских людей особое место.

С давних пор дороги Германии и России то сходились, то расходились. Очень часто судьбы обеих стран оказывались в такой тесной близости, что внутренние и внешние события одной не могли пройти бесследно для другой. Умные, трезво мыслящие немцы всегда считали, что с великим восточным соседом надо дружить. Но власть в Германии чаще оказывалась в руках людей совершенно иного склада...

В послевоенные годы постепенно сложились две Германии. Мне приходилось бывать в Германской Демократической Республике, встречаться с хорошими людьми, которые с горечью и печалью оглядывались на прошедшие годы, годы нацизма и ужасной, бессмысленной войны. Я беседовал со старыми коммунистами, чудом уцелевшими в гитлеровских концлагерях, и с людьми, которые двенадцать лет фашизма прожили в угаре бредовых идей и лишь после войны очнулись, вдохнув свежего, целительного воздуха освобождения. Все они, даже те, кто не был причастен к гитлеровским преступлениям, чувствовали себя виноватыми перед нами, советскими людьми, больше всех пострадавшими в минувшую войну. Они старались исправить эту вину дружбой, они строили новую Германию, трудились упорно, порой самозабвенно.

По-иному складывались дела в другой Германии. Наши бывшие союзники постарались, чтобы западные немцы поскорее забыли уроки недавней войны. Они вручили кормило власти деятелям, которые стали готовить страну к реваншу. Наши бывшие союзники сделали все возможное, чтобы в Западной Германии пышно расцвел зловещий сорняк «антикоммунизма». Они поддержали и поставили себе на службу наиболее активных гитлеровцев, которые выслуживались перед недавними противниками тем, что последовательно, шаг за шагом, превращали страну в очаг новых военных опасностей, одновременно обливая пропагандистской грязью Советский Союз и другие страны социализма. Тех же немцев, которых не удалось прибрать к рукам, союзники стремились нейтрализовать, сделать людьми аполитичными, пассивными, не способными к борьбе.

Н. С. Хрущев в своих речах и беседах с политическими и общественными деятелями много раз указывал на ту ответственность, которую берут на себя западные державы и прежде всего США, поощряя и развязывая силы милитаризма и реванша в ФРГ. Н. С. Хрущев неоднократно обращался и непосредственно к западногерманским деятелям с призывом покончить с опасной политикой, которая может поставить Европу и весь мир на грань новой катастрофы, с призывом повернуть штурвал от реакции и военщины в сторону демократии и мира.

С разными немцами приходилось мне сталкиваться за годы пребывания в ФРГ. Тут были и откровенные враги, не скрывавшие ненависти к Советскому Союзу, к коммунизму. Были и такие, которые относились к нашей стране с интересом, но, ослепленные американской и боннской пропагандой, подчас не могли правильно оценить то, что происходило у нас. Я говорил и с такими, кто сбросил с глаз антисоветскую пропагандистскую пелену и был уже в состоянии объективно оценить все то передовое, что несет человечеству наше общество. Этих людей становилось все больше и больше по мере того, как росли и множились успехи Советского Союза в экономике, науке, искусстве, в строительстве новой жизни.

Я видел и настоящих борцов против милитаризации страны, против превращения ее в американский военный плацдарм в Европе, борцов за демократическую и миро-

любивую Западную Германию. Они еще не развернули плечи во всю мощь. Но у меня нет сомнений, что завтрашний день за ними. Будущее всей Германии — это не война и разрушение, а труд и созидание, разум и мир.

Заметки, которые я предлагаю читателю, основаны на наблюдениях и фактах. Процессы, которые я пытался отразить в них, со временем не изменили своего направления и характера, а лишь углубились и, возможно, достигли новой ступени в своем развитии.

* * *

Янки в Германии

Я ехал в Штутгарт. «Фольксваген» весело отмеривал километры. У самого города я увидел колонку и решил заправиться. Подъехав к одной из стоек со шлангом, я не спеша вышел из машины, открыл капот и жестом попросил парня в комбинезоне залить бензин. Тот удивленно поднял глаза и также жестом указал на яркую табличку, висевшую над дверями будки.

Я прочел: «Обслуживаются только американцы».

Только сейчас я обратил внимание на роскошные «шевроле», «форды» и другие американские машины, подъезжавшие к колонке. Маленький, неуклюжий «фольксваген» на их фоне выглядел как-то курьезно. Американцы в штатском, поглядывая на мою машину и на меня, иронически улыбались.

Небольшая колонка под Штутгартом — это лишь деталь. Американцы в ФРГ повсюду. Они отстроили целые городки с магазинами, церквями, кинотеатрами, школами. Надпись «только для американцев» я видел также на ресторанах и барах. Американцы расположились в Германии удобно, солидно, надолго, не жадя самолюбия немцев.

Когда в беседах с некоторыми западногерманскими политическими деятелями или журналистами мне приходилось слышать особенно бурные восхваления Америки и всего того, что она принесла с собой в Западную Германию, я рассказывал моим собеседникам о бензоколонке под Штутгартом и о табличке «только для американцев». Многие смущались и переводили разговор на другую тему.

Были и другие. Они не скрывали своей горечи и досады поведением тех американцев, которые так бесцеремонно втаптывают в грязь их национальное достоинство, пренебрегают элементарным тактом и на каждом шагу подчеркивают свои права оккупантов.

У меня установились хорошие отношения с несколькими журналистами из Франкфурта. Это были люди честные, многому научившиеся во время войны. Они прямо говорили, что разочаровались в Америке и американцах. «Да, Америка оказала нам финансовую помощь», — помогла встать на ноги. Но не надо забывать и о тех огромных барышах, которые принесли американцам их капиталовложения в Западной Германии. Закроем глаза на проценты — в капиталистическом мире без выгоды ничего не делается. Но моральный грабег, унижение национальных чувств — этого не замечать нельзя».

«Посмотрите, что стало с Франкфуртом в послевоенные годы, — рассказывал мне как-

то известный журналист, сотрудник крупной газеты. — Одно американское учреждение на другом: военные, торговые, финансовые и пр. и пр. Американцы стали неотъемлемой принадлежностью города. Они придали ему свою окраску, наложили на жизнь города особую печать. Американец чувствует себя во Франкфурте, как дома. Он пришел сюда победителем. Немцы интересуют его постольку, поскольку их, к сожалению, нельзя выселить куда-нибудь подальше и приходится с ними жить бок о бок. Впрочем, и при этих приискорбных обстоятельствах «уважающий себя» американец старается не замечать немца. Говорит он только по-английски и ужасно удивляется, когда его не понимают. Как-то на Кайзерштрассе меня остановил молодой американец в штатском и спросил по-английски, как пройти к вокзалу. Я сказал по-немецки, что не понял вопроса. Американец окинул меня коротким полупрезрительным, полуудивленным взглядом, засунул руки в карманы и, не сказав больше ни слова, пошел дальше».

Я был свидетелем любопытного случая, весьма характерного для поведения американцев в Германии.

Солдат американской танковой части, стоявшей в небольшом городке под Франкфуртом, встречался с местной девушкой. Однажды он, проводив девушку до дома, задержал ее у калитки. Отец позвал домой свою дочь, и та, несмотря на настойчивые уговоры ухажера, ушла. Возмущению молодого янки не было границ. Побуянив немного около подъезда, он вернулся в часть, но вскоре обитатели тихой улочки услышали дязг гусениц мчащегося танка. Огромная машина с грохотом развернулась и направила на дом девушки жерло огромной пушки. Из открывшегося люка выскочил влюбленный, угрожая разнести все в пух и прах. Он требовал, чтобы его подруга вернулась к нему.

Да, американцы не стесняются в Германии. Их мало тревожит, что своим поведением они настраивают против себя немцев. Они чувствуют себя там слишком прочно и уверенно, чтобы обращать внимание на подобные «мелочи».

Благодатную почву в Западной Германии нашла американская разведка. Во Франкфурте, Мюнхене и многих более мелких городах разместились десятки всевозможных секретных служб и агентств. Они активно используют старые гитлеровские кадры, вербуют новых агентов. Обучают их здесь же, под руководством опытных американских и не менее опытных гитлеровских инструкторов. А потом забрасывают в ГДР, Чехословакию, Польшу и другие страны народной демократии.

Американцы тратят много денег на со-

держание эмигрантских организаций, на анти-советские издания, работу радиостанций, ведущих передачи на Советский Союз. Из наиболее ответных эмигрантов подбираются шпионские и диверсионные кадры, которые, после тщательной подготовки в специальных школах, забрасываются в Советский Союз для вредительской деятельности.

Американцы и их агенты из эмигрантских организаций стараются поддерживать атмосферу морального разложения, душевной опустошенности у перемещенных лиц. Людям внушают, что им нечего ждать от жизни, что с Родиной покончено навсегда. Обитателям лагерей для перемещенных лиц сознательно не дают работы. Кормят их кое-как, одевают в рубища, содержат в деревянных бараках с жесткими нарами и обрекают на опустошающее безделье. Так тянутся дни, месяцы, годы, и люди теряют человеческий облик.

В лагерях процветает пьянство, драки, воровство, проституция. Опустившегося человека можно толкнуть на что угодно.

Людей сопротивляющихся, сохраняющих остатки порядочности и человеческих чувств, обрабатывают другими методами: их систематически избивают и делают это руками тех же перемещенных, внутри лагерей. А если и это не помогает, то обвиняют в каком-нибудь преступлении и приговаривают к долгим годам каторги или тюрьмы.

Американская пропаганда настойчиво внушает немецкому населению, что американский образ жизни самый совершенный, самый свободный и наиболее удовлетворяющий материальные и духовные потребности человека, что он значительно превосходит образ жизни людей другого лагеря. Немцев призывают во всем следовать за американцами: жить, как они, думать, как они, и отдыхать, как они...

Пропагандисты пытаются подсластить горькие оккупационные пилюли и вызвать у населения любовь и уважение к распоясавшимся «победителям». В Дортмунде мне удалось побывать в так называемом «Американском доме». Такие же дома я видел и в Мюнхене, и в Ганновере, и в Гейдельберге. Позднее мне стало известно, что есть они во всех крупных западногерманских городах.

В домах регулярно устраивают выставки, рекламирующие достижения США, проводят музыкальные, литературные вечера, снабжают посетителей самой разнообразной американской литературой.

В вечерах часто принимают участие американские ученые, писатели, композиторы. Но главным козырем в этой игре являются пропагандисты из немцев. В их устах американские достижения выглядят для немецкого населения более убедительно и доходчиво.

Люди вынуждены слушать американцев или немцев, прославляющих Америку, ибо больше некого слушать. Долгое время они не имели возможности хотя бы сравнить американские достижения с советскими, почитать советские книги, посмотреть советские фильмы, послушать советских докладчиков. Где их заполучить? От многих дортмундцев я слышал, что они сыты американщиной во всех ее проявлениях, что американцы уже надоели.

Люди пожилые, не склонные к скороспе-

лым выводам, правильно оценивают американскую пропаганду и не поддаются под ее влияние. Другое дело молодежь. Пустые, но внешне яркие фильмы, бешеные ритмы рок-н-роллов, пестрая одежда дурманят молодых немцев, отвлекают их от серьезных мыслей, мешают объективно оценивать положение вещей.

Как-то я проводил беседу о Советском Союзе в небольшом городке Кирххайм около Штутгарта. Слушателями были учителя. После беседы я говорил с одним из них. С какой печалью и тоской говорил он о проблеме воспитания молодежи в современных условиях Западной Германии. Школ недостаточно, учителей не хватает, в классах сидят по шестьдесят—семьдесят человек. Учебники искажают исторические факты, воспитывают у молодежи преклонение перед фашистским прошлым. Они не привлекают учеников, не пробуждают в них интереса к знаниям. Кончились занятия в школе, и молодой человек не знает, куда деть себя. О нем уже больше никто не заботится. Внешкольная работа с детьми вообще не ведется. Клубы, кружки, самостоятельность — эти понятия неизвестны в Западной Германии.

Кино? В кинотеатрах безраздельно господствует американская продукция. Гангстеры, ковбои, отчаянные драки, погони, оглушительные перестрелки — вот чем американцы забавляют немецкую молодежь с экранов.

Отсюда и кумиры молодых немцев. Это не герои, совершающие настоящие подвиги, а американские киноактеры — ковбои, гангстеры, сыщики, джазовые певцы, вроде Элвиса Пресли, танцоры, отплясывающие рок-н-ролл без передышки, по целым суткам.

Я был на концерте Элвиса Пресли в Эссене. Громадный спортивный зал заполняла молодежь в возрасте от четырнадцати до двадцати пяти лет. На сцену вышел парень с гитарой. Он пел под аккомпанемент небольшого джаза и гитары. Низкие ноты неожиданно переходили в выкрики и даже взвизгивания. Парень весь дергался в такт ритму. Сперва начала подергиваться правая нога, затем левая, потом пришло в движение все тело. Пресли приседал, сгибая колени, а корпус откидывал резко назад. Лицо его искажалось гримасами. Руки судорожно дергали струны.

Когда он резко оборвал песню и выпрямился, в зале раздался рев восторга. Парни топали ногами, били кулаками по сиденьям стульев, свистели. Девушки орали истощенными голосами. Так заканчивался каждый номер. К концу концерта экстаз молодой публики достиг предела. Девушки бросились к сцене. Они тянулись к Пресли, кричали, визжали. Парни начали ломать стулья и все, что попадется под руку. Избыток дикого, животного восторга и молодой энергии прорвался наружу. Лишь вмешательство сильного наряда полиции спасло зал от полного разрушения.

В Бонне мне довелось наблюдать иной вид развлечения молодежи.

На узкой Штернштрассе, где находился кинотеатр, демонстрировавший исключительно американские кинофильмы, в вечерние часы

собирались группы юношей и девушек школьного возраста. Выйдя с очередного сеанса, они бесцельно болтались на улице, шумели, громко разговаривали, приставали к прохожим.

Как-то, проезжая мимо Штернштрассе, я увидел, что улица перекрыта и оцеплена полицией. Оставив машину, я подошел поближе. Оказалось, что молодым людям надоело просто так слоняться по улице. Они остановили проходивший автомобиль, любезно, но настойчиво предложили пассажирам выйти, а машину, не долго думая, перевернули. Забава, видимо, понравилась. Вскоре перевернутыми или поваленными набор оказались еще несколько машин. Тут подоспела полиция. Молодых людей это расстроило. Им не хотелось лишиться столь приятного удовольствия. Началась драка.

К моему приходу все уже было кончено. Молодцов усаживали в черные полицейские машины, а несколько дюжих полицейских ставили на колеса последнюю из пострадавших машин. После этого по Штернштрассе ходили полицейские патрули. Потом они ушли, и снова стала собираться на улице изнывающая от безделья молодежь, снова начались хулиганские выходы.

В беседах с молодыми людьми, школьниками, студентами меня особенно поражало их безразличие к национальным традициям, к прошлому своей страны, как хорошему, так и плохому. Большинство молодых людей прочно заражено космополитизмом, лишившим их таких чувств, как патриотизм, национальная гордость. Они не хотят изучать прошлое, их вполне устраивает сегодняшний день. Не думают они и о завтрашнем дне, о том, куда может завести такая пассивность, такое безразличие к судьбе их страны, их народа.

Многие молодые люди говорили о кошмарном фашистском прошлом Германии с сожалением. Это было особое сожаление. Печалась о катастрофе, постигшей Германию, они совсем забывали о том, что фашизм принес страдания многим народам, отнял миллионы жизней, оставил после себя колоссальные разрушения. Этому значения не придавали. Об этом забывали.

На всю жизнь запомнил я небольшой эпизод. Дело было в Дахау — одном из самых ужасных концентрационных лагерей, которые в свое время создали фашистские мастера смерти. Я проходил по местам, где людей расстреливали и вешали. На стенах, у которых производились массовые расстрелы, еще сохранились следы пуль. Повсюду виднелись могильные холмики, куда зарывали, нет, не трупы людей, а их пепел. А вот и крематорий. Именно здесь, в Дахау, фашисты впервые применили мощные печи для сжигания людей, уничтожавшихся в концлагерях.

У одной из зловещих печей я увидел двух хорошо одетых мужчин лет двадцати пяти. Они негромко разговаривали. Я машинально прислушался и, когда понял смысл разговора, ужаснулся. Эти молодые люди рассуждали о том, что, если бы их конструкторы учили такие-то технические детали, то

печи могли бы пропускать гораздо больше трупов.

Потрясенный, вышел я на улицу. Мне хотелось кричать... О чем же думают люди, растящие молодежь, лишенную сердца, души и чувств...

Американцев, которые несли непосредственную ответственность за формирование мысли молодого поколения немцев, не тревожили души немцев, еще не оправившихся от тяжелого отравления ядом фашизма. Их волновало другое. Они стремились оградить западных немцев от того свежего, нового, что ворвалось в Европу в послевоенные годы с Востока.

Долгое время подавляющее большинство населения ФРГ имело смутное понятие о Советском Союзе. Основным источником информации для многих немцев служили рассказы пленных, побывавших в Советском Союзе в военные и первые послевоенные годы.

А по их рассказам Советский Союз оказывался страной, хотя и большой и сильной, но бедной, а люди добрыми и отзывчивыми, но оставшими от Запада по образу своей жизни.

Руководителям американской и боннской пропаганды такая точка зрения на руку. Они никого не старались в этом разубеждать. Наоборот, буржуазная пресса, умело направляемая правительством, сознательно проходила мимо гигантского строительства, развернувшегося в Советском Союзе после войны. Она замалчивала тот колоссальный подъем, который совершил советский народ в немногие послевоенные годы.

И вот запущен наш первый замечательный маленький спутник. Это вызвало недоумение. Что такое? Русский спутник? Не ослышались ли мы? Почему русский, а не американский? Как же так, ведь Россия — отсталая, а Америка — передовая.

Начались размышления. Видимо, неправильно думали мы о России. Кажется, русские могут делать много такого, о чем мы и не догадываемся. Они вторглись в мир фантастики. Надо приглядеться повнимательнее к этой стране и ее людям.

В газетах стали появляться статьи о советской науке и технике. Постепенно тематика их расширилась. Читатели требовали новых и новых статей. Они хотели знать как можно больше о Советском Союзе, о жизни людей, совершивших чудо. В Западной Германии начался период бурного интереса к нашей стране.

Возникло много интересных ситуаций, связанных с запуском нашего первого спутника. Я упомяну лишь о двух небольших эпизодах, в которых мне довелось участвовать.

Я ехал из Бонна в Дюссельдорф. Я очень торопился и не заметил дорожного знака, ограничивавшего скорость движения автомашин. И вдруг затрещал полицейский свисток.

Полицейский в белой фуражке вежливо отковырял и попросил документы. Я предъявил водительские права и уже приготовил деньги для уплаты штрафа.

— Вы иностранный журналист? — спросил полицейский, разглядывая мои права.

— Да.

— А из какой страны?
— Из Советского Союза.

«Придется выслушать нотацию», — подумалось мне.

Но что это сделалось с полицейским?! Его лицо расплылось в широченной улыбке. Рука потянулась к козырьку фуражки.

— Вы — русский. Поздравляю. Искренно поздравляю со спутником. Это просто поразительно, — воскликнул он, возвращая мне права.

Увидев раскрытый бумажник, он замахал руками.

— Нет, нет. Поезжайте. У вас праздник. Да и мы рады вместе с вами. Желаю успеха.

На следующий день я зашел в театр кинохроники. В журнале событий за истекшую неделю по-прежнему продолжали восхвалять Америку. На экран вползла громадная ракета. Голос диктора ликовал: «Вот оно — чудо второй половины двадцатого века. Этому снаряду предстоит открыть дорогу в космос. Вскоре он выведет на орбиту Земли первый в истории человечества искусственный спутник. Его запустит Америка...»

В зале раздался громовой хохот. Зрители топали ногами, свистели. Они высмеивали, освистывали самонадеянную Америку, приветствовали советский спутник.

То, что произошло в сознании людей, проявлялось в массе больших и малых фактов. В туристских агентствах раскупались путевки на поездки в Советский Союз. Некоторые крупные газеты решили открыть в Москве постоянные корреспондентские пункты.

Я с интересом наблюдал, как менялось отношение местных и иностранных работников печати к нам, советским журналистам. Со многих слетала чванливость и спесь. Их сменили вежливость, почтение, а иногда и прямое угодничество. Те, кто и раньше выражал нам симпатии, стали делать это более открыто и уверенно.

Первый, второй, третий спутник, космические корабли, ракеты к Луне, Венере, полеты Гагарина и его друзей. Ученые восторгались каждым новым этапом освоения космоса, каждым нашим шагом к звездам. Они понимали, какой гигантский труд, какие высокие достижения науки делают возможным запуск в космос советских кораблей.

Простые люди относились к этому иначе: «Русские все могут. Мы не удивимся, когда они сообщат о первом полете человека на Луну». Люди перестали удивляться успехам советских людей.

В это стоит вдуматься. За словами «перестали удивляться» кроется целая революция в умах немцев. Советский Союз признали за границы как страну передовой науки и техники, страну замечательных людей, умеющих повседневным будничным трудом творить чудеса.

Американская и боннская пропаганда терпит поражение. Американцы могут и дальше распоряжаться в оккупированной ими стране, но другое дело умы людей, их думы и размышления. Окружком завладеть ими нельзя. Нужны доказательства, факты...

«Средний немец»

В ФРГ любят употреблять это выражение. Буржуазные экономисты по жизненному уровню среднего немца определяют благосостояние всего населения страны. Журналисты, оправдывая социальные или политические мероприятия правительства, часто ссылаются на психологию и настроение среднего немца.

Средняя цифра в определении жизненного уровня в буржуазном обществе — вещь опасная. Рабочий с небольшого дортмундского предприятия говорил мне: «Мой хозяин объявил себя народным капиталистом. Он, видите ли, считает, что делит доходы чуть ли не поровну с рабочими. А какое тут равенство? Он съедает две сосиски, а я ни одной. В среднем на нас приходится по одной сосиске, поровну. Только желудки наши чувствуют себя по-разному».

В Бонне, в вечерние часы, вы увидите много немцев, толпящихся перед витринами магазинов. Люди не просто гуляют, дышат воздухом, они обдумывают свои будущие покупки. Вот они лежат перед тобой, нужные вещи, освещенные неонов, сверкающие красками. Как спланировать деньги, скопленные за месяцы, годы? Денег мало, их не хватает на все. Средний немец гуляет перед магазинами, он был здесь вчера, придет сегодня, завтра... Многого он вообще никогда не купит, но хоть посмотрит, подумает о покупке.

А кто же такой средний немец?

Не очень крупный государственный чиновник, служащий торговой или промышленной фирмы, банка или страховой компании, рантье, живущий на небольшие проценты, рабочий, выбившийся на тот или иной управленческий пост и обзаведшийся даже собственным домиком, автомобилем, — все это средние немцы.

Лавочник в доме, где я жил, торгующий буквально всем, начиная от хлеба и соли и кончая мужскими шляпами, детскими велосипедами, — он тоже средний немец. Неважно, как он выбился «в люди». Иногда это какой-нибудь бывший ефрейтор вермахта, который «организовал» в свое время одну или две картины из Киевской или Минской галереи. После войны он отправил их за океан, в частное собрание какого-нибудь аргентинского или бразильского миллионера, и, пожалуйста, вот вам и лавка, благополучие.

К категории средних немцев относится и фермер, владеющий трактором, сеялкой, нанимающий рабочих. Живет он в каменном доме с внутренним двором и множеством пристроек.

Я беседовал с представителями почти всех этих категорий людей. Как похожи они один на другого по складу ума, по образу мысли!

Многие из собеседников поражали меня своей оторванностью от всего, что лично их не касается. Газеты они не выписывают и не покупают. Но если и купят, то читают лишь ту часть, где печатаются объявления и скандальная хроника. Политика их не интересует. Цель жизни ясна и проста — иметь собственный счет в банке. Положить хотя бы сто ма-

рок в банк и почувствовать себя обладателем чековой книжки — ради этого стоит жить. Это событие обсуждается в семьях, со знакомыми. Обладатель заветной книжки в своих глазах и в глазах соседей приобретает вес. Жизнь наполняется для него новым смыслом. Отныне он следит за каждой маркой, заботится, чтобы она не пропала даром или, упаси бог, не была бы истрачена нерасчетливо. Марку надо сберегать и класть на собственный счет. Счет должен непрерывно расти. С его ростом увеличивается авторитет и вес обладателя.

Сейчас средний немец в общем живет неплохо. Он может хорошо одеться, снять квартиру, содержать семью. Но после войны среднему немцу было тяжело. Прилично жить он стал лишь в последние несколько лет. Однако это благополучие зыбко. Он боится верить, что эта жизнь продлится долго. Немец не верит в завтра. Он боится следующего дня, несущего ему неизвестность. Как долго продержится высокая экономическая конъюнктура? Как долго у него будет работа и приличный оклад? Кто это знает? Сосед, приятель? Нет, и они не знают. Они сами задают те же вопросы.

Ведь жизнь дорожает. Цены непрерывно растут.

В тихом уголке Бонна на берегу Рейна, где любят прогуливаться главным образом люди пожилые и степенные, я встретил однажды глубокого старика. Наверное, я не обратил бы на него внимания — старик ничем особым приметен не был. Но вот собака... Низенькая, из породы такс, она семенила с ним рядом, мелко перебирая кривыми ножками. Отвислый ее живот волочился чуть ли не по земле.

Собаку я и заметил, потом перевел взгляд на хозяина. Он шел медленно и смотрел на меня. Его глаза были бесцветны и равнодушны. Они как бы говорили: надо ведь на кого-то смотреть, вот мы и смотрим на вас, раз уж вы идете мимо.

В последующие дни я еще несколько раз встречал старика на том же месте. Потом увидел его вечером в маленькой пивнушке, куда заглянул, чтобы выпить кружку холодного мюнхенского пива.

Старик одиноко сидел за столиком. Перед ним стоял только что начатый стакан пива. Его сухие пальцы крепко сжимали дешевую сигару. Собачонка лежала у ножки стула, провожая печальными, умными глазами редких посетителей.

Не помню, почему мне вдруг захотелось поговорить со стариком. Повторяю, ничего необычного в нем не было — типичный средний немец на покое. Попросив разрешения, я подсел к его столику. Но все мои попытки завязать разговор оказались тщетными. Старик отделивался односложными ответами на все вопросы, явно давая понять, что он вступать в беседу не намерен.

Дня через два я снова подсел к столу старика. Мы раскланялись как знакомые. А еще через несколько дней старик разговорился. Он стал описывать свою жизнь. Вот она:

«Отец дал мне коммерческое образова-

ние. Всю жизнь он копил деньги и, по-видимому, надеялся, что я смогу открыть какое-нибудь дело. Мне было двадцать три года, когда отец умер от туберкулеза. Капиталец он оставил незначительный: много ли накопит средней руки портной, обшивающий лавочников с двух-трех близлежащих улиц! Вместе с деньгами отец завещал мне и любовь к ним. Он постоянно повторял, что люди только тогда себя чувствуют уверенно в жизни, когда у них есть или солидная собственность или счет в банке.

По совету знакомых я купил земельный участок. Оставшиеся деньги внес в Министерство жилищ, которое обязалось в качестве пайщика построить на этом участке дом. Мне предоставили право со временем выкупить пай и стать полноправным владельцем дома.

Тогда я был молод. Жизнь казалась легкой и привлекательной. Я был уверен, что трудом и экономией обеспечу выкуп дома и заживу солидно, зажиточно.

Дом построили быстро. Получилось обычное двухэтажное строение на четыре квартиры с мансардой и остроконечной крышей. Мне же оно казалось чуть ли не замком. Радовала и яркость черепицы, и сверкающая белизна подоконников, и зелень маленького, тщательно подстриженного газона перед крыльцом.

Поселился я пока в мансарде, а квартиры сдал жильцам.

Внизу оставалось помещение для небольшой лавочки. Она входила в мои планы как основной источник дохода. В банке мне дали ссуду на организацию торговли продовольственными товарами: я все-таки уже числился обладателем земельного участка и совладельцем дома.

Настал день, когда я облачился в новенький белоснежный халат и впервые открыл двери моей лавочки. Покупателями стали жители соседних домов. Их было не так уж много, однако торговля шла довольно бойко и приносила прибыль.

Цельными днями я суетился в лавке. Вечерами подсчитывал выручку и складывал деньги в железный ящик. Аккуратно раз в месяц делал взносы в Министерство жилищ в счет выкупа дома и в банк для погашения ссуды. Я рассчитал, что через пятнадцать лет дом станет моей полной собственностью.

Годы шли монотонно, однообразно. Впрочем, я не замечал этого. Я вообще не замечал ничего, что не имело отношения к моему дому и лавке.

В солдаты меня не взяли: на правой руке от рождения не хватало двух пальцев. Войну 1914 года я тоже почти не заметил. Количество покупателей почти не уменьшилось. Дела и заботы остались теми же. Потом я повесил в лавке портрет Гитлера — все так делали.

Двадцать лет пробежали быстро. Оптимизм мой поубавился, но я все еще с верой смотрел в будущее. Подсчеты оказались неверными. После двадцатилетних аккуратных выплат ссуда в банке оказалась погашенной, а с Министерством жилищ до расчета было далеко. Сумма, которую мне оставалось уплатить, была все еще внушительной.

Как-то, подсчитывая выручку и откладывая деньги на очередной взнос, я задумался (впервые за прожитые годы) о семье, о детях. Мне к тому времени стукнуло сорок пять. Через несколько недель я женился на молодой уже дочери владельца соседнего дома. А через год жена умерла во время родов, оставив мне дочку.

Воспитанием ребенка занялась сестра жены — одинокая женщина, потерявшая надежду завести собственную семью. После женитбы мне пришлось переселиться из мансарды в одну из квартир. Мансарду я, правда, тут же сдал приезжему студенту. Доход несколько уменьшился. Семейная жизнь — не холостяцкая. После смерти жены я было подумал снова переехать в мансарду, но сестра жены воспротивилась, и мы остались в квартире.

Начиналась новая война. Меня это мало трогало. Разве что налоги стали побольше. Долг в Министерстве жилищ уменьшался медленно, хотя я и продолжал упорно откладывать деньги на его уплату. Это стало необходимою, манией. Этим я жил. Это занимало все мои помыслы.

Война кончилась так же незаметно для меня, как и началась. Наступили тяжелые дни. Доходов от лавочки хватало лишь на неотложные нужды. Жильцов не было. Пришлось приостановить взносы. Я страдал. Пытался откладывать хотя бы по несколько марок.

Потом жизнь постепенно наладилась, и лавочка снова стала приносить прибыль. Я даже подумывал о ее расширении: теперь мы работали вместе с дочерью. Вновь появились жильцы.

Каким довольным шагал я в Министерство жилищ, чтобы после столь длительного перерыва внести очередной взнос!

Оплата долга приближалась к концу. Экономил я больше прежнего. Дочка ждалась: ей исполнилось двадцать и не хватало на наряды. Подруги звали ее проехаться в Италию на недельку-другую. Я недоумевал: за всю жизнь я ни разу не давал себе отпуска, никуда из Бонна не выезжал. Теперь, когда был виден конец оплаты, притязания дочери казались мне кощунством.

Радостный день наступил. В прошлом году я внес последний взнос и получил свидетельство, удостоверявшее, что я являюсь единственным и полновластным владельцем дома. В этот вечер я надел темный костюм и распил в обществе нескольких соседей бутылку шампанского.

Жизнь, однако, не изменилась. Я по-прежнему работал в лавке. Искал новых жильцов, когда уходили старые.

Недавно дочка пришла ко мне и сказала, что влюблена и хочет выйти замуж. Дело лишь в том, что жених требует в качестве приданого дом и лавку.

Я ошел. Дом и лавка — это все, что у меня есть. Мне казалось, легче расстаться с дочерью, чем с ними. Но это только казалось. Дочка плакала, а особой твердостью характера я никогда не отличался. К тому же ведь подходил к концу седьмой десяток жизни.

Как в тумане подписал я нужные бумаги. Муж дочери пожимал мне руки. А я все не мог как следует разглядеть черты его лица. В глаза настойчиво лез пестрый галстук и как-то по-особому заломленная шляпа.

В лавку я ходить перестал. Ею занялись молодые. Сначала я думал, что не проживу без прежних дел: без суесть в лавке, без вечерних подсчетов выручки и откладывания денег на очередной взнос. Нет, я привык. Поволновался немного и успокоился. Вожу гулять вот эту собачку. Вечером выпиваю стакан мюнхенского и выкуриваю сигару.

Вчера дочка сказала, что они хотят продать лавку. Дохода, дескать, она приносит мало, а в Италию надо же когда-то съездить.

Я не возражал: их дело. Лавка уже не моя. Мне ничего не надо, ничего не хочется. Дожить бы спокойно жизнь».

Вот и все. Семьдесят лет жизни за полчаса. Я часто думаю об этом старике. Чем он живет? Говорят, когда у людей нет ничего впереди, они живут воспоминаниями. Какие воспоминания могут быть у него? Жил ли он вообще?

В гостях у Круппа

Некоронованный экономический король Западной Германии Крупп... А как он пережил все превратности судьбы своей страны? Сделал ли для себя какие-нибудь выводы? Меня как журналиста давно занимал этот вопрос. И я решил узнать всё из первоисточника...

До виллы Хюгель под Эссеном я решил добраться не по автобану, а по обычным дорогам, густой сетью покрывающим Рурскую область.

Несколько десятков лет вилла Хюгель была резиденцией династии Крупп. Потом ее превратили в фамильный музей. Там часто устраивали всевозможные выставки, проводили различные представительские собрания. Вилла стала своеобразной рекламой фирмы Крупп. На содержание помещения тратилось в год около миллиона марок. Показывать свое лицо в самом выгодном свете — ради этого в мире капитала денег не жалеют.

Стокилометровый путь от Бонна до Эссена прошел незаметно. Поглядывая по сторонам, я видел тот самый Рур, сделавший Германию ведущей промышленной державой, заправилы которого остаются фактическими хозяевами Западной Германии. Здесь ковалась сталь и монтировались моторы для двух кровопролитных войн.

В моем представлении Рурская область рисовалась сплошным городом, с бесконечным рядом заводских труб и шахтных сооружений. То, что я видел, выглядело иначе.

Заводы и шахты группировались плотно, их обступали прокопченные жилые кварталы городов, а за городом начинались поля. К многоэтажным домам подходила пшеница, посева свеклы, картофеля. Машина шла среди этой зелени, и казалось, больше не будет заводов. Но за поворотом дороги выростала новая плотная группа труб и примыкавших

к ним строений: машина въезжала в очередной рурский город.

Эти неожиданные переходы от городского пейзажа к сельскому повторялись несколько раз. Пустующей земли здесь не было: все было застроено или распахано.

Машина въехала на мост через реку Рур — как это ни удивительно, самую чистую реку в Западной Германии. Рур — единственный крупный источник снабжения водой всего Рурского бассейна. Много лет назад рурские промышленники договорились не спускать в реку отходы производства. Позднее это стало регулироваться земельным законодательством. Специальная администрация и поныне следит за чистотой воды. Заводчика или фабриканта, нарушившего запрет, ждет внушительный штраф, ощутимый удар по карману.

За рекой открылась панорама промышленного Эссена. Не доезжая до города, я свернул в сторону. Дорога начала подниматься вверх. Вокруг мелькали небольшие, утопавшие в зелени коттеджи. Но вот начался огромный парк. Вековые деревья, обширные газоны с гладко подстриженной травой, асфальтированные аллеи. Машина мягко подкатила к солидному особняку. Это и была знаменитая вилла Хюгель.

Сверкавшее белизной нарядное здание напоминало корпус санатория где-нибудь на черноморском побережье Кавказа или Крыма: простота архитектуры, строгие линии, выдержанные пропорции.

Я обошел вокруг здания. К нему примыкал небольшой цветник с фонтанами. Гравийные дорожки упирались в чугунную ограду. Только от ограды я увидел, что нахожусь на довольно высоком холме. За оградой начинался спуск к Руру. Река извивалась между покрытыми лесом холмами. Кое-где виднелись небольшие сельские дома. Трудно было поверить, что я нахожусь в самом сердце промышленного Рура. С высокого холма, на котором царственно стояла вилла Хюгель, не было видно ни одной шахты, ни одной заводской трубы. Альфред Крупп, строивший виллу в прошлом веке, находил здесь покой и отдых от своей бурной деятельности.

Я вернулся к главному входу и, раздвинув массивные дубовые двери с толстым зеркальным стеклом, вошел в небольшой вестибюль. Служитель в форменном темно-синем пиджаке и фуражке, на околышке которой золотым шитьем было выведено «Крупп», принял пальто. Не спеша отворил он вторые, не менее массивные двери. Я вошел в обширный зал с высоким потолком. Фигурный паркет пола отливал матовым блеском. Стены, отделанные дорогими сортами темного дерева, делали зал несколько мрачным. Потолок был украшен росписью на библейские сюжеты. Мебели в зале не было вовсе. На стенах висели родовые портреты Круппов и картины, отражавшие историю этой семьи.

Медленно ходил я по залу, всматриваясь в строгие лица. И мужские и женские представители всех поколений семьи глядели на меня с одинаковой замкнутостью и отчужденностью. Было ясно, что портреты повесили

сюда не для услаждения взора посетителей, а для того, чтобы еще раз напомнить о могуществе и солидности фирмы Крупп.

Я остановился у портрета седого старика с колочим взглядом. Это был самый почитаемый представитель династии — Альфред Крупп. Фирму основал его отец, Фридрих Крупп. Но когда в 1826 году, после смерти Фридриха, она перешла в руки сына, в ней было всего четверо рабочих.

Альфред Крупп с головой окунулся в дела фирмы. С каждым годом он туже и туже закручивал гайки, выжимая из рабочих все, что можно было выжать. Он постепенно расширял производство, строил и покупал новые заводы, закладывал новые шахты. Через шестьдесят лет после того, как он унаследовал фирму от отца, на предприятиях Круппа работало уже двадцать тысяч рабочих — таков был итог этой жизни.

Следующий Крупп — Фридрих-Альфред удвоил число рабочих. К 1902 году на крупповских заводах было сорок три тысячи рабочих. Но вот беда, в его потомстве не оказалось сыновей. После смерти Фридриха-Альфреда фирму унаследовала его дочь Берта Крупп. Четыре года оставалась фирма без мужской руки. Наконец в 1906 году Берта вышла замуж за Густава фон Болен унд Гальбах. Высочайшим указом императора ему было разрешено носить фамилию Крупп.

Берта не ошиблась в выборе. Ее муж оказался энергичным и предприимчивым дельцом и вскоре полностью взял управление фирмой в свои руки. Обстоятельства способствовали процветанию фирмы. Германия готовилась к войне. Кайзер нуждался в пушках. Густав Крупп фон Болен унд Гальбах получал все новые и новые военные заказы. Это его гигантская пушка, лирически названная в честь жены «Большой Бертой», обстреливала Париж. Орудия с маркой Круппа сеяли смерть на полях России и Франции.

Изготовление орудий, несущих смерть, стало специальностью Круппов почти с первых же лет существования фирмы. В сороковых годах прошлого века она уже продавала орудийные стволы за границу. Покупали их охотно, ибо крупповское литье отличалось непревзойденной крепостью. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов, например, крупповские пушки использовали обе стороны. После такого двухстороннего испытания Крупп получил солидные заказы из Дании, Швеции, Голландии, Испании и других стран.

Идеи патриотизма были чужды Круппам, как, впрочем, и всем представителям крупного капитала. Он продавал свою продукцию и друзьям и недругам. Фирма аккуратно выполняла заказ, получала деньги, все остальное ее не интересовало. Кто будет пользоваться смертоносным оружием, кому оно принесет разрушение — над этим никогда не задумывались ни владелец фирмы, ни его директора.

Английские снаряды, которые во время первой мировой войны рвались в немецких окопах, были снабжены взрывателями, изготовлявшимися по лицензии Круппа. За каждый такой взрыватель Крупп получал шиллинг и три пенса. После войны он предьявила

английской фирме Виккерс-Армстронг, купившей у него лицензию, счет на 123 миллиона шиллингов. Английская фирма уплатила по счету. Крупп получил деньги за убийство своих соотечественников.

Его не объявили ни изменником, ни военным преступником. Потрясения первой мировой войны Крупп перенес шутя. Они прошли мимо него. Кто-то совсем выходил из игры, кто-то нес потери. А Крупп по-прежнему оставался в числе заправил экономической и политической жизни страны. В двадцатых годах его заводы вновь работали на полную мощность.

Наступали тридцатые годы. На вилле Хюгель, в зале, где я стоял перед семейными портретами Круппов, собрался знаменитый «Совет богов», на котором германские промышленники и финансисты приняли решение отдать власть Гитлеру.

Началась подготовка к новой войне. День и ночь дымили трубы крупповских предприятий. Потоком лилось золото в бездонные карманы Круппа. Колонны танков, батареи пушек отправлялись к плацдармам, с которых намечался опустошительный поход по Европе и Африке.

Гитлер осыпал Круппа милостями. Он возвел главу фирмы в ранг «Wirtschaftsführer» и сделал членом Генерального совета экономики. В мае 1936 года Фюрер посетил заводы Круппа в Эссене и на одном из них выступил с речью «к немецкому народу и миру о смысле его политики и о его мирных созидательных планах».

В августе 1940 года, когда Густаву Круппу фон Болен унд Гальбах исполнилось семьдесят лет, Гитлер еще раз посетил Эссен и лично поздравил юбиляра. Он передал ему почетный золотой значок нацистской партии и грамоту, которой Круппу (первому из промышленников) присваивалось звание «передовик труда». Поток милостей завершился награждением Круппа орденом за военные заслуги сразу первой и второй степеней.

Фирма продолжала богатеть и расширяться. Ее предприятия в Эссене к 1943 году занимали площадь в пять миллионов квадратных метров. Это в семь раз превышало по размерам площадь самого Эссена.

Но крах фашистской Германии не прошел бесследно и для Круппа. Сын Густава Альфрид, ставший главой фирмы в 1943 году, вместе со своими директорами был арестован союзными войсками и в 1948 году осужден к тюремному заключению как военный преступник. Фирма была конфискована, поставлена под управление специальной союзной администрации. Но уже в январе 1951 года американский верховный комиссар Макклой подписал акт о помиловании Круппа и возвращении ему конфискованного имущества.

Союзники заставили Альфрида Круппа принять соглашение, ограничивающее деятельность его фирмы. Крупп подписал и положил его под сукно. Он начал активно восстанавливать предприятия, пострадавшие во время войны, строить новые. И снова началась эра процветания фирмы. К середине пятидесятых годов она вновь располагала де-

сятками металлургических, машиностроительных и других заводов, многочисленными шахтами, судостроительными верфями, громадными торговыми предприятиями. Ее продукция появилась в Индии и Латинской Америке, в Скандинавии и Южной Африке.

...Я еще раз прошелся по залу. Молодая Берта Крупп горделиво на породистом скакуне бок о бок со своим будущим мужем Густавом фон Болен унд Гальбах. На другом портрете это была уже грузная дама преклонных лет. В соседней раме хмурил брови поседевший Густав. А вот Берта и Густав снова вместе, в окружении многочисленных детей и других членов семьи. Крайним справа стоит Альфрид, теперешний владелец фирмы. Его взгляд, как и у отца, строг и решителен...

После войны характер концерна Коуппа претерпел значительные изменения. Фирма не производила больше оружия. Она строила торговые и пассажирские суда, локомотивы, моторы автомобилей и сотни других больших и малых предметов мирного назначения.

Урок ли войны или временные обстоятельства, изменение взглядов или дань необходимости? Пресса утверждала, что Крупп стал другим, что он не хочет войны и навсегда отказался от производства вооружений. Пока он процветает и на базе мирного производства. Портфель фирмы плотно забит заказами. Ну, а что будет завтра?

...Разбирая как-то почту, я обнаружил приглашение на прием, который устраивал на вилле Хюгель для иностранных журналистов отдел информации и рекламы фирмы Крупп.

На этот раз, благодаря удачно подобранному освещению, главный зал виллы выглядел веселее и наряднее. Даже представители семьи Крупп, казалось мне, смотрели с портретов не так строго и мрачно.

Гостей встречал один из директоров фирмы. Он весьма любезно обменялся со мной несколькими ничего не значащими фразами и выразил надежду, что ему удастся поговорить со мной.

Я решил, что это обычная протокольная вежливость, но ошибся. Примерно через час, когда я, находясь в центре зала, разговаривал со знакомым журналистом из Индии, к нам подошел встречавший гостей директор.

— Рад видеть представителей двух великих держав Востока,— сказал он, приветственно поднимая свой бокал.— Как вы находите наши вина?

— Отличное вино,— ответил мой индийский коллега.— Но еще больше мне нравятся машины и сталь, которые вы поставляете в Индию.

— Качество наших товаров, вообще наша марка пользуется авторитетом почти во всем мире.

— Нам приходилось знакомиться с вашими изделиями в основном во время войны,— заметил я.

— Не будем вспоминать войну,— сказал директор, бросая на меня внимательный взгляд.— С этим покончено, надеюсь, навсегда. Я охотно побеседовал бы с вами еще раз. Приезжайте ко мне в Эссен, ну, скажем, на следующей неделе в среду.

Я охотно согласился.

Директор поговорил немного еще о чем-то незначительном и, откланявшись, отошел.

В среду я подъехал к новому многоэтажному зданию правления фирмы Крупп. Симпатичная девушка секретарь директора, к которому я направлялся, встретила меня внизу, мило улыбаясь, подняла на бесшумном, быстром лифте на четвертый этаж, провела в приемную и, оставив на минутку одного, скрылась за дверями кабинета. Через несколько секунд она появилась вновь и все с той же милой улыбкой провела меня в просторный кабинет, обставленный подчеркнуто просто. Мебель легка и удобна. Ничего лишнего. Ничто не бросается в глаза.

Это типично для капиталистических дельцов. Чем крупнее капиталист, тем скромнее он старается себя держать, особенно на людях. Они не любят показывать роскошные яхты, особняки с картинными галереями. Предпочитают выставлять себя скромными тружениками, организаторами производства, лишь в умеренных масштабах пользующимися теми, мол, не ахти уж какими благами, которые им приносит «тяжелый и честный» труд.

Один крупный финансист из Дюссельдорфа демонстративно ездил на маленьком «фольксвагене». Он охотно рассказывал об этом, любил пошутить, что, вот, мол, его же служащие приобретают более дорогие машины, чем он, бедный банкир. Однако этот «бедняк» скромно умалчивал о спортивных и других автомашинках в гараже загородной виллы, которыми пользовались его дочь и жена. Сколько денег он тратил на роскошные приемы для друзей! Об этом не говорят. Ведь он труженик, работника, в поте лица зарабатывающий на жизнь...

Директор вышел из-за стола, приветливо поздоровался. Он усадил меня в мягкое кресло, стоявшее несколько в стороне от стола, предложил сигары и сигареты и, сев, неторопливо начал беседу.

— Я не удивлюсь, если узнаю, что вы приехали к нам с известным предубеждением. В вашей печати фирму Крупп изображают как олицетворение войны и милитаризма. Главу фирмы называют не иначе как империалистом и поджигателем. Что ж, это можно понять. Но времена и люди меняются. Уроки последней войны не прошли и для нас даром. Владелец фирмы и ее главный директор не однажды заявляли, что фирма Крупп отказалась от производства вооружения и принимает лишь заказы на продукцию мирного характера. Вы можете побывать на наших заводах. Вы увидите только что выплавленную сталь, только что выпущенные станки и машины, только что спущенные на воду суда. Все это — мирная продукция. Поверьте, фирма Крупп имеет возможность процветать и развиваться без военных заказов.

Директор сделал небольшую паузу и глубоко затянулся дымом толстой гаванской сигары.

— Нам хотелось, чтобы в Советском Союзе изменили свое представление о фирме Крупп.

Беседа длилась около часа. Передо мной встал ряд вопросов, на которые я не находил сразу ответа.

Я знал, что Крупп сейчас не делает оружия. Вполне допустимо — он хотел заверить меня, что надеется и впредь обходиться мирными заказами. Ему в этом отношении легче, чем, скажем, американским заправилам из «Дженерал Дайнемикс корпорейшн» или «Локхид эркрафт». Эти компании почти весь свой барыш черпают из военных заказов. Им перестроиться на мирное производство труднее.

Уже появились признаки перепроизводства. Это еще не кризис. У западногерманских капиталистов еще есть значительные резервы для преодоления кризисных явлений. И все же опасность перепроизводства реальна. Посмотрите, как в магазинах борются за покупателя. Войдешь, и к тебе подлетит десяток приказчиков, которые расшибуются, а постараются сделать так, чтобы ты ушел с покупкой. Товар лежит. У немца не так уж много денег. А те, что есть, он откладывает на черный день.

Немецкие промышленники бросились было на внешние рынки, да не тут-то было. Их, оказалось, уже заняли другие, главным образом американцы. Кое-где немцам удается потеснить своих «друзей», но этого мало. Вот и начинают крупны посматривать на Восток — нельзя ли бросить свои товары туда.

Конечно, князья западногерманской индустрии применяют и другие меры в конкурентной борьбе на мировой экономической арене. Важнейшее их детище и орудие — так называемый «общий рынок», где ФРГ заняла командные высоты. Федеративная Германия определяет политику этой замкнутой группировки государств, диктует свои условия Англии, стремящейся вступить в этот экономический пул. Дело дошло до того, что даже Соединенные Штаты увидели в европейской «шестерке» угрозу для своих мировых позиций.

Итак, ближайшее будущее покажет, каковы истинные намерения империи Крупп...

Демонстрация

Горняки шли молча, плотной колонной. Недоуменно и боязливо наблюдали за необычным зрелищем редкие боннские обыватели. Подавляющее большинство жителей предпочло остаться дома да еще закрыть ставнями окна: кто знает, что из этого выйдет. Полицейские перекрыли подходы к резиденции президента и канцлера, к зданию бундестага и вообще к той части города, где расположены правительственные учреждения. Демонстрантам оставили узкие улочки и тесные площади старого города.

Колонну пустили по заранее разработанному маршруту, ни шагу в сторону. Всюду полиция: в машинах, на мотоциклах, пешие. Суетилось полицейское начальство. Ему был дан строгий приказ: не допустить каких-либо политических выступлений, пресекать попытки организации митингов, арестовывать всех, кто несет плакаты политического содержания, не разрешать общения демонстрантов с местным населением.

Последнее, пожалуй, было излишним. Чи-

повному Бонну все равно не по пути с мозолистым Руrom.

Я оставил машину на окраине города, пешком добрался до центра и присоединился к небольшой группе людей, молча стоявших на тротуаре.

— Чего им не сидится дома? — проворчал, ни к кому не обращаясь, пожилой, аккуратно одетый господин в котелке. — Правительство же обещало принять меры...

Многие, соглашаясь, закивали головами, но разговор не поддержали.

Неподалеку от меня стояла группа молодежи. Пестро одетые парни и девушки переговаривались и хихикали. Кто-то из демонстрантов крикнул: «Эй, ребята, пошли с нами». В толпе раздался смех. Откуда-то вынырнули трое полицейских, настожились, готовые вытащить из рядов колонны тех, кто еще раз попытается обратиться к стоящим на улице людям.

...Кризис в угольной промышленности начался давно. Уголь не находил сбыта. Все новые и новые тысячи тонн черного золота отправляли на склады. Хозяева начали закрывать шахты, сокращать количество смен, рабочих часов. Запасы угля на складах достигли внушительных размеров во многие миллионы тонн. И тогда власти выдвинули любопытный тезис. Дескать, кризис в угольной промышленности — явление естественное. Уголь теряет свое значение. Его заменяет более дешевая и выгодная во всех отношениях нефть. Ей принадлежит будущее: это и отопительный материал, и сырье для промышленности. Горняки должны смириться с неизбежным: безработицей, нищетой. Выхода нет.

Правительство всячески скрывало истинное положение вещей. Во время кризиса, затоваривания складов оно купило у Соединенных Штатов и ввезло в ФРГ одиннадцать миллионов тонн угля. Большой абсурд трудно и представить. Уголь ввозится из-за границы в то время, когда свой, добытый в Руре, не находит сбыта. Западная Германия на много лет вперед связала себя контрактами с американскими монополиями. Американцев не интересует положение в угольной промышленности Рура и тем более положение рурских горняков. По политическим соображениям ФРГ не может отказаться от этой торговой бессмыслицы, боится испортить отношения с США и оказаться без поддержки мощного заокеанского партнера. Пусть уж лучше страдают горняки. Им не привыкать.

Правительство Германской Демократической Республики высказало предложение о покупке угля в ФРГ. Нет, на это Бонн пойти не может. Нельзя помогать ГДР строить социализм, нельзя укреплять ее. Пусть голодают шахтеры Рура. Правительству нужно сохранить политический престиж.

Большинство горняков, шагавших по улицам Бонна, не знало, почему им все чаще и чаще приходилось оставаться дома, вместо того чтобы спуститься в шахту. Только за счет сокращения смен они потеряли с начала кризиса сто тридцать миллионов марок, а будет еще закрываться шахты — предстоит безработица. Горняки не могли больше молчать.

Но профсоюзные лидеры не хотели портить отношений с предпринимателями. Они лавировали, как могли: доказывали горнякам, что ревностно отстаивают их интересы, а предпринимателям — что они делают все, чтобы избежать открытого возмущения.

Были в профсоюзном правлении и другие люди. Они честно боролись за интересы рабочих. Их было мало. Но голос их слышали рабочие. Горняки стали недоверчиво поглядывать на председателя профсоюза горняков Гутермута и его друзей. Кое-где уже открыто говорили о сговоре Гутермута с предпринимателями и правительством. Все настойчивее становились требования рабочих об открытом выступлении, о походе на Бонн.

Профсоюзные лидеры металась от рабочих к предпринимателям, от предпринимателей к правительству. Им становилось ясно, что горняков не сдержат. И тогда Гутермут согласился на демонстрацию. Что ж, пусть пройдут по Бонну и вернутся домой. Тихо, мирно. Это не повредит никому.

Когда было объявлено о демонстрации, участвовать в ней захотело двести тысяч человек. Гутермут схватился за голову. Он помчался в Бонн. Там ему помогли. Правительство заявило, что по соображениям безопасности жителей Бонна и в целях поддержания порядка в столице оно может разрешить демонстрацию с количеством участников не более шестидесяти тысяч человек. Одновременно были объявлены и другие ограничения, строго определен маршрут колонны.

Гутермут, воспользовавшись этим, хотел вообще отменить демонстрацию. Но не смог. Уже работал подготовительный комитет. Большинство членов правления проголосовало за выделение денежных средств на демонстрацию из кассы профсоюза. Демонстрацию назначили на последнюю субботу сентября.

С раннего утра Бонн походил на город в осадном положении. Казалось, что его население состоит из одних полицейских. Их яркие зеленые мундиры мелькали всюду — и в центре и на окраинах. Полицейские силы были стянуты из Кельна, Кобленца, из других близких и далеких городов. Полицейские кордоны стояли даже в частях города, удаленных на несколько километров от мест, по которым пройдут демонстранты. Напуганные власти показывали силу. Правда, профсоюзные лидеры обещали, что все будет мирно, но полиция есть полиция. Под ее прикрытием чувствуешь себя надежнее, легче...

Шестидесять тысяч горняков двигались к Бонну. Они ехали на специальных поездах, в автобусах, плали по Рейну на парходах. Поезда и парходы были задержаны в Кельне. Дальше их не пустили, как было заявлено полицейским начальством, «по техническим причинам». Почти сплошным потоком по автобану от Кельна к северной окраине Бонна двигались автобусы. Здесь на небольшой площади они разгружались и немедленно отправлялись обратно в Кельн за новыми партиями демонстрантов. Прибывшие строились в колонны и начинали марш к центру города...

Головная колонна подходила к тому

месту, где я стоял. Молчание стало напряженным. Его нарушали лишь удары тысяч каблучков о мостовую да редкие выкрики полицейских.

Впереди шли члены правления профсоюза во главе с Гутермутом. Он не осмелился остаться в этот день дома. Правление, однако, шло не в полном составе. Его левые лидеры еще в Кельне во время неизбежной суеты прибытия были незаметно, на всякий случай, арестованы. Так спокойнее.

За руководителями двигалась большая группа барабанщиков в традиционных горняцких одеждах с черными лентами. Черной материей были задрапированы и барабаны. Барабанщики время от времени выстукивали тревожную дробь. Она раскатывалась по молчаливым улицам насторожившегося Бонна. За барабанщиками по четыре человека в шеренгу двигались колонны демонстрантов. Горняки одели лучшие костюмы. У всех были траурные ленты и повязки. Многие несли черные знамена. Траур был объявлен в связи с нищетой и безработицей сотен тысяч трудящихся. Горняки хоронили пресловутое западногерманское экономическое чудо.

Демонстранты несли плакаты — черные буквы на белых полотнищах.

«В наших семьях нужда и страх», «Нашему терпению пришел конец», «Мы требуем повернуть штурвал», «Что создано руками народа, должно принадлежать народу».

Я вглядывался в лица горняков. Среди них много пожилых людей. Но в основном все же шла молодежь. Их лица были сосредоточенны. Может быть, еще не проснулось полностью их классовое сознание, но оно уже было разбужено.

С ненавистью посмотрел я на господина в котелке, который отпустил какую-то плоскую шутку по поводу демонстрантов и за-

хихикал. Он поймал мой взгляд. Смешок погас. Господин отвернулся.

...По Штернштрассе, Марктплатц и Боннергассе тянулась непрерывная лента людей. Все новые и новые плакаты появлялись над головами демонстрантов. Черных знамен стало больше.

Показался плакат: «Долой правительство Аденауэра». И сразу туда бросилось несколько полицейских. Горняки замешкались, не успели организовать заслона. Плакат, а с ним и люди, несшие его, исчезли в черном брюхе полицейской машины.

Головная колонна приближалась к боннскому стадиону. Здесь предполагалось провести митинг. Но стадион оказался оцепленным полицией. Сюда были брошены самые сильные полицейские отряды, вооруженные бомбами и слезоточивым газом. Неподалеку стояли наготове машины с пулеметными дулами брандспойтов. Полиция готовилась к серьезным действиям.

Гутермут струсил и дал команду направить колонну назад на Франкенплац, где горняков уже ждали пустые автобусы. Так окончилась эта демонстрация.

Глядя на удаляющихся горняков, я думал, что эта демонстрация не облегчит положения трудящихся Рура, но важно другое: рабочий класс ФРГ разбужен, он проснулся, становится на ноги и расправляет плечи. Сейчас рабочих еще могут удерживать полицейскими кордонами, могут безнаказанно арестовывать левых лидеров и запрещать политические митинги. Но время неумолимо идет вперед. Сегодня шестьдесят тысяч горняков пришли в Бонн, а завтра...

Я забыл, что нахожусь в чужой стране, говорю на другом языке, так остро было чувство солидарности. Передо мной шла мощная непобедимая армия рабочего класса, и я чувствовал себя в ее рядах.

АМЕРИКАНСКИЕ МАТРОСЫ

Улыбкам людским улыбаюсь,
Делами людскими люблюсь,
Спокойный и смуглый якут,
Иду я, как люди идут.

А город вокруг — европейский,
Седой и совсем молодой,—
В рекламной шумихе и блеске
Житейской бурлит суетой.

И тут неожиданный гогот
В гремящий врывается город!

Смотрю — и дика, и груба,
Мне путь преграждает гурьба
Матросов, охрипших от пьянки.
Юнцы желторотые. Янки.
Гримасничают, гомоня,
И пальцами тычут в меня:

— Японец? (без злости особой).
— Монгол? (понаглей, пошумней).
— Китаец? (шипенье парней
змеится презреньем и злобой).

Болваны! Что знают они
Об Азии мильоногласой?
Как тешит их — только взгляни —
Насмешка над «низшею расой»!
Отцам бы сказать, чтоб отшлепали.
Далёко живут их отцы.
Самих вразумить бы — да пропили
Свой разум юнцы-наглецы.

А городу в старой Европе,
Волнующемуся вокруг,
На этих молодчиков в робе
И вовсе глядеть недосуг.

Как видно, в стране за морями
Не зря их растят дикарями...

Перевод с якутского Р. Морана



КАНОНАМ вопреки

Около тридцати постоянно действующих театров. 90—100 премьер за сезон. Более 10 миллионов зрителей за год. Вот три цифры, характеризующие художественную жизнь Москвы в одном лишь ее аспекте — сценическом.

Давно известно: взыскательный, требовательный, но и доброжелательный московский зритель не расточает симпатий зря. Предпочтение, признание он отдает вдохновенным новаторским работам драматургов, композиторов, режиссеров, актеров. Многие из таких работ последнего времени неразрывно связаны с состоявшимся год назад историческим XXII съездом КПСС. В калейдоскопе новых пьес и спектаклей есть немало по-настоящему волнующего, принципиально нового, значительного. О некоторых таких явлениях пойдет речь ниже.

Эта статья — не обозрение. И тем более не серия рецензий, в которых воздается «всем сестрам по серьгам». Это — штрихи увиденного, услышанного, запомнившегося. Заметки о наиболее примечательном из того, что появилось на столичной сцене в итоге пытливых дерзаний и отмечено свежестью, жгучим чувством современности. О том, что создано, как говорится, канонам вопреки.

УЛЫБКА ЛЕНИНА

Ленин. В слове этом пять букв, а какое оно смкое, безбрежное, безграничное! Ленин — первый, кого должно по-горьковски называть Человеком с большой буквы. Он вечно живой. Тем более теперь, когда всюду утверждаются и уже утвердились ленинские нормы, ленинское начало, ленинский стиль. И когда великий народ, засучив рукава, строит коммунизм.

Хорошо, просто, до осязаемости реально сказал на XXII съезде КПСС в докладе о новой Программе партии товарищ Н. С. Хрущев: «При подготовке третьей Программы мы постоянно советовались с Лениным, исходили из его прозорливых предначертаний, из его гениальных идей о строительстве социализма и коммунизма».

Постоянно советоваться с Лениным — такая же потребность для человека нашей эпохи, как и потребность дышать. Творчески смело, мужественно, красиво выразил ее безвременно ушедший от нас Николай Погодин в пьесе «Цветы живые», поставленной МХАТом.

Это — спектакль о становлении одной из бригад коммунистического труда. Время его действия — наши дни. И вот в момент раздумья бригадира — умного, пытливого рабочего парня Николая Бурятова (его играет П. Чернов) — зрители видят Ленина. Не на портрете, нет. Точнее — не только на портрете.

...Сноп света падает на замечтавшегося в опустевшей комнате Дома культуры Бурятова, потом на большой портрет Ленина. Бригадир мучительно ищет ответа на волнующие его и всю бригаду вопросы. Сами собой приходят Николаю на память стихи Маяковского:

Грудой дел,
 суматохой явленный
дешь отошел,
 постепенно стемнев
Двое в комнате:
 я
 и Ленин —
фотографией
 на белой стене.

Раздумчиво говорит Бурятов, обращаясь к портрету:

— Товарищ Ленин, я не Владимир Маяковский, но тоже делаюсь поэтом. Мне думается, здесь нет ничего особенного. И можно рассказать другим, что я в уме разговариваю с Ильичем. — Чернов в этой реплике как-то по-особому взволнован, очень естествен, искренен.

Становится невидимым в затемнении комнаты ленинский портрет, но зато вырисовывается фигура самого Ленина. Владимир Ильич проходит к Николаю, присаживается чуть поодаль. Бросает пыливый, пронзительный, ласковый взгляд то на Николая, то в зал. Так и начинается эта беседа в мечтах, приобретающая, однако, благодаря мастерству драматурга и режиссуры (В. Станицын, А. Карев, И. Тарханов) зримую достоверность.

Ленин, образ которого создает А. Грибов, добродушно улыбается. Отвечает Николаю, как близкому, родному человеку:

— Ничего особенного. Я тоже в молодости беседовал в уме... не с Лениным, конечно... а с другими, кто меня тогда увлекал...

Беседа, полная непринужденности и глубокого смысла, приобретает огромный эмоциональный накал.

Автор драматургической трилогии о Ленине и в этой своей пьесе так разработал ленинские реплики, что их архитектоника и каждое слово в отдельности поразительно точны. Николай, например, делится с Ильичем своей догадкой. Ему кажется, что, когда Ленин писал о первом коммунистическом субботнике, он прямо-таки думал о нем, Бурятове. И вот — ответ:

— Может быть, думал... и о вас мог думать... и даже наверняка думал, так как имел в виду будущее..

По-ленински точно, с учетом прошлого, нынешнего настоящего и грядущего, звучат слова вождя: «...И все равно, что бы вы ни видели в жизни дурного, даже страшного, никогда не сомневайтесь насчет русского рабочего класса. Это лучшее, что создало человечество за тысячелетия своего развития». А как по-отечески тепел, сердечен и важен ленинский совет: «Забойтесь вы о том, чтобы не обижать друг друга, не принижать, не подавлять. Вот самое высокое правило поведения».

Нет, это не только Бурятов говорит с Лениным, и не только Бурятов отвечает Владимир Ильич. Атмосфера сцены в постановке МХАТа такова, что каждый присутствующий на спектакле сам чувствует себя мысленно беседующим с Лениным и восхищается ясностью и проникновенностью ленинских ответов.

По ходу роли Ленина в пьесе содержатся такие реплики: «очень весело и просто», «как бы вспоминая», «с улыбкой». Да, именно так, просто и весело, задушевно, с улыбкой, как с лучшим другом ведет разговор кормчий Великого Октября с сегодняшним советским рабочим. Представим на мгновение: а разве могло быть иначе, если бы Ленин жил в наши дни? Разумеется, нет. А разве иначе разговаривает Никита Сергеевич с рабочими и колхозниками во время своих поездок по стране?! Вот почему так и кажется, что сцена эта почерпнута из самой жизни, дышит ленинской сущностью наших дней. Особенно теперь, после исторического XXII съезда партии.

Образ вождя в погодинской трилогии о Ленине, разумеется, масштабнее, глубже. Но там он опирается на общезвестные факты и события. Там он историчен. Здесь же, впервые в драматургии и на сцене, сделана попытка совершенно свободного, в основе своей глубоко поэтического развития великого образа применительно к обстановке наших дней. Попытка эта не только удалась, но удалась блестяще. Ею с несомненностью сказано новое слово в драматургии и сценическом искусстве.

Это новое слово сказал Погодин. Это

новое слово сказал Грибов в Художественном театре. В его трактовке Ленин особенно светел, устремлен в коммунистическое завтра. Рамки роли значительно расширены разработанным артистом подтекстом. Цепочка лет и дел от первого коммунистического субботника до бригад коммунистического труда живо возникает в представлении зрителей. След за исполнителем мы мысленно дописываем то, чего, естественно, не мог вложить в текст роли Ленина автор: словно оказавшись в ракете времени, мы думаем о грандиозности содеянного советским народом под руководством Коммунистической партии; о тех преступных нарушениях ленинских норм, которые допускались в период культа личности Сталина; о ленинском курсе XX и XXII съездов, о победной поступи утвержденной XXI съездом семилетки, о величии новой ленинской Программы партии.

Мысленно Ленин всегда с нами. В мхатовском же спектакле он с советскими людьми шестидесятых годов и зримо. Он улыбается нам так, как может улыбаться только Ленин. И мы покидаем театр, озаренные ленинской улыбкой.

ТРИ «СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕКА»

Еще не бывало случая, чтобы вслед за блистательной экранизацией редкостного по своей глубине литературного произведения появилась бы опера, новаторская по всей своей сути. Но именно так произошло с «Судьбой человека» — рассказом Михаила Шолохова, фильмом Сергея Бондарчука и оперой-песней Ивана Дзержинского. Фильм не был просто переводом рассказа на язык кино. Не стала только переложением на иной жанр и опера-песня. Следует говорить не о втором и третьем рождении полюбившегося нам рассказа, а о трех самостоятельных произведениях с единой, истинно шолоховской первоосновой.

...На красочной обложке буклета спектакля Большого театра изображены две березы. Одна из них — сильная, мощная, уже давно вспоенная соками родной земли, упрямо устремлена ввысь. Другая — тоненькая, еще совсем молодая, — растет не столь ровно, как могучий сосед-исполин, но рядом с ним заметно выпрямляется и тоже уверенно тянется кверху, набирая силы. Нет, волнам судьбы не смести эти стволы, не обломать их ветви. Какие бы ни бушевали штормы, березы эти, символы земли российской, выстоят, выдюжат и дадут вокруг новые прекрасные побеги, украшающие приволье советской Отчизны.

Так аллегорически передана суть оперы Дзержинского.

«Судьба человека» утверждает своеобразие совершенно новой формы. Никогда еще столь просто, без увертюры, словно в драматическом театре, не выходил на оперную авансцену рядовой труженик, наш современник, переполненный желанием поведать людям о трудной своей жизни, тесно слитой с жизнью всего советского народа.

Неудача ряда опер на сюжеты нашей



Сцена из оперы «Судьба человека» в Большом театре. Слева — В. Нечипайло в роли Андрея Соколова

Фото А. Гладштейна

современности тем, в первую очередь, и объяснялась, что новое вино композиторы пытались влить в старые меха. А в результате жанровая условность оперы нередко разрасталась до вопиющего несоответствия с сугубой реальностью содержания. В «Судьбе человека» удачно найден один из возможных вариантов современной оперной формы. Эта форма целиком обусловлена, продиктована содержанием.

Постановщик спектакля Б. Покровский так характеризует оперу-песню Дзержинского:

— Простота и доходчивость музыкального изложения, современность интонаций, душевная искренность мелодий сочетаются в ней с необычной для оперы драматургией. Сложность последней обусловлена, во-первых, тем, что композитор, взяв за основу оперного либретто литературное произведение, не захотел изменять шолоховский прием рассказа-исповеди, с присущими рассказу ретроспективностью и обобщением; а во-вторых, тем, что здесь во главу угла поставлена задача раскрытия лирико-психологической сущности характера главного действующего лица, становление и развитие этого характера... В опере нет сцены, которая жила бы вне жизни рассказа Соколова. Он всегда на сцене, все воспринимается нами через призму его чувств и понимания. Если музыкально это опера-песня, то драматургически — опера-монолог...

Уже из этих слов Покровского можно заключить, сколь сложна была постановка такого произведения и сколь значительна и ответственна в нем главная роль. Скажем сразу: обе труднейшие задачи в Большом театре решены. И в этом заслуга Покровского, дири-

жера А. Мелик-Пашаева и художника В. Рындина. Взаимная творческая близость авторов спектакля столь очевидна, что и общий режиссерский рисунок, и раскрытие внешне простой, доходчивой, но трудной для исполнения партитуры, и оформление действия, развивающегося одновременно в двух планах (сцены собственно рассказа перемежаются со сценами воспоминаний) предстают в тесном единстве. Авторы спектакля творили вдохновенно и страстно...

Значительность сделанного не означает, однако, отсутствия недостатков. Но они, эти «досадные печатки», скрадываются в свете поистине титанической работы всего постановочного коллектива. Поразмышлять хочется не по поводу художественной цельности спектакля (она очевидна), а — над особенностями раскрытия жанра. Спектакль задуман, главным образом, как песня человека (и это имеет твердую основу в рассказе Шолохова). Но возможно было утвердить в нем и песню о человеке. В этом случае понадобилось бы усилить роль хора, создать хоровые песни о думках и делах Андрея Соколова — о глубоко драматической встрече его с комендантом лагеря, о побеге и др., что лишь развило бы героико-поэтическое начало. В «Судьбе человека» богатейшие возможности хоровой песни использованы не столь полно, как того требовал новый, разработанный композитором жанр. Думается, однако, что за первой ласточкой в этом жанре появятся и другие.

Б. Покровский, рассказывая на одном из вечеров в Центральном Доме актера о постановке «Судьбы человека», не без оснований сетовал на «консерватизм лексикона» критики. По давней традиции и по сей день про-

должают писать: «партию» такого-то «пел» такой-то. Да, исполнитель в опере поет, но не только поет, а и играет. Еще со времен Шаляпина, постановки «Евгения Онегина» К. С. Станиславским доказано, как важны в опере драматическая игра, актерское перевоплощение. Все наши лучшие оперные спектакли последних лет, и прежде всего «Война и мир» в Большом театре с особой силой подтверждают это. Более того, без огромного, невиданного ранее подъема актерского мастерства певцов невозможен был бы такой спектакль, как «Судьба человека».

В. Нечипайло в роли Андрея Соколова держит весь театр в напряжении с первого и до последнего мгновения. Нередко он говорит прозой — в сопровождении музыки и даже без нее. Как одухотворенно, пережито, выстраданно и оттого весомо каждое его слово! Совершенная дикция Нечипайло благотворна и в пении. Тут усилия композитора, дирижера и исполнителя сливаются вместе, и до зрителя-слушателя доходят и мелодия, фон, и смысл музыкальной фразы, и каждое слово в отдельности.

При столь высоком уровне спектакля не к чему заглядывать в либретто — его издали, видимо, по традиции. Иначе говоря, опера из зрелища преимущественно вокального плана, рассчитанного на знатоков и любителей, становится поистине многоплановым зрелищем для самых широких зрительских масс.

..Чего греха таить — есть немало людей, которые, стремясь побывать в Большом театре, отыскивают на афишах оперные спектакли помонументальнее, с красочными танцами и известной долей экзотики. В «Судьбе человека» нет ни танцев, ни экзотики. Вот почему реакция зрителей поначалу сдержанна и выжидательна. Но она нарастает от сцены к сцене. А по окончании слышатся возгласы «Браво!», люди говорят: «Да, вот это по-настоящему хорошо!» Публика не спешит одеваться, а вновь и вновь вызывает артистов, дирижера, постановщика, художника.

Успех ширится от спектакля к спектаклю. Заслуженный успех!

ХУДОЖНИК КОММЕНТИРУЕТ СПЕКТАКЛЬ

Иногда на театральной сцене появляется «сторонний» словесный комментарий. Такие новации, заимствованные, впрочем, из глубин древности, далеко не всегда достигают цели. Актер драматического театра вооружен прежде всего искусством слова. А когда слово сюжетно развивающегося действия перебивается словом со стороны, трудно сделать так, чтобы это последнее вливалось свободно, естественно, усиливало впечатление, а не ломало его.

И все же комментарий к разворачивающемуся в спектакле действию бывает нужен. В какой форме?

Музыка, которую ввел в свою постановку «Власти тьмы» в Малом театре Б. Равенских, не иллюстрирует переживания героев Толстого, а прежде всего комментирует их,

истолковывает в заданном режиссерском плане. Различные формы комментария — музыкальной, внезапно врываются кинокадром применяет Н. Охлопков. Иногда о многом говорит уместно «врезанная» и изобретательно поставленная мимическая мизансцена.

Проекцией заранее отснятых или нарисованных видов режиссер и художник подчас подчеркивают свое видение характеров и поступков героев. Большие возможности для комментария таит декоративное оформление, помноженное на свет. Но как еще часто художник ограничивается довольно благопристойной и довольно бесстрастной иллюстрацией! А порою в театре возникают такие бомбоньерочные финтифлюшки, рассчитанные лишь на внешнюю красоту.

Интересная, острая, злободневная комедия А. Макаенка «Левониха на орбите» имеет два отчетливо выявленных плана — сатирический и лирический. Она утверждает выход на орбиту жизни погрязшей было в домашних делах Левонихи, разоблачая застойное своекорыстие ее мужа — Левона.

А вот на постановке этой пьесы в Центральном театре Советской Армии вас встречает искусно расписанный специальный занавес, на котором есть все — и белорусский национальный орнамент, и тракторы, и комбайны, и скот, и птица, и всевозможные дары земли, но не заметно одного — отношения художника А. Матвеева к тому, что развернется за этим занавесом, когда тот поднимется. У Левона, как следует из авторской ремарки, не хата, а «сказочный домок-теремок». Он — особенный на селе. Весь его внешний вид выдает пристрастие хозяина к своей собственности, заботу об этой цитадели личного благополучия. Но, изобразив «сказочный домок» Левона, Матвеев тут же соорудил панораму села, сплошь застроенного такими же «домками-теремками». Декорация эта, как и занавес, выполнена на высоком профессиональном уровне, красива, эффектна. Но — она написана именно ради эффекта и противоречит авторскому замыслу, превращая сатиру в лубок. В заботах о ложно понятной зрелищности спектакля художник не оставил места для верного и острого художественного комментария.

Совершенно противоположный пример можно наблюдать (и уже вторично) — на сцене МХАТа. Несколько лет назад художник Б. Эрдман, а сейчас — И. Веселкин проявили хорошее новаторство и творческую смелость. Их декорации как бы утверждают: вовсе не обязательно, чтобы оформитель слепо следовал в фарватере режиссерского замысла, он не только может, но и должен показать свое отношение к происходящему на сцене и дописать красками и светом то, что нельзя или трудно выразить иными средствами.

Эрдман, оформляя в сезоне 1959—60 года «Битву в пути» по роману Галины Николаевой, свое реалистическое видение событий обогатил в декорациях взлетом романтической фантазии, заострил устремленность спектакля в будущее. Это оказалось новым для МХАТа, но ни в какой мере не противоречило заветам К. С. Станиславского. На-

оборот, такое решение приподнимало и окрыляло спектакль.

Веселкин же очень свежо, оригинально, а бы сказал — просветленно оформил комедию А. Корнейчука «Над Днепром». Мало того, что его декорации живописны и прекрасно передают своеобразный колорит колхозного Приднепровья. Показать место действия, видимо, полагает художник, — значит решить лишь часть задачи. Передать в каждой картине ее тональность — тоже еще не все. Надо помочь зрителю точнее осмыслить каждую картину, попытаться расшифровать даже мысли героев, поведать об их мечтах.

И Веселкин решил задачу целиком.

Когда старый Антон Лукич Мак (В. Топорков) беседует на веранде колхозного ресторана с предметом своего давнишнего обожания Натальей Орестовной Голубь (О. Андровской), они, естественно, больше говорят о прошлом, сожалеют, что лучшие годы их жизни, увы, позади. А художник, наблюдая этот превосходный сценический дуэт старейших мастеров МХАТа, наполняет чистое, прозрачное небо «Над Днепром» ярким, радужным светом. Оформление и освещение в этой картине подчеркивает радость бытия, величие и красоту грядущего, что чувствуют, конечно, и Мак и Голубь, но что выражено не столько в тексте некоторых реплик, сколько во внутреннем подтексте всей сцены.

Бурными аплодисментами зрители неизменно встречают декорации третьего действия.

У Корнейчука сказано: «Ночь над Днепром. Мелькают на воде зеленые и красные огни бакенов, показывают фарватер, и кажется, что могучая река выгибается все вверх, к черным тяжелым тучам. Издали слышна песня... Когда разошлись тучи, поднялся голубой свет и засверкал Днепр, открылся свой сказочный берег, где черные корни колоссальных пней столетних осокорей и верб сплелись, словно гиганты-спруты. А над ними по всему дугу, будто шлемы древних князей, седые стога пахучего сена».

На сцене МХАТа все почти так и не совсем так. Спору нет, красива и раздольна природа Днепра. И все же слова «сказочный берег» постановщик М. Кедров и художник Веселкин относят прежде всего к хорошим людям, которые здесь живут, особенно, поэтически мечтают, любят.

Природа оставалась на своей вечной вахте и во время гитлеровской оккупации, но разве тогда берег Днепра мог казаться таким? Да и драматург словами замечательного поэта П. Тычины и своими собственными говорит о том же. «Ведь мы — народ, чья праведная сила ни в чьем порабоощенье не была», — восклицает в этом действии Петр Орел. Показать душу народа, силу народа, масштабы его свершений стремится художник. Будучи реалистом, он тем не менее романтически одухотворяет природу, насыщает ее едва уловимым, но вполне определенным, поэтически приподнятым отношением к происходящему.

Несчетное число раз рисовали театральные художники звезды в небе. А вот когда мы слышим слова юной Лиды: «Посмотри,

Арсен: в эту ночь все звезды купаются в Днепре», и видим множество по-особому светлых, приветливых, словно и впрямь купающихся в реке звезд, то эта панорама вызывает восхищение, будто мы наблюдаем ее впервые в жизни. Значит, художник давно знакомое открыл заново. Значит, и этот уголок земли и этот уголок неба он сумел разглядеть так, как не рассмотрели бы мы без одухотворенной его кисти.

Радостной свежестью пронизаны декорации «Грозы» в Малом театре, выполненные Б. Волковым. Замысел постановщиков В. Пашенной и М. Гладкова художник развил, расцветил своим, совершенно оригинальным видением величайшего творения Островского.

Спектакль богат многими открытиями сразу. Они относятся к иной, чем в предыдущих постановках, трактовке образов Кабанихи (которую впервые вот так, во всем истинно многогранном обличье, сыграла Пашенная), Катерины (Р. Нифонтова), Кулигина (С. Маркушев), к колоритной обрисовке толпы «городских жителей обоего пола», к передаче ощущения неизбежности грядущих социальных катаклизмов.

Открытия режиссуры и актеров сумел обобщить, прокомментировать художник. Никогда еще в «Грозе» мы не встречались с таким внутренне мажорным оформлением. Волков, как и режиссеры, оценивает события драмы, написанной более ста лет назад, с позиций современности, воздвигает поэтический мостик между старым и новым. В красках декораций, в переливах световой палитры спектакля мы ощущаем: темноту ночи непременно сменит рассвет. Неизбежность его уже угадывается в розовеющей вечерней заре насыщенного острыми событиями первого действия.

Рой чувств, мыслей, переживаний вызывает оформление второй картины третьего действия. В ней Катерина с Борисом Григорьевичем и Варвара с Кудряшом на какое-то мгновение вырываются из-под опеки Кабанихи и Дикого на свободу. Овраг здесь не просто овраг, а символ. По обеим сторонам оврага художник изобразил молодые, нежные, набирающие силу березки. Они упрямо тянутся друг к другу. Кажется, еще немного, и затопят они своим неумным порывом этот разъединяющий их постылый овраг, трепетно соединятся ветвями.

...Так художник приподнимает, усиливает образное звучание постановки, комментирует ее, как бы проверяя ход развертывающихся на сцене событий эхом эпох.

ВСТРЕЧА С МАЯКОВСКИМ

Этот спектакль проходит путь от обычного к особенному.

Из сегодняшнего дня он делает экскурс во вчерашний и устремляется в завтрашний. Героика соединена в нем с сатирой, слово поэта — с хоровой песней, мимика — с танцем, эстрада — с цирком. Действие разворачивается у нас и в Западной Европе, в Америке и Африке, в космосе... Звучит музыка лирически-напевная и призывная, серьезная



«Пришедший в завтра». Маяковский — артист Р. Филиппов

Рисунок Р. Сачляна

и легкая, мелодичная и остропародийная. Происходящее на сцене дополняется реакцией актеров, размещенных в различных местах зрительного зала, акробатикой под самым потолком-куполом, демонстрацией полиэкранного кино двумя, тремя, потом — восьмью проекторами.

Это — феерия. Ясная по мысли и цели. Уникальная по построению... Правда, у нее есть родственница с ласково-таинственным именем «Латерна магика». Но похожи они мало. У каждой свои сферы, возможности, выразительные средства, хотя чехословацкая сестра столь же необычна, как и московская, получившая прописку на Берсеневской набережной, в театре Эстрады.

Начинается все здесь проще простого. На авансцену выходит девушка и сообщает: в гости к нам приехали поэты. Стихи читает... (называет фамилию). Поэты эти молодые, несхожие. Стихи последнего из них по архитектонике близки к стихам Маяковского. И вот уже выходит сам Владимир Владимирович. Это вовсе не явление из потустороннего мира. Маяковский не только современен, но и злободневен. В жизни мы встречаемся с ним повсюду. Так почему же ему не прийти в театр?

В фойе мы уже прочли надпись на бронзированной бюсте великого поэта: «Владимир Владимирович Маяковский — автор-участник спектакля «Пришедший в завтра». Он ходит по театру Эстрады так же, как хаживал по Большому залу Политехнического музея, по Коммунистической аудитории МГУ, по Крас-

ному залу МК и МГК партии на Большой Дмитровке. Плечистый, энергичный, мужественный. Агитатор. Горлан. Трибун. Читая стихи, сразу же загорается сам и зажигает всех. Прославляет героев труда и науки. Развенчивает лодырей, бюрократов, сплетников. Разит поджигателей войны, угнетателей народов. Мчится вперед и вперед в «машине времени». И, конечно же, задушевно, страстно ведет «Разговор с товарищем Лениным».

Ленин высоко оценивал его стихотворение «Прозаседавшиеся». Устарело ли оно? Вряд ли. Закоренелые пороки, увы, быстро не рассасываются. Вот почему так горячо принимает публика этот номер программы. Стихи в нем переведены в другое качество. Для наиболее полного их сценического выражения привлечены мастера многих оригинальных жанров эстрады и даже цирка. В дружбе с гиперболой и гротеском творят эти мастера невиданное, зато удивительно объемновидимое.

Огромный и низенький заседательский стол наклонен под углом к зрителям. За ним посвистывают, посапывают, похрапывают засидевшиеся заседатели. Но вот проснулся и встрепенулся председательствующий. Испустил звероподобный нечленораздельный рык. Загудел шумок. Звонок устанавливает тишину. И уже заливается оратор, которого изображает неподражаемый звукоподражатель П. Андрюшенас — артист, много лет назад пришедший на радио и эстраду из самодеятельности. Опять сникли, заскучили заседатели, пока не объявилось «дело»: то ли муха залетела, то ли комар. Все устремляются на поимку непрошеного гостя. А председательствующий рычит, раскидывает гриву волос... Отлично театр перевел слова в мимические сцены!

Вот Маяковский встает на защиту Африки, поднимающейся на борьбу за свободу. Проекционные аппараты демонстрируют волнующие документальные кинокадры. Экраны — впереди, справа, слева. Сколько экранов, столько и различных фильмов. Цветные и черно-белые, они, как и слова поэта, не оставляют никого равнодушным. А тем временем на поднимающуюся из оркестра пальму взбирается человек. Акробатический этюд — молодой, сильный, мускулистый негр символизирует расправляющую плечи Африку.

Вместе с драматургом А. Липовским работал над феерией и поставил ее главный режиссер театра Эстрады И. Шароев. В представлении занято более полутораста человек — Московский областной хор во главе с профессором В. Соколовым, чародей танца М. Эсамбаев, старейший драматический актер С. Вечеслов, дирижер О. Шимановский, выдающийся мастер всех видов искусств.

Маяковского играют В. Бубнов и Р. Филиппов.

И в композиции феерии, и в ее постановке есть существенные изъяны, просчеты, но сделано главное. Создано, быть может, и не во всем законченное, но злободневное синтетическое представление.

Вся эта его постройка возведена на прочном фундаменте, созданном Маяковским. «Мистерию-буфф» поэт определил почти в тех же выражениях, как определена и форма

нынешней постановки. «Героическая и сатирическая эстрадно-цирковая феерия», — гласит афиша спектакля. «Героическое, эпическое и сатирическое изображение нашей эпохи», — писал Маяковский и тут же пояснил: «Мистерия-буфф» — это наша великая революция, сгущенная стихом и театральным действием. Мистерия — великое в революции, буфф — смешное в ней. Стих «Мистерии-буфф» — это лозунги митингов, выкрики улиц, язык газеты. Действие «Мистерии-буфф» — это движение толпы, столкновение классов, борьба идей — миниатюра мира в стенах цирка.

Феерия «Пришедший в завтра» создана в наши дни. «Мистерия-буфф» — четыре десятилетия назад. Но в то время превосходная идея Маяковского не могла получить такого раскрытия, о каком мечтал поэт революции. По-настоящему она воплощается лишь теперь. В постановках пьес самого Маяковского в театре Сатиры. В спектакле-феерии театра Эстрады.

Взяв на вооружение новые жанры и пронизав свою последнюю работу целеустремленностью, страстностью, набатым словом Маяковского, театр Эстрады встал на неизведанный путь. И на этом пути, думается, наконец-то обрел он свое истинное лицо — лицо театра актуальных синтетических представлений большого масштаба.

Новых таких представлений мы и ждем от него.

ЭСТАФЕТА СИМФОНИИ МУЗ

На афишах «Медей», с триумфальным успехом идущей под ажурным куполом Зала имени Чайковского, сказано: «Спектакль-концерт». Критика единодушно сходит на том, что эта работа театра имени Ва. Маяковского — подлинное открытие, шедевр Н. Охлопкова, крупнейшее достижение советской сцены и концертной эстрады.

Крупнейшее, но не единственное. И тем более — не случайное. Не редкий взлет фортуны, а наиболее весомый результат в поисках нового.

Это новое Охлопков ищет уже давно в органическом сплетении муз. Театр и сам по себе — искусство синтетическое. Но Охлопков смелее и дальше других идет в последовательном развитии этого единства множественности. Симфонизм постановки — основная черта его, охлопковского, стиля. Ведь не секрет, что музыка, песня, танец нередко еще живут в драматическом спектакле сами по себе, иллюстрируя его или превращаясь даже в дивертисмент. Охлопков же добивается их абсолютной слитности: единого, истинно симфонического звучания.

Ставя пьесу А. Штейна «Гостиница «Астория», Охлопков не формы ради, не для того, чтобы удивить невиданным режиссерским ходом усилил и вывел на крылья сценической площадки оркестр. Музыка не сопровождает его спектакль, а занимает в нем равнозначное слову место. К сожалению, эта вдохновенная и пронизанная мощью охлопковского таланта работа, блестяще выдержавшая испытание временем, покорявшая зрителей

также в Польше, Румынии, Болгарии, не получила при своем рождении достаточно верной, объективной оценки. А ведь еще тогда, шесть лет назад, в постановке именно советской пьесы в полной мере проявились все те качества, что пленяют нас теперь в «Медее»!

Кое-кто из критиков толковал о некоем расхождении режиссерского замысла с авторской тональностью «Гостиницы «Астория». Они отказывали таким образом режиссеру в праве на свое видение пьесы, по сути дела не защищая драматурга, а обкрадывая его.

Штейн написал свою пьесу о днях ленинградской блокады. Но не только о них. Это — произведение о мужестве и стойкости, о чести и доблести духа. Война всегда трагична. Но она во много раз трагичнее была для тех, кто, подобно штейновскому герою Коновалову, испытал на себе жестокою несправедливостью, порожденную култом личности. Для того, чтобы накал столь эмоционально насыщенного произведения дошел до зрителя без потерь, он должен подвергнуться особенно вдумчивой переплавке в горниле режиссуры.

Замечательный деятель чехословацкой сцены, ныне покойный Эмиль Буриан, создал в свое время по пьесе Штейна «спектакль драматической тишины». Что ж, возможно и такое решение. Тем более что действие разворачивается в четырех стенах гостиничного номера, а психологически углубленная взволнованная тишина на сцене способна вызывать горячий и бурный отклик в людских сердцах.

Охлопков, обратившийся к этой пьесе первым, не без основания решил, что всех слов ее героев и даже всех возможных полутонов все же может не хватить, чтобы заключенный в ней шторм страстей выразить полной мерой. Тем более, что камерность пьесы — чисто внешняя. По существу это не психологическая драма, а трагедия, героико-эпическое звучание которой нужно донести всеми возможными средствами. Если же своих «исконных» средств недостаточно, то почему бы не расширить художественный арсенал? В выразительных средствах искусства, борющегося за мир, должна быть отыскана своя «атомная сила». Такую могучую, но редкостную по благородству силу Охлопков отыскал в симфонии муз. И тогда впервые появились на афише слова: «Спектакль-концерт».

Форма постановки не противоречила содержанию, как походя замечали иные критики. Она связана с ним счастливыми супружескими узами.

Лишь поняв место и значение открытия Охлопкова в «Гостинице «Астория», можно правильно оценить «Медео».

Это не только «Медей» Еврипида, а и «Медей» Охлопкова (опять повод для обвинений в режиссерском самовольстве!). Но Охлопков не переделывал Еврипида. Зато из множества поэтических зерен древней трагедии он отобрал и заботливо взрастил те, которые способны дать особенно пышные всходы в душах нынешних зрителей. Выполненное В. Рындиным сценическое оформление весьма искусно, но в то же время лаконично, просто. Оно условно в той мере, в какой

условен сам театр. Оркестр занял почти весь партер, хор заполнил крылья-лоджии, а пластически эффектный костюмированный хор коринфских женщин — эстраду. Поначалу может насторожить и озадачить постановочный размах. Иной подумает: «расточительство!» Но на поверку никакого расточительства нет. Есть разумное и даже экономное использование выразительных средств массового действия.

Замечательный датский художник Херлуф Бидstrup недавно, будучи в Москве, сказал: «Древнее искусство всегда обогащает современное, открывает перед ним новые возможности и перспективы». Это столь же верно, как и то, что процесс взаимен: современное искусство, современные средства выразительности и прогрессивная мысль нашего современника обогащают наследие мировой культуры. Именно так Охлопков обогатил Еврипида, создав, быть может, самую выдающуюся постановку «Меден» в истории мирового театра. Допустим, что ей недостает бескрайнего древнегреческого амфитеатра, но зато трагедия с чудодейственной силой зазвучала в волшебном созвездии муз. Блестяще примененный Охлопковым синтез их можно назвать поэзией всеобъемлющего симфонизма. Зритель не замечает, как слово переходит в музыку, песню, пластику, а они вновь — в слово. Но зато он замечает, что музыка чрезвычайно созвучна слову, а слово удивительно весомо, дикционно полно, почти зримо.

Постановщик в этом представлении — маг и волшебник. Но в своей сфере не меньшими чародейми предстают дирижер, балетмейстер, хормейстер. При всем том главной все же осталась муза актеров. В первую очередь именно они, актеры, своими исконными и непрерывно совершенствуемыми средствами доносят до зрителей и слушателей бескрайнюю ширь содержания древней трагедии. Спектакль-концерт прославляет высокие общечеловеческие идеалы, заостряет гуманизм трагедии Еврипида, усиливает ее страстный призыв в защиту мира, благоденствия, справедливости, честности. Так, благодаря вдохновенной постановке, драматическое произведение, пришедшее к нам из глубин тысячелетий, начинает жить новой — современной жизнью.

У Охлопкова есть последователи, стремящиеся развивать его принципы, но не подражать, подобно тому, как он сам не повторяет себя. И если мы говорили о преемственности форм его «Меден» и его «Гостилицы «Астория», то вовсе не для того, чтобы провести какую-то параллель. Легкости параллелей Охлопков всегда предпочитает трудную стремительность поступательного движения. Но сплетение муз и обостренное чувство поэтичности, сопутствующие его режиссерскому творчеству вообще, наиболее сильно проявились в этих двух особенно выделяющихся работах маститого постановщика. И прежде всего по этой линии передает он свою эстафету другим.

Казалось бы, нет никакой связи между «Медеей» и недавней премьерой театра имени Маяковского «В горах мое сердце». Однако синтез муз и высокая поэтичность характе-



На репетиции «Меден». Н. Охлопков и исполнительница заглавной роли Е. Козырева

Фото А. Гладштейна

ризуют эту интереснейшую постановку одного из последователей Охлопкова. После просмотра спектакля для представительницы прессы Охлопков, обращаясь к залу, сказал:

— Постановщик этого спектакля Ян Цициновский и раньше был режиссером. Но сегодня он окончил высшие режиссерские курсы. Позвольте, с вашего разрешения, с разрешения москвичей, выдать ему об этом соответствующую справку.

Страстными, горячими аплодисментами ответил зал.

Конечно, образно упомянув о справке, Охлопков имел в виду оценку поставленного Я. Цициновским спектакля. Спектакль — лучшее свидетельство зрелости и творческой самостоятельности мастера, воспринявшего у Охлопкова главное.

Можно ли назвать постановку Цициновским драмы известного американского прогрессивного писателя Уильяма Сарояна спектаклем-концертом? И да и нет. Симфония муз здесь прежде всего внутренняя, хотя глубоко запоминающейся музыке А. Бабаджаняна принадлежит в этой работе театра ведущее место. Она определяет колорит представления, проходит через него ярким лейтмотивом. И все же концертность спектакля не столько в том, какое место занимает в нем собственно музыка, сколько в удивительно тонкой, внутренней его музыкальности. Цициновского вслед за Сарояном влечет не жанровое многообразие, не нагнетание действия, а его углубление, если можно так выразиться, — живопись чувств.

Два высказывания У. Сарояна определяют суть его творчества: «Я поэт. Я творю



Таким художник Р. Сачлян увидел Джонни в финальной сцене спектакля «В горах мое сердце». В роли Джонни — школьник Андриуша Терехин

поэзию на английском языке, как правило, в форме рассказов, романов и пьес...» И второе: «Поэт не может говорить неправду, а писать правду. Он даже дышать должен, не изменяя истине».

Вот так, поэтически взволнованно, не изменяя истине, запечатлел Сароян тяжелый удел поэта Бен Александера, пишущего стихи о мире и справедливости, его малолетнего сына Джонни, престарелого актера Джаспера Мак-Грегора — «человека, чье сердце в горах», всего населения затерявшегося где-то в США маленького поселка. Поражает контраст между безысходностью положения этих людей и благородством их поступков. Люди эти живут по своим моральным законам, отвергая растленную мораль капитализма: «Человек человеку — волк». К сожалению, сказав «а», Сароян не говорит «б» — его пронизанная горечью драма правдивая, но не бунтарская. Определив болезнь, он не назна-

чает лечения. Каким должно оно быть? Это мысленно угадывают режиссер и зрители. Они чувствуют: пусть Сароян далек от коммунизма, но как правдивый художник он косвенно подводит к единственно возможному выходу из того тупика, в котором оказываются его герои. Впрочем, в поэзии вовсе не обязательно ставить все точки над «и». Прочувствовав ее, читатели и зрители сами должны додумать, домыслить. Что же касается подтекста иносказательной, но злободневной драмы Сарояна, то его превосходно понял и раскрыл Цициновский, показавший себя в этом спектакле поэтом сцены, поэтом охлопковского духа.

И, как у Охлопкова, свободно, весомо, сильно у Цициновского творит актер. Если в «Медее» при всей ее поразительной ансамблевости, наибольшее впечатление все же оставляют обе исполнительницы заглавной роли — Е. Козырева и В. Гердрих и Корифейка — С. Зайкова, то в спектакле «В горах мое сердце» это прежде всего — Джаспер — М. Орлов, Бен — А. Лукьянов и Джонни в мягком, точном исполнении московского школьника Андрея Терехина. Тихо, но волнующе, с ноткой зарождающейся, но еще неосознанной тревоги в голосе произносит Терехин слова Джонни, венчающие драму и определяющие ее идею:

— Ты знаешь, папа, я никого не виню, но где-то что-то неладно.

Да, в американском образе жизни» по меньшей мере «где-то что-то неладно»...

Зрители раздумывают над смыслом этой фразы Джонни, расшифровывая ее код.

...Эстафета симфонии муз подхвачена. И не только Цициновским. Думается, что еще два года назад эту эстафету принял и своей постановкой «Мамаши Кураж» Бертольда Брехта пронес дальше М. Штраух. Показав удивительнейшие стайерские качества, гигантски продвинул ее далеко вперед сам Охлопков в «Медее».

«Гостиница «Астория», «Мамаша Кураж и ее дети», «Медее», «В горах мое сердце». Все эти спектакли очень разные, но в чем-то, в главном, схожие. Знаменательно, что острие их направлено против уродств жизни, лжи, фарисейства, каннибальства, против войны, за жизнь, достойную Человека.

Это — эстафета советского гуманизма во имя гуманизма всечеловеческого. Это — один из многих залпов сил мира против сил войны. И такие залпы несоизмеримо сильнее черных дел нынешних ясонов.

Нам есть за что любить свой советский театр — театр умный и честный, новаторский и смелый, страстный и возвышенный, устремленный в Завтра.

Поиски молодой прозы

1

В жаркий летний день 1947 года в редакцию «Нового мира» пришел Михаил Пришвин. Он утер платком огромный вспотевший лоб и сказал: «Встретил на Пушкинской площади молодоженов. Покупки несли: стулья, картину, чайник, какой-то вазон. И все разное, для разных квартир, из разного времени. Не понимаю, как можно писать,— добавил он с хитрецей,— быт не сложился. Нет быта!»

За этим лукавым пришвинским «не понимаю, как можно писать» скрывалась и грустная мысль, что это уже «не по мне», и надежда большого художника, что непременно придут другие, молодые, и напишут эту тревожно-новую жизнь, напишут молодоженов со стульями и картиной для разных квартир, и молодоженов вовсе без квартир, живущих в рабочих общежитиях, на полярной зимовке или в трудном таежном походе.

В ту, уже далекую пору литературной молодежи приходилось трудновато. Старшие товарищи относились к ней так же по-доброму, как и теперь, искали и привечали молодых, но сами условия литературной жизни в этот период расцвета культа личности были особенно трудны для молодежи. Многие начинали писать в жестком расчете на премию — премий было много, но давались они не за рассказ — жанр наиболее естественный для начинающего,— а за романы и повести.

«Писать рассказы у нас не умеют,— говорил Горький еще в 1935 году,— не учатся и влезают в литературу обычно с «первой» книгой романа. На вторую уже не хватает умения, да, видимо, и материала нет. Поэтому 90 штук [из ста] изданных романов не заслуживают второго издания».

Написав пухлый роман и получив премию, молодой литератор просыпался уже не молодым, а маститым и как бы непогрешимым и не подлежащим критике. Прекрасная молодость с ее огнем, поиском, воодушевлением как бы отлетала от него, испуганно и навсегда. Уже это был не молодой ищущий писатель, а пугающе-серьезный член правлений, секретариатов и редколлегий, руководитель комиссий и семинаров.

Редакторы журналов довольно безуспешно в ту пору искали рассказы, но трудно было писать рассказы, когда критика требовала, чтобы в каждом рассказе была дана исчерпывающая картина всей жизни, чтобы герой рассказа, если он учитель, выразил лучшие черты всех советских учителей, а дежурный по станции, в отличие от пушкинского станционного смотрителя, мог ответить за всех железнодорожников России. Трудно было писать правдивые, реалистические рассказы в пору, когда критика перечеркнула как вредный такой родничково-чистый, возвышающий человека рассказ, как «Семья Ивановых» Андрея Платонова.

С тех пор условия литературной жизни существенно изменились. Изменились не сами по себе, не вдруг, а в результате того великого исторического события, имя которому XX съезд Коммунистической партии Советского Союза. Даже самые дальновидные из нас не сумели сразу оценить всей громадности события, всей необратимости начавшегося исторического процесса. С исключительным мужеством партия повела курс на последовательное восстановление ленинских норм партийной и общественной жизни.

Я не буду говорить об этом подробно только потому, что в этом нет нужды: это стало нашей жизнью, нашим свободным дыханием, нашими буднями и нашей поэзией. Любой из литераторов чувствует это всем объемом своих легких, всеми клетками мозга. Мужественный курс, который выбрала партия, был единственным ленинским курсом, по которому партия и пошла, пренебрегая растерянностью слабых и злорадством врагов. Только этот курс мог обеспечить и гордый полет космических кораблей «Восток», и великие стройки наших дней, и новый подъем культуры, и успехи молодой литературы, и даже то, что мы смогли послать на фестиваль в Венецию первый фильм молодого режиссера Андрея Тарковского «Иваново детство». Сталин, непремный цензор всех былых фильмов, не понял бы этой картины, не принял бы ее гуманистической философии, посчитал бы ее оскорбительным пустячком, осудил бы за кажущийся формализм и штукарство.

Но об одном следует сказать с самого

начала: это имеет прямое отношение к успехам и недостаткам молодых литераторов. Это оценка прошлого полувекового подвига советского народа и его авангарда — коммунистов.

Молодая литература последних лет зрело и правильно оценивает прошлое, искренне верит в подвиг коммунистов нашей страны, в них она видит свой нравственный идеал. Распространенное у какой-то части критиков мнение, что наша молодая литература нигилистична, что она полемична по отношению к революционному прошлому, глубоко неверно, оно отражает не действительный литературный процесс, а неспособность некоторых товарищей понять существо процесса, отражает испуг этих критиков перед словами, на которые молодость, как известно, не скупится.

Да, они часто говорят о себе, как о людях «раскованных», о своей не слепой, а «думающей, пристальной любви» (Е. Евтушенко) к Родине, признаются, выражаясь строками Рождественского, в том, что:

Наши споры порой
Непродуманны.
Наши мысли порой
Рискованны!

Нужно ли хмуриться и брюзжать по этому поводу? Нисколько! Ведь и «раскованность» эту и гордое ощущение полета дала молодежи страна. Это еще одно, пусть косвенное, поэтическое свидетельство правильности избранного партий курса. Что может быть для литературы благодетельнее этого ощущения открытости, внутренней свободы поэтов и прозаиков, людей, о которых оскорбительно даже подумать, что им еще предстоит сделать главный выбор жизни. Проблема «выбора» перед ними и не возникала. Их поиск — это поиск активного места в боевом строю.

Не обходится, правда, и без крайностей. Виктор Конецкий в интервью, которое он дал известному французскому литератору коммунисту Жану Каталя для «Летр франсез», утверждает, что старшее поколение выросло «в страхе», а его поколение «в надежде и вере». Это попросту неверно. Старшее поколение выросло в глубокой, я бы сказал, глубочайшей вере в революцию, в непреклонной убежденности, в борьбе, которой мы вправе гордиться, и в испытаниях, которые с честью выдержало. Только глубочайшая вера и убежденность могли противостоять уродующему воздействию культа личности. Таков был реальный исторический процесс, и стремление подменить анализ этого противоречивого, трагического порой процесса мелодраматической терминологией, звонкими фразами о «сброшенных цепях» несостоятельно ни граждански, ни поэтически.

С такими оценками прошлого нужно спорить, но еще более важно читать книги молодых, книги, которые всем своим строем резко спорят с подобными скороспелыми и несостоятельными обобщениями. Спорят с ними и книги талантливого писателя Виктора Конецкого. Его художественные обоб-

щения глубже, чем некоторые его отвлеченные суждения о жизни и литературе.

Изменившиеся после 1953 года и особенно после XX съезда условия литературной жизни вызвали заметный рост молодых талантов. Не просто приход в литературу нескольких новых писателей — это бывало всегда, — не просто появление нескольких новых имен, а бурный рост, несомненный качественный скачок, появление на протяжении десятилетия уже двух выразительных поколений литераторов. Того поколения, к которому относятся Тендряков и Солоухин, Бакланов и Бондарев, Слуцкий и Николай Воронов, Винокуров и Ваншенкин и многие другие, и нового, еще более многочисленного поколения.

Кто-то назвал это поколение четвертым, и завязались бесплодные споры. Почему четвертое? Почему не шестое, не восьмое? Но гораздо важнее определить своеобразие этого поколения, показать его отличительные черты при всей принадлежности его к революционной традиции советской литературы, при всем нашем кровном родстве. Ибо поколение, которое не принесло бы с собой нового, которое являлось бы только наследником и расточителем, а не творцом, было бы поколением «идейных тунейдцев», пустоцветом, тшедушной, достойной сожаления порослью.

Сколько раз молодым поэтам, особенно Евтушенко, предъявлялось критикой обвинение в прездерзостном обращении со святыми для нас словами «советская власть», «коммунизм», «партия». Какая, мол, нестерпимая и наглая даже самоуверенность — употреблять эти слова так, будто он, поэт, произносит их впервые, будто он вознамерился вернуть этим, якобы потускневшим словам свежесть, и силу, и новое звучание!

А между тем тот не поэт, кто наносит на бумагу слова в унылом и покорном убеждении, что все слова давно сказаны и лучше, брат, все равно не скажешь. Настоящий поэт возвращает словам и блеск, и силу, и новизну столько раз, сколько произносит их. И чем значительнее слово, тем непререкаемое это условие. И поэт будущего коммунистического общества напишет слово «коммунизм» — если он настоящий поэт — так, как оно еще ни разу не писалось до него, хотя писалось оно миллиарды раз и он знает об этом не хуже философов и экономистов. Иначе поэзия делается мертвой, докучливой, механической, и читатель равнодушно отворачивается от нее.

В последнее время очень повысился читательский интерес к поэзии, повысился и распространился на всю поэзию в целом.

Будем справедливы и признаем, что в большой мере поэзия обязана этим молодому поколению, гражданскому темпераменту его стихов и законному стремлению вернуть словам — всем без исключения словам — и блеск, и новизну, и высокий полет. И трижды прав поэт Николай Ушаков, выразивший мысль, на которую способен только щедрый талант и ответственный перед будущим человек: «Молодежь, — пишет он в 9-м номере «Дружбы народов», — контролирует нас, ста-

риков, нарушает нашу сенаторскую снисходительность к академическим привычкам, заставляет проверять жизнеспособность образной и словесной ткани наших произведений, пробуждает встречный пыл, словом, возвращает нам молодость».

Теперь редкий литературный журнал выходит без повестей, стихов и рассказов писателей, чьи имена никому не были известны еще три-четыре года тому назад. Обильную жатву собрал за минувшие годы журнал «Юность», и напрасно «Литературная газета» в редакционной заметке под названием «Новых удач!» пытается набросить тень на прошлое этого журнала, восклицая по поводу 8-го номера, что «журнал «Юность» — это можно сказать уверенно! — обретает наконец-то хорошую «спортивную форму». За игриво-деляческим образом — «спортивная форма» — скрывается жестокая несправедливость: ведь подавляющему большинству молодых писателей, о которых мы будем говорить и спорить, путевку в жизнь дал журнал «Юность» и его редактор Валентин Катаев.

Мне посчастливилось в течение лета прочесть очень много книг молодых. Это было и нелегко и вместе с тем удивительно радостно. Поток книг не отталкивал, а захватывал все больше и глубже.

Это не значит, что все книги хороши, что в них нет просчетов и несообразностей.

Меня удивило, что Анатолий Гладили, человек яркого, своеобразного таланта, напечатал в «Молодой гвардии» торопливую, попросту незаконченную повесть «Песни золотого прииска»; меня насторожил ремесленный, почти механический повтор Игорем Голосовским композиционного приема его повести «Хочу верить» в написанной следом за нею повести «Алый камень»; я задумывался над последними рассказами Василия Аксенова, над «Адамом и Евой» Юрия Казакова, спорил и с ними, и с самим собой; порой испытывал читательское неудобство от очерковой жесткости иных рассказов Анатолия Приставкина; досадовал на то, что некоторым рассказам Эдуарда Шима не хватает простоты в постройке, простоты, которая так пленяет в его рассказе «Ливень». Много возникало мыслей и чувств, но главным, объединяющим чувством было чувство радости за нашу литературу. Радости по поводу того, что молодая литература уже состоялась, что она не пытается пройти в будущее «по билету с оторванным контролем» (В. Аксенов) и, главное, не ищет легких проторенных путей.

Есть известная неправомерность в намерении говорить о литературе не в общесоюзных или общенациональных рамках, а ограничиваясь каким-либо административным районом, даже если этот «район» — Москва! Хотя журнал «Дон» и пытается убедить своих читателей, что существует донская или кубанская литература, но московской литературы не существует. Существует довольно сильная армия писателей-москвичей, которые много работают и делают все, чтобы помочь партии и народу в великом созидательном походе к ком-

мунизму. И творчество талантливых московских писателей вовсе не исключительно, оно сродни творчеству писателей Ленинграда и Ростова, Минска и Тбилиси. Ростовчанин Вл. Фоменко понятен и, я думаю, близок Елизару Мальцеву, а белорус Василь Быков — близкая родня Богомолова. Шолохов-Синявский считает московскую писательскую организацию злостным очагом «модернизма». Это может вызвать только улыбку у человека, действительно читающего книги молодых и не молодых москвичей.

Вот почему так важно от общих слов и подозрений перейти, наконец, к внимательному изучению книг молодых. Я не буду говорить о поэтах. Молодая поэзия популярна, и она решительно переступила рамки «модной известности», став граждански необходимой нашему читателю. А проза? Вот краткое перечисление того, что делают молодые прозаики-москвичи. Пусть это будет переключкой — и она бывает необходима.

Я вижу писательское мужество в том, что Ан. Кузнецов после шумного успеха его романа «Продолжение легенды» сам засадил себя за рассказы, пошел в эту трудную литературную школу, чтобы набраться мастерства, овладеть искусством психологической детали. Юрий Казаков снова «возмутил спокойствие» рассказом «Адам и Ева» после его великолепного и очень надолго сделанного «Северного дневника». Я не думаю, чтобы в беспокойном поиске В. Аксенова многие точно угадывали, какой окажется его следующая повесть. Ю. Полухин после довольно заурадной антирелигиозной повести «Омут», после нескольких рассказов добросовестных, но не несших в себе открытий, напечатал отличную книгу «Взрыв». Мне искренне жаль тех, кто не читал документальную повесть В. Чивилихина «Серебряные рельсы», книгу точную, воспевающую мужество, подвиг, достойный того, чтобы о нем знали не тысячи, а миллионы. Анатолий Гладили, которому в качестве «автомаяка» критика чаще всего предлагает его первую, очень незрелую повесть «Хроника времен Виктора Подгурского», давно ушел вперед, написал такую значительную вещь, как «Вечная командировка». Только что вышла книга маленьких рассказов Ан. Приставкина, и по крайней мере в трети этих рассказов читатель обнаружит художника того же трибунного бойцовского склада, но без очерковой поверхностности, которой грешили его прежние книги. Вышла первая книга рассказов Ильи Крупника «Снежный заряд» — его суровые быт аскетизма строки, его проза, тонкая, сдержанная, порой грустная, не оставит читателя равнодушным. А Юлиан Семенов, которого прочно держит в объятиях юношеская влюбленность в Хемингуэя, и это становится очевидным с первых же глав его повести «...При исполнении служебных обязанностей». А Эдуард Шим и Георгий Семенов, В. Амлинский и Игорь Голосовский, у которых уже есть очень большой по числу читателей. А Богомолов и Майя Ганина. А повести Елены Ржевской и обаятельный, нетерпимый ко лжи Гоша из пове-

сти Войновича, вызвавшей споры, полемику, кипение литературных страстей. Бжезовский, дебютирующий романом, и Наталья Тарасенкова, вдумчивый и серьезный рассказчик. Значительных результатов добились в последнее время В. Максимов, В. Росляков, Н. Громыко, выпустившая книгу «Комсомольский комитет», И. Гофф, много работающий Калиновский, Ларин, Дурова, Куденко, Наумов, Забелин... А ведь я не назвал еще многих и прежде всего Георгия Владимова, тоже тридцатилетнего, напечатавшего свою первую повесть, но какую! Мне не хотелось бы кого-либо выделять по признаку таланта, но несомненно, что голос Георгия Владимова в хоре молодых один из самых сильных и обещающих.

Но хор ли это? Я назвал около тридцати прозаиков москвичей, а ведь за ними по пятам идут десятки совсем молодых, начинающих, не тех, конечно, о ком пишет в своей статье «О молодости и литературе» Вас. Смирнов: «..Многовато у нас сейчас молодых неудачников, обивающих пороги журналов и издательств, живущих на случайный гонорар, не знающих толком ни жизни, ни настоящего дела...» Неудачники и графоманы бывали всегда, вероятно, они подвизаются и сейчас, но есть какая-то бестактность в том, что о них с такой драматической озабоченностью говорится именно сегодня, когда молодость так сильно, так обещающе заявила о себе.

И все-таки хор ли это, или крыловский квартет?

На приемной комиссии, когда в Союз принимали Юрия Казакова, произошел любопытный случай. Члены комиссии, истосковавшиеся по литераторам моложе пятидесяти лет, много и торжественно говорили о молодости Ю. Казакова. Председатель В. В. Иванов вдруг затрепетал и шепотком стал просить у секретаря анкету Ю. Казакова. А надо сказать, он был одним из тех, кто рекомендовал Ю. Казакова в Союз. Заглянув в анкету, он от души расхохотался. «Молодой, молодой,— сказал он.— А ему тридцать два года. Я к этому времени собрание сочинений напечатал».

Кого же все-таки можно отнести к молодым? К последнему поколению молодых писателей, за которым непосредственно идут начинающие? И чем оно отлично от поколения, начавшего печататься только на пять-шесть лет раньше?

Вслушаемся в авторское рассуждение Ю. Полухина из его повести «Взрыв».

«Они шли по улице рядом... Внешне Леонов такой же парень, как и он, Виктор, как Валерка Мятлов, Жора Исаев. Когда же и где успел он обрести спокойную бодрость духа, мудрую доброту и уверенность в своих силах? Он лет на восемь старше. Разные поколения? Поколение Леонова и Виктора. В чем-то очень похожие и очень разные. Росли они примерно в одно время, и все-таки разные. Почему?..» Далее следуют верные слова об идейной общности этих поколений, и снова вопрос, в чем же разница? «Пожалуй, в одном,— отвечает

Ю. Полухин,— мы хоть и не воевали на фронте, но успели хватить войны. В одиннадцать — двенадцать мальчишеских лет пришлось узнать такое, что подчас не под силу и взрослому. Война воспитала нас».

Тендряков, Бондарев и их сверстники были солдатами на войне, и война по-своему воспитала их. Дело, конечно, не только в войне, а во всей жизни той военной и близкой послевоенной поры. Но и тому, кто был мальчишкой в те годы, жизнь тоже преподавала уроки военного времени, и они существенно повлияли на формирование характеров. Однако их духовная зрелость — зрелость, доступная молодости,— совпала с благодатными переменами, которые определил XX съезд партии. Конечно, случаются и молодые старички и седовласые литераторы, сохранившие молодость души и строки. Мне понятно желание молодого прозаика Виля Липатова не обособляться, не замыкаться в рамках одного поколения,— как говорит герой его статьи в «Литературной газете» словоохотливый Семен: «И не надо делиться, старики! Я в таком же родстве с Константином Фединым, как Юрий Гагарин с Константином Коккинали... Мне весело оттого, что по той аллее ходит Михаил Светлов! Он виден в мой иллюминатор! О, он машет рукой — зовет нас... Ему тоже веселее, когда мы рядом».

Конечно же, делиться не надо, не надо забывать о кровном родстве поколений и о художественной преемственности. Ю. Казаков упрямо идет бунинской тропой, на этом сходятся почти все его критики, правда, иные, для вящего унижения, непременно добавляют: тропой «позднего Бунина». Ю. Семенов влюблен в Хемингуэя и откровенно афиширует свою любовь. Ну, а дальше? А десятки других писателей? Естественно, что молодость неотделима от увлечений. Но мне представляется гораздо более существенным кровное родство молодой литературы с лучшими книгами советской литературы, ее внутренняя связь с той революционной литературной традицией, которая дала Маяковского, дала «Разгром» и «Железный поток», дала «Города и годы» и ударную строку Вишневского, дала «Людей захолустья» и «Двое в степи», дала поэзию Твардовского и темпераментную поединскую драматургию 30-х годов. Как далеко увела нас нормативная критика периода культа личности в сторону от истины, если мы сегодняшние поиски молодых, их желание содрать метровую, ватно-беллетристическую подкладку с литературы, их стремление к краткости, ударности, живости повествования относим к модернизму и западничеству!

Но если липатовский Семен в родстве с Константином Фединым, если сегодня молодежь продолжает лучшие традиции советской литературы,— а это нетрудно доказать,— если улыбающийся Михаил Светлов машет рукой молодым и зовет их,— тогда стоит ли выделять молодую литературу? Стоит ли говорить об особенностях нового поколения литераторов, о его самобытности и своеобразии?

Думаю, что говорить об этом необходимо. Несмотря на все щедрые права наследования, молодежь хочет кое-что сделать и своими руками, и не только хочет, но и делает довольно добротной и честно. Сохраняя фамильные черты, она во многом своеобразна и нова, хотя бы в той мере, в какой ново ее время. И какой нормальный родитель, радуясь удачному сыну или дочери, их верности долгу и революционным традициям, не порадует и новому, отличному в них? Только злобные мещане с наслаждением ломают характеры детей, ломают их судьбы, удерживают в сложившихся рамках, предлагают себя и свою жизнь в качестве оригинала для снятия нотариальной копии.

Очень многое для понимания молодой литературы дают ее самые придирчивые и подозрительные критики. Я имею в виду не выступления вроде стихотворного ответа Анатолия Калинин Е. Евтушенко. Речь идет о людях, которые серьезно озабочены будущим литературы, но чересчур мрачно взирают на ее молодое поколение. Конечно, по тени нельзя составить себе полного представления о предмете, но наличие тени говорит уже хотя бы о том, что предмет существует. Эти критики обвиняют молодую литературу в «нигилизме», в некоей «духовной неблагонадежности», подозревают ее в тяготении к модернизму, к западничеству, в расточительном самоанализе, в пристрастии к изображению теневых сторон жизни, в неблагодарности по отношению к нашему прошлому, намекают на то, что нынешняя молодежь и «не то» и «не та», что это не бойцы, а барчуки, хлопички, рефлектирующие молодые люди. Эти обвинения из критических статей уже переключались и в некрологи — я имею в виду траурные строки Николая Грибачева памяти Эммануила Казакевича, строки, по которым кричаще-неуместно растекалась недобрая подозрительность к молодым.

Я не буду искать примеров в далеком прошлом. Приведу только несколько недавних, из статей, появившихся в самое последнее время, когда вся наша печать так серьезно обратилась к проблемам молодой литературы. Вот что писала «Литературная газета» в редакционной заметке о восьмом номере журнала «Юность» за 1962 год: «...За чем рефлектирующего Максимова из повести В. Аксенова «Коллеги» критик Ст. Рассадин выдает за «тип... героя», который «интереснее зрителю, ибо имеет отношение к жизни». Но стоит нам согласиться с тем, что Леша Максимов рефлектирующий тип, как придется расстаться со многими героями книг молодых, не исключая и Виктора Бороду, героя повести Ю. Полухина «Взрыв», Виктора Бороду, чья нравственность и чистота никем не была взята под сомнение. По мысли В. Чалмаева, все творческие усилия молодой литературы «...это, как правило,— все новые и новые обороты вокруг себя, круги самовоспитания, поисков характера и истин в самом себе». В статье, носящей фельетонное название «Тысяча оборотов вокруг себя...», В. Чалмаев советует молодой литературе «...меньше примешивать

к портрету и душевной жизни черт, заимствованных у героев современных зарубежных писателей». Евгения Книпович уверена, что молодыми владеет «страх перед высокими словами», а Василий Смирнов замечает: «...И некоторые молодые до сих пор почему-то выискивают в нашей жизни только одно плохое, преувеличивают его и выдают за типичное».

Случается, правда, что и сами молодые говорят о том же. Игорь Золотусский, молодой хабаровский литератор, в статье «Не мальчик, но муж!» оценивает молодую литературу такими скучными и неверящими словами, что просто диву даешься — литератор ли это говорит? Тут и «шум на поверхности», и растреклятые «мальчики» и «девочки», и «повзевывающий читатель», и «кризис литературной «искренности». О молодости литераторов он говорит как о ветряной оспе, а о книгах молодых — как о ядовитом тумане стронция-90. Скорее, скорее прочь от этого «опасного возраста!» «Молодая проза и поэзия,— пишет И. Золотусский,— перестают быть «молодыми», они делаются просто прозой, просто поэзией». Вот она, возжеланная цель,— просто, привычно, спокойно: затесался в толпу, чуть пригнулся, если высок, авось тебя и не приметят. Такого рода ликвидаторам «слева» придется невесело: молодость не эпидемия, где-то во дворцах пионеров, в школах, в комсомоле растет новая смена,— это те, чье детство озарено нашими победами, те, кто прислушаются не к унылым голосам юных старичков, а к голосу партии, призывающей дерзать, открывать новое в труде, в творчестве.

Хочется спросить этих литераторов: да читаете ли вы книги своих товарищей? И признаете ли вы на деле, а не только на словах право и обязанность литературы быть многообразной, яркой и самопознающей? Ведь вся история мировой литературы, все ее святые для нас имена, в том числе и такие, как Горький, Роллан, Барбюс, это не только познание мира, но и самопознание,— а если бы это было иначе, то литературу и впрямь могли бы создавать машины! Ведь Григорий Мелехов, «неуправляемый» для педантического ума, страстный, утверждавший революцию самым неожиданным образом — отрицанием и борьбой с ней,— Мелехов жив, а его молодой земляк Сергей Тутаринов, как и сотни подобных фигур, уже подзабыты. Живы Левинсон и Давыдов, герои Ю. Крымова, В. Катаева, Л. Леонова, К. Паустовского, В. Шишкова, Алексея Толстого, да и многих других авторов, кто часто обвинялся в злостном отступлении от жизненной правды. Возвращены в строй «Двое в степи» и «Сердце друга» Э. Казакевича, от которых вульгаризаторская критика не оставляла камня на камне. Повесть Г. Бакланова «Пядь земли», только два года тому назад обвиненную в злостном ремаркизме, миллионы советских читателей и наши друзья во всем мире воспринимают как талантливое свидетельство мужества и гуманизма Советской Армии. Видимо, не такая это простая штука жизненная правда!

Хорошо бы пригласить наиболее строгих критиков молодой литературы для начала хотя бы пройти по маршруту ее книг. Кто ее герои? Чем они заняты в жизни?

Происхождение героев очерковых книг как будто ясно, они взяты прямоком из жизни. Это относится и к строгим очеркам Борина, и к такому промежуточному жанру, как документальная повесть В. Аграновского «Нам — восемнадцать». В ней, как и в повести В. Чивилихина «Серебряные рельсы», как и в «Трех жизнях» Приставкина, отчетливо выражена одна современная литературная тенденция: взаимное обогащение жанров, органическое сращивание «чистого очерка» и «чистой прозы».

О «Трех жизнях» Приставкина много спорили, и нет нужды доказывать, что его герой — речь идет о Гайнулине — не хлюпик, не рефлектирующий тип, а подлинный герой нашей жизни, человек переднего края. А Алексей Кошуриков из «Серебряных рельсов»? Коммунист, боец, духовный брат Павла Корчагина, пролагатель новых путей, человек, отдавший жизнь во имя Родины и будущего торжества коммунизма. С каким глубоким пониманием исследует этот характер Чивилихин! Я не берусь утверждать, что Чивилихин создал шедевр — шедевры вообще рождаются редко, — но из моей читательской памяти уже не уйдет герой этой книги. А рядом с Алексеем Кошуриковым более знакомые лица: шофер Пронякин с железнодорожного карьера («Большая руда» Г. Владимова); нравственно непогрешимый Гоша (Войновича), который дорос до того, чтобы не только трудиться, но и жить по коммунистически; полярный летчик Богачев, коммунист и боец из повести Юлиана Семенова «...При исполнении служебных обязанностей»; молодые герои последней повести Эдуарда Шима «Королева и семь дочерей» — шофер Сергей, юный Алешка и Маша; экскаваторщик, бетонщики и монтажники Ю. Полушина; геологи, матросы, механики из рассказов Ильи Крупника, люди долга, никогда не ставящие своих интересов и даже жизни выше интересов народа; молодые строители и рабочие из последних рассказов Анатолия Кузнецова. Потребовалось бы немало места, чтобы перечислить героев повестей и рассказов А. Гладилина, Георгия Семенова, В. Максимова, М. Ганиной, Н. Тарасенковой, В. Бжезовского, Е. Ржевской, В. Амлинского и многих других. И следуя за их героями, мы попадали бы на магистральные дороги семилетки. Вместе с героями мы пришли бы на гидроузлы, в котлованы, на строительство линий электропередач, в рабочие и студенческие общежития, в цеха заводов и кабинеты врачей, в кабины экскаваторов и тяжелых «мазов», в геологические партии, оказались бы в самолетах полярной авиации и на небольших рыболовецких суденышках, мужественно борющихся со штормами.

Откуда же такое заблуждение, такой перекошенный, что ли, взгляд на молодую литературу, при котором одинокие «стиляж-

ные» герои двоятся и десятируются в глазах некоторых критиков, а подавляющее большинство персонажей попадает в «слепую точку» глаза?

Иным не нравится все, о чем бы ни писали молодые, просто потому, что молодозелено. Игорю Золотускому не нравятся «грубовато мудрые «парни», которые «молча» валили лес, водили по морям средние рыболовные траулеры, искали в горах золото, летали в Арктику»... («Знамя» № 9 за 1962 год). Походя он перечеркнул многих героев молодой прозы и попытался скомпрометировать дальние дороги, которые так любят выбирать романтическая молодость. А критик В. Чалмаев подводит под это и «философскую», так сказать, базу. «На душе у них (молодых литераторов. — А. Б.), — пишет он, — много всяких впечатлений, в записных книжках, в памяти теснятся выводы от тех откровений жизни, которые обрушивались на их сознание с самого 1956 года... Чтобы проявить это богатство, таящееся в душе, молодые писатели часто «гоняют» своих героев по всему белу свету — на Север, как Ю. Семенов, в карьер Курской магнитной аномалии, как Г. Владимов, по дорогам Руси нестеровской и левитановской, как Ю. Казаков, в космос, как Р. Рождественский, в Америку, как А. Вознесенский и Е. Евтушенко.

Им как будто кажется — остановись герой на месте, утрать внутреннее беспокойство, охоту к перемене мест — и он сольется с той или иной средой, станет незаметной частью ее; стандартизируется, потеряет свою необыкновенность. Вот и делает молодой герой «тысячи оборотов вокруг жизни...» И дальше уже известная вам мысль, что это обороты не вокруг жизни, а вокруг самих себя. И под финал — решительный вывод: «...Надо изменить и сами маршруты «путешествий сердца», проложить их через существенные пункты народного бытия»...

Оказывается, молодые писатели не ищут своего героя в гуще жизни, а высосав его из пальца, «гоняют» бедного героя по белу свету. Советский человек проник в космос, пришел хозяином и в Антарктиду и на Северный полюс, покорила Ангару и Енисей, вскрыл сказочные недра Курской аномалии, — но поэту или прозаику нечего туда соваться — «не гонись за экзотикой», за необыкновенностью, я, критик, имя рек, соберусь с мыслями и определю, какие «пункты народного бытия» существенны, а какие не существенны, а потом составлю таблицу удельного веса областей, районов, предприятий и профессий, где, скажем, труд шахтеров или доменщика будет принят за единицу, а труд текстильщицы — равняться только 0,15 этой единицы...

Для настоящего художника нет хитренького, отмененного жизнью табеля о рангах, а есть сама жизнь, поиски типического, углубленное и правдивое изображение человека. Молодежь учится у партии смелой постановке вопросов, новаторству и, я думаю, не примет скучных советов нормативной критики, по уши сидящей в прошлом.

Перечисляя героев книг молодых прозаиков — москвичей, я не упомянул персонажей Юрия Казакова и Василия Аксенова. Именно их книги дают, казалось бы, основания для тревоги за судьбы молодых.

О Юрии Казакове проще было бы и не начинать разговора в ряду молодых, ведь он сложившийся художник и тонкий мастер своего дела. Я читал его «Северный дневник» с наслаждением, с радостным удивлением: как это сделано, как поэтичны картины северной природы, как вылеплены люди! Писателей, одаренных столь значительным словоживописным талантом, в литературе можно перечесть по пальцам. Это щедрый дар, и в каком-то узком смысле Юрий Казаков относится к нему бережно и умно.

Но кроме искусства живописца есть еще и формирующая мысль, есть направление таланта. И вот тут-то у Казакова возникают споры с веком, со временем и с самим собой. Не видеть этой мучительной драматической борьбы, считать ее «очернительской» тенденцией мы не имеем права, потому что это злая неправда. В Казакове явно борются прозаик и беллетрист, мысль и талант.

Здоровым нравственным началом, утверждающим человека и человеческое в жизни, проникнут не только «Северный дневник», но и некоторые рассказы Казакова, по преимуществу рассказы-зарисовки, рассказы без расчетливого беллетристического сюжета. Он умеет написать один час жизни человека так, что отчетливо ясной делается вся его судьба.

Но наблюдать и живописать без мысли — трудно, скучно, — кто-то сказал, что «созерцание без размышления утомляет». И едва Казаков начинает размышлять, он напускает на себя хмурость и даже мрачность, он досадливо отворачивается от доброго. Он как бы говорит, — говорит, правда, с горечью и осуждением: смотрите, сколько еще дикости, какие еще случаются темные люди, сколь многое еще не переменялось в жизни! Вот поморка Марфа, сколько лет прожила она при советской власти, а время не властно над ней и даже не оставило на ней своей печати. Характерно, как воспринимает Жуков из рассказа «Кабисы», а вместе с ним и автор, такую деталь пейзажа, как опорные мачты электропередачи: «Они были похожи на вереницу огромных молчаливых существ, заброшенных к нам из других миров и молча идущих с вздытыми руками на запад, в сторону разгорающейся золотой звезды — их родины». Деталь пейзажа, которая стала буднично привычной для сверстников Казакова, — ведь их герои ставили, монтировали эту мачту, — воспринимается им как «внеземная», потому что земля — этоместилище вечного, нерушимого, неизменяющегося.

Никто не ждет от Казакова едея или святых ликов — литературе, слава богу, уже не требуется этот «товар». Пищи о зле,

о неискорененном еще до конца пороке, бей насмерть мещанина, добытчика, чудом уцелевшего пещерного человека. Дерись! Но дерущийся всегда что-то защищает, вступает за что-то и во что-то верит. Иначе это не бой и не общественное поприще, а уличное происшествие.

Ясность жизненной цели, высокая степень гуманизма — вровень с его талантом, вот чего мы ждем от Юрия Казакова. И «Северный дневник» — книга очень простая и суровая, книга точных наблюдений и чистой писательской совести, обещает нам благодатные перемены.

Говоря по большому счету, а иначе о Казакове говорить нет смысла, в его рассказе «Адам и Ева» безупречен только пейзаж. Кое-что в портретах и диалогах заурядно и даже банально. В языке вещи явные провалы, шаг назад от бунинской традиции в сторону дурной символики и литературщины. Это относится и к претенциозному заголовку, и к умышленному старомодничанию — «он оборотился», «он нарочно остановился будто надеть перчатки, чтобы посмотреть на Вику сзади», — и к такого рода «готовым» литературным фразам, как: «отрешенность от мира сошла на него», или: «от волос ее пахло горько и непонятно», или: «лицо ее, вдруг такое дорогое». Можно было бы привести большее количество такого рода вызывающих тревогу «описок», «сбоев» стиля.

Герой рассказа художник Агеев хандрит, мучается сам и мучает юную Вику. Но какая это мелкая, мстительно низкая натура, сколько в нем неутоленной злости, месснянской претензии, отталкивающей ограниченности. Трудно даже представить себе, что он талантлив, — ведь талант-то все-таки не в пальцах, а в сердце и уме. Он натура не творческая, не тонкая, и Казаков терпит поражение в попытке убедить нас, что он — художник, и художник талантливый.

Агеев Казакова это и шаг назад в изображении мятушегося, протестующего интеллигента в русской литературной традиции. Боль времени, горести истории волновали художников, писателей и артистов — героев прозы и драматургии Горького, Чехова, Бунина, а ведь Агеева бесит прежде всего личное непризнание. Как мелки его притязания и как пошла его критика в адрес тех, кто сидят «с девочками в ресторане, пьют коньяк, едят цыплят-табака и, вытирая маслянистые рты, говорят разные красивые и высокие слова, и все у них лживо, потому что думают они не о высоком, а как бы поспать с этими девочками».

Казаков снисходителен к Агееву и не может разрешить до конца противоречий этой натуры. Агеев как бы повисает между двумя возможностями. Первая выражена в словах: «Он думал, что все равно будет делать то, что должен делать. И что его никто не остановит. И что это ему потом зачтется». Это возможность истерическая, маниакальная, разрушающая талант. И вторая: «Он думал, что всю жизнь не хватало, наверное, ему какой-то основной идеи —

идеи в высшем смысле. Что слишком часто он был равнодушен, вял и высокомерен в своей талантливости ко всему, что не было его жизнью и его талантом».

Поиски Казакова — внутри нашей литературы, как бы мучительны они ни были. Правда, Казаков часто спорит со всеми своими сверстниками, словно уверяет их, что все уже найдено, все открыто — и форма, и письмо, и человек. Но в «Адаме и Еве» Казаков по-своему переходит к «злобе дня», теряет библейское спокойствие и уверенность, мечется и ищет вместе со своим героем.

Я верю в Юрия Казакова, который останется самым собой, но станет чем-то неизмеримо большим.

В отличие от «архаиста» Казакова имя Василия Аксенова связывают с так называемыми «модернистскими тенденциями». Справедливо ли это?

«Коллеги» принесли Аксенову успех, известность и хорошую прессу. Книга оказалась более или менее прочной, ее не забыли в следующем после выхода году. Малый театр дал вторую, сценическую жизнь герою «Коллег». «Коллеги» не принесли автору огорчений, хотя, если бы существовал безошибочный кибернетический метод прогнозов, он предсказал бы, что автор «Коллег» непременно напишет «Звездный билет». В чреве первого романа, как мне кажется, уже вызревал и ворочался «Звездный билет».

«Коллеги» типичная книга начинающего автора, знающего, чего он хочет, одаренного, но начинающего. Оценка «Коллег» в печати не была апологетической. Критики, в том числе и молодые, особенно И. Виноградов и О. Михайлов, видели слабость повести, явную облегченность трудовых побед доктора Саши Зеленина, утомительную цитатность, стилистические просчеты. Бесспорно, в «Коллегах» есть удручающие красоты — все эти «сводящие с ума глаза», «путь через лед и тоску», «кто-то нервный и прекрасный» и т. д.

Но критика приходила к выводу, что в повести «Коллеги» «чувствуется стремление отразить напряженную интеллектуальную жизнь, богатство интересов и чистоту помыслов молодого современника».

И. Виноградов в статье «О современном герое» развил эту верную мысль о богатстве духовных интересов Зелениных и Максимовых. «...Неспособность к бездумному усвоению впечатлений жизни, ставшая уже чертой характера, серьезное, ответственное отношение к своим убеждениям, взглядам, поступкам и составляет самую главную, на мой взгляд, и самую привлекательную психологическую черту молодых героев В. Аксенова».

Зеленин с сыновней гордостью думает о сорокалетних, о тех, кого история проверяла на прочность в огне революции, военных испытаний и труда. Но о чем думает Зеленин, глядя на председателя поселкового совета коммуниста Егорова? О том, о чем честный человек не может не думать. «А наше поколение? Вопрос, выдержим ли

мы такой экзамен на мужество и верность? Постой, что ты говоришь? Наше поколение... Тимоша, Виктор, вот они... Разве с первого взгляда не видно их силы? А мы, городские парни, настроенные чуть иронически ко всему на свете, любители джаза, спорта, модного тряпья, мы, которые временами корчим из себя черт знает что, но не ловчим, не влезаем в доверие, не подличаем, не паразитируем и, пугаясь высоких слов, стараемся сохранить в чистоте свои души, — мы способны на что-нибудь подобное? Да, способны. Пусть Лешка корчит из себя усталого циника, уверен, что и он способен. И Владька тоже...» В другом месте Зеленин умозаключает: «Мы — поколение людей, идущих с открытыми глазами. Мы смотрим вперед, и назад, и себе под ноги. Остальное зависит от силы зрения. Одни отчетливо видят цель, а другим нужно подбирать оптические стекла».

Я намеренно выбрал те места, где Зеленин даже сгущает краски, потому что и у него, и у Максимова, и у Владьки Карпова не так уж заметно пристрастие к модным тряпкам или джазу. Зеленин нравственно чист, он живет с полным сознанием ответственности личности перед обществом, а мучительные размышления, стремление к оценке поколения и самооценке составляют его силу, а не слабость, характеризуют его принадлежность к современному поколению молодых советских людей.

Вспомним Корчагина. Разве не размышлял он мучительно над многими вопросами, не ощущал в себе минутной слабости, не оказался, в результате трагических обстоятельств, на грани самоубийства? Но кто решится упрекнуть его в малодушии, в болезненной рефлекторности? Он всегда твердо знал, «в каком идти, в каком сражаться стане». Зеленин и Максимов дети другого времени, «линия фронта» не встает перед ними с резкостью эпохи гражданской войны, но и они ни на миг не колеблются по поводу того, в «каком идти, в каком сражаться стане». Эти и подобные им фигуры героев современной прозы молодых не только не испытывают на себе буржуазных, модернистских влияний, но полемически, страстно направлены против буржуазной идеологии и модных литературно-философских теорий Запада.

Реакционные буржуазные идеологи видят выход для современного человека (и литературного героя) в эгоизме и обособленности от общества. Герои «Коллег» (и «Звездного билета» тоже) яростно презирают эгоизм, шкурничество и всем существом тянутся к людям. Реакционные идеологи облюбовали процесс последовательного разрушения убеждений, переход личности во власть фрейдистской подсознательной стихии. Путь Максимова, я не говорю уже о Зеленине, прямо противоположный — это акцентирование убеждений, их созревание, проверка их жизнью и обществом. Специфический буржуазный скептицизм XX века презирает и ненавидит разум, науку, деятельную мысль, — герои Аксенова, Гладиллина, Полухина, Кузнецова, Круп-

ника исповедуют разум, верят в силу науки и мыслят плодотворно и интересно. Молодой герой западной реакционной литературы бежит от общества и налагаемых им обязанностей — Леша Максимов ищет место в революционном строю. Ищет и находит. Вспомните его мысли в последней главе повести: «Сашка прав: нужно чувствовать свою связь с прошедшим и будущим. Именно в этом спасение от страха перед неизбежным уходом из жизни. Именно в этом высокая роль человека. А иначе жизнь станет зловещей трагедией или ничемным фарсом. Мы, люди социализма, должны особенно ясно понять это. Не нужно бояться высоких слов. Прошло то время, когда отдельные сволочи могли спекулировать этими словами. Мы смотрим ясно на вещи. Мы очистим эти слова. Сейчас это главное: бороться за чистоту своих слов, своих глаз и душ».

И вот такого Максимова мы готовы презрительно оттолкнуть, приклеить ему ярлык «рефлектирующий», намекнуть на то, что он, дескать, герой не нашего времени!

Это до крайности важный вопрос. Речь идет не только об Аксенове. Герой «Взрыва» Виктор Борода тоже настойчиво ищет и свое место в строю, и ответа на трудные вопросы, и оценки своего поколения. Он часто вспоминает слова опытного строителя Сизова: «Землю открыть не сложно, себя открыть — вот что трудно!». Виктор ведет прямую и честный разговор с самим собой. «Человек всегда должен знать, зачем он живет. Нет, не вообще живет, а сегодня, завтра живет. Если вообще — каждый может ответить: для того чтобы строить коммунизм, найти свое счастье. А сегодня?» — и дальше разговор о поисках путей, о «душевной зацепке». Приставкин выражает это по-своему: вот размышления героя его первой повести («Мои современники»), помеченной, кажется, еще 1959 годом, — размышления об адресе «до востребования»: «А сколько всего идет писем с этим адресом. И почти за каждым — ищущий, пока неустроенный человек. Вот и Толя сказал: мол, ищу свое дело, потому что ждет оно меня...». «Не каждый сразу находил свою дорогу» — замечает Гладилил в «Хронике времен Виктора Подгурского». Я мог бы привести множество примеров кратких и распространенных — и все о том же — о поиске своего места в общественном строю.

Но о поиске, а не о готовом, административно назначенном «доходном месте», о том, что зрелость обретается в бою, а не прилагается к паспорту и даже к комсомольской путевке на целину.

Мы часто проявляем обидное и опасное равнодушие к жизненному опыту молодежи, в том числе и молодых литераторов; мы как бы предлагаем им повторить нашу молодость и наш опыт, вместо того чтобы внимательно приглядеться к их реальному и революционному по своему существу опыту.

Прислушаемся к тому, как ставит эти вопросы перед молодежью партия. Выступая на XIV съезде комсомола, Никита Сергеевич Хрущев сказал: «Хорошее, светлое во множестве рождается на нашей земле. Но при своем рождении оно претерпевает, как говорят, известные муки. Так что это не должно нас смущать». И несколько раньше, о моральном кодексе строителей коммунизма, о том, что нужно добиваться, «...чтобы принципы морального кодекса стали личными убеждениями, нормой поведения молодых людей, вошли в привычку». Какая ясная, какая важная для всей идеологической работы и особенно для искусства программа!

От сформирования принципов морального кодекса — хотя они и взяты из жизни — до превращения этих принципов в привычку пролегает известный путь, для одних легкий и короткий, для других мучительный и трудный. Литература не вправе закрывать на это глаза, и к чести молодых надо сказать, что они и не умеют закрывать глаза на жизнь.

Отбросив ложные критические нормативы периода культа личности, они пытаются изображать реальную жизнь, действительные и достоверные характеры молодых людей, говорить правду — не унижающую, а возвеличивающую человека социализма.

Мне кажется, я знаю одно из тех мест «Коллег», из которого возник «Звездный билет». Коммунист Егоров признается Зеленину в своих сомнениях и трудных думах о городской молодежи: «И тут сердце мое, ошарашенное и испуганное, заорало: «Неправда! Щенки!.. Помните, «нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед»? А вас куда она бросала, жалкое племя панельных шаркунов? Но мозг мой вмешивался и приказывал: «Стоп, Егоров! Что, ты не видел нынешней молодежи? Не знаешь, как она может работать? Они веселы, шатаются по Невскому, целуются, но они же в теплушках уезжают на восток, как ты когда-то ехал на запад, они же бродят по тайге и лазают по домнам. А эти развинченные пижоны... Во-первых, их не так уж и много, а во-вторых, что у них за душой, ты знаешь?»

Во-первых, их не так много... Это понимает Егоров, это, конечно, понимал и Василий Аксенов. Но не все в искусстве решает арифметика. Их мало, но они есть, они живые люди, а не «бросовый» материал истории. Мало, но может стать и больше, — сколько фельетонов напечатала о таких ребятах «Комсомольская правда».

Для Аксенова Димка и его товарищи — младшие братья, хорошие, сбитые с толку сумятицей собственных мыслей, честные и чистые парни, которые переболеют мальчишескими болезнями «левизны», наигранного цинизма, скепсиса и станут людьми; станут непременно, потому что и они ищут свое рабочее место и отвергают шкурнические соблазны. Побивать их, как это пытался сделать Г Радов, глебов-

ским Правдохой,— неверно и неисторично. Молодая литература в основном и занята изображением современных Правдох, ибо таковы Кошурников и Богачев, Зеленин и герои Георгия Семенова, шофер Сергей из повести Э. Шима — самозабвенные комсомольцы, строители, пропагандисты нового. Литература, если она хочет иметь широкое влияние, проникать повсюду, оказывать воспитательное воздействие на разные читательские слои, не может ограничить свой интерес каким-то одним человеческим типом, даже очень возвышенным и сильным.

Некоторыми просчетами исполнения своего замысла Аксенов дал основания для критики «Звездного билета». Жаргонные словечки местами из средства художественной выразительности превратились словно бы в самоцель. Убедительно показав «брожение крови» Димки и его друзей, Аксенов-художник на удивление слабо изобразил их переход на стезю, так сказать, трудовой добродетели. Надо сказать, что у Аксенова есть какое-то необъяснимое легкомыслие в разработке той части сюжетов, которая связана с трудовой деятельностью его персонажей. Может быть поэтому Леша Максимов веселее, плотнее, что ли, мужественнее фантастически преуспевающего Зеленина. А рыбацкая жизнь Димы и его товарищей не выходит за рамки литературной условности.

Не дешевая погоня за успехом, не эксцентричность продиктовали Аксенову «Звездный билет», а внутренняя творческая и гражданская потребность — и это надо признать, как бы сурово ни оценивались недостатки его книги.

Это важно отметить еще и потому, что Аксенов напечатал несколько новых рассказов, вокруг которых уже завязывается полемика. Рассказы необычные и, как мне кажется, неожиданные для читателей Аксенова. Вероятно, Аксенов не остановится на них, а будет искать, но опыт этих рассказов окажется полезным и плодотворным. И в этом смысле я готов разделить надежды В. Огнева, высказанные им в статье «О новых горизонтах искусства», а не унылое неверие некоего С. Мих., подписавшего заметку в газете «Литература и жизнь». Критика С. Мих. поражает полным непониманием специфики литературы. Русская литература знала гоголевский «Нос» и «Шинель», знала Вакулу, летавшего на черте в царские чертоги, и чиновников, умиравших от неосторожного чиха в начальственную лысину, и поручика Кижэ, и сказки Евгения Шварца, и ей ли теряться от элементарной поэтической условности рассказа о шофере Кирпиченко? Можно, конечно, призвать Кирпиченку к ответу в порядке профсоюзной дисциплины, подсчитать, хватит ли его отпускных на то, чтобы так долго мотаться из Хабаровска в Москву и обратно, и взгреть его за так называемую «аморалку» — ведь он сотворил себе кумира из незнакомой девицы, стюардессы Тани.

Вспомним калифорнийские рассказы Брет Гарта, в частности его рассказ «Как

Санта-Клаус пришел в Симпсон-бар» о головорезе Дике, Ричарде Буллоне, который скачет ночью в далекий поселок, скачет под пулями, чтобы раздобыть для больной девочки рождественский подарок. Скептик отвергнет этот рассказ: вздор, мол, не станет грубый человек, мужлан, герой кабацких перестрелок, подвергать себя опасности из-за сентиментальных пустяков. Тусклый, мещанский взгляд, подозревающий всех и все в уныло-расчетливом образе жизни, вообще не признает за людьми права на поэтические превращения, на необычное и даже на эксцентрики, через которую внезапно начинают свежо и сильно проступать приметы времени. «Литература и жизнь» поверяет «На полпути к Луне» требованиями бытового рассказа, — а это смешно и несправедливо.

Вот один любопытный пример. На столе передо мной лежит визитная карточка на русском и английском языках. Здесь написано:

«Chairman of Fishing Kolchos Victor Gavrilovich Dyomin. Chairman of Kultuk Department of Soviet-Czechoslovakian Freindship Society. Kultuk on the Baikal.»¹

С точки зрения педанта, документ прозаичный и даже предосудительный. Ездил байкальский рыбак в Чехословакию и вместо того, чтобы крепить дружбу, заказал себе визитные карточки. А может быть, отпечатал их в Иркутске или Улан-Уде, и не без труда.

Но если думать только так, то искусство не нужно, невозможны ни «Человек идет за солнцем», ни сны Ивана из фильма Тарковского «Иваново детство», ни «Ромео и Джульетта». К слову сказать, Ромео воспылал любовью к Джульетте, едва лишь увидел ее на балу, и, выражаясь языком С. Мих., «еще не сумев проникнуть во внутренний мир героини».

Для настоящего художника эта визитная карточка — и курьез, и символ, и анекдот, и философия, и повод для размышления, и толчок для фантазии. Култук на Байкале гиблое место, куда в омулевой бочке добирались беглецы с царских каторг и поселений, а теперь там новая жизнь и новые люди. Можно только пожалеть литераторов, которые не чувствуют всей увлекательности, всей современности и поэтичности таких сюжетов, таких «анекдотов», людей, которые поверяют гармонию не алгеброй даже, а таблицей умножения, которые разучились удивляться и радоваться.

Хотя мастерство — «дело наживное», но наживать его нужно, и не слишком откладывая, чтобы читатель не засыпал над нашими книгами. Мне кажется, что рассказы Аксенова написаны зрело, они художественно законченнее его крупных вещей, более экономно выражают мысль, а психологические характеристики стали тоньше и выразительнее. В них сильнее сказывается и

¹ «Председатель рыболовецкого колхоза Виктор Гаврилович Демин. Председатель Култуцкого отделения общества советско-чехословацкого дружбы. Култук на Байкале».

привлекательная сила писательского дара Аксенова, и некоторые общие для молодой прозы черты: точная, предметная образность, местами яркая, шедрая, но удерживающаяся от обременительности и утомительной полноты; твердая решимость отбросить, снять привычные для многих книг пласты вялой описательности; емкость диалога; вторжение активной «параллельной» мысли — того, что в кино называют внутренним монологом, — в ровное движение сцены, куски и, наконец, лаконизм.

3

О некоторых из этих художественных черт молодой прозы интересно писал Александр Макаров в январе 1961 года, анализируя повесть Виля Липатова «Глухая мята». Мысль Макарова представляется мне принципиально важной. «Манеру В. Липатова, — писал он, — нельзя назвать живописной в старом значении этого слова, в ней есть нечто принципиально новое в обрисовке внешнего облика героя средствами слова. Художник показывает натуру как бы средствами кино, выделяя крупным планом то лицо, то руки, то давая фигуру в каком-то особом ракурсе, то специально бросая освещение на какую-то деталь». «..Создаваемая им общая картина оказывается удивительно наполненной, напряженной, предстающей перед нами как бы в движении». Если бы Макаров писал свою статью не в конце 1960 года, а сегодня, он мог бы привести еще более очевидные примеры из рассказов Ильи Крупника, из новых повестей Ан. Гладилина, рассказов Эдуарда Шима, из коротких рассказов А. Приставкина и других молодых писателей, общей чертой которых является активное нежелание подчиняться рутинному беллетризму, вялой описательности, убаюкивающему потоку слов. Они контролируют материал — кто лучше, кто хуже, — они лепят фигуры, а не вываливают сырую глину под ноги читателю.

Итак: лаконизм, внутренняя энергия, пластичность и выразительность, борьба против инфляции серых, вялых слов... Все это как будто бы заслуживает поддержки, ибо краткость лучше болтливости, суровая правда лучше медоточивой лжи, отчетливость лучше расплывчатости и вялости.

Поэтический язык Маяковского был исторически невозможен в эпоху Пушкина, но как обеднела бы революция в области духа, культуры, если бы Маяковский не выразил ее своим новым языком. Казалось бы, тут и спорить не о чем: кому же и искать, кому же и находить, если не нам, художникам народа-пионера и первооткрывателя.

Но против поиска есть хитрое средство. Старо, — говорят. Было, — говорят. Все уже было! И еще более хитрое — это, мол, «западный стиль», «западная манера». Мы как бы намеренно игнорируем молодость с ее непременным стремлением искать свое, непохожее, новое, — учиться и искать.

Картина Қалика «Человек идет за солнцем» не кажется мне шедевром. Такие фильмы лучше снимать в 3-4 части. И все же я убежден, что ни М. Ромм, ни Ю. Райзман, ни даже более молодой Г. Чухрай не способны поставить такой фильм. Они сделают другие фильмы, быть может сильнее и лучше, но такого не сделают. Не надо быть гением, чтобы снять «Человек идет за солнцем», а надо быть просто молодым. Начинать с начала. Начинать то обдумывание мира, которое у мастеров уже позади, уже живет в их воспоминаниях. Многие сняли бы хорошую картину по «Ивану Богомоллова. Такую мог снять только молодой Тарковский. После пяти-шести картин он будет уметь многое, может быть потрясающее, а этого уже не сможет. Если бы это было не так, молодость была бы величайшей бессмыслицей и насмешкой.

В архитектуре, как некий художественный образец, уже утвердились новые формы, воплощенные в здании Дворца съездов и некоторых других. Почему же литература не должна — как и все искусство — настойчиво искать новые средства выразительности? В «охранительстве» некоторых литераторов есть поразительная непоследовательность эстетической мысли. Зачем, твердя о «модернизме», объявляя даже Тендрякова «ремаркистом», как это сделала в прошлом году «Звезда», набрасывать тень на литературный процесс, вместо того чтобы заниматься серьезно отдельным писателем и попытаться понять, что у него от силы, а что от слабости, что от правды, а что от лукавого. Зачем пускать в оборот такой антинаучный термин, как «западный стиль»? Ведь западный книжный рынок буквально захлестнут пухлыми, описательными, натуралистическими романами. При чем же тут несуществующий «западный стиль»?

Я не могу поверить на слово В. Чалмаеву, что, как он пишет: «В отдельных литературах, например грузинской и литовской, развелось довольно много молодых, ранних эпигонов Э. Хемингуэя, Г. Рихтера, И. Рединга, белорус Б. Савченко и русский Ю. Казаков словно соперничают в подражании позднему И. Бунину. Это своеобразный спорадический литературный космополитизм стилей, манер, конкурс эпигонства». Вот какая мрачная картина! Хемингуэя и я и, вероятно, Чалмаев читаем по-русски, что касается Рединга и Рихтера, то их толком не знает ни Чалмаев, ни их предпологаемые «эпигоны», молодые грузины и литовцы. Но обвинение, как видите, готово — молодежь заражена «спорадическим литературным космополитизмом!» Не вернее ли сравнивать книги молодых с жизнью, говорить о том, с какой глубиной они выражают наше время, а не хвататься за случайные строки и зыбкие ассоциации в поисках предсудительной родни.

В критике, как и в поэзии и в прозе, тоже появилось много новых имен. Пришли люди того же поколения, люди с острой самостоятельной мыслью, с хорошей марксистской подготовкой и чувством граждан-

ской ответственности. К сожалению, они уделяют недостаточное внимание практике и проблемам молодой литературы, хотя можно назвать значительные статьи И. Виноградова, Е. Стариковой, З. Богуславской, М. Туровской, Ст. Рассадина, В. Огнева, Ф. Светова, О. Михайлова, Ф. Кузнецова и др. А ведь один только Гладиллин напечатал уже пять повестей, он экспериментирует, ищет. Он ушел далеко вперед от «Хроники времен Виктора Подгурского», а мы все еще меряем его масштабом первой юношеской повести. Сила Гладиллина не столько в пейзаже или предметной образительности, сколько в раскрытии мысли, в саркастическом комментарии, в остром, до сатиричности, психологическом портрете. Он умеет хорошо, коротко написать и внешний мир — коротко и тоже в движении: «На моей улице на стреле подъемного крана висела луна. Ветер гонялся за пустым коробком». Или: «Форточка холодной рукой залезает под одеяло». Но своеобразие его в остро работающей мысли, в беспощадности и резкости характеристик, в динамической композиции, в прямом, я бы сказал, «хирургическом» вскрытии второго плана, в намеренном обнажении подтекста. И в повести «Дым в глаза» и в «Вечной командировке» есть куски, которым очень порадовался бы Олеша, хотя Гладиллин и не называет его в числе своих учителей. У Гладиллина вырабатывается афористическая строгость мысли и много своего, хорошего, что требует пристального изучения. Он хорошо владеет сюжетом и даже озорует, поигрывает, радуется этому своему умению, доходя порой и до крайности.

Но поговорим о «подражателях», скажем, о повести Юлиана Семенова «...При исполнении служебных обязанностей». Вот небольшой диалог летчика Струмилина с дочерью Женей.

«— Ты что, папа?

— Ничего, малыш. Просто курю.

— Тебе плохо?

— Нет, мне совсем не плохо,— сказал Струмилин и вздохнул.— Давай сходим куда-нибудь поужинаем. Ты не занята?

— Ну что ты...

— Очень устала?

— Совсем не устала,— соврала Женя, потому что она очень устала на сегодняшних съемках. Но отец был как-то непохож на себя: спорбленный и постаревший. Женя поцеловала его, погладила по щеке и сказала:

— Через пять минут я буду готова.

И вот они в ресторане:

«— Мы не сможем говорить,— сказал Струмилин.— Наверное, они очень громко играют.

— Будем кричать.

— Тогда нас с тобой выведут, как мелких хулиганов.

— Кричать — это хулиганство?

— В общем, да. Нужно говорить тихо, если хочешь, чтобы тебя услышали и поняли правильно.

— Папа заговорил афоризмами — у па-

пы плохое настроение,— улыбнулась Женя.— Что ты, папочка?

— Я? — переспросил Струмилин.— Я котлету по-киевски. А ты?»

Чем отталкивает такой диалог? Здесь много жеманства, нарочитой, пустяковой усложненности, того подтекста, который добывается уже не искрой таланта, а умственным усилием; что-то заемное, общелитературное. Не астровская Африка, а нечто расчетливое — жонглирование позавчерашним открытием.

И еще короткий пример. Это уже за Полярным кругом, в финале повести, перед смертью Струмилина:

«Когда самолет поднялся, Струмилин понял, что он сделал то, что был обязан сделать. Он не мог этого не сделать, и он сделал это. Теперь ему стало весело и спокойно. Ему давно не было так весело. Он вытер лоб и засмеялся... Он замолчал, удивленно посмотрел на Павла, но уже не увидел его. Он стал оседать и наваливаться на плечо Павла, и видел он одно небо, которое несло ему навстречу».

Можно было бы привести и другие отрывки — интонационно-цитатные, или сцены с печатью литературной искусственности, умышленного эксцентризма — хотя бы развитие любовной линии Богачев — Женя. Автор часто как бы демонстрирует своих героев, заставляя их говорить чужими стихами и изречениями, а затем бросается в другую крайность, в такую милую болтовню, в пустячки,— мол, ничто человеческое им не чуждо.

И все-таки, как ни досадовал я порой на автора, в целом повесть захватила меня, оказалось, что Юлиан Семенов может писать по-своему, зримо, умно и не банально. Я поверил в Струмилина — мужественного коммуниста, старого полярного летчика. Может быть, и здесь есть какая-то заданная параллель с образом полковника Кантуэлла, героя романа «За рекой, в тени деревьев», — но Кантуэлл умирает вдали от родины, как ее пасынок, презирая ее генералов и ее правителей, понимая, что кровь тех, кто погиб на полях сражений в Европе и Азии, предана, а Струмилин, несмотря на все трагические сложности, которых не скрывает Юл. Семенов,— прожил счастливую жизнь, полную смысла, борьбы, жизнь, в которой была и дружба, и любовь, и великая цель. А в повести не один Струмилин. Очень значителен образ молодого летчика Богачева, хороши и некоторые фигуры второго плана, точно изображен труд полярных летчиков. Можно сказать, что Юлиан Семенов любит Хемингуэя, но жизнь он любит сильнее, вглядывается в нее, думает о ней, пропускает свои наблюдения через сердце.

Но вот другой случай. Повесть Элигия Ставского «Все только начинается». В ней механическое следование внешним приемам литературы «потока сознания» приводит к бескрылости, к сокрушительной неудаче. Внешне все как будто похоже на жизнь, на привычные предметы, на знакомые улицы Ленинграда, но вскоре ты убеждаешься,

что идет хладнокровная инвентаризация предметного мира и импульсивных движений героев. Короткая, рубленая фраза оказывается на грани самопародии. Вот характерные строки из повести Ставского: «Они выпили. Я остался один. Открыл форточку. Лег на кровать»... «Теперь мы шли трое и тоже молчали. Нюрины боты блестящие. У Леши ботинки были на каучуке. У меня на коже». Это почти язык Джингля из «Пиквикского клуба».

Герои Ставского бродят по улицам как сомнамбулы, никогда точно не зная, чего они хотят, не отвечают друг другу на простые вопросы, тянут, что называется, волюнку и растягивают материал рассказа до размера повести или романа. Они путают, путают, путают — самих себя, друг друга, читателя, — и все для того, чтобы распутать все вдруг и весьма примитивно. Послушайте, как объясняются друг с другом главные герои повести, как тщетны их попытки завязать осмысленные отношения.

На стр. 64 Ира делает первую попытку:

«— О чем ты думаешь? — спросила Ира.

— Я не думаю.

— Хорошо здесь?

— Мне нравится.

Томьясь неизвестностью (еще 42 страницы!), Ира делает вторую попытку:

«— О чем ты думаешь? — спросила она.

— Я не знаю, — сказал я.

Ира отличается исключительным упорством; она варьирует характер вопроса, хочет заставить героя врасплох. На 219 стр. она снова спрашивает:

«...— Ты о чем-то думаешь?

Я думал о себе и о ней.

— Нет, — сказал я.

Но не может же Ира так и уйти из повести, не выяснив, о чем он думает. На стр. 245 попытка возобновляется.

«Ира поглядела на меня пристально. Мы смотрели друг на друга.

— О чем ты думаешь? — спросила она.

— Так... Хороший вечер.

Ира улыбнулась.

— Ты думаешь, что я буду пить крепкий коктейль? Ты об этом думаешь?

— Да, примерно.

Видимо, Ире при домашнем анализе показалось, что она не так уж много знает о том, что же он в действительности думает. А дело идет к финалу. И вот стр. 266:

«— Все время хорошие дни, — сказала Ира. — О чем ты думаешь? Ты не выпался?

— Я не спал совсем. Знаешь, Ира, мне нужно идти. Ты не обидишься?»

После этих огрызков мне трудно уверить вас в том, что Эл. Ставский способный человек, что у него наблюдательный глаз, что он хорошо написал дом Иры и очень выразительно — образ ее тетки, что в повести есть обаятельный образ комсомолки Нюры и сильная фигура Алексея Ивановича — пожилого рабочего, умного, со своеобразным и отчетливым характером. Трудно, а вместе с тем это так.

Его герой слоняется без цели и без мысли. Постукивает зачем-то по лодке в спортивном магазине, рассматривает ненужные ему крючки. «Я стоял возле витрин и бродил по магазинам. От нечего делать купил себе носки. В универмаге опустил монетку в автомат с одеколоном». «Ребята ушли. Я сорвал тростинку и бил по лодке. Тростинка была сухая и сломалась. Я лег и смотрел в небо. Было тихо». «Я ходил, потом сидел полулежа, запрокинув голову и глядя в небо, потом снова ходил».

О таких явлениях в молодой прозе надо говорить, но именно они составляют исключение, не являются характерными для молодой прозы, не выражают ее общего направления. В чем же оно — это общее направление?

Общее художественное направление молодой прозы — отрицание дилетантизма, вялой описательности, унылой беллетристики, потерявшей даже сюжетную занимательность, отрицание неконтролируемого потока слов, борьба против проникновения в прозу общих мест, общих слов, общих избитых положений. В этом смысле молодая наша проза близка лучшим революционным традициям советской литературы и полемически резко противостоит потоку посредственной литературы, получившей такое широкое распространение в период культа личности.

Поиски новых, выражаясь языком техники, наиболее экономичных средств выразительности очень многообразны, а, случается, и парадоксальны. Приставка, например, как бы возвращается к старой, чтобы не сказать старинной форме «фацетий». Он начинает с того, чем обычно заканчивают жизнь в литературе, — автобиографическими новеллами, «осколками», подобранными «слабеющей» памятью. В некоторых из этих новелл Приставкин, несмотря на лапидарность, никуда не двинулся, зато в тех, которые обрели внутреннее движение, современный психологический подтекст и согреты чувством, он достигает значительных результатов. Истинную радость могут доставить такие рассказы, как «Березка», «Обманутое письмо» или «Тринадцатый». Они из тех, которые читаются вслух близким, любимым людям, потому что неловко не поделиться добром и светом.

Читателю уже знакома краткость Войновича, соединенная с мягким лиризмом и интонацией бытового анекдота; живописные аккорды Ю. Казакова, его немногословная пластика; емкость, напряженность аксеновской прозы; кажущаяся сценарность Гладиллина; суровая энергия рассказов Крупника.

Поиски идут в верном направлении; они органичны для молодых художников и носят характер не скоропроходящего увлечения, а серьезной писательской работы.

И преимущественное распространение так называемых «малых форм», рассказа или небольшой повести в творчестве молодых, представляется мне добрым и далеко не случайным знаком.

Расцвет рассказа почти всегда был признаком демократизации литературы, ее оживившегося интереса к жизни и быту народа, к множественности проявлений этой жизни. Когда человек перестает быть безликим «винтиком» механизма, а все в большей и большей мере становится творцом и самой высокой ценностью жизни, когда нравственные ценности обретают такой вес и значение, что партия вводит в свою Программу кодекс морали строителя коммунизма,— расцвет рассказа исторически неизбежен. Духовная атмосфера периода культа личности не благоприятствовала рассказу — так часто ироническому, насмешливому, грустному, «частному» на первый взгляд, как будто ограниченному,— изменившаяся атмосфера общественной жизни питает этот жанр. Хочет его и принимает его не как паллиатив и не как ветряную опсу, которой болеют в детстве, когда еще не до солидных болезней. Настойчивая работа почти всех молодых прозаиков в жанре рассказа является также их общей качественной чертой.

4

Недавно многие печатно отрицали наличие нового поколения литераторов как поколения. Утверждали, что так как антагонистичность поколений характерна для буржуазного Запада, то и всякий разговор о новом поколении как о качественно новом явлении у нас по меньшей мере бесполезен и лишен почвы. Да и теперь — в последней статье Е. Книпович «Входящие в жизнь» — разговор о новом поколении ведется странный. «Когда у нас говорят о молодых писателях,— пишет Е. Книпович,— заявивших о себе в последние годы, невольно создается впечатление (А. Б.), что речь идет о монолитном отряде, едином по своим литературным вкусам, что если творчество молодых и полемично, то только по отношению к прошлому или, во всяком случае, к некоторым тенденциям литературы прошлого, проявившимся в период культа личности. Я думаю, что такое мнение соответствует действительности лишь отчасти».

Конечно, молодые писатели разные. Хорошо было бы поколение, состоящее из стандартных фигур, из литераторов, у которых совпадают и вкус, и манера письма! Нужно решительно покинуть почву исторического анализа, чтобы спрашивать с поколения то мелочное единство, которое характеризует литературные группы и группы и художественные кружки. Исторически конкретное понятие поколения неизмеримо шире этого, и новое поколение тем богаче, чем контрастнее и ярче индивидуальности. Расцвет личности внутри поколения как раз и составляет его характерную черту, как стремление нивелировать было характерным стремлением периода культа личности. Л. Ф. Ильичев в речи на XXII съезде КПСС и в докладе на Всесоюзном идеологическом совещании прекрасно

показал это на анализе состояния философии, экономических и исторических наук в период культа личности Сталина.

Молодые точно чувствуют, когда разговор с ними идет серьезный, требовательный, но справедливый, а когда пишущий о них исходит из тайного убеждения, что они барчуки и белоручки,— чувствуют и активно воюют против неверного представления о современной молодежи.

«— Вы поколение изнеженных,— кричит в раздражении инженер Карелин из полухинского «Взрыва», человек сухой и жесткий,— вы поколение нытиков. У вас нет ничего святого, за что бы вы готовы были и душу и тело положить,— вот в чем наш спор, вот в чем разница...» Мягче, юмористичнее, но не менее зло это дано у Ильи Крупника. Герой превосходного рассказа «Платформа» вспоминает преуспевающего администратора Петра Фаддеева: «Он любил обобщать: «Вы, молодое поколение,— без огонька. Мы в ваши годы горели». Он проходил по коридорам благородно-седой, и от него пахло шипром. «Мы пришли из низов,— сказал он лаборанту,— а вы, молодежь,— мозгляки, белоручки». Он презирал лаборантов».

Молодое поколение очень ревниво относится к своей чести и не хочет несправедливых упреков. Оно осмысливает и ощущает себя как поколение, и это тоже одна из характерных его черт.

Вспомните, как просто и волнующе поставил этот вопрос перед молодежью товарищ Хрущев в речи на XIV съезде комсомола: «Да, мы гордимся своим временем. Гордитесь и вы нашим временем, потому что мы — ваши отцы, ваши деды, ваши старшие братья и сестры!». Молодая литература гордится революционным прошлым своих отцов,— и не следует некоторым литераторам ставить это прошлое в упрек молодежи, требовать, чтобы молодые литераторы писали при керосиновых лампах, на кухне, на уголке стола, чтобы они меняли десятки профессий и придумывали себе какую-то другую жизнь и другую молодость. Это мы изменили жизнь, дали им другой быт, относительно хорошие материальные условия, дали им «ТУ-104» и чувство величия Родины, все величие и весь «реквизит» нашей современности. Условия жизни не придумывают, они существуют как реальность и меняются не по желанию.

В ответ тем, кто упрекает молодых литераторов в праздно-молодости, в нежелании «делать биографию», я мог бы сослаться на реальные биографии молодых писателей-москвичей. Они — врачи и электромеханики, журналисты, грузчики, молотобойцы, горнорабочие, геологи, бетонщики, арматурщики, художники, слесари-электрики, ботаники, гидрологи, аэродромные техники, бурильщики, ученые-ориенталисты, кочегары, инженеры, судостроители — одним словом, что угодно, только не белоручки. Достаточно познакомиться не с анкетами, а с книгами молодых прозаиков, чтобы ощутить за ними людей, прочно

стоящих на земле, людей, уже обладающих немалым житейским опытом.

Критики молодых иной раз делают вид, что некий совершенный, не будем говорить идеальный герой им персонально известен, что до него рукой подать, только пиши, только отображай. До героя действительно рукой подать. Он вокруг, он повсюду — в это-то как раз свято верит молодая проза. Но не менее свято она верит в то, что он простой человек, и чем он моложе, тем больше у него нерешенных вопросов и даже паивных раздумий.

Молодые литераторы вглядываются в жизнь и нигде не находят того стандартизированного героя, которого им предлагает некоторая часть литераторов. Не находят и пишут живых героев. Это принципиальное различие — есть ли за стол, чтобы исполнить заданную самому себе схему, подгоняя под нее жизнь, или есть за писательский стол, чтобы честно в этой жизни разобраться, показать сложные пути формирования характеров наших современников.

Молодая литература отбрасывает навредившие нам критические нормативы культуры личности. Иногда она это делает с полемической злостью, тогда появляется тезисный евшушенковский «Нигилист». Но чаще это делается спокойно и уверенно, а спокойствие и уверенность — сильное оружие. Молодые писатели не верят в то, что мужественный подвиг совершит только тот, кто охотно, легко произносит высокие слова, то есть непременно первый ученик. Их не увлекает это примитивное, умственно выведенное уравнение; они хотят прийти к выводам в результате собственного опыта и наблюдений. Я думаю, что без этого и не может быть настоящей литературы.

«Жизнь человека, — пишет Юрий Казаков в «Северном дневнике», — полна подвигов, и это слово очень полюбилось нашим литераторам. Но странно, я никогда не слышал его от людей, творящих эти самые подвиги».

Атмосфера подвига вовсе не ушла из молодой прозы, напротив, эта атмосфера тем действительнее, чем меньше произносятся ненужных слов. Едва не гибнет от руки бандита Саша Зеленин, гибнет на посту Кошурников, героически гибнет девушка-комсорг в повести Приставкина «Мои современники», умирает на посту коммунист Струмилин, гибнет, спасая детей, Сергей, герой повести Эдуарда Шима, — я оборву этот список только для того, чтобы не дать основания для обвинения молодой литературы в... мрачности и пессимизме. Да, атмосфера молодой прозы это по преимуществу атмосфера подвига — ведь даже шофер Пронякин, с его сложным характером индивидуалиста, обнаруживает под конец способность к подвигу.

Откуда же эти странные подозрения в безгероичности? Мне думается, это происходит оттого, что молодая литература заговорила по-новому и в чем-то поле-

мично. Эта полемика не со славным прошлым народа и партии, не с «Разгромом», не с «Любовью Яровой», не с «Гадюкой» Алексея Толстого, не с «Тихим Доном», а с той нивелировкой и схематизацией, которым подверглась литература в период культа личности.

Конечно, подавляющее большинство писателей самым искренним образом писали то, что писали, — а многие писали отлично! — как искренним был и возглас, с которым умирал на фронте боец — «За Родину! За Сталина!». Но это не отменяет объективного анализа действительного положения вещей в литературе. Мы не можем относиться к последствиям культа личности как к чисто академическому предмету. Партия разгромила и отбросила в прошлое культ личности Сталина, но с последствиями его еще нужно бороться. Есть еще люди, которые не понимают или не хотят понять всей огромной важности возвращения партии к ленинским нормам жизни, всей важности борьбы против пагубных последствий культа личности Сталина.

Вот самые недавние примеры.

Выступая на форуме писателей юга, Николай Шундик обвинял Елизара Мальцева, по существу, в приспособленчестве или двурушничестве на том основании, что Мальцев когда-то написал роман «От чистого сердца», а теперь роман «Войди в каждый дом».

«Когда слушаешь подобного оратора, — говорил Шундик, — в частности Мальцева, который написал роман «От чистого сердца», а потом роман «Войди в каждый дом», невольно спрашиваешь себя: так когда же он «от всего сердца» и с каким сердцем он собирается войти в мой дом?»

Как мало надо понимать в самом существе огромных перемен, продиктованных XX съездом, как мало надо уважать честность писателя-коммуниста, чтобы его трудное переосмысление собственного творчества, его честный отказ от первой ошибочной книги комментировать так демагогически.

А вот еще более разительный пример: Михаилу Соколову не нравятся мемуары Ильи Эренбурга и «Синяя тетрадь» Эм. Казакевича. Да и не обязательно, чтобы они нравились всем. Но одно совершенно обязательно для нас — не нападать на Эренбурга именно за то, что он участвует в той работе по восстановлению ленинских норм жизни, к которой нас призывает партия. «Илье Эренбургу, — говорил Соколов, — ...надо было посоветовать еще хорошенько поработать над этими мемуарами, а не печатать их только для того, чтобы воскресить из мертвых забытые всеми имена и «истины». Мертвые не воскресают».

Я понимаю, что эта, мягко выражаясь, ограниченность одного или двух человек не дает основания для паники, но ведь никто из многих литераторов, присутствовавших на этом собрании, не поправил ораторов. Никто не сказал им, что в годы, когда тысячам мертвых возвращено доброе имя и

честь революционеров, когда они по-смертно возвращены в боевой строй, чтобы числиться в нем навечно,— политически бестактно изрекать такие, с позволения сказать, афоризмы, как «мертвые не воскресают». Никто не объяснил Шундику, что если писатель ценой многолетнего труда преодолевает ошибку, если у него хватает мужества честно следовать курсу партии, а не хитрить и ловчить, то этот писатель заслуживает поддержки и понимания, а не ханжеских обвинений!

Эти два частных примера показывают, как важен призыв партии последовательно и до конца бороться с вреднейшими последствиями культа личности.

И молодой герой молодой литературы по-своему борется с ними. Иногда — смешно и нелепо, но всегда честно. Иногда неловко, с пережестом, но всегда преследуя высокую цель. И так как предмет литературы — человек, то борьба эта идет вокруг человека и за человека.

Через многие повести и рассказы молодых проходит настоячивое требование: не суди о человеке упрощенно, по первому взгляду, по внешним признакам. «Я не очень люблю людей, для которых все просто,— говорит молодой следователь Краминов, герой «Вечной командировки» Гладиллина.— Уж в очень сложное время мы живем. И мне кажется, что эта простота не от силы, а от недостатка кругозора, от отсутствия привычки думать над вещами, казалось бы далекими, но которые необходимо знать. Я тоже против интеллигентских самоанализов и раздумий о суете сует. Но мне кажется, что для современного передового рабочего мало волноваться только из-за нехватки материалов и поломки моторов».

Краминов глубоко убежден, что «если ты погрузишься в себя, в свои личные переживания,— грош тебе цена. Но ты себя отдаешь делу, делу, которому ты служишь. И так как ты все отдал ему, то оно для тебя дорого. В нем вся твоя жизнь. И если рассуждать философски, то жизнь человека начинается тогда, когда он отдает ее людям».

Казалось бы, ясно и достаточно высоко, по крайней мере по мыслям, если не по словам.

И где-то в самом конце повести — характернейшая фраза: «Дневники показали, что Краминов был несколько другим, чем его представляли друзья». В каком смысле другим? Изменившим, что ли, высоким нравственным принципом? Нисколько. Просто бесконечно сложнее, человечнее, а в чем-то противоречивее.

У Аксенова в «Коллегах» старый коммунист доктор Дампфер выступает на комсомольском собрании и говорит о Столбове, уличенном во взяточничестве и коррупции. «...Вот я смотрел бумаги Столбова, различные его характеристики, и передо мной предстал образ идеального героя современности: «Скромнен, инициативен, чуток, политически грамотен». И никого не заин-

тересовали тогда его подлинные чувства и мысли, его сокровенные взгляды на жизнь».

В повести «Песни золотого прииска» гладиллинский герой встречает экскаваторщика «дляду Васю» — огромного, сутулого, — и тот с первого взгляда представляется ему «образом настоящего рабочего». А на поверку он оказался рвачом и корыстолюбцем, закоренелым алиментщиком, дрянью.

О палеонтологе Нетопове (рассказ «Топь» Ильи Крупника) радист Миша говорит в раздумье: «Нетопов был большой и сильный — совсем как настоящие люди, не отличишь. И делает дело, и будто тоже приносит одну лишь пользу...»

Значит ли это, что молодые вообще утрачивают идейный и нравственный критерий, запутываются в контрастных противоречиях, в теряющей смысл игре света и тени и становятся жертвой эстетического релятивизма?! Нисколько!

Их рассказы и повести населены не людьми-загадками, которые неизвестно еще, хороши или плохи. Они хороши, они деятельны, активны, они настоячивы в требованиях к самим себе и к другим. В них нет чванливой мыслишки — вот как мы хороши! Мы люди первого сорта, а Максимовы — так себе, людишки, стружка, рефлектирующие. И они не скажут легкомысленно, что поскольку Максимов на смешник («...корчит из себя усталого циника...»), то вряд ли он в бою закроет грудью амбразуру. Они знают, что жизнь сложнее, что честный, порывистый Максимов может оказаться и первым у этой амбразуры и закрыть-таки ее грудью.

Эта важнейшая черта молодой прозы: ее хороший, широкий, полный доверия и требовательности взгляд на человека.

Скажут, что же тут нового? А тем более — полемического? Это ведь традиция нашей литературы! Совершенно верно — это традиция и русской демократической литературы и советской литературы, — но традиция отчасти нарушенная в недавнем прошлом. А так как литература исторична и ничто не повторяется в истории зеркально, в точности, то в этом возвращении к традиции есть и доля новаторства.

В самом деле: воздав должное Г. Владимову, автору «Большой руды», Е. Книпович затем задается рядом вопросов: «Как же возникло одиночество Виктора? Как, какие обстоятельства сформировали характер Пронякина? Как мог произойти этот тяжкий и трагический «отдельный случай», права художника изобразить который никто не оспаривает?» И приходит к выводу о некой «нарочитой заданности» образа и судьбы Пронякина.

О повести Владимова писали много. Это принципиальная удача молодой литературы, быть может, один из самых высоких пунктов ее взлета. Книга горьковской традиции, умная и страстная. Критика, как мне кажется, ответила на вопросы, которые ставит Е. Книпович. Так, например, Ек. Старикова в статье «Жизнь и гибель шофера Пронякина» («Знамя» № 1 за

1962 год) дала глубокий психологический анализ образа Пронякина и объяснила характер его трагедии и меру его значительности. «И так как повесть Г. Владимова,— писала Е. Старикова,— не поучительная притча и не успокоительный бальзам, а художественное произведение, то эти мысли — (т. е. гордая мысль о том, что он, Пронякин, везет первую руду.— А. Б.) — широкие и хорошие, не выводят героя тут же на правильный путь жизни. Едва успев ощутить их появление, он гибнет, может быть даже потому, что очень уж взволнован этими непривычными мыслями, впервые рожденными его собственным жизненным опытом. Это ведь совсем другое, чем мысли, взятые на веру!»

Здесь в сущности пункт разногласий, если хотите — водораздел между теми критиками, которые за собственный жизненный опыт, и теми, кто и впредь стоит за то, чтобы «на веру» — а на веру, значит и без труда, и не истинно, и по шаблону. Е. Книпович, обнаружив, что герой Полухина Виктор Борода «не боится высоких слов о высоком и любит больше всего фильмы Довженко», исчерпывает этим характеристику героя и на этом основании противопоставляет его героям других книг. Но давайте разберемся. Вот что пишет о Викторе сам автор: «...О героях повести твердо я знаю пока совсем немного. Знаю, что поехали они в Сибирь, на новостройку отнюдь не из каких-то исключительных патриотических чувств, иначе они могли бы уехать и раньше, ведь им уже по 22—23 года». И специально о Викторе: «Сестра вышла замуж, зять переселился к ним, и в их однокомнатной квартире стало тесно. Если бы не это, возможно, Виктор и не уехал бы из Москвы». И Витька Борода живет в повести обыкновенной жизнью — честной, трудовой, и, как всякий совестливый человек, стесняется высоких слов без крайнего повода.

Комсомольский секретарь Леонов говорит Виктору:

«— Правда, спросишь у вас: «Зачем приехал?» — вы часто тысячи причин найдете: квартира на западе маленькая, с женой разошелся, посмотреть места новые захотел. А о главном не скажете: что сердце велело ехать! Так ведь?»

Виктор пробормотал смущенно:

— Да, в общем так...

— Стесняются люди хорошего в себе. Зачем?»

Леонову, может, и невдомек, зачем стесняются, а уж писателям, психологам должно быть понятно.

Беседуя с молодой полюбившейся ему женщиной, Виктор рассказал ей о том, как взволновала его картина «Поэма с море». Но за чем утверждать, что он «больше всего любит фильмы Довженко», а главное, зачем делать это решающим критерием его оценки?

Теперь литературу все больше и больше стали судить по ее близости к жизни, к действительности, по ее подлинному воспитательному значению. Вся советская лите-

ратура уже ощутила благодажность этих перемен, а молодежь, только начавшая писать в эти годы, и не нуждалась в такого рода перестройке — уже первый глоток воздуха, который она следила, был здоровым и ободряющим.

Внешнее, поверхностное суждение о героях идет еще от догматического мышления, от деспотической власти нормативов: правовых и юридических, ведомственных, эстетических, это влияние на литературу сугубо временных мер административного характера, всего того, что не может заменить и не должно становиться на пути высокой идеи, коммунистической ответственности и художественной правды. Помню, как молодой очеркист во Владивостоке первым написал о подвиге стартера отважных моряков с буксирного катера «Ж-257». Когда очерк был уже набран, от него потребовали, чтобы он привел диалоги в соответствии с уставом... флота рыбной промышленности, — чтобы матросы обращались не только к старпому, но и к механику на «вы» и, по возможности, были вежливы друг с другом. Мелочь? Нет, не мелочь! Люди 82 дня дрейфовали в условиях зимнего океана, умирали от истощения и стужи, вели себя как настоящие герои, — но попробуйте приклейте им аккуратные гимназические прически, заставьте изъясняться с уставной вежливостью, — и житейская правда уйдет. Уйдет не бытовая правда, а высокая, уйдет истинность подвига, останутся обломки, как после кораблекрушения.

Автор согласился, переделал. Очерк сморщился и умер. И закономерным представляется мне то, что автор этого очерка стал не писателем, а радиокомментатором футбольных матчей.

Надо трижды подумать, прежде чем обвинять молодую литературу в боязни «высоких слов». Они не боятся, а целомудренно дорожат ими, они считают, что на «высокие слова» надо иметь право, и право это завоевывается делами. В них живет презрение к фразерам, к красноречивым болтунам, к людям, которые высокими словами маскируют пустоту или равнодушие. Разве это не страстное ленинское презрение к фразерству? Разве это чувство не исторично, не конкретно? Разве оно выражает отвлеченную моральную категорию?

Вот последние строки письма молодого героя повести Ан. Приставкина «Мои современники».

«И вот Братск. И вот все сначала. Милые мои, друзья мои, послушайте, я не боюсь этого вот «сначала». Я свято верю в нашу партию и в то, что она делает. Я верю в наше будущее, в коммунизм...»

Прекрасные, искренние слова, высокий настрой дум — но вот еще одна строка: «Это письмо своим друзьям я так и не написал». Так что же важнее: этот строй мыслей и жизнь, подчиненная им, и притом простая человеческая застенчивость и робость даже перед высокими словами, или формальное свидетельство о б р а з а м ы с л е й ?

Очень хорошо сказал об этом А. Межиров в стихотворении о любви к Родине:

И в-третьих,
Надо говорить о ней
Как можно меньше слов,
звучащих громко,—
Чтоб не смутить риторикой
потомка
И современность выразить верней.

Многие критики уже обратили внимание на одну важную черту современной молодой литературы — ее решительную обращенность к нравственным проблемам.

Могут возразить, а тут-то что же нового? Разве классическая русская литература с ее высокой гражданственностью не исследовала глубочайшим образом нравственные проблемы? Разве ими пренебрегла наша советская литература?

В статье в «Литературной газете» о первом томе новой Литературной Энциклопедии Б. Рюриков справедливо писал о том, что культу личности присуще «понижение ценностей нравственных и художественных». По-моему, это очевидно: нарушение революционной законности не может не обернуться понижением нравственных ценностей, а художественные ценности не могли не нивелироваться в условиях, когда все решал вкус одного человека — Сталина.

Вот почему в литературе последних двух десятилетий — до XX съезда — горьковский вопрос «как жить?» зачастую существовал только формально, без подлинных раздумий, без тех «мук», о которых говорил Н. С. Хрущев на XIV съезде комсомола, — мук, неизбежных при рождении нового. Вместо «как жить?» нередко звучало бодряческое «так держать!» В литературу вторгалась удобная, облегченная схема.

А вспомните, как быстро возник этот вопрос — «как жить?» — перед бригадами коммунистического труда: возник конкретно, на уровне сегодняшнего этапа истории — как жить по-коммунистически? Как трудиться по-коммунистически — куда понятнее. А как жить по-коммунистически? Ответить на это труднее. Но литература и должна приходить туда, где трудно.

Отстаивая единство и неразделимость идейного и нравственного в человеке, молодая литература выступает как детище своего времени, как чуткий, хорошо настроенный инструмент. Партия всегда предъявляла высокие требования к нравственности человека, но именно на современном этапе строительства коммунизма впервые в программу политической партии вошел развернутый моральный кодекс.

Молодая проза остро не приемлет такое решение общественных и духовных вопросов, при котором нравственность оказывается в роли угодливой служанки у так называемого «делового человека», у житейской хитрой тактики. Не может быть подлинной идейности, основанной на подавлении или извращении коммунистической нравственности. Между тем иные литераторы иногда пытались внушить читателю мысль, что судить человека нужно только

по его определяющей общественной позиции, не слишком задумываясь над всякого рода «тонкостями» — этикой, моралью и прочим.

Очень характерна в этом смысле фигура Дмитрия Ершова. Его чванство, то, как охотно он позирует, — буквально и фигурально, — его нескромное убеждение, что искусство только тогда окрепнет, когда будет писать портреты с него, его грубость — бытовая и душевная, его унижающее отношение к женщине (с одной, страдающей, искромсанной, живу, другую — приглядываю в невесты) — все это разрушает интересно задуманный образ. Какой здесь разительный контраст с образом Григория Мелехова, который трагически мечется, и убивает, и любит, и мучительно страдает, не раз нарушая моральные «прописи», но нигде не становится без нравственных.

Но молодые, занимая в целом боевые и правильные позиции, сами совершают одну ошибку. Мы находим в их книгах сильную, несколько экзотическую любовь, этакое властное покровение, «заарканывание» женщины, обставленное слишком литературно. Находим и настоящую трепетную любовь, хотя в этом случае молодых литераторов, почти как правило, подводит несовершенство вкуса. Находим и презрительное отношение молодых к адюльтеру, к пошлой связи. Но есть и другое, — то, что они как бы роняют на ходу, словно не задумываясь, будто так и надо. Это барышнички-оценивающий взгляд на проходящую женщину. Так сказать, чисто эротический интерес. Рефлекс, что ли. Любопытные глаза на слишком подвижной шее, мгновенное ощупывание прохожей, оценка ее по «статьям». Что ж, здорового человека влечет прекрасное женское лицо и свет женских глаз, даже звучание ее голоса, но это разные вещи — радость, а порой и грусть, возникающие при первой встрече с женщиной, и нетерпеливый, утилитарный взгляд пошляка.

В последнее время в печати появляется все больше вдумчивых статей, разбирающих творчество молодых. Содержательна статья Леонида Новиченко «Новобранцы» в «Литературной газете», статья В. Озерова в девятом номере «Вопросов литературы» и др. К сожалению, «Комсомольская правда» — газета, которой должны быть очень близки судьбы молодой литературы, редко радует нас вдумчивым разбором творчества молодых. Ее начинаниям иногда мешает поверхностный подход, странные обвинения, вроде сногшибательного обвинения поэта Андрея Вознесенского в «излишке гуманизма», а также стремление похвалить одного автора непременно за счет другого или даже других, или за счет всей молодой литературы. Чингиз Айтматов написал хорошую поэтическую повесть «Первый учитель». Критику Б. Панкину эта повесть понравилась, но зачем хвалить ее, походя уничтожая целую «плеяду, — выражаясь языком Панкина, — молодых писателей?»

«...Родилась сейчас, — утверждает Панкин. — плеяда молодых писателей, которые, выражаясь языком их же героев, пишут

«типичную модернягу». В повести Айтматова мы не найдем ни одного из уже хорошо знакомых нам признаков модного «современного стиля». Страницы иных повестей, романов, пьес буквально кишат проблемами и событиями самых что ни на есть последних, даже уже не пятидесятих и не пятидесятих с половиной, а шестидесяти годов...» Как видите, даже об этом естественном стремлении писать о современности, о сегодняшней жизни говорится неуважительно, с полупрезрением.

Но одно место в статье должно вызвать решительный отпор. «Хотячей фигурой в литературе последних лет,— пишет Панкин, рассуждая о молодых,— излюбленной мишенью многих авторов и их молодых героев стал старший—резонер, старший—догматик, который нудно и капризно, по поводу и без повода, с тактом и без него поучает и обличает молодое поколение, сетует на его испорченность и обидчиво тычет в глаза собственными и своих одногодков заслугами... И, кажется, вот-вот уже слетят с пьедестала кумиры»...

Какой удручающий «пейзаж»! А все ведь представлено в превратном свете и, я бы сказал, в «перевернутом» виде. Слов нет, еще бродят по нашей земле и скучные резонеры, и чванливые догматики. Партия призывает всех нас бороться с ними, искоренять до конца остатки догматизма. Если молодые примут участие в этой борьбе с присущей им энергией и молодой ненавистью к резонерству, то Советская власть только выиграет от этого. Однако, прочитав несколько десятков книг молодых, я с трудом могу назвать трех-четырёх таких резонеров,— двух из них я упомянул,— да и то это фигуры эпизодические. Значит, наблюдение Панкина вовсе не наблюдение, а предположение, и предположение недоброе.

Молодые писатели борются с догматизмом в литературе более серьезно и более основательно: самим фактом и характером своего творчества, поисками героя думающего, решающего серьезные вопросы жизни.

Излюбленная мишень молодых писателей — мещанин, молодой и старый,— и это тоже признак здоровья. Будь у меня на это достаточно места, я шёл бы от книги к кни-

ге — и почти в каждой из них находил бы тех, кто действительно является излюбленной мишенью молодых — густопсовых мещан, паразитирующих людей, выжиг и деляг — от супругов Рославлевых («Вечная командировка») до капитана Теплова из рассказа И. Крупника «Снежный заряд», чья философия весьма отчетлива: «Энгельса, может, читали?.. Сам сыт, но даю заработать. Всем... Иначе не выйдет: покою не будет, бляха — муха. Выгодно — рискуешь, невыгодно — не рискуешь».

А кумиры, настоящие кумиры, не падают с пьедестала: это напрасная тревога. И во всей атмосфере книг молодых и в живых персонажах воплощена высокая вера молодых в ленинизм и нашу ленинскую партию, огромное уважение к закаленным в боях коммунистам и даже молодая зависть к ним, к тем, кто вынес на своих плечах самое трудное. Это серьезный вопрос, и тут нельзя отделяться общими словами. Егоров и доктор Дампфер — реальные герои «Коллег» — сильные, убежденные люди, и именно они, живые и сущие, являются примером и для Максимова и для Зеленина. Таков полярный летчик Струмилин, таков легендарный летчик Леваковский, отец Богачева, коммунист, физически мертвый, но встающий в строй. Таковы коммунисты Гладилина и Чивилихина, таков «сосед по квартире» в рассказе Амлинского, учителя жизни в рассказах Приставкина, буквально десятки героев от эпизодических. Но даже тогда, когда молодых героев одолевают сомнения, когда их охватывает минутное отчаяние — если это случается — и они ищут в своих раздумьях «маяки», — они мысленно обращаются к революционному прошлому страны, к мужественным героям, к отцам и спрашивают себя: «А мы? Смогли бы мы выстоять там, где выстояли они? Смогли бы мы принять на свои плечи то, что вынесли их плечи?»

И не надо удивляться, что они отвечают на этот вопрос: да, смогли бы! Это не юношеская самонадеянность! Это — ощущение силы, ощущение своей слитности со страной, с делом отцов и судьбой отцов.

Мы ведь тоже верим и знаем — они смогут!

От редакции. В основу статьи А. Борщаговского положен его доклад на пленуме Московской писательской организации.

Не со всеми положениями доклада можно согласиться, но редакция полагает, что доклад дает материал для дальнейшего творческого обсуждения вопросов развития советской литературы.

МОЛОДАЯ ПОЭЗИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Некоторых удивляет, что мы называем сейчас молодыми поэтов, возраст которых приближается к тридцати, а в иных случаях и перевалил за тридцать. Не будем вспоминать о таких гениях, как Лермонтов, и о таких огромных талантах, как Есенин, которые завершили свой жизненный путь в более раннем возрасте. Обратимся к другим примерам.

В годы первых пятилеток в советскую литературу пришли молодые писатели семнадцати-девятнадцати лет. Только одно литературное объединение, существовавшее в то время при журнале «Огонек», выдвинуло в литературу несколько имен, которые и по сейчас пользуются вниманием и уважением читателей: это Сергей Михалков, Евгений Долматовский, Маргарита Алигер, Александр Коваленков, Лев Ошанин, Сергей Васильев, Сергей Поделков. Первые наши книги вышли тогда же, то есть когда нам было по семнадцать — двадцать лет. Нельзя не вспомнить и трагически погибших во время расцвета культа личности молодых поэтов очень большой силы — Павла Васильева и Бориса Корнилова. Несмотря на разные масштабы таланта, несмотря на различие жизненного материала, нас всех тогда справедливо называли молодыми поэтами.

Но нас называли молодыми и позже, до тех пор, пока в литературу не пришло новое поколение, до тех пор, пока с полей Великой Отечественной войны не пришли такие талантливые люди, как Михаил Луконин, Алексей Недогонов, Александр Межиров, Семен Гудзенко, Сергей Орлов, Михаил Дудин.

Нынешние молодые поэты представляют то литературное поколение, которое начало печататься в период последних трех съездов партии, в годы знаменательного поворота жизни всей страны. Плохо или хорошо, но они выражают интересы и вкусы нынешней молодежи. Поэтому, независимо от их возраста, Евтушенко, Вознесенский, Цыбин, Ахматулина и Фирсов будут называться молодыми до той поры, пока в литературу не войдет поколение следующего исторического периода.

Я говорю это для того, чтобы подчеркнуть, что мы должны рассматривать нынешнюю молодую поэзию как поэзию нового времени, новых общественных отношений, сложившихся в нашей стране и многих странах мира. Молодая поэзия, обдуваемая ветрами нового времени, возникла на сегодняшней земле. Правда, она еще не смогла достаточно глубоко выразить суть теперешних дней и вряд ли правильно расценивать появление этой плеяды как начало совершенно нового века нашей литературы, тем более умиляться, буквально до слез, тем, что, наконец, в нашу литературу пришли апостолы-правдолюбцы.

Новизна того, что делают молодые поэты, их достоинства и недостатки объясняются тем, что они молоды и смелы. Они не противостоят советской поэзии старших поколений, а являются как бы новыми ветвями вечнозеленого дерева русской советской поэзии. И тем товарищам, которых они раздражают, стоит сказать: было бы крайне грустно, если бы развитие нашей поэзии остановилось на уровне начала 50-х годов и не шло дальше.

Мы с гордостью заявляем, что в нашу советскую поэзию пришли писатели большого масштаба. Нам, поэтам старших поколений, незачем передать эстафету советской литературы в их руки. Нужно только относиться к нашей смене без преувеличенных восторгов и без паники.

Нам, вместе с молодежью, не стыдно оглянуться на историю советской поэзии. Владимир Маяковский, Сергей Есенин, Владимир Луговской, Дмитрий Кедрин, Александр Твардовский, Николай Асеев, Константин Симонов, Александр Прокофьев, Павел Антокольский, Илья Сельвинский, Михаил Светлов и другие поэты внесли свой большой вклад в сокровищницу нашей литературы. Теперешняя молодая поэзия не противостоит им, а продолжает и развивает их работу.

Имена Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского и нескольких других поэтов нового поколения заслуженно приобрели самую широчайшую известность. Если в

годы, когда жили Маяковский и Есенин, художественной литературой, а тем более поэзией интересовалось несколько тысяч людей, то теперь ею глубоко заинтересованы миллионы.

Когда-то Маяковский мечтал: «Коммуна — это место, где исчезнут чиновники и где будет много стихов и песен». Его предвидение осуществляется по обеим линиям: чиновников у нас, слава богу, становится все меньше и меньше, а стихов и песен — все больше и больше.

В результате роста культуры народа, в результате развития советской власти — во всех больших городах, и в районных городах и даже в поселках появилось не только множество людей, влюбленных в литературу, — появились даже литературные объединения начинающих писателей, произведения которых, главным образом стихи, печатаются в республиканских, областных и районных газетах, передаются по радио и телевидению, читаются на вечерах.

С одной стороны, это очень приятно: растут молодые кадры новой литературы, расширяется круг людей не только любящих, но и создающих новую культуру социалистического общества. С другой стороны, это обстоятельство не может не вызывать и беспокойства: когда читаешь многие сборники, выпущенные областными издательствами, когда смотришь литературные страницы множества газет, когда получаешь рукописи поэтов из колхозов, с новостроек, из районных городов, не можешь не увидеть, что стихи эти в основном средние, одинаковые. Тут волей-неволей задумаешься — нужно ли нашей стране, являющейся прообразом будущего мира, культивирование такой поэзии? Этот вопрос я затронул мимоходом, но так или иначе он должен быть решен.

Наши лучшие молодые поэты собирают огромные аудитории. Пора об этом подумать всерьез и не огорчаться этим, а радоваться. Потому что наша молодая советская литература, как это и должно быть при советской власти, возбуждает все больший и больший интерес, завоевывает все больше и больше читателей и слушателей.

Значит ли это, что все, что делает, например, Евтушенко, безусловно, интересно, умно и необходимо? Нет, я никогда так не думал, не думаю и сейчас. Мне уже приходилось высказываться о тех его стихотворениях, которые меня не только не радуют, но попросту угнетают. Когда он, явно кокетничая, пишет о себе, что он «разный», — я воспринимаю это как низкопробную декларацию, хотя и Евтушенко и Вознесенский отстаивают и воплощают в жизнь резко разнобразности, всеядности, мозаики. Недаром одну из своих книжек Вознесенский так и назвал — «Мозаика», и недаром Евтушенко пишет обо всем: от Фиделя Кастро до «Нигилиста», от студентов, разгружающих вагоны, до легкомысленных девиц районного масштаба.

При этом они оба, как мне кажется,

оглядываются на практику таких гениальных писателей, как Пушкин, который также писал на темы Петра Великого, Бориса Годунова, Анны Керн и многие другие в эпическом, лирическом, сатирическом, бытовом и других планах. В истории нашей литературы есть и другие примеры такого порядка: Лермонтов, Некрасов, Блок. У всех у них есть и эпос, и любовные стихи, и сатира, и обличительные монологи. Так что, мысленно ссылаясь на творческий диапазон гениев, молодые поэты вроде бы и правы. Но только вроде, а не на самом деле.

Я хочу думать, что теперешние молодые поэты не обидятся на меня, если я скажу им, что масштаб их мыслей, сила таланта и широта кругозора у них несколько меньше, чем у гениев русской литературы. И меня как читателя и как старшего их товарища раздражает не стремление расширить свой кругозор, а обратная сторона этой якобы широты — всеядность, при которой нередко им, этим авторам, важна не суть вопроса, не мысль, пропагандировать которую им дорого, а одно желание показать свои литературные силы в разных обстоятельствах и на любую тему. Боюсь, что, создавая стихи того плана, который мне кажется неинтересным, они думают не о том, чтобы выдвинуть или разбить то или иное положение, поднять главные проблемы времени, а лишь о том, чтобы лишний раз доказать свой талант, независимо от того, чему он служит и на кого работает.

У Евтушенко есть стихотворение «Мама». Кончается оно такими строками: «Мама, не пой ради бога! Мама, не мучай меня». Я знаю маму Евгения Евтушенко. Я могу предположить, хотя ни разу не слышал ее пения, что она плохо поет. Я даже могу оправдать то, что ее сын написал и подарил ей стихотворение на эту тему. Но вся русская литература, в ее главном направлении, никогда не позволяла себе, даже ненароком, даже косвенно, писать о матери иронично или слишком нагло, но, как бы со стороны. Можно приветствовать непримиримое отношение поэта к врагу и нельзя мириться с пренебрежительным отношением поэта к людям.

В двух-трех критических статьях я встретил неодобрительные отзывы о кубинских стихах Евтушенко и вообще о его заграничных стихотворениях, которые мне, в своей значительной части, очень нравятся. Мне также пришлось читать статейку, в которой молодой талантливый критик упрекал Вознесенского за стихи о Волгоградской электростанции, где «улыбки сияют в миллиард киловатт». Обидно, что эти товарищи отталкивают молодую поэзию от главных политических тем.

Я прекрасно понимаю, что сегодня в развитии творчества наших молодых поэтов сыграло свою немалую роль то обстоятельство, что в период развития и процветания культа личности появилась так называемая официальная поэзия, которая в сущности была не нужна ни правительству, ни народу и играла какую-то промежуточную

роль. Молодая поэзия, рожденная в атмосфере последних съездов партии, в атмосфере событий, вернувших нашу страну к ленинским нормам общественной жизни, не может и не хочет быть похожей на официальную поэзию тех лет. Она рассматривает как свои истоки лучшее, что было создано старшими товарищами, и в основном развивается в главном направлении, которое всегда было присуще поэтам Советской России.

А у нас была великолепная поэзия первых двух десятилетий советской власти. У нас была и осталась великолепная поэзия военного времени. Русские поэты в эти годы создали и большие и маленькие шедевры.

Вспомним о «Василии Теркине» А. Твардовского, о «Землянке» А. Суркова, о стихах К. Симонова, о песнях М. Исаковского. Это были стихи главного направления, главных ударов. В то время они обжигали сердца. Они и сейчас ничуть не потускнели, и, перечитывая их, испытываешь истинное волнение советского гражданина.

Жаль, что в последнее время мы редко вспоминаем о Маяковском. Тем более жаль, что о нем редко вспоминают молодые поэты, выросшие, может быть, даже не замечая этого, под его эгидой, под его благотворным влиянием. Публицистическая лирика, лирическая публицистика — нет для меня ничего сильнее и дороже в поэзии. «Разговор с товарищем Теодором Нетте, парходом и человеком», «Стихи о советском паспорте», «Во весь голос», «Владимир Ильич Ленин» и многие другие поэмы и стихотворения Маяковского до сих пор звучат во всю силу и, хотя того или не хотя некоторые товарищи, являются образцом советской поэзии.

Вот на что мы должны ориентироваться, вот о чем мы не имеем права забывать. И когда Евтушенко идет в этом фарватере, он мне гораздо интереснее, чем в своих мелких поделках.

Приятно отметить, что за последнее время Евтушенко как-то повзрослел и стал чувствовать большую ответственность за все, что он пишет. Он стал как бы ощущать себя не только представителем своей двухкомнатной квартиры, а представителем советской поэзии.

Много шума вызвали последние стихи Вознесенского, напечатанные в журнале «Знамя». Лично мне кажется, что там много интересного, но, конечно, никакого нового открытия Америки у него не получилось. Это все талантливо, но чрезвычайно сумбурно и эскизно. Стихи эти пользуются и будут пользоваться успехом у определенной части молодежи, но в большой народ с ними идти нельзя. Там есть замечательное стихотворение о ФБРовцах, есть еще три-четыре цельных стихотворения, но этого маловато. Пусть Вознесенский поймет, что мы возлагаем на него большие надежды в самом высоком понимании этого слова. Наша критика исходит именно из доброжелательности. Мы не хотим, чтобы его лицо потеряло свою индивидуальность, не толкаем

его на изготовление штампов — боже упаси! Мы просто хотим, чтобы его поэзия служила главным идеям нашего народа.

Есть такое выражение: «Нет большего греха, чем закопать свой талант».

Выясняя происхождение этого выражения, я узнал, что оно разумеет не талант человека, а талант как денежную единицу давнего времени. Мне же очень хотелось, чтобы это выражение имело в виду талант поэтический, художнический, и я рассматриваю его именно в этом смысле. В том смысле, что ты не имеешь права расходовать свой талант на пустяки, народ ждет от тебя, что ты будешь делать все для того, чтобы силою своего таланта служить главным идеям времени.

Я делаю главный упор на политические, общественные стихи хотя бы потому, что в нашей молодой поэзии избыточно стихотворений на так называемые вечные темы. Темы-то вечные, а стихотворения этого порядка оказываются скоропреходящими, недолговечными.

Думаю, что никто не будет отрицать большого и своеобразного таланта Михаила Светлова. Однако из множества его интересных стихотворений самую долгую жизнь имело такое, как «Гренада». Почему же оно живет и работает в наше время и в наше время? Только потому, что в «Гренаде» с большой художественной силой выражена непреходящая идея интернационального братства.

Если молодые поэты хотят своим произведением долгой жизни, пусть не ищут ее в побочных и малозначительных темах. Чем острее и талантливее выразят их произведения сегодняшние события, тем большая слава достанется их авторам.

Я знаю, что многие молодые поэты неохотно сотрудничают в газетах, полагая, что на газетных полосках могут появляться только наскоро сбитые ремесленнические отклики на то или иное событие. К сожалению, для такой точки зрения есть некоторые основания.

Спасибо нашим газетам, особенно газетам молодежным, за то, что они, не скупясь на место, предоставляют трибуну поэзии. Это очень хорошо. Плохо то, что печатают они много средних и скучных стихотворений, что редко обращают внимание на их уровень, зачастую ценят не своеобразие, а штамп. Уже не раз раздавались голоса по этому поводу. Речь об этом шла даже с такой высокой трибуны, как трибуна XXII съезда партии. Но положение не меняется, да и вряд ли может измениться, даже если будет принято какое-либо решение по этому вопросу. Оно может измениться к лучшему только тогда, когда в наши газеты пойдет сотрудничать цвет нашей, в том числе и молодой литературы. Оно может измениться к лучшему, если газета будет иметь возможность выбирать для печати самые интересные из нескольких стихотворений на ту или иную сегодняшнюю тему.

Нельзя забывать, что газеты дают поэту огромнейшую аудиторию, исчисляе-

мую несколькими миллионами. И думается, настало время поговорить о создании малых оперативных художественных советов при отделах литературы таких газет, как, например, «Известия», «Комсомольская правда», «Вечерняя Москва». Задачи таких советов, состоящих из трех-четырех поэтов, будут заключаться в организаторской и консультативной работе. Такие советы будут служить преградой халтурным и бесталанным стихам.

Нельзя упрекнуть в пренебрежении к поэзии телевидение и радио. Литературные работники этих организаций охотно приглашают поэтов к микрофонам и телекамерам. Но и там часто происходит то же, что и в газетах, то есть наряду с острыми, талантливыми, насыщенными мыслью стихами передаются скучные, посредственные, неумные.

Понятно, задача состоит не в том, чтобы увеличить количество поэтических выступлений, а в том, чтобы повысить их качество. Наша поэзия богата и разнообразна, у нас есть из чего выбирать, есть что пропагандировать. Надо только подходить к этому с умом и эрудицией.

Вот еще одно из дел, ждущее молодых поэтов. Стены и крыши, улицы и площади Москвы, да и не одной Москвы, сейчас украшают скучные, казенные и часто неграмотные тексты. Так, на Садовой улице, на крыше многоэтажного дома, красуется такое светящееся изречение: «Чтобы знать о событиях в мире, имейте газеты в каждой квартире». Это не только полуграмотно, но и скучно. Или вот другая стихотворная реклама на автомобилях: «Повидло и джем — полезны всем». Тут нет ни звучной рифмы, ни юмора, да и сама мысль далеко не верна: ведь джем и повидло многим просто противопоказаны.

Очень бы хотелось, чтобы за год-полтора поэты, с помощью молодежи из литературных объединений, украсили свои города остроумными, точными, запоминающимися лозунгами и рекламами.

Всем известно, что Маяковский с любовью и охотой занимался этим делом. Давным-давно нет треста «Моссельпром», а двустипшие Маяковского: «Нигде кроме, как в Моссельпроме» до сих пор живет в нашей памяти. Ему же принадлежит знаменитое изречение прошлых лет: «Кто куда, а я — в сберкассу». Неплохо бы нам потягаться силами с Маяковским и в этом направлении.

Порой молодые поэты жалуются, что их книги не издаются или их выпуск задерживается из-за нехватки бумаги, и упускают замечательную возможность печататься на огромных стенах площадей, на стенах домов столицы...

Мне приходится читать множество поэтических сборников, выходящих во всей нашей стране. Их обилие и радует и огорчает. Радует, что и областные и районные города находят средства и возможности для издания стихотворных сборников молодых, радует появление одаренных людей. Но огорчает, что многие из этих книг до ужаса

повторяют друг друга и своими рифмами и своей тематикой. Многие из них на три четверти заполнены стихотворениями о берегах, ручейках, птичках и дорожных прелестях. О дорожных прелестях написано столько стихотворений, что можно подумать, что наш народ еще не перешел на оседлый образ жизни. То, что молодые поэты так много пишут на пейзажные темы и так широко разрабатывают жизнь растений и животных, можно, конечно, объяснить тем, что лирика такого рода долгие годы была почти под запретом. Можно объяснить это и тем, что души этих поэтов переполнены любовью к родной земле, к ее природе. Но ведь наша страна хороша и богата не только своими ручьями и рощами. Нужно уметь видеть, нужно любить, нужно воспевать и тяжелую индустрию, и человеческие сердца, и умы, рожденные нашим советским строем.

Доходит до того, что молодые поэты, сами не замечая нелепости своих мыслей, предлагают человечеству брать пример с деревьев и птиц. Крымский поэт восторженно пишет о кипарисе и предлагает людям учиться у этого кипариса прямо и чему-то еще. Другой молодой поэт, наблюдая, как одно птичье семейство воспитывает птенцов, предлагает, без тени иронии, учиться у птиц семейной жизни...

Выработался некий стандарт первой книги молодого поэта. Слава богу, его придерживаются не всегда, но все-таки придерживаются. Издательства считают, что первая книга не должна отличаться от других первых книг. Открывается такая книга должна несколькими стихотворениями политического порядка. Потом должно следовать несколько стихотворений на темы берез, кленов и рябин. Далее — раздел, посвященный «темным фактам» из семейных и бытовых отношений. Завершается такая книга несколькими любовными стихотворениями, в том смысле, что он ее любит, а она его нет. Иногда все это под занавес сдвигается двумя-тремя баснями или эпиграммами на заведующего районной баней.

Все табачные фабрики Советского Союза выпускают папиросы «Беломор», все пивоваренные заводы варят «Жигулевское пиво». И табак, идущий на эти папиросы, и рецепты изготовления пива совершенно разные, но этикетки и цены одинаковые. Очевидно, это делается для облегчения работы Госплана. Со сборниками же стихотворений, выходящими в разных краях и областях Советской России, вернее, с большинством из них, происходят вещи еще худшие: там и табак тот же, и метод изготовления тот же, и этикетки одинаковые.

А ведь весь смысл, вся прелесть поэзии в отрицании и нарушении всех и всяческих стандартов, в неожиданности слова. У нас же хвалит, подчас из добрых побуждений, слабые книги: надо, дескать, поддержать молодого поэта. Эта доброта от равнодушия приносит развитию нашей поэзии только вред. Иному молодому поэту, ежели он имеет литературные способности, наша пресса должна авторитетно и спокойно за-

явить, что он тратит эти способности нецелесообразно, нужно раздвинуть перед ним исторический занавес, раскрыть большую творческую перспективу. А иному молодому, ежели у него нет поэтического дарования, надо тактично, но решительно объяснить, что ему не следует заниматься стихами. Я отлично понимаю, что человека, влюбленного в поэзию, трудно убедить бросить писать стихи. Но и равнодушно поощрять его следовать по этому пути — не стоит.

Хотелось бы поговорить о более активном вторжении молодых поэтов в современность. Казалось бы, не к чему ратовать за вторжение в жизнь молодых людей, которые сами только что пришли из самой ее гущи, сами дышат воздухом современности. И действительно, географический кругозор молодой литературы значительно шире, чем у молодых поэтов первых пятилеток. Молодые поэты нового времени побывали и на Дальнем Востоке, и в Сибири, и в Париже, и в Праге, и в Нью-Йорке, и даже на далекой прекрасной Кубе.

По своему опыту и опыту своих товарищей знаю, что всякая поездка писателя, на любой срок и в любое место, всегда обогащает его ум и его книги. Но сейчас я хочу сказать не о творческих командировках, а о более серьезном, повседневном участии молодых поэтов в народной жизни, жизни рабочего класса и крестьянства.

Страшно обидно и малобъяснимо, что рабочий класс нашей страны до сих пор не получил достойного воплощения в нашей литературе, искусстве. Давыдов из «Поднятой целины», старик Журбин из романа Кочетова — вот почти и все. А между тем в итальянском и французском кино, в таких фильмах, как «Машинист» или «Улица Прери», созданы правдивые и замечательные характеры старых рабочих, исполненные силы и обаяния. Грустно, что образов такой шири нет в нашем кино, нет и в нашей поэзии.

Этим летом несколько писателей Москвы и других городов отправились работать в новые межрайонные газеты. Дело это хорошее. Но я хочу напомнить, что на московских заводах выходят десятки многотиражных газет. Было время, когда Александр Безыменский, Сергей Васильев и другие поэты активно помогали этим газетам и сами получали там, на заводах, в железнодорожных депо и на фабриках, богатый материал для своего творчества. Хотелось бы, чтобы секция поэтов при помощи Президиума нашей организации и при содействии Московского комитета партии направила, как бы на практику, в многотиражные газеты Москвы три-четыре десятка поэтов, в основном молодых.

Уже несколько лет весь мир (кто — восторженно, а кто — злобно) говорит о потрясающих успехах нашей страны в деле покорения космоса. На темы полета наших спутников, наших станций, наших космонавтов написаны сотни стихотворений. Но ни одно из них не прозвучало так, как этого требует сама тема. В чем же дело?

Дело отнюдь не в том, что на нашей земле перевелись таланты. Дело и не в том, что мы ленивы и не любопытны. Мы далеко не так ленивы, как в прошлом веке, и уж во всяком случае любопытны, и даже крайне любопытны. Но мы, поэты, совершенно не знаем этого сложного и недоступного нам материала и людей, работающих в этой области. Темы покорения космоса настолько велики и так интересуют всех жителей планеты, что нужно помочь нашим поэтам серьезно прикоснуться к этому новому материалу...

Большую роль в пропаганде современной поэзии играют устные выступления писателей в больших и малых аудиториях, в том числе и на заводах. Даже не прибегая к статистике, и на глаз видно, что таких вечеров сейчас несравнимо больше, чем было не только до революции, но и во времена Маяковского. Прошлогодней осенью, во время проведения праздника Дня поэзии, все аудитории поэтических вечеров были переполнены. В день выступления поэтов под открытым небом на площади Маяковского собралось несколько тысяч человек. В книжных магазинах Москвы, где выступали поэты, была, как правило, давка. Нельзя не сказать, что основной интерес слушателей группировался именно вокруг молодой поэзии. Это совсем не значит, что мы, поэты среднего и преклонного возраста, отжили свое время и мало интересуем современного читателя. Я несколько не склонен утверждать это. Но все-таки наибольший интерес у современной молодежи, а ведь аудитории поэтических вечеров в основном — молодежная, вызывают именно молодые поэты. В этом нет ничего предосудительного и ничего удивительного: молодой аудитории ближе те поэты, которые являются плотью от ее плоти, костью от ее кости.

Как-то мне удалось поехать в эшелоне московских добровольцев на строительство Сибирской электростанции. Мне захотелось посмотреть на жизнь сегодняшних комсомольцев не со стороны, а изнутри, тем более в такие дни их жизни, когда они совсем не думают о том, какими кажутся постороннему человеку, а совершенно естественно волнуются, спорят, радуются и печалются. Сидя с ними в одном вагоне, я все же чувствовал себя получужим. Истинно откровенного разговора с ними у меня не получилось. Они упорно называли меня «представителем», в смысле уполномоченного какого-либо учреждения.

Молодые же поэты нашего времени непринужденно выражают интересы молодежи, вернее сказать, интересы тех или иных групп молодежи. И вполне естественно, что молодые читатели встречают своих сверстников с гораздо большей заинтересованностью, доверием, энтузиазмом.

Но вот тут-то мне и хочется перейти еще к одной стороне популярности творчества молодых поэтов. Некоторые из них, уже изучив секреты эстрадного успеха, жаждут добиться его любой ценой. Известно, что завоевать шумный успех со сцены

гораздо легче, читая юмористические стихи, стихи шумно-эффектные, нежели стихи серьезные и более сильные.

Беда не в том, что молодой поэт читает с эстрады именно те стихи, в приеме которых он уверен. Беда в том, что он начинает писать стихи именно такого рода. Я далеко не против того, чтобы молодая поэзия вызывала восторг молодой аудитории. Наоборот, мне, как пожилому деятелю нашей литературы, не умеющему отделять себя от ее истории и ее развития, дорог и приятен успех нашей советской поэзии. Но ведь успех успеху рознь. Мы знали и знаем среди поэтов всех возрастов таких эстрадных любимцев, которые завоевали эту любовь способами, несовместимыми с понятием большой поэзии.

И есть другой успех — успех больших, сильных слов. Успех, рожденный не легкой игрой ума, не цирковыми эффектами. А аудитория сосредоточенно замолкает и уходит с такого выступления обогащенной.

На мой взгляд, самой значительной и высокой мерой таланта является мера его народности, гражданственности, публицистичности. Невольно вспоминается опять же Маяковский: «Это было с боями или страной, или в сердце было в моем».

Наша молодая поэзия известна не только такими близкостоящими именами, как тот же Евтушенко, та же Ахмадулина, тот же Вознесенский. Кроме ряда московских и ленинградских поэтов, примыкающих к этой группе, во многих наших республиках и городах нашей Федерации есть молодые поэты, работающие приблизительно в таком же плане. Интересен поэт-казах Олжас Сулейменов, который пишет по-русски, в том же плане работают Николай Дамдинов и Дондок Улзытуев в Бурятии, Рамис Рыскулов в Киргизии, Ояр Вацлетис в Латвии. Поэзия такого порядка начала развиваться также и на Украине. Там уже широко известны имена Драча, Коротича, Винграновского и других молодых писателей. Таким образом становится ясным, что новая молодая поэзия возникла закономерно, в результате новых веяний и новых преобразований, в результате большого движения во всех областях жизни нашей страны.

Одновременно с поэтами этого направления в нашу поэзию пришли молодые поэты, пишущие в ином плане. Из москвичей тут хочется, в первую очередь, назвать Владимира Цыбина и Владимира Фирсова. Если Цыбин, при своем сильном таланте, продолжает линию, начатую Павлом Васильевым и Борисом Корниловым, то учителями Фирсова являются, судя по всему, такие поэты, как Есенин и Твардовский.

Обе группы этих молодых поэтов различаются не только творческими темами: у одних, в основном, городские и международные темы, у других — в основном, сельские. Если одни из них утверждают свободный стих, новые рифмы, ломку размеров, то другие работают в старых добрых традициях русского стихосложения,

восходящих к Некрасову, Есенину, Твардовскому.

Молодые поэты одного направления не признают молодых поэтов другого направления. Да это понятно. Каждая из этих групп работает на ином словаре, иными образами, и каждая считает свой путь не только лучшим, но и единственным. Так было в литературе всегда. Лев Толстой не любил Шекспира, Маяковский не любил Есенина, а Фирсов не любит Евтушенко. Консолидация этих групп, в том смысле, чтобы они писали восторженные рецензии друг на друга, вряд ли мыслима да и не очень-то нужна. Я понимаю под лозунгом консолидации литературных сил такое положение, когда поэты и писатели объединены вокруг задач партии и народа, но служат делу строительства коммунизма каждый согласно своему вкусу, своему таланту, своему разумению.

Владимир Фирсов отстаивает право работать в русле традиционной русской поэзии. Он пишет: «Я за поэзию национальную по форме, социалистическую по содержанию, как бы ни привычно выглядела эта общеизвестная формула». Но ведь национальная форма русской советской поэзии много шире и разнообразнее, чем это представляется молодому поэту. Разве поэзия Маяковского не укладывается в это понятие — национальная по форме, социалистическая по содержанию? Наша поэзия зиждется на огромном опыте Пушкина и Некрасова, Маяковского и Блока, Асеева и Твардовского. Каждый, продолжающий традиции этих поэтов, является продолжателем традиций русского стихосложения. Каждый, кто создает новые формы, помогает развитию нашего стихосложения и создает для него новые перспективы.

Некоторые товарищи сетуют, что в последнее время поэты стали писать свободным и белым стихом. В их понимании белый стих появился у нас в результате тлетворного влияния западной литературы. Но ведь белым стихом написаны русские былины, «Песня о купце Калашникове», «Борис Годунов». Белым стихом написана поэма «Кому на Руси жить хорошо?». Белыми стихами писал Блок, а после него — Багрицкий и Луговской. Правда, русская поэзия в недавний период как-то забыла белый стих, но от этого он не перестал быть одной из национальных форм нашей поэзии. Писать белым стихом труднее, чем рифмованным. Отсутствие рифмы надо заменить высоким напряжением мысли, точностью эпитетов, лапидарностью. Что касается свободного стиха, то он родился во многих странах не без влияния нашего Владимира Маяковского. Нам известны такие блестящие революционные представители его, как Назым Хикмет и Пабло Неруда. Не вижу ничего дурного в том, что некоторые молодые поэты учатся у этих крупнейших современных писателей.

Я сам работал и работаю в той же традиционной манере, что и Фирсов. И мне, как и другим моим сверстникам, негоже бросать эту манеру и, «задрав штаны, бе-

жать за комсомолом». Но ведь это очень нелегко: наполнить традиционное четверостишие мыслью, эпитетом, поворотом строки.

У Твардовского это получается блестяще. Идет строфа за строфой, но они не надоедают, от них не устаешь. Не прибегая ни к гиперболам, ни к оглушающим сравнениям, он говорит как бы предельно просто. Ну вот, скажем, строчки:

Поглядеть — и впрямь — ребята!
Как по правде желторот,
Холостой ли он, женатый,
Этот стриженный народ.

Или такая строка — о человеке, возвращающемся из лагеря: «Зубов казенных блеск унылый». Несколькими обычными, даже обиходными словами поэт достигает необычной силы выразительности. Такая сила, такое умение даны далеко не каждому, и когда тем же традиционным стихом пишут слабые последователи Твардовского, — получается скучно, потому что они не могут насытить свое четверостишие мыслью и знанием.

Свободный стих, возникший у нас в последнее время, новая молодая рифма — дороги тем, что дают новые возможности для развития той или иной значительной мысли.

В этом смысле я приветствую свободный стих и все экспериментаторство. Но, с другой стороны, в традиционной стихотворной системе существует определенная дисциплина строфы и строки. В области же свободного стиха работают, наряду с мастерами, просто неумелые люди. Часто за новаторство выдается отсутствие профессиональных навыков. Строки у таких «новаторов» распадаются, рифма то появляется, то исчезает, слова не прилажены друг к другу. Стихотворение в общем оставляет какое-то впечатление, но именно как о е - т о, неопределенное. Изготавливается коктейль настроений, якобы свидетельствующий о широте восприятия мира. А если взглядеться и разобраться, то увидишь, что такое стихотворение слабо, бесцельно и беспомощно.

Пользуюсь случаем, чтобы сказать несколько слов о поэзии Евгения Винокурова. Правда, он не так уж молод. Я говорю о нем не как о юном писателе, а как об очень интересном мастере стиха. Его однотомики, вышедший в Гослитиздате, произвел на меня, пожалуй, самое сильное впечатление, какое я испытывал от чтения поэтических сборников за последние два-три года. Впрочем, у меня есть желание, но нет возможности говорить подробнее о Винокурове. Но одно его стихотворение, имеющее прямое отношение к творческой связи поколений нашей литературы, я хотел бы привести целиком, тем более что в нем всего восемь строчек.

Художник, воспитай ученика,
Сил не жальей его ученья ради,
Пусть вслед твоей ведет его рука
Каракули по клеточкам тетради,
Пусть на тебя он взглянет свысока,
Себя на миг считая за правднца.
Художник, воспитай ученика,
Чтоб было у кого потом учиться.

Тем и дорого нам, старшим писателям, лучшее в творчестве молодых, что оно заставляет нас не то чтобы прямо учиться у них, но заставляет быть активнее, живее, требовательнее, вызывает желание соревноваться, что, в конечном счете, ведет и будет вести к дальнейшим успехам всей советской литературы.

Творчество нынешних молодых поэтов — их словарь, их способы разработки тем, их интонации — говорят о том, что в числе их учителей были такие поэты, как Хлебников, Маяковский, Сельвинский, Твардовский, Тихонов, Цветаева, Луговской, Асеев, Пастернак, Мартынов. Можно это доказать десятками примеров. Я упоминаю об этом вовсе не для того, чтобы преуменьшить значение сильного молодого ветра, раздувающего сейчас паруса нашей поэзии. Я вовсе не хочу сказать, что в общем развитии нашей поэзии за последние несколько лет не было сильного и резкого скачка. Скачок этот был, но это несколько не зачеркивает значения всего сделанного советской поэзией за годы, предшествовавшие трем последним съездам партии...

Прочел я первую книжку Беллы Ахмадулиной. Эта книга написана очень талантливым человеком. В ней есть прелестные стихи, и почти в каждом есть отличные, тонкие, талантливые наблюдения, строфы, строки. У каждого человека свой вкус, своя требовательность. Я могу представить, что мой вкус далеко не совершенен. Но, так или иначе, я вынужден исходить из него, тем более что вкусы других товарищей кажутся мне менее точными, чем мой. Так вот, несмотря на то, что книга эта очень талантлива, она вызвала у меня некоторое разочарование. Я ожидал получить от сборника больше впечатлений и радости. И совсем не потому, что там нет первоклассных стихов. Там как раз есть первоклассные стихи, такие, как, скажем: «И снова, как огни мартенов» (стихотворение о Пушкине, Лермонтове, Дантесе и Мартынове), такие, как «О, слово точно — подонки!», такие, как «Королева» и «Автомат с газированной водой». Дело не в том, что книга оказалась менее талантливой, чем этого бы хотелось, а в том, что эта книга, несмотря на свою тонкость и талантливость, оказалась менее интересной, чем могла быть.

Мы, читатели, живущие в такое бурное политическое время и оставившие за своей спиной десятки огромных исторических событий, привыкли мыслить большими категориями и волноваться по поводу деяний, участниками которых являются тысячи и миллионы. Мы как-то не можем представить себе поэта нашего времени, ограничивающегося только тонкостью наблюдений, отображением мелких событий, даже не событий, а случаев. Книге же Ахмадулиной недостает исторической широты, русского революционного размаха. Может быть, и нелепо требовать от поэтессы публицистических стихов ораторского порядка. Весьма возможно, что у нее, даже если бы она захотела этого, такие стихи не получатся. Но мне кажется, что попробовать ей свои силы

и в этом направлении нужно. Может быть, как раз ее склонность к изящным поэтическим тонкостям неожиданно и по-новому засветится в публицистической теме.

Римма Казакова совсем недавно выпустила в издательстве «Советская Россия» третью книжку стихотворений. Казакова работает в направлении, очень близком группе молодых поэтов, о которых я говорил выше. У нее новая рифма, разнообразие ритмов и размеров. Иногда на страницах ее книжки звучат прямые интонации Евтушенко. Иногда появляются строки порядяка Вознесенского, если так можно сказать. Но это ни в коем случае не заимствование, не подражание, а сотворчество. В ее книге есть много стихотворений, которые присущи только ей, от начала до конца. У нее своеобразный голос, своя тематика, свое отношение к миру.

Хочется отметить ее книжку за то, что в ней есть лирические образы людей нашей страны, человеческие характеры. Это особенно важно потому, что многие наши молодые поэты только и делают, что раскрывают свою душу, делятся своими интимными переживаниями.

Поэзия всегда субъективна. Объективной поэзии нет и не может быть, то есть она может быть и она была, но она никогда никого не интересовала. Если о своих наблюдениях, о своих интересах, о своих впечатлениях пишет крупная личность, тогда — пожалуйста. Скажем, нам интересно отношение Маяковского к Пушкину, нам интересно его отношение к любимой женщине. Он сам по себе — выдающаяся личность советского времени, и нам важен не только тот или иной предмет, который он затрагивает в своих стихах, но и его, Маяковского, отношение к этому предмету.

Но когда другие поэты, меньшего человеческого масштаба, бросают свою мало-значительную тень на большой предмет, когда они оперируют заурядными мыслями, мне на третьей странице их сборников становится скучно.

Стихи Риммы Казаковой интересны географическим разнообразием, жизнелюбием, светлым мироощущением, которые мирно уживаются с ее скромным отношением к своему поэтическому. Я. Мне дорого, что Казакова разглядела в людях, встретившихся ей, сильные и большие души и что она отдала все возможности своего таланта для того, чтобы донести красоту человеческих душ до читателя. Но я считаю нужным выступить против одного из ее стихотворений. Оно называется «Ночью». Начинается оно следующей строфой:

На Ленинской чинят дорогу.
Всю ночь полыхают огни.
Там бабы — красивы, дородны —
Работают нынче одни.

Не знаю, кто как, а я всегда испытываю ощущение страшной неловкости, когда вижу русских женщин, работающих на трамвайных рельсах или вдоль железной дороги с ломами и лопатами в руках. Я думаю, что наша советская поэзия давно должна была решительно выступить про-

тив этого. Казакова же просто умиляется. Она пишет:

Как гордо белеют печати
Из рук на тяжелых ломах!

А я не вижу причины гордиться тем, что до сих пор русские женщины работают ломами. Работа эта тяжелая, часто непосильная для них. Не дело советской поэзии восторженно воспевать тяжелые стороны нашей действительности.

Я думаю, Римма Казакова несколько увлеклась мимолетным литературным ощущением, не разобравшись как следует в смысле того, о чем пишет.

В журнале «Октябрь» напечатана поэма Егора Исаева «Суд памяти». Мне известно, что Исаев работал над ней в течение нескольких лет. Его работа не пропала даром. Получилась нужная, интересная поэма.

Недавно принят в Союз писателей бывший десантник, кузнец завода «Динамо» поэт Александр Балин. В нашу поэзию пришел новый талантливый рабочий человек.

В издательстве «Молодая гвардия» вышел коллективный сборник четырех авторов — Дмитриева, Кострова, Павлинова и Сухарева «Общежитие». Не упомянуть этот сборник я не мог не только потому, что маленький коллектив его авторов талантлив и современен и что этот сборник занимает свое определенное место в молодой литературе, а главным образом потому, что его авторы пришли в литературу не прямо со школьной скамьи, а из глубин своих профессий: химии, геологии, биологии, журналистики, и это придало творчеству каждого из них свое поэтическое своеобразие.

В этом смысле интересна также книжка Николая Анциферова «Подарок». Николай Анциферов недавно закончил Литературный институт и был принят в Союз писателей, но перед тем как поступить в институт, он много лет прожил в шахтерском поселке. Значительность и интерес его поэзии в том, что она насыщена материалом шахтерского края, его людьми, его индустриальными пейзажами.

Молодыми поэтами должно руководить не только желание славы, хотя в этом желании нет ничего предосудительного, но и острое чувство ответственности за силу и значительность русской революционной поэзии. Можно привести много примеров, когда это чувство ответственности покидает молодых поэтов. Ограничусь одним примером. В первой книжке одного молодого поэта, вышедшей в этом году в Москве, есть такое стихотворение:

Лечусь и ультрафиолечусь.
Ем фрукты. Пью «Ессентуки».
Мне солнце обжигает плечи
и укрепляет позвонки.
Пусть ноги ходят по природе,
пусть мышцы обретают вес.
Я чувствую, что происходит
во мне сплошной обмен веществ.
Я оставляю мою хворость,
расстройство всяческих систем,
Взамен приобретаю бодрость,

беру спокойствие взамен.
Я рад отличному питанию,
разумному режиму дня.
Душа, готовясь к испытаниям —
их мало было у меня.

Я сначала подумал, что это пародия, но потом, к своему удивлению, увидел, что это так называемое лирическое стихотворение. У этого поэта есть много очень неплохих стихов, но зачем ему было тащить в свою хорошую книжку этот стишок — я просто не понимаю. Нужно ответственнее и серьезнее относиться к самому себе, к своему имени.

Хочется также сказать хоть несколько слов о пользе грамотности. Новое поколение поэтов образованнее, чем мы — поэты первых пятилеток, пришедшие в литературу с заводов и фабзавучев. В силу общего роста культуры нашей страны они знают больше, словарь у них богаче. Но и тут встречаются люди, не понимающие сути и духа русского языка. В качестве курьеза можно привести хотя бы одну строчку из стихотворения одной молодой поэтессы, напечатанного совсем недавно. Обращаясь к своему родному городу, она пишет: «О город — мой отец посаженный!» Очевидно, она хотела назвать город посажёным отцом, но, не разобравшись как следует, внесла в стихотворение не только иной смысл, а просто бессмыслицу...

Среди популярных молодых поэтов видное место занимает Роберт Рождественский. Недавно у него вышла шестая книжка. Хорошо, что наши молодые поэты пишут много и щедро. Может быть, это и отражается иногда на качестве их стихов, но это свидетельствует и о том, что молодых поэтов волнуют многие явления мира, что у них нет нужды мучительно заставлять себя написать хоть что-либо.

Рождественский умеет и любит вести острую полемику с нашими идеологическими противниками. Стихи такого порядка, как «Письмо Анджею Брауну», автору статьи «Против жертвенности или о гвоздях», или «Париж. Франсуазе Саган», кажутся

мне и важными, и интересными, и, более того, необходимыми. Думается, что в каждом сборнике молодых поэтов должны быть стихи такого плана. Мне также представляется принципиально важным для нашей поэзии его стихотворение о Роберте Эйхе, напечатанное в «Известиях». В числе других дел наша поэзия должна заняться художественной реабилитацией трагически погибших руководителей и работников нашей страны.

Далеко не все, написанное Рождественским, меня восхищает, больше того, многое кажется мне сделанным наспех, очень приблизительно. Но в принципе мне кажется значительной и верной вся главная линия работы Рождественского. Мне было приятно прочитать его последнюю книгу еще и потому, что я нашел там две строчки, которыми и хочу закончить свои заметки. Обращаясь к молодым писателям, Рождественский говорит: «Пишите о главном, хозяева мира». Эти слова я с удовольствием повторяю вслед за Робертом Рождественским.

В заключение не могу не сказать несколько слов о статье Николая Грибачева, напечатанной в журнале «Молодая гвардия». В этой, в общем деловой статье о молодой поэзии есть ряд неверных положений. На одно из них я обязан ответить как председатель секции поэзии. Николай Грибачев отмечает, что в поэтической секции вопросу гражданственности поэзии уделяется мало внимания, а наоборот — нередко молодым поэтам наспех выдаются венки за то, что они позабористее, похитрее «ковырнули советскую власть». Он даже сравнивает секцию с некими ООНовскими «консультативными органами». Исходя из этого, Николай Грибачев предлагает ликвидировать секцию, во всяком случае поэтическую и прозаическую, и группировать писателей вокруг редакций. Это его давнишняя мечта, и пусть он ее отстаивает и впредь, только не прибегая к политическим обвинениям.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «МОСКВА» ЗА 1962 год

МОСКВА, 1962. Беседа с председателем исполкома Моссовета Н. А. Дыгаем. I—3.

АРКАДИЙ ВАСИЛЬЕВ. Ответ истории. XI—5.

СЕРГЕЙ КОНЕНКОВ. Искусство, озаренное Октябрем. XI—8.

Ю. ЮРОВ. Правды немеркнущий свет. 50 лет ленинской «Правды». Рис. А. ЯР-КРАВЧЕНКО. V—147.

К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ А. С. ПУШКИНА. «Пушкин в Москве». Отрывки из романа И. А. НОВИКОВА.—П. БУНИН. Рисунки из серии «Пушкиниана».—ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВ. Пушкин в деревне. Стихотворение. II—213.

К 150-ЛЕТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА. Солнце Бородина.—ИВАН ГОРЕЛОВ. Две даты, два подвига.—А. КУЗНЕЦОВ. Биография легендарного поля.—В. ПОВСТЯНОЙ. Герой, служивший Отечеству...—ВЛ. ШТРИКЕР. Последний Багратион.—М. ПОПОВ. Денис Давыдов в Москве.—А. ПРУСАКОВ. По следам флангового марша.—Н. РОЗОВ. Памятники нашей славы. IX—179.

ЛЕНИНСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ—СТО ЛЕТ.—М. КЛБЕНСКИЙ. Главный арсенал культуры. VII—187.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

АЛЕКСАНДР АБРАМОВ. Когда скорый опаздывает. Повесть. VII—89

НОРА АДАМЯН. Новый сосед. Повесть. X—86.

Е. АЛФИМОВ. Солнце и звезды. Рассказ. X—145.

СЕРГЕЙ БАРУЗДИН. Верить и помнить. Повесть. V—121.

ВАДИМ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ. В почтовом вагоне. Повесть. XII—103.

АРК. ВАСИЛЬЕВ. Принят единогласно. Сценарий. XII—5

Н. ГРОМЫКО. Элита. (Из целинных былей). I—156.

БОРИС ЗУБАВИН. Радость. Повесть. X—3.

ЮРИЙ КАЗАКОВ. Адам и Ева. Рассказ. VIII—142.

АНАТОЛИЙ МЕДНИКОВ. Берлинская тетрадь. II—58.

Н. Н. МИХАЙЛОВ, З. В. КОСЕНКО. Японцы. Путевая повесть. VIII—22; IX—100.

СОМЕРСЕТ МОЭМ. Змей. Рассказ. Перевод с английского Г. Сокол. VII—131.

ЮРИЙ НАГИВИН. Погоня. Рассказ IX—3.

ЛЕВ ОВАЛОВ. История одной судьбы. Роман. XI—14; XII—39.

ДОРА ПАВЛОВА. Совесть. Роман. I—13; II—97.

ЕФИМ ПЕРМИТИН. Первая любовь. Роман. VII—3; VIII—89; IX—27.

ИВАН РАХИЛЛО. Мечтатели. (Повесть о юности). IV—6.

ВАСИЛИЙ РОСЛЯКОВ. Обыкновенная история. Повесть в письмах. IX—63.

АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ. Военный летчик. Перевод с французского М. Баранович. VI—68.

А. СМIRНОВ-ЧЕРКЕЗОВ. Дом холостяков. Повесть. V—4.

Н. ТАРАСЕНКОВА. Бабы пересуды. Рассказ. VI—135.

В. ТЕВЕКЕЛЯН. Гранит не плавится. Роман. II—3; III—12; IV—61.

ЛЮДМИЛА УВАРОВА. Фуга Баха. Рассказ. I—138.

ТАМАРА ХОВЕЙ. Это случилось в Тулли, во Франции. Рассказ. Перевод с английского В. Блувштейна. Предисловие Джеймса Олдриджа. I—117.

БОРИС ХОТИМСКИЙ. Без поводья. Рассказ. XI—141.

ВАСИЛИЙ ШУКШИН. Три рассказа. IV—123.

СЕМЕН ШУРТАКОВ. День грядущий. Рассказ III—111

АЛЕКСАНДР ЯШИН. Сирота. Повесть. VI—3.

Из записной книжки писателя. ЛЕОНИД ЛЕНЧ. Кержацкая кровь. VI—144.

ПОЭМЫ И СТИХИ

ЯКОВ АКИМ. Доброта. X—84.

АНДРЕЙ АЛДАН-СЕМЕНОВ. Ревущие широты. IX—61.

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ. В дороге.—Страда.—Зерно.—Совесть. VII—171.

ПЕТРОС АНТЕОС. Греция сегодня. Перевод с греческого Н. Андиферова. X—169.

ЭДУАРД АСАДОВ. На пороге двадцатой весны.—Одна. X—144.

ИВАН БАУКОВ. Настоящий стих.—Что на Марсе? —Пройдут года... IV—59.

ЯКОВ БЫЛИНСКИЙ. Обыкновенный человек. XII—156.

ЛЕОНИД ВЫШЕСЛАВСКИЙ. Два сонета. IV—122.

РАСУЛ ГАМЗАТОВ. Восемьстишия. V—118.

АШОТ ГАРНАКЕРЬЯН. Лирические миниатюры. IV—161.

БОРИС ГОЛУБЕВ. Сын. VII—157.

ВИКТОР ГОНЧАРОВ. Друзья мои! VII—146.

ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВ. Приглашение в день. XI—162.

ИЗ ДИПЛОМНЫХ ТЕТРАДЕЙ. Стихи выпускников Литературного института имени М. Горького. VI—63.

СИЛВА КАПУТИКЯН. Лирика. IX—96.

ВЛАДИМИР КАРПЕКО. Лейтенант.—Незабудки. V—145.

ИГОРЬ КОБЗЕВ. В ночной Москве.—Солнечный зайчик. XII—102.

ГРИГОРИЙ КОРИН. Участковый.—Я тоже поднимаю волокушу... VI—163.

ВАСИЛИЙ КУЛЕМИН. Корнею Ивановичу Чуковскому (К восьмидесятилетию). III—185.—Из книги «Право на нежность». V—119.

КАЗИМИР ЛИСОВСКИЙ. Дорога.—Енисейские капитаны. XI—139.

МАРК ЛЯНЬСКИЙ. Из книги стихов «Здравствуй!» VII—129.

МИХАИЛ ЛЬВОВ. Время. Из новой книги стихов. XII—37.

ОВИДИЙ ЛЮБОВИКОВ. Снегурочка. I—137.

МОЛОДЫЕ ПОЭТЫ РОССИИ. III—3.

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВ. Живи, человек! XI—12.

ЛЕВ ОЗЕРОВ. Октябри. XI—4.

АЛЕКСАНДР ОЙСЛЕНДЕР. В тумане.—Приглашение. VI—143.

ВЛАДИМИР ОСИНИН. Подводные бошшаки. Поэма. II—52.

ЛЕВ ОШАНИН. Раздумья. V—116.

СЕРГЕЙ ПОДЕЛКОВ. Новые стихи. IX—23.

АНАТОЛИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ. Марс. Поэма. VI—132.

АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВ. Россия. V—3.

ВЛАДИМИР РАДКЕВИЧ. Уральская лирика. I—114.

БОРИС РУЧЬЕВ. Любава. Поэма. VIII—3.

НИКОЛАЙ РЫЛЕНКОВ. Сосредоточенность. VII—3.

ВАДИМ СЕМЕРНИН. Баллада о молчанье. II—57.

ВАЛЕНТИН СИДОРОВ. Лебединский карьер.—Рабочий автобус.—Город Губкин. V—169.

ДМИТРИЙ СМIRНОВ. Смерть отца.—Когда орел взмахнет крылом V—146

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ. Чернорабочие.—В ответе. X—186.

ВЛАДИМИР СУКОВСКИЙ. Якорь II—56.

ИГОРЬ ТИХОНОВ. Градостроители.—Пурга III—128.

ВЕРОНИКА ТУШНОВА. Твои руки.—Утро.—Опять утрами лучезарной иней...—Сутки с тобою. XI—151.

ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВ. Новые стихи. IV—3.

ЯКОВ ШВЕДОВ. Красный цвет.—Все чаще и чаще мне снится...—За Рогацкою дорогой. VII—86

МАРК ШЕХТЕР. Из «Латвийского дневника». IV—162.

НА РУБЕЖАХ ДВАДЦАТИЛЕТЬЯ

ЛЮБОВЬ АНАНЬЕВА. Коэффициент три. IV—163.
Л. ВЛАДИМИРОВ. Встречный бег. Очерк. I—170.
НИКИТА ВОРОНОВ. Руками трогать! I—185.
В. ЖИГАЛИН. Индустрия столицы. XII—157.
ГЕОРГИЙ МАРЯГИН. Особо важное поручение. VII—148.
З. НУРИЕВ. Хлеб — всему голова. V—171.
В. ТИМАКОВ. Страна долголетия. I—179.
ЕКАТЕРИНА ШЕРЕМЕТЬЕВА. Щедрый край. II—155.

СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК

Е. ЕРМОЛАЕВ. Вторая молодость. II—181.
В. ИВАНОВА. Воспитание жизнью. I—164.—
Честность. II—180.
А. КОЛОДНЫЙ-СКВОРЦОВ. «Почему вас волнует весь мир?» I—168.
Ю. ОСТРАЯ. Любимое дело. II—183.
ВЛАДИМИР ПОПОВ. Чародей вольтовой дуги. Очерк. VIII—158.
ГЕННАДИЙ СЕМЕНИХИН. В большом полете. X—162.
Т. СМІРНОВА. Одна награда... I—166.
ВЛАДИМИР ХАНЖИН. Всего себя — людям. XI—153.
ЕВГЕНИЙ ШИРОКОВ. Московский почерк. Очерк. Рисунки Л. ВЛАДИМИРСКОГО. X—151.

НАША РОДНАЯ МОСКВА

ДОВОЛЮЩИЕ ПОМОЩНИКИ.— А. БУДАНЦЕВ. Первый рубеж.— Т. СМІРНОВА. Это происходит сегодня.— ЕЛЕНА ТУРГАН. Доктор — рядом с вами... X—177.
СТОЛИЧНЫЕ НОВОСТРОЙКИ. VIII—186.
Е. ШИРОКОВ. Парадный подъезд столицы. Рисунки Ю. ИВАНОВА и Л. НЕПОМНЯЩЕГО. VII—177.

СТОЛИЦА — СТРАНЕ

Л. АРНАУТОВ, Я. КАРПОВ. Конец кессонам IX—166.
Н. МУРАВИНА. Металлурги заглядывают в будущее. II—166.
М. ТАМАРИН. В глубины планеты. III—161.

МОСКВИЧИ ВДАЛЕКЕ ОТ МОСКВЫ

НАДЕЖДА БОГДАНОВА. Я узнаю жизнь. (Записки молодой учительницы). III—129.
ВЛАДИМИР КНЫП. Покорители голубого огня. II—173.
МАРИЯ ФЕДОТОВА. В горах Тянь-Шаня. IX—173.

РАЗГОВОР ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

В. ИВАНОВ, В. ИШИМОВ. Пусть будет 500 непохожих! VI—174.
А. КОРОБОВ, П. РЕВЯКИН, В. ТЫДМАН, Н. ЧЕТУНОВА. Как дальше строить Москву? III—147.
ПРОТИВ ВРЕДНОЙ ПУТАНИЦЫ В ВОПРОСАХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА. VI—164.
М. ПОСОХИН. Контуры нашего завтра. VI—169.
НОВАТОРЫ — ЗА, КОНСЕРВАТОРЫ — ПРОТИВ... IV—172.
РАЗГОВОР ПРОДОЛЖАЕТСЯ. Н. ЧЕТУНОВА. Теперь — о Коломенском. I—193.

222

СТРАНЫ И ЛЮДИ

В. ДМИТРИЕВ. Повернуть штурвал! Запад-ногерманские заметки. XII—171.
ЛЕВ ОШАНИН. 18 тысяч улыбок. Заметки о фестивале. XI—181.
Д. СМЫСЛОВ. Содержите Британию в чистоте. VI—178.
ГЕРМАН ТИТОВ. Встреча с Америкой. VIII—179.

РЕПОРТАЖ

А. КОЛОДНЫЙ. Для всего человечества. IV—173.
А.Л. ЛЕСС. Издатель и писатель. IV—176.
Г. МЕНДЕЛЕВИЧ. Город горьковской мечты. XI—163.
К. НИКОЛАЕВ, И. ШЕЙКО. В дороги дальние... Рис. Г. СУНДАРЕВА. VI—172, 177, 188, 211, 220.
С УТРА ДО ВЕЧЕРА. Рисунки и текст Ю. ИВАНОВА и Л. НЕПОМНЯЩЕГО. XI—222.
ЕЛЕНА ТУРГАН. Каким он будет человек? Рисунки К. СЛУЦКОЙ. VII—172.

НАУКА И ТЕХНИКА

Ф. ЧЕСТНОВ. Телевидение в эпоху спутников. II—185.

ЖИВОЕ ПРОШЛОЕ

НИКОЛАЙ АНОВ. Каширская легенда. IV—136.
И. ИСАКОВ. Последние часы. XII—163.
КНИГИ, КОТОРЫЕ НЕ УМИРАЮТ. Писатели о творчестве Николая Островского. VII—217.

СТРАНИЦЫ МИНУВШЕГО

ЛЕВ НИКУЛИН. Судьба артиста. III—209.
АЛЕКСАНДР ВЕРТИНСКИЙ. Четверть века без Родины. III—211; IV—205; V—209; VI—212.
И. М. МАЙСКИЙ. Враги Испанской республики. III—193.
УРОКИ ИСТОРИИ. М. МИЛЬШТЕЙН. Заговор против Гитлера. V—177.

ЗАМЕТКИ ПУБЛИЦИСТА

АДОЛЬФ ГОФФМЕЙСТЕР. Поэзия жизни. Рисунки автора. X—172.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

МИР ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ. Международная анкета Агентства печати Новости. Б. БЕК-НАЗАР-ЮЗБАШЕВ. Тысяча писем.— МАРИЯ РОСА ОЛИВЕР. Слушай, Исабель... — ВОЙЦЕХ ЖУКРОВСКИЙ. Когда в Польше будет коммунизм... — АНДРЭ ВЮРМСЕР. По поводу одного забытого юбилея.— РОБЕРТ БИРНЕС. Вклад Австралии в грядущий мир.— Карл МАРЗАНИ. Визит в Москву, 1981... VII—158.
МЫ С ВАМИ. Говорят мастера культуры.— ВАН КЛИБЕРН. Частица моего сердца в Москве.— ЖАН-ПОЛЬ САРТР. Идеалы высокого гуманизма.— ЭДУАРДО ДЕ ФИЛИППО. Главное — интерес к человеку.— РОКУЭЛЛ КЕНТ. Светлый мир.— НИНА ВИЛА. Продолжение поэмы. XI—172.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

М. АЛЕКСЕЕВ. Зовет в дорогу. IV—192.
Л. АННИНСКИЙ. Он своего добьется. I—207.
С. АРАЛОВ. Начало эпохи. IV—200.
Н. БЕЛЬЧИКОВ. Современное об истории. I—210.

ВЛАДИМИР БЕЛЯЕВ. Вечно живой голос. (К 60-летию со дня рождения Ярослава Галана). VIII—206.

АЛЕКСАНДР БОРЦАГОВСКИЙ. Поиски молодой прозы. XII—193.

Г. БРОВМАН. Из критического дневника. Заметки о художественной прозе минувшего года. I—195. Новые характеры в жизни и литературе. По страницам прозы журналов «Дон», «Урал», «Подъем». VI—189.

Б. БРОДОВСКИЙ. Неувядаемая романтика. II—208.

А. ВЛАСЕНКО. Торжество любви и дружбы. I—209.

О. ВОЙТИНСКАЯ. Не склонив головы. XI—216.

АШОТ ГАРНАКЕРЬЯН. С верой в человека. VIII—210.

И. ГРИНБЕРГ. Подлинное и приблизительное. VII—196.

В. ГУРА. Главный герой — труд. X—212.

АЛЕКСАНДР ДЕЙЧ. Простота, четкость, изящество. VIII—216.

ВАЛЕРИЙ ДЕМЕТЬЕВ. Здравствуй, Лена-река! Дневник критика. X—191.

И. ДЕНИСОВА. Станция Касторной жизне-любви. I—211.— «В поре солнцестояния...» VII—210.

В. ДРУЗИН. Творчество Всеволода Кочетова. (К 50-летию со дня рождения). II—199.

АЛ. ДЫМШИЦ. Глазами человечества. XI—214.

БОРИС ЕВГЕНЬЕВ. Жажда жизни. (К 70-летию К. Г. Паустовского). VI—199.

Живое ощущение современности. (К 60-летию Вартекса Тевекеляна). VII—207.

Е. ЖУРБИНА. Насыщенность времени. II—205.

Л. ИВАНОВА. Человек большой судьбы. I—212.

С. КАСТОРСКИЙ. Лаборатория мастерства. III—189.

З. КЕДРИНА. В свете «Костра». (К 70-летию К. А. Федина). II—192.

ДМИТРИЙ КОВАЛЕВ. Красивая скромность. VII—204.

Г. КОЛЕСНИКОВА. Побеждает тот, кто борется. VIII—218.

ЛЕВ КОПЕЛЕВ. Искусство сострадания. VIII—213.

АЛЕКСАНДР КРИВИЦКИЙ. В яблочко.. V—198.

Л. КРУПЧАНОВ. Пути и характеры. IX—212.

В. ЛАНИНА. Поучительная история. VII—211.

В. ЛИТВИНОВ. Что есть доброта. V—200.

И. ЛУНИН. Простота и величие. IV—199.

А. МАКАРОВ. Зависть и нежность. VI—203.

А. МЕДНИКОВ. Юноши сороковых годов. VIII—212.

И. МОТЯШОВ. Молодость шестидесятых годов. III—187.

П. НИКОЛАЕВ. Личность, мораль, литература. III—167.

Р. ОЗОЛ. Юмористические новеллы. III—190.

В. ПАНКОВ. Гуманизм в походе. X—204.

ПЕВЕЦ ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ (К 70-летию А. Н. Степанова). III—186.

ПЕРВЫЕ КНИГИ. Е. ЛЕВАКОВСКАЯ. Им есть о чем сказать.— В. ВОРОНОВ. Поэзия практика.— К. МУРЗИДИ. Черточки жизни.— ЛЕВ СЛАВИН. Романтика будничного.— Н. КОЖЕВНИКОВА. С мыслью о человеке. V—204.

В. ПЕРЦОВ. «Программная вещь» (К 35-летию создания Октябрьской поэмы Маяковского «Хорошо!»). XI—188.

БОРИС ПРИВАЛОВ. О рассказах-фельетонах. I—214.— На сатирической орбите. IX—218.

П. ПУСТОВОЙТ. Книга о Некрасове и ее критики. IV—195.

ВЛ. ПУТИНЦЕВ. «Борьба — моя поэзия» (К 150-летию со дня рождения А. И. Герцена). IV—188.

Л. РОШАЛЬ. «Весь до былинки этот белый свет...» IX—213.

НИКОЛАЙ РЫЛЕНКОВ. По линии наибольшего сопротивления. XI—218.

С. САВЕЛЬЕВ. От имени живых и мертвых. V—202.

М. СИНЕЛЬНИКОВ. Осязаемая близость. V—193.

С. СИНЕЛЬНИКОВ. Жизнь и гибель парла-мента. III—191.

ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ. Молодая поэзия нового времени. XII—212.

БОРИС СОЛОВЬЕВ. Вторая весна. Из заметок о современной поэзии. VIII—193.

Д. СТАРИКОВ. Жизнь в литературе (К 75-летию С. Я. Маршака). XI—211.

А. СТАРЦЕВ. Суть дела. X—217.

ВС. СУРГАНОВ. Точки опоры. IX—196.

Б. СУЧКОВ. Зрелость. III—176.

Д. ТЕВЕКЕЛЯН. Поиск продолжается. XI—219.

ВИКТОР ТЕЛПУГОВ. Воспетая новь. VII—212.

П. ТОПЕР. Время не примиряет. VI—204.

Т. ТОПИЛИНА. Светлыми красками. VIII—219.

С. ТРЕГУБ. Рукой художника. VI—201.

И. ФИЛЬШТИНСКИЙ. Жестокая жизнь. VII—213.

ЛИДИЯ ФОМЕНКО. Спор молодости. II—207.

Я. ФРИД. В пустыне одиночества. IX—216.

В. ЧАЛМАЕВ. В сражениях за красоту. VII—208.

В. ШАПОШНИКОВА. Ты живешь для на-рода! XI—221.

ВИКТОР ШИШОВ. На верном пути VI—207.

ИЗДАНО В РСФСР

КНИГИ КУЙБЫШЕВСКИХ АВТОРОВ. ВЛАДИМИР ЕРЕМИН. Человек познает истину.— К. ТРОШКИНА. В борьбе за правду.— Н. СТЕПАНОВ. Первое знакомство. I—216.

ЛИПЕЦК. А. УРБАН. Большая работа маленького издательства. II—210.

ПЕРМЬ. ЕВГЕНИЙ ПЕРМЯК. Вступление в жизнь.— ЛЕВ РОШАЛЬ. На пути...— ВЛ. БАРЫКИН. Целину надо поднимать!— Л. ПОПОВА. Чуткое сердце. IV—202.

ГОРЬКИЙ. ВИТАЛИЙ ВАСИЛЕВСКИЙ. Тема и мастерство. VI—208.

СВЕРДЛОВСК. УРАЛЬЦЫ — ЧИТАТЕЛЮ. Рассказывает главный редактор Свердловского книжного издательства Б. Л. КРУПАТКИН. VII—215.

КРАСНОДАР. НИКОЛАЙ ДАЛАДА. Писатель — не гость...— МИХ. СЕРГЕВИЧ. Наташин университет.— М. СИНЕЛЬНИКОВ. Счастливей прочих...— ВЛ. БАРЫКИН. Не по шаблону. X—220.

ЧИТАЛИ ЛИ ВЫ?

№ 1 — 201, 208, 213.
 № 2 — 207.
 № 6 — 194.
 № 8 — 208, 214.
 № 9 — 200, 214, 216.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ И. А. БУНИНА. IV—221.

ИСКУССТВО

БОРИС ВОЛГИН. Канонам вопреки. XII—184.

МИХАИЛ ДОЛИНСКИЙ. СЕМЕН ЧЕРТОК. Встреча с Родиной. X—187.

Б. ИОГАНСОН. Мысли о нашем искусстве. IV—180.

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ. Человек беспокойного таланта. VII—176.

ИЛЬЯ ШНЕЙДЕР. «Война и мир» на студии «Мосфильм». I—219.

ИВАН ЗАЙЦЕВ. Портреты-памфлеты. V—222.

ПИШУТ ЧИТАТЕЛИ

Э. КАСТРУБИН. Верный друг больного. II—223.

Н. МЕЛЬНИЧУК. Долгожданная встреча. II—222.

С. СМУГЛЫЙ. Дерево дружбы. III—221.

ЛЮБИТЕЛЯМ СПОРТА

А. ФЛЕРОВСКИЙ. От Стокгольма до Сант-Яго. II—218.

Н. КОЗЛОВ, Ю. СМИРНОВ. Браконьер? Нет! V—221.

ЮМОР

- ЮРИЙ БЛАГОВ. Про белого бычка VIII—224.
- СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ. Литературные пародии. III—222.
- БОРИС ЕГОРОВ. Как это делается. Рисунки Г. СУНДАРЕВА. VII—220.
- ФРИДЬЕШ КАРИНТИ. Два рассказа. Звенит телефон.— Па-па. (Из дневника шестимесячного). Рисунки Г. СУНДАРЕВА. VIII—220.
- ГЕОРГИЙ ЛАДОНЩИКОВ. Эпиграммы. V—224.
- ВЛАДИМИР ЛЕВИЦКИЙ. Эпиграммы. V—224.
- ЛЕОНИД ЛЕНЧ. Как промазала Би. Рассказ. Рисунки Г. СУНДАРЕВА. IX—220.
- ВЛАДИМИР ЛИФШИЦ. В который раз про одежду II—224.
- ВЛ. МАСС и МИХ. ЧЕРВИНСКИЙ. Осторожно — показуха! Рисунки Г. СУНДАРЕВА. X—223.
- МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ. Перевод с грузинского В. Кургова. V—224.
- БОРИС ПРИВАЛОВ. Теплая компания Юмореска. VI—222.
- ИГОРЬ РОМАНОВ. Осел и цветы. IV—224.
- СЕРГЕЙ СМIRНОВ. Эпиграммы и пародии. I—224.
- НИКОЛАЙ СТАРШИНОВ. Отец-одиночка VIII—224.
- ГЕННАДИЙ ФАТЕЕВ. Короткие басни. IV—224.

МОСКОВСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

- № 1. Диплом защищен на улице (172).— Помолодевшие цеха (183).— Необыкновенная мачта (190).
- № 2. «Герой фильма» — живая клетка (174).— Рисунки без подписи (190).
- № 3. А. ПЕТРОВ. Новоселам целины (157).— ВЛ. ТРОФИМОВ «Страницы» устного журнала (172).— Е. ЕРМОЛАЕВ, А. ГАЛЕВ. Есть такая школа (181).— П. АЛЕКСАНДРОВ. Клей возвращает здоровье (183).— И. ИЛЬИН Вкус, выдумка, мастерство (207).
- № 4. Н. РОЗАНОВ Москва: 1812 и 1962 (168).— Е. БАЛАБАНОВИЧ. Мозаика на фронтонах (184).— ИЛЬЯ ШНЕЙДЕР. Симфония и свет (194).— К. ВЛАДИМИРОВ, Е. ЕВГЕНЬЕВ. Вы говорили с... магнитофоном (197).
- № 5. Я. КАРПОВ. И углами, и пирогами (194).— ИЛЬЯ ШНЕЙДЕР. Светофор учится считать (219).
- № 6. ИЛЬЯ ШНЕЙДЕР. Поющие лампы (197) — Е. ВЕРОВА. Конфеты с вакиной (205).
- № 7. М. ВИКТОРОВ. На чем мы поедем по Москве? (152).— И. ПАВЛОВА. «Антракт» (154) — М. ФЕДОРОВ. Необычное ателье (192) — В. ЕРОФЕЕВА. Дирижабли (200) — М. БАЙКОВА «Голубой домик» (212).
- № 8. П. ПОРФИРЬЕВА. Люди в касках (160) —

- И. СТЕЛЬМАХОВИЧ. Женщина из страны математики (176).
- № 9. К. КОСТИН. Пятьдесят восьмая медаль (168).— В. ЕРОФЕЕВА. Холод.. обогревает квартиру (174).— М. БЛИНЧЕВСКАЯ. Цензурная история одной книги (206).
- № 10. В. НИКОЛАЕВ. Мирная эскадра Пикассо (198).— И. ШНЕЙДЕР. Подводный... планер (202).— В. АНОХИН. Сельский ГУМ (210).
- № 11. В. ГОЛОСКЕР. Матрос с крейсера «Аврора» (164).— В. ЕРОФЕЕВА. Все остается потомкам... (168).— Г. МАЛИНИЧЕВ. И слышно и видно (184).

В НАШЕМ ПОРТФЕЛЕ

«Снятая птица».— Литературное завещание И. А. Бунина. III—224.

НА НАШИХ ВКЛЕЙКАХ

- № 1. Всесоюзная художественная выставка 1961 года. Живопись.
- № 2. Всесоюзная художественная выставка 1961 года. Графика.
- № 3. Наши современники.— Всесоюзная выставка художественного стекла. Фото ДМ. БАЛЬТЕРМАНЦА.
- Весенние этюды. Цветные фото.
- № 4. ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН. Из альбома снимков. Едем в деревню! Фото В. ИВАНОВА и М. КОТЛЯРОВА.
- № 5. Наша «Правда». Кадры из документального фильма. Дом, подаренный детям. Цветные фото ДМ. БАЛЬТЕРМАНЦА.
- № 6. Третья Всесоюзная художественная фото-выставка «Семилетка в действии». Фотографии с выставки работ ИДЫ КАР (Англия).
- № 7. Репродукции с картин и рисунков художника ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА
- № 8. Подарки народам Советского Союза. Цветные фото Н. ГРАНОВСКОГО. По Японии. Цветные фото Н. Н. МИХАЙЛОВА.
- № 9. Н. С. Хрущев и четыре «небесных брата». Фото С. РАСКИНА. Бородино По материалам исторического музея. Посланцы мира. Зарисовки художника П. БУНИНА. По Японии. Цветные фото Н. Н. МИХАЙЛОВА.
- № 10. Москва строится. Цветные фото Н. ГРАНОВСКОГО. Работы художника БОРИСА ШАЛЯПИНА.
- № 11. ЛЕТОПИСЬ ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ Кадры из советских кинофильмов
- № 12. НАШИ СОВРЕМЕННОКИ С 6-й выставки произведений членов Академии художеств СССР.

Безвременно, в расцвете творческих сил, ушел из жизни член редколлегии журнала «Москва», заместитель главного редактора, талантливый поэт Василий КУЛЕМИН.

Надолго сохраним мы в своих сердцах память о дорогом нашем друге и товарище, участнике Великой Отечественной войны, фронтовике, боевом коммунисте, прекрасном, светлой и чистой души человеке Василии Лаврентьевиче Кулеmine.

Редакционная коллегия и коллектив журнала «Москва»

Подписано к печати 21/XI 1962 г. А 09287. Тираж 100 000 экз. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Печ. л. 14 = 19,18 усл. печ. л. = 22,859 + вклейка = 23,69 уч.-изд. л. Заказ № 3866. Цена 50 коп

Типография «Красный пролетарий» Госполитиздата Министерства культуры СССР, Москва, Краснопролетарская, 16.



Ф. Решетников

Герой Социалистического Труда В. И. Гаганова

ОБРАЗ НАШЕГО СОВРЕМЕННОКА

С ВЫСТАВКИ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ЧЛЕНОВ АКАДЕМИИ
ХУДОЖЕСТВ СССР

В. Ефанов

Портрет академика А. Н. Бакулева и доктора медицинских наук
В. С. Савельева





М. Абдуллаев

Поэт Расул Рза

М. Божий Портрет девушки



А. Дейнека

Друзья





А. Пластов

Портрет школьницы

Д. Налбандян

Портрет заслуженного учителя Армении М. К. Тамазяна



50 коп.